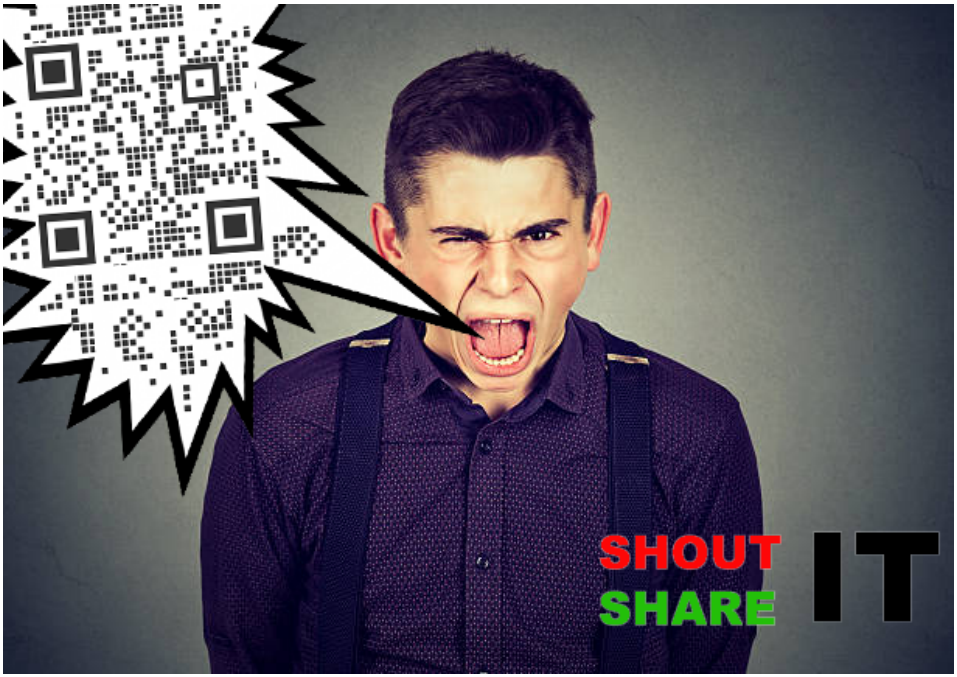
Другой

Александр Майсурян

Ленин


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ни об одном другом человеке в советское время не говорили и не писали так много, как о В. И. Ульянове (Ленине). Но и сейчас мы не знаем о нем самого главного — какие качества поставили его во главе 150 миллионов людей? Почему именно он оказался одной из ключевых фигур истории XX века? Что в жизни считал важным и что несущественным? Что думал о смерти и как сам хотел бы умереть? Как ссорился и умел ли мириться? Как предпочитал отдыхать?

Автор освещает многие малоизвестные стороны личности Ленина.

Книга публикуется в авторской редакции.

- Александр Майсурян
  -
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Основные даты жизни Владимира Ульянова (Ленина)
  - Мемуарная литература о Ленине

Александр Майсурян
Другой Ленин

Ленин — президент России, который правил между Ельциным и Гитлером.

У меня в памяти мало что есть о Ленине, лучше бы спросили о Чингисхане.

Из ответов российских школьников

Недавно я увидел героя этой книги. Он спокойно стоял посреди улицы. Прохожие шли мимо, не обращая на него никакого внимания, а мне он невольно бросился в глаза. На нем был костюм-тройка, но уже не новый: пиджак покрывали разноцветные разводы и потеки — белые, желтые и зеленые; жилетка и галстук были густо заляпаны грязью. Несмотря на это, держался он с чрезвычайным достоинством, в прищуренных глазах светилась ирония. Оттопыренным локтем правой руки он придерживал двухлитровую пластиковую бутылку из-под пива.

Прилепленная ровно посередине лба этикетка от жевательной резинки напоминала широко раскрытый третий глаз какого-то восточного божества. Я подошел поближе и вгляделся в это третье око, рассчитывая постичь некую тайну. С этикетки на меня равнодушно глянул герой вампирского фильма «Блейд»…

«Как странно, — пришло мне в голову, пока я разглядывал этот памятник, — при жизни это был веселый, эксцентричный и отчасти легкомысленный человек. После смерти его сделали полной противоположностью самому себе. И только теперь, спустя восемьдесят лет после кончины, он снова делается хоть немного похожим на себя самого».

Глава 1
«Потомственный дворянин Владимир Ульянов»

Владимир Ильич Ленин был мужчиной.

Ленин вообще родился в Москве.

В семье Ульяновых было восемь детей, шесть — живых.

Из школьных сочинений о Ленине

Владимир Ильич Ульянов (более известный под псевдонимом Ленин) родился 10 (22) апреля 1870 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск). Он стал третьим из шести детей в семействе Ульяновых.

«У меня от детства сохраняются самые приятные воспоминания, — признавался он позднее, — жили мы в тепле, голода не знали, были окружены всякими культурными заботами, у нас были книги, музыка, развлечения, прогулки…»

«Я тоже помещичье дитя», — говорил Ленин. В официальных бумагах Владимир Ильич обозначал свое звание как «потомственный дворянин» или «дворянин Владимир Ильин Ульянов». Дворянство было высочайше пожаловано его отцу, Илье Николаевичу. Педагог по профессии, Илья Николаевич дослужился до крупной должности директора народных училищ и чина действительного статского советника. Грудь «штатского генерала» Ульянова украшали ордена Святых Анны, Владимира, Станислава… Илье Николаевичу не довелось стать свидетелем того, как его дети один за другим уходили в революцию. Он скончался рано, в январе 1886 года, от кровоизлияния в мозг. (В том же возрасте и от той же болезни позднее суждено было умереть и Владимиру Ильичу.)

Любопытно, что от своего происхождения Владимир Ильич не отрекался и после революции: в анкете 1922 года на вопрос о происхождении он коротко ответил «дворянин».

«Шагом марш из-под дивана!» Владимир рос любознательным, подвижным мальчиком. Его младшая сестра Мария вспоминала: «Он был страшный любитель шумных игр. Помню, была у них какая-то игра «брыкаски»… Играли в нее

обязательно в темной комнате, вечером, когда старших не было дома. Это была игра шумная: прятались, выскакивали из-под диванов». «Что такое «брыкаска»? — писал младший брат Владимира Дмитрий. — Это не то человек, не то зверь. Но обязательно что-то страшное и, главное, таинственное. Мы с Олей (младшей сестрой. — А.М.) сидим на полу… и с замиранием сердца ожидаем появления «брыкаски». Вдруг за дверью или под диваном слышатся какие-то звероподобные звуки. Внезапно выскакивает что-то страшное, мохнатое, рычащее, это и есть «брыкаска» — Володя в вывернутом наизнанку меховом тулупчике… Полумрак, мохнатое существо на четвереньках… Оно рычит и хватает тебя за ногу. Страшно!»

С младшим братом Владимир играл в «лошадку», причем брал на себя роль лошади. Объяснял ему: «Лошадь всегда сильнее человека, и ты должен уметь подойти к ней с лаской, покормить ее чем-нибудь вкусным — например, черным хлебом с солью, что лошади очень любят, — и тогда лошадь не будет убегать от тебя и будет послушной».

Играя в индейцев, Владимир делал себе «индейский головной убор» из лопухов. Дмитрий тайком от старших («белых людей») таскал ему в вигвам хлеб из буфета и другую пищу. При игре в казаков Владимир выступал под именем Тараса Бульбы… Родные Владимира описывали также его игры в разбойников, чернокожих, «черную палочку», рюхи, лапту, пятнашки, горелки, а в более старшем возрасте — в биллиард и крокет. Умел он ходить по натянутому канату и на ходулях (которые сам смастерил)… Его старшая сестра Анна Ульянова-Елизарова рассказывала: «Володя загонял Олю под диван и потом командовал: «Шагом марш из-под дивана!» Игрушками он мало играл, он их ломал. Помню, как раз в день его рождения, он, получив в подарок запряженную в сани тройку лошадей, куда-то скрылся с новою игрушкой. Мы стали искать его и нашли за дверью. Он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошадям, пока они не отвалились одна за другой». На вопрос старших мальчик ответил без тени смущения: «Я хотел посмотреть, как лошадка в середине устроена!»

Кучер, который как-то раз отвозил Владимира в имение матери, заметил его двоюродному брату: «Ну и забавник! — Кто? — Да брательник твой. С им не заметишь, как доедешь и на ленивых лошадях… Уж больно занятный! Я и не видывал таких парнишек — на все у него загвоздки да прибаутки».

«Я до позднего возраста играл в солдатики». Одной из любимых игр юного Владимира были солдатики. Он сам вырезал

их из плотной бумаги и раскрашивал цветными карандашами. Затем «воюющие стороны» ставили их на полу в ряд по 10–15 пеших и конных фигурок и поочередно сбивали их маленьким резиновым мячиком. Генералы имели более широкие подставки, чем простые солдаты, и сбить их с ног было труднее.

«Чтобы подразнить братишку, — вспоминал Николай Веретенников (двоюродный брат Владимира), — Володя незаметно для Мити острым гвоздиком прикалывал у некоторых солдатиков подставки к столу. Эти воины от ударов горошины легко сгибались, но не падали… Это очень удивляло Митю. Он не догадывался о шутке брата и невероятно горячился, настойчиво стараясь сбить именно этих несокрушимых воинов».

По воспоминаниям родных, Владимир обычно брал под командование войско американцев-северян (себя, очевидно, представляя Авраамом Линкольном, который громит ненавистных «рабовладельцев»). Он зачитывался в то время романом Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

В 1895 году, знакомясь за границей с вождем русских марксистов Георгием Плехановым, Владимир Ильич между прочим рассказывал ему: «Я… сравнительно до позднего возраста играл в солдатики. Мои партнеры в игре всегда хотели быть непременно русскими и представлять только русское войско, а у меня никогда подобного желания не было. Во всех играх я находил более приятным изображать из себя командира английского войска и с ожесточением, без жалости бил «русских» — своих противников».

Плеханов признался, что в детстве тоже любил игру в солдатики, но всегда сражался за русское войско и воображал себя при этом «русским Наполеоном»…

«Напали на козлика серые волки». Анна Ульянова-Елизарова вспоминала такой выразительный эпизод из детства брата. «Маленький братишка Митя, в возрасте трех-пяти лет, был очень жалостливый и не мог никак допеть без слез «Козлика». Его старались приучить, уговаривали. Но только он наберется храбрости и старается пропеть, не моргнув глазом, все грустные места, как Володя поворачивается к нему и с особым ударением, делая страшное лицо, поет:

Напали на коз-лика се-рые вол-ки…

Митя крепится изо всех сил.

Но шалун Володя не унимается и, сделав страшное лицо, продолжает:

Оста-а-вили ба-бушке ро-ожки да но-ожки…

Малыш не выдерживает и заливается в три ручья».

Однажды дети — Ульяновы и их гости — читали вечером «Вия» Гоголя. Владимир заметил, что один из слушателей опасливо отодвигается подальше от темного окна. И обратился к нему замогильным голосом: «Посмотри в окно. Вглядевшись, увидишь освещенную свечами церковь, посередине гроб, у гроба бурсака Хому Брута… Взгляни, какое у него испуганное лицо… Вот начинает носиться по воздуху гроб, чуть не задевая его…»

Тот, к кому он обращался, вскочил и от страха заткнул уши пальцами.

«Я очень увлекался латынью». Склонный к шалостям и шумным играм дома, в гимназии Владимир не допускал ни малейшего нарушения весьма строгих правил поведения. От школьного руководства он заслужил такую характеристику: «Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение».

«Неужели, — спросил его однажды двоюродный брат, — с тобой никогда не бывало, что ты урока не приготовил?» «Никогда не бывало и не будет!» — отрезал Владимир. «Брат всегда делал хорошо все, за что бы он ни брался, — рассказывала Мария Ульянова, — кроме того, он очень рано научился владеть собой. А между тем от природы он был вспыльчивым, и нужно было немало воли, чтобы сдерживать себя». Однажды он заметил, что младшая сестра Мария сшивает тетрадку черными нитками, и возмутился: «Как? Белую тетрадку черными нитками? Нельзя!»

«И тут же заставил меня переделать. Вот такая точность была у него во всем».

В июне 1887 года Владимир закончил гимназию с золотой медалью. По всем предметам, в том числе по Закону Божьему, в его аттестате значилось «пять», только по логике «четыре».

Ульянов умудрялся увлекаться даже такими школьными уроками, которые все остальные гимназисты считали нестерпимо скучными. Позднее он как-то признался своей жене Надежде Крупской:

— Одно время я очень увлекался латынью.

— Латынью? — изумилась она.

— Да, только мешать стало другим занятиям, бросил.

Следы этого увлечения Владимира Ульянова видны в его

статьях. Они пересыпаны десятками латинских словечек, а также язвительных латинских поговорок. Например: O, sancta simplicitas!.. Risum teneatis, amici!.. Mea culpa, mea maxima culpa!.. Oleum et operam perdidisti, amice!.. Aut — aut. Tertium non datur (О святая простота!.. Удержите смех, друзья!.. Моя вина, моя величайшая вина!.. Друг мой, ты напрасно теряешь время и труд!.. Или — или. Третьего не дано).

Увлечение иностранными языками Владимир Ильич сохранил на всю жизнь. Хотя уже после революции скромно сказал одному иностранному гостю: «Можем говорить на немецком, французском или английском. Мне все равно, ибо я одинаково плохо владею любым из них».

Один раз он прочитал интересовавшую его книгу по-голландски, хотя не знал на этом языке ни слова: каждое слово терпеливо переводил со словарем. «Он свободно читал и говорил по-немецки, французски, английски, читал по-итальянски, — рассказывал Лев Троцкий. — В последние годы своей жизни, заваленный работой, он на заседаниях Политбюро потихоньку штудировал чешскую грамматику… мы его на этом иногда «ловили», и он не без смущения смеялся и оправдывался…»

«Над рекой, бывало, стелется песня…» Вся юность Владимира Ульянова прошла вблизи Волги. И многое для него было связано с этой рекой, хотя своими чувствами он делился крайне неохотно. Однажды его товарищ Николай Вольский попытался разговорить его на эту тему, но Ленин промолчал и только пожал плечами. Тогда, чтобы выйти из положения, Вольский стал расхваливать другую реку — Каму. «Ленин, внимательно выслушав меня, сказал, что Кама — действительно «красавица»… О Волге — ни слова! Он явно не хотел о ней говорить».

Но в разговоре с другим собеседником Владимир Ильич сам заговорил о Волге: «Вы на Волге бывали? Знаете Волгу? Плохо знаете? Широка! Необъятная ширь… Так широка… Мы в детстве с Сашей, с братом, уезжали на лодке далеко, очень далеко уезжали… И над рекой, бывало, стелется неизвестно откуда песня… И песни же у нас в России!..»

«А мало я знаю Россию, — вздохнул он как-то. — Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!»

«Не выйдет из брата революционера». Мария Ульянова рассказывала: «Александр был старше Владимира Ильича года на четыре. Владимир Ильич обыкновенно все делал «как Саша», как он говорил. Бывало, кашу подадут на стол, его первого нарочно

спрашивают: «Володя, как кашу хочешь: с молоком или с маслом?» Он всегда отвечал: «Как Саша»… Владимир Ильич… во всем следовал его примеру, читал те книги, которые хвалил ему Александр, и пр.». Анна Ульянова-Елизарова: «Помню, за столом как-то мама спросила по какому-то поводу Володю, что он думает об этом. Володя, недолго думая, быстро ответил: «Что я думаю? Да то же, что и Саша!» Раздался общий смех, потому что Саша еще не успел высказать своего мнения — Володю спросили первым».

«Владимир Ильич очень любил брата, — писала Н. Крупская. — У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было сосредоточиться… У мальчиков была излюбленная фраза: «Осчастливьте своим отсутствием». Оба брата умели упорно работать…» (В сочинениях Ленина приведенная Крупской фраза встречается в ином варианте: «Осчастливьте своим неприсутствием!»)

«Он [Александр] постоянно ездил на лодке, — вспоминала Мария Ульянова, — червей всяких собирал, делал коллекции яиц. А Владимир Ильич этого не любил. Он больше любил языки, словесность, историю, литературу». Позднее Владимир признавался, что никогда не пробовал ловить рыбу удочкой, так как для этого нужно было насаживать червя на крючок, а к червям у него было отвращение, почти идиосинкразия.

Александр Ульянов за свою работу о кольчатых червях получил золотую медаль университета. К этому времени он вошел в небольшой кружок революционного студенчества. Один из друзей вспоминал о нем: «В отношении к товарищам он был редкий человек. Он равно уважал и собственное достоинство, и достоинство других. Это была натура нравственно-деликатная. Он избегал всяких резкостей, да был к ним и неспособен».

Крупская продолжала: «Вот что рассказывал Владимир Ильич:

Брат был естественником. Последнее лето, когда он приезжал домой, он готовился к диссертации о кольчатых червях и все время работал с микроскопом. Чтобы использовать максимум света, он вставал на заре и тотчас же брался за работу. «Нет, не выйдет из брата революционера, подумал я тогда, — рассказывал Владимир Ильич, — революционер не может уделять столько времени исследованию кольчатых червей». Скоро он увидел, как он ошибался».

Конечно, слово «революционер» здесь, скорее всего, ни при чем: ведь сам Владимир Ильич тогда еще не был революционером. Просто он считал изучение пиявок и других червей чудачеством, недостойным серьезного человека.

В 1887 году участники кружка, в который входил Александр Ульянов, стали готовить покушение на царя Александра III, приурочив его к 1 марта — годовщине убийства Александра II. Но они настолько мало соблюдали тайну в этом деле, что о нем быстро проведала полиция. Последовали аресты и суд. Сам Владимир Ильич позднее в беседе рассказывал о деле своего брата так: «Они решили убить царя, вышли на Невский проспект с бомбами, имевшими форму книг, биноклей и тому подобного, ожидая царского выезда, но их проследили, царя предупредили, и он в тот день не выезжал, а их схватили, судили и повесили». В кружке (который носил грозное название «террористическая фракция «Народной воли») Александр готовил боевые снаряды.

Узнав об аресте брата, Владимир сразу заметил: «А ведь дело-то серьезное, может плохо кончиться для Саши». Но поступок брата не осуждал: «Значит, Саша не мог поступить иначе, значит, он должен был поступить так».

В защитной речи на суде Александр Ульянов заявил: «Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастие своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь». Приговор гласил — смертная казнь… «Я удивилась, — рассказывала позднее Мария Александровна Ульянова, — как хорошо говорил Саша: так убедительно, так красноречиво. Я не думала, что он Может говорить так. Но мне было так безумно тяжело слушать его, что я не могла досидеть до конца его речи и должна была выйти из зала».

Мария Александровна на последнем свидании с сыном уговаривала его подать просьбу о помиловании. Александр ответил ей: «Представь себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время, как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет, я не могу поступить так!..» Ульянов привел и такой довод: о каком помиловании может идти речь, если в пожизненном заключении разрешат читать только религиозную литературу?..

В ночь на 8 мая 1887 года Александра Ульянова и четырех его товарищей повесили во дворе Шлиссельбургской крепости. Перед смертью Ульянов приложился к кресту — учение Христа, в отличие от некоторых своих товарищей, он не отвергал…

«Я отомщу за брата!» Разумеется, казнь брата произвела на Владимира сильнейшее впечатление. По словам сестры Анны, он сорвал со стены и начал топтать карту России. «Работая над

архивными документами, — рассказывал поэт Евгений Евтушенко, — я наткнулся на поразившие меня показания, как семнадцатилетний Володя Ульянов, потрясенный казнью брата Саши, был приглашен сочувствующими студентами в портерную по кличке «У Лысого», выпил целый стакан водки — может быть, первый раз в жизни — и с остановившимися глазами повторял: «Я отомщу за брата!» Но под местью Владимир Ульянов понимал не месть какому-то одному человеку, а нечто гораздо большее. Впрочем, и к царю Александру III, отправившему его брата на виселицу, Владимир Ильич особенно добрых чувств не испытывал. Однажды в разговоре он вспомнил о казненном брате, потом помолчал и как бы про себя прочитал строфу из пушкинской оды «Вольность»:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Согласно легенде, узнав о казни брата, Владимир Ульянов произнес свои знаменитые слова: «Мы пойдем другим путем». Рассказ об этом позднее много раз повторяла его младшая сестра Мария: «Десятки лет прошли с тех пор, но и теперь я хорошо вижу выражение лица Владимира Ильича в ту минуту и слышу его голос: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти»… Выражение лица при этом у него было такое, точно он жалел, что брат слишком дешево отдал свою жизнь…»

Скорее всего, смысл сказанного был прост: надо стремиться не погибнуть, а победить. Позднее Владимир Ильич никогда не осуждал покушений (на царей, королей, министров) вообще. «Мы вовсе не против политического убийства», — писал он, повторяя английскую формулу: «Killing is no murder» («Умерщвление — не убийство»). «Они, — говорил Ленин о русских террористах, — проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно…» После революции он предложил поставить памятники многим цареубийцам, как античным (Бруту), так и современным (Желябову, Перовской, Кибальчичу)… Однако Ленин всегда считал, что покушения на отдельных лиц — недопустимая растрата сил и жизней революционеров. Поэтому они нецелесообразны.

«Жертвы с нашей стороны неизбежны, — говорил он. — Но нужно, чтобы они были сведены к минимуму… Мы должны

беречь людей».

Резко оттолкнули Ульянова и либералы. «Владимир Ильич рассказал мне однажды, — писала Крупская, — как отнеслось «общество» к аресту его старшего брата. Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок-учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы».

«Ни одна либеральная каналья симбирская, — говорил Владимир, — не отважилась высказать моей матери словечко сочувствия после казни брата. Чтобы не встречаться с нею, эти канальи перебегали на другую сторону улицы».

«Эта всеобщая трусость, — продолжала Крупская, — произвела, по словам Владимира Ильича, на него тогда очень сильное впечатление. Это юношеское переживание, несомненно, наложило печать на отношение Владимира Ильича к «обществу», к либералам. Он рано узнал цену всякой либеральной болтовни».

«Почему-то не нравится мне этот Керенский-младший». Удивительным образом жизнь переплела судьбы двух руководителей России — Владимира Ульянова и Александра Керенского. Оба они родились в Симбирске, оба — 22 апреля (с разницей 11 лет), только один — по старому стилю, другой — по новому. Оба выросли в семьях педагогов, имевших один и тот же чин — действительный статский советник. Их родители хорошо знали друг друга, дружили семьями. Керенские бывали в доме Ульяновых по праздникам — на Пасху и Рождество.

Более того, Федор Михайлович Керенский — отец будущего премьер-министра — был директором гимназии, где учился Владимир Ильич. Он преподавал словесность. Ульянов на всю жизнь сохранил самые добрые воспоминания о нем. Керенский привил мальчику любовь к Пушкину и другим русским классикам. По словам Дмитрия Ульянова, Керенский «восхищался сочинениями Владимира Ильича и очень часто ставил ему не просто пять, а пять с плюсом». Мария Ульянова: «В симбирской гимназии учитель словесности, бывало, поставит Владимиру Ильичу пять с плюсом да еще хвалит изо всех сил. Он всегда говорил нашей матери, что ее сын будет литератором, — такой у него был хороший слог».

Сохранились воспоминания очевидца о первой встрече двух будущих премьеров — Ульянова и Александра Керенского. Газета «Вечернее слово» в 1918 году поместила очерк бывшего школьного товарища Ленина, укрывшегося под псевдонимом Аполлон Коринфский. Он описывал, как директор гимназии Федор Керенский впервые привел сюда своего трехлетнего сына.

Вел ребенка вверх по лестнице, строго наставляя при этом:

— Вперед, Александр Македонский!.. Вверх со ступеньки на ступеньку!.. Да не клади пальца в рот, а то как раз вниз… сверзишься!.. Все ступеньки пересчитаешь головой; одно мокрое место останется…

Вместе с другими гимназистами Ульянов с улыбкой смотрел на эту сценку. Он сказал:

— Любопытная картинка!.. Мастодонт и пигмей… Гулливер и карлик!.. А почему-то не нравится мне этот Керенский-младший…

Конечно, позднее в этих случайных словах стали находить какой-то судьбоносный, мистический смысл…

Когда болезнь надолго приковала пятилетнего Александра к постели, Владимир Ульянов навещал его дома: читал ему свою любимую «Хижину дяди Тома», рассказы об индейцах, Пушкина, Лермонтова, Диккенса. Эти месяцы, которые мальчик провел за чтением книг, во многом предопределили характер и всю дальнейшую судьбу Керенского… В июне 1917 года Керенский называл Владимира Ильича своим бывшим «учителем и старшим другом».

Тогда, в 1917 году, земляки не встречались, вернее, виделись только во время многолюдных собраний. Хотя Керенский и выражал желание повидаться с Лениным наедине. Кадет Владимир Набоков вспоминал: «Помню, Керенский уже в апреле, через некоторое время после приезда Ленина, как-то сказал, что он хочет побывать у Ленина и побеседовать с ним, и в ответ на недоуменные вопросы пояснил, что «ведь он живет в совершенно изолированной атмосфере, он ничего не знает, видит все через очки своего фанатизма, около него нет никого, кто бы хоть сколько-нибудь помог ему ориентироваться в том, что происходит». Визит, сколько мне известно, не состоялся. Не знаю, отклонил ли его Ленин или Керенский сам отказался от своего намерения».

Впрочем, как мы можем судить, Ленин и без помощи Александра Федоровича сумел прекрасно «сориентироваться в том, что происходит». А вот самому Керенскому это удалось не слишком хорошо…

Когда в июне 1917 года Керенский и Ленин по очереди выступали с трибуны I съезда Советов, военный министр напомнил между прочим, сколь плачевно для революционеров закончилась французская революция (приходом к власти императора Бонапарта, а затем и Реставрацией).

— Наша задача, — заявил он с воодушевлением, — не допустить такого же печального конца и русской революции 1917

года. Наша задача заключается в том, чтобы дать возможность товарищу Ленину и дальше говорить здесь, а не возвращаться обратно в Швейцарию…

Сам Ленин, разумеется, считал подобное желание «остановить историю» наивным и заслуживающим только смеха… Да и возможность свободно «говорить здесь» при власти Керенского у него сохранялась еще только один месяц…

Директор гимназии Федор Керенский тоже серьезно повлиял на судьбу Владимира Ульянова. И дело не только в переданной им любви к русской литературе. В 1887 году Владимир уже считался братом тяжкого государственного преступника, но, несмотря на это, Керенский подписал ему самую хвалебную характеристику и наградил золотой медалью за успеваемость. Это позволило Ульянову поступить на юридический факультет университета…

Много десятилетий спустя у Александра Керенского — к тому времени уже давнишнего эмигранта — спросили, как он считает, смог бы Ленин возглавить страну, если бы Федор Керенский, наоборот, исключил его из гимназии. Александр Федорович глубоко задумался, а после сказал: нет, Ленин все равно должен был победить…

«Стена, да гнилая — ткни, и развалится!» В 1887 году Владимир Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета. На вопрос двоюродного брата, почему он решил стать юристом, Владимир отвечал: «Теперь такое время, нужно изучать науки права и политическую экономию. Может быть, в другое время я избрал бы другие науки…»

Но проучился Ульянов недолго, всего несколько месяцев. 4 декабря студенты устроили сходку. Они выдвигали вполне умеренные, либеральные требования. Однако четыре десятка зачинщиков сходки (и в их числе Ульянова) в тот же день арестовали. Их продержали под стражей несколько дней, а потом выслали из Казани. Всем им пришлось покинуть университет.

Согласно показаниям университетского начальства, Владимир Ульянов еще за два дня до сходки вел себя подозрительно: проводил время в курительной (хотя сам не курил), «о чем-то шушукаясь» с товарищами. А 4 декабря «бросился в актовый зал в первой партии», одним из первых несся по коридору, выкрикивал что-то, махал руками, воодушевляя этим остальных. Его видели «в первых рядах, очень возбужденного, чуть ли не со сжатыми кулаками».

После этих событий Ульянова выслали в Кокушкино под Казанью, в имение матери, под гласный надзор полиции. Эта

«ссылка» продолжалась до октября следующего года. Все это время Ульянов усиленно читал…

Один из хрестоматийных эпизодов в жизни Владимира Ильича — его разговор с полицейским после первого ареста. Вот как излагал эту историю большевик Владимир Адоратский:

«Владимир Ильич вспомнил, между прочим, один случай в связи со студенческими беспорядками, случившимися в конце 1887 года. В чем было дело и из-за чего произошла вся история, Владимир Ильич тогда уже не помнил. Но он помнил один разговор с арестовавшим его приставом, который вез его на извозчике. Владимир Ильич так живо рассказал мне этот разговор, что он мне врезался в память. Видимо, приставу, судившему по наружности молодого студента, которому было тогда всего 17 лет, показалось, что этот молодой человек попал в историю случайно, благодаря «дурным» влияниям товарищей. Пристав заговорил:

— Ну что вы бунтуете, молодой человек, — ведь стена!

Ответ, однако, получился совершенно неожиданный.

— Стена, да гнилая — ткни, и развалится! — отвечал Владимир Ильич.

Приставу оставалось только ужаснуться такой нераскаянности и закоренелости…»

«Юридически — значит фальшиво». После исключения из Казанского университета Владимира Ульянова не хотели принимать на учебу в другие подобные заведения. Ему припоминали то, что он брат казненного революционера, да и сам отчислен за вольнодумство. Владимиру пришлось изучать науки самостоятельно. В 1891 году он успешно сдал экзамены экстерном при юридическом факультете Петербургского университета.

Вскоре он стал помощником присяжного поверенного и оказался, возможно, самым молодым адвокатом России. Но дела, в которых он участвовал в Самарском суде, в основном касались мелких краж и особенной славы юному юристу не снискали.

Наиболее известное из судебных дел Владимира Ульянова — уголовное дело портного В. Муленкова, обвинявшегося в богохульстве. Есть даже картина, изображающая речь Ульянова на этом процессе. Портной провинился в том, что при свидетелях «матерно обругал Бога, Пресвятую Богородицу и Пресвятую Троицу». Вина его усугублялась тем, что заодно он «ругал царскую фамилию» и самого государя императора. И все же молодой адвокат добился для своего подзащитного не самого строгого приговора — одного года тюрьмы.

Всего же известны дела 24 подсудимых, которых довелось

защищать Ульянову. В большинстве случаев он так или иначе добивался смягчения участи своих подзащитных. Часто это бывали совсем мелкие дела. Так, один его клиент обвинялся в краже старого белья стоимостью 10 копеек. В этом деле Владимир Ильич добился полного оправдания своего подзащитного. Его подельника, которого защищал другой адвокат, присяжные признали виновным.

Вести дело Ф. Красикова, богатого купца первой гильдии, Ульянов отказался. Купец самолично явился к нему:

— Вот я к тебе и пришел, выгораживай меня!

— Не могу, не мастер, — ответил на это Владимир Ильич.

— Я ведь не даром прошу, — настаивал купец. — Грабь сколько хочешь!

Однако Ульянов повторил свой отказ.

— И за что он меня обидел, — недоуменно жаловался потом купец, — не пойму!

Своим коллегам Владимир Ильич объяснил:

— Заведомого вора защищать неохота!

— А я вот взял его дело, — сказал другой адвокат, — ибо поступаю по незыблемому закону правосудия: каждый, будь он даже вор, имеет право взять себе защитника!

— Против права вора брать себе защитника, — парировал Ульянов, — не возражаю, отвергаю только право защитника брать воровские деньги за защиту!

В суде Ульянов выступал, облачившись в парадный фрак отца. Вместе с фраком носил, как и полагалось, цилиндр… Большевик Григорий Зиновьев писал: «В.И. всегда в очень юмористических тонах рассказывал о немногих днях своей адвокатской «практики».

Позднее Владимир Ильич очень любил приводить «удачное» изречение Бебеля о юристах: «Юристы самые реакционные люди на свете». И слова Маркса: «Юридически — значит фальшиво».

«Это просто святая». Может показаться загадочным — родители Владимира Ильича вовсе не сочувствовали революции, но все их дети, кроме рано умершей Ольги, выросли революционерами. Александр, как сказано выше, стал террористом-народовольцем, все остальные — социал-демократами, большевиками. Как это объяснить?

Вероятно, сама атмосфера тех лет лепила из образованных людей революционеров — точно так же как спустя столетие она лепила из них диссидентов… Марии Александровне Ульяновой выпала нелегкая судьба: случалось, что все ее дети, кроме Владимира, находившегося в эмиграции, сидели за решеткой.

Бывший большевик Георгий Соломон вспоминал, как Владимир Ильич при нем однажды заговорил о своей матери. Его взгляд «вдруг стал мягким и теплым, каким-то ушедшим глубоко в себя, и он полушепотом сказал мне: «Мама… знаете, это просто святая…»

Хрестоматийный рассказ о Марии Александровне: однажды в 1899 году она пришла в столичный департамент полиции с очередным ходатайством за Владимира Ильича. И директор департамента ехидно бросил ей, не стесняясь присутствия других посетителей: «Можете гордиться своими детками — одного повесили, и о другом также плачет веревка».

От неожиданного оскорбления Мария Александровна выпрямилась: «Да, я горжусь своими детьми!..»

Вряд ли ее собеседник ожидал услышать такой ответ от вдовы «штатского генерала»… Конечно, революционеркой Мария Александровна не стала, но к концу жизни кое в чем переняла мировоззрение своих детей. В частности, совершенно оставила веру в Бога. В последние годы жизни она говорила о загробной жизни: «Это все сказки, ничего там нет. Хорошо бы умереть тихо, как заснуть».

Владимир Ильич последний раз виделся с матерью в сентябре 1910 года в Стокгольме. Вместе они провели несколько дней. Умерла Мария Александровна 12 июля 1916 года и была похоронена на Волковом кладбище Санкт-Петербурга. Ленин смог побывать на ее могиле только после своего возвращения в Россию, в апреле 1917 года.

Позднее он очень бережно относился к памяти о ней. Бывший комендант Смольного Павел Мальков вспоминал: «Сижу я как-то у себя в комендатуре, вдруг открывается дверь — на пороге Владимир Ильич, в шубе, шапке, как видно, едет на собрание или на митинг. В руках небольшая изящная деревянная шкатулка.

— Товарищ Мальков, у вас найдется пара минут?

Я вскочил.

— Владимир Ильич, да я…

Он замахал рукой.

— Сидите, сидите. Я ведь по личному делу.

Вид у Ильича какой-то необычный, пожалуй, даже чуть-чуть смущенный. Бережно протягивает мне шкатулку.

— Если вам не трудно, откройте эту шкатулочку, никак у меня не получается. Только, пожалуйста, осторожно, поаккуратнее, не испортьте. Я очень дорожу ею, тут письма от моей мамы.

«От мамы» — так и сказал!»

Глава 2
«Эта вещь дает заряд на всю жизнь»

Его изгнали из школы за то, что он протестовал против школы.

Он украл паспорт у художника Ленина, пообещав ему, что вернет, когда станет вождем. Но когда он стал вождем, он отправил этого художника в ссылку.

Из школьных сочинений о Ленине

Когда и каким образом Владимир Ильич из Ульянова превратился в Ленина? Это превращение произошло с ним вскоре после гибели брата, а точнее, во время высылки в Кокушкино. Сам псевдоним «Ленин» приклеился к нашему герою гораздо позже, но человек, которого все привыкли именовать этим словом, родился именно тогда. Правда, целеустремленность, сосредоточенность, необыкновенная энергия были свойственны Владимиру Ильичу и прежде. Но теперь они направились в одну точку, на новую цель — революцию.

И решающую роль в этом превращении сыграли не труды Маркса (с ними Ульянов тогда еще не был знаком), а сочинения Чернышевского. Не будет большим преувеличением сказать, что Ленин — это литературный герой, выдуманный Чернышевским, который со страниц его романа «Что делать?» перешел в реальную жизнь.

«Этот роман меня всего глубоко перепахал». Однажды в разговоре Владимир Ильич стал рассказывать о своей высылке в Кокушкино:

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год моей высылки в деревню из Казани. Это было чтение запоем с раннего утра до позднего часа. Я читал университетские курсы, предполагая, что мне скоро разрешат вернуться в университет. Читал разную беллетристику… Но больше всего я читал статьи, в свое время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное и лучшее, что печаталось по общественным и политическим вопросам в предыдущие

десятилетия. Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строки, и не один раз… От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве, литературе, и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля и то, как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, — это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал замечательные по глубине мысли обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный полемический талант меня покорили… Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но, если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунамеках. Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский… В бывших у меня в руках журналах, возможно, находились статьи и о марксизме, например статьи Михайловского и Жуковского. Не могу сейчас твердо сказать, читал ли я их или нет. Одно только несомненно — до знакомства с первым томом «Капитала» Маркса и книгой Плеханова («Наши разногласия») они не привлекали к себе моего внимания, хотя благодаря статьям Чернышевского я стал интересоваться экономическими вопросами, в особенности тем, как живет русская деревня… До знакомства с сочинениями Маркса, Энгельса, Плеханова главное, подавляющее влияние имел на меня только Чернышевский, и началось оно с «Что делать?».

Владимир Ульянов так увлекся идеями и творчеством Чернышевского, что в 1888 году попытался вступить с ним в переписку. «Узнав его адрес, — говорил он, — я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти…» Письмо Ульянова, написанное в сентябре 1888 года, к сожалению, до историков не дошло. Странно и то, что Чернышевский не ответил (его сын учился в университете вместе с Александром

Ульяновым, хорошо знал его судьбу, и вряд ли писателя могла оставить равнодушной эта фамилия)…

Надежда Крупская вспоминала о муже: «Он любил роман Чернышевского «Что делать?», несмотря на мало художественную, наивную форму его. Я была удивлена, как внимательно читал он этот роман и какие тончайшие штрихи, которые есть в этом романе, он отметил. Впрочем, он любил весь облик Чернышевского, и в его сибирском альбоме были две карточки этого писателя, одна, надписанная рукой Ильича, — год рождения и смерти». (На ней Ульянов написал, узнав о кончине писателя: «Октябрь 1889 года в Саратове».) Любопытно, что в один из самых трудных моментов революции, в 1919 году, Ленин сравнил судьбу всей страны с… судьбой Чернышевского. «Возьмем хотя бы Чернышевского, оценим его деятельность. Как ее может оценить человек, совершенно невежественный и темный? Он, вероятно, скажет: «Ну что же, разбил человек себе жизнь, попал в Сибирь, ничего не добился». Вот вам образец». Но лишения, которым подверг себя Чернышевский, не были напрасны; по той же причине не напрасны и лишения России.

Среди молодых революционеров в начале XX века к роману Чернышевского было принято относиться снисходительно — за «мало художественную форму», наивность изложения. Николай Вольский (Н. Валентинов, в те годы большевик) в 1904 году как-то в присутствии Ленина завел разговор об этом произведении.

— Диву даешься, — заметил он, — как люди могли увлекаться и восхищаться подобной вещью? Трудно представить себе что-либо более бездарное, примитивное и в то же время претенциозное. Большинство страниц этого прославленного романа написаны таким языком, что их читать невозможно…

«Ленин, — вспоминал Вольский, — до сего момента рассеянно смотрел куда-то в сторону, не принимая никакого участия в разговоре. Услышав, что я говорю, он взметнулся с такой стремительностью, что под ним стул заскрипел. Лицо его окаменело, скулы покраснели — у него это всегда бывало, когда он злился».

— Отдаете ли вы себе отчет, что говорите? — начал он с негодованием. — Как в голову может прийти чудовищная, нелепая мысль называть примитивным, бездарным произведение Чернышевского, самого большого и талантливого представителя социализма до Маркса? Сам Маркс называл его великим русским писателем.

— Он не за «Что делать?» его так называл, — защищался Вольский. — Эту вещь Маркс, наверное, не читал.

— Откуда вы знаете, что Маркс ее не читал? Я заявляю:

недопустимо называть примитивным и бездарным «Что делать?». Под его влиянием сотни людей делались революционерами. Могло ли это быть, если бы Чернышевский писал бездарно и примитивно?

Разгорячившись в споре, Ленин стал говорить о себе, что делал вообще весьма редко:

— Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал. Когда вы читали «Что делать?». Его бесполезно читать, если молоко на губах не обсохло. Роман Чернышевского слишком сложен, полон мыслей, чтобы его понять и оценить в раннем возрасте.

Я сам попробовал его читать, кажется, в 14 лет. Это было никуда не годное, поверхностное чтение. А вот после казни брата, зная, что роман Чернышевского был одним из самых любимых его произведений, я взялся уже за настоящее чтение и просидел над ним не несколько дней, а недель. Только тогда я понял глубину. Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь. Такого влияния бездарные произведения не имеют.

Какой же урок для себя Ленин извлек из романа? Он отмечал: «Величайшая заслуга Чернышевского в том, что он не только показал, что всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть революционером, но и другое, еще более важное: каким должен быть революционер, каковы должны быть его правила, как к своей цели он должен идти, какими способами и средствами добиваться ее осуществления». Ленин восхищался тем, что Чернышевский умел «и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров».

В своем романе Чернышевский выводит образцового, безупречного революционера — Рахметова. Это в общем-то второстепенный герой. Но именно таким людям, как Рахметов, автор посвящает следующие пламенные строки (в советских школах их, между прочим, учили наизусть): «Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли».

Большевичка Мария Эссен писала: «Чернышевского Ленин считал… крупным художником, создавшим непревзойденные образы настоящих революционеров, мужественных, бесстрашных борцов типа Рахметова.

— Вот это настоящая литература, которая учит, ведет,

вдохновляет. Я роман «Что делать?» перечитал за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли, — говорил Ленин».

Образ Рахметова позволяет понять Ленина лучше, чем все сочинения Маркса. Поэтому остановимся на нем подробнее. Всю свою жизнь — от чтения до гимнастики — Рахметов подчиняет определенной цели и строго продуманному распорядку. Цель, как нетрудно догадаться, — революция, которую Чернышевский иносказательно называет в конце романа «переменой декораций».

«Он [Рахметов]… принял оригинальные принципы и в материальной, и в нравственной, и в умственной жизни… Он сказал себе: «Я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине». А натура была кипучая. «Зачем это? Такая крайность вовсе не нужна». — «Так нужно. Мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, — мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности». Поэтому же он стал и вообще вести самый суровый образ жизни… Одевался он очень бедно, хоть любил изящество, и во всем остальном вел спартанский образ жизни; например, не допускал тюфяка и спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое… Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении времени положил на себя точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Ни четверти часа в месяц не пропадало у него на развлечение, отдыха ему не было нужно. «У меня занятия разнообразны; перемена занятия есть отдых».

Рахметов устраивает себе суровое испытание: лежит всю ночь на гвоздях. Пришедшему к нему посетителю открывается жутковатая картина. «Рахметов отпер дверь с мрачною широкою улыбкою, и посетитель увидел… спина и бока всего белья Рахметова (он был в одном белье) были облиты кровью, под кроватью была кровь, войлок, на котором он спал, также в крови; в войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей шляпками с-исподи, остриями вверх, они высовывались из войлока чуть не на полвершка; Рахметов лежал на них ночь. «Что это такое, помилуйте, Рахметов», — с ужасом проговорил Кирсанов. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же, на всякий случай нужно. Вижу, могу».

Конечно, Владимир Ульянов был далек от этого почти иконописного портрета, но не следует забывать, что Рахметов все-таки герой литературы, то есть идеальный, почти недостижимый

образец. О яркости образа Рахметова свидетельствует и такой любопытный факт — возможно, он единственный из героев Чернышевского, вошедший в советский фольклор. Вот примеры анекдотов об этом персонаже: «Рахметов был сильной личностью: он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин». «Собираясь в гости, Рахметов всегда брал с собой дощечку с гвоздями — чтобы было, на что присесть».

«Ленин был настоящий спортсмен». Ульянов старался следовать примеру Рахметова и в крупном, и даже в мелочах. Так, Рахметов серьезно занимался спортом. Правда, это был не совсем спорт… В романе читаем: «Стал очень усердно заниматься гимнастикою… На несколько часов в день он становился чернорабочим по работам, требующим силы: возил воду, таскал дрова, рубил дрова, пилил лес, тесал камни, копал землю, ковал железо; много работ он проходил и часто менял их, потому что от каждой новой работы, с каждой переменой получают новое развитие какие-нибудь мускулы. Он принял боксерскую диету: стал кормить себя — именно кормить себя — исключительно вещами, имеющими репутацию укреплять физическую силу, больше всего бифштексом, почти сырым, и с тех пор всегда жил так… Раз даже прошел бурлаком всю Волгу, от Дубовки до Рыбинска. Сказать, что он хочет быть бурлаком, показалось бы хозяину судна и бурлакам верхом нелепости, и его не приняли бы; но он сел просто пассажиром, подружившись с артелью, стал помогать тянуть лямку и через неделю запрягся в нее как следует настоящему рабочему; скоро заметили, как он тянет, начали пробовать силу, — он перетягивал троих, даже четверых самых здоровых из своих товарищей; тогда ему было 20 лет, и товарищи его по лямке окрестили его Никитушкою Ломовым, по памяти героя, уже сошедшего со сцены… «Так нужно, — говорил он, — это дает уважение и любовь простых людей. Это полезно, может пригодиться».

Очевидно, подражая любимому герою, заинтересовался спортом и Ленин. Это было большой редкостью для революционеров тех лет: как правило, они относились к спорту пренебрежительно или равнодушно. Бывший большевик Николай Вольский писал: «О всяких физических упражнениях Ленин мог разговаривать только со мною. С кем другим? Для других компаньонов Ленина эта область была столь же неведома, далека, чужда, как вязание чулок или вышивание на пяльцах… Беседуя с Лениным, я понял, откуда у него такая крепко сложенная фигура, бросившаяся в глаза при первой с ним встрече. Он был настоящий спортсмен, с большим вкусом ко всей гамме спорта. Оказалось,

что он умел хорошо грести, плавать, ездить на велосипеде, кататься на коньках, проделывать разные упражнения на трапеции и на кольцах, стрелять, охотиться и, как я мог убедиться, ловко играть на бильярде. Он мне поведал, что каждое утро, полуголый, он проделывает не менее 10 минут разные гимнастические упражнения, среди них на первом месте — разведение и вращение рук, приседание, сгибание корпуса с таким расчетом, чтобы, не сгибая ног, коснуться пола пальцами вытянутых рук».

«Эту систему упражнений, — пояснил Ленин, — я сам себе установил уже много лет. Не гимнастирую только, когда, работая ночью, чувствую себя утром усталым. В этом случае, как показал опыт, гимнастика не рассеивает усталость, а ее увеличивает».

Владимир Ильич говорил, что еще в Казани стал специально ходить в цирк, чтобы видеть атлетические номера. Но потом потерял к цирковым атлетам «всякое уважение», когда случайно узнал за кулисами цирка, что они пользуются легкими, пустыми гирями…

Можно сказать, что своей цели Ленин добился: если Рахметова в народе прозвали Никитушкой Ломовым, то Владимир Ильич в 1914 году в тюрьме получил от сокамерников почетную кличку Бычий Хлоп, то есть «крепкий мужик», «хлопец с бычьей шеей».

Один раз в 1904 году Ленин с Вольским разговорились о тяжелой атлетике. Вольский только что вышел из тюрьмы, где выдержал голодовку, и вид после этого имел осунувшийся и изможденный. Большевик Петр Красиков представил его Ленину так: «Смотрите, Ильич, на эту дохлую кошку. Можете ли вы поверить, что этот человек имел лошадиные мускулы и подбрасывал десятки пудов?»

«Конечно, — сразу оговаривается мемуарист, — я «не подбрасывал» и не мог «подбрасывать десятки пудов», таких Геркулесов в природе вообще нет, не было и не будет — это миф». Но Ленин заинтересовался и потом при случае спросил:

— Правда ли, что вы легко могли поднимать десять пудов?

— Нет, это очень, очень далеко от истины. Самое большое, что я двумя руками поднимал вверх на вытянутых руках было семь пудов двадцать фунтов (115 кг. — А.М.). Это вес, который могут поднять не все атлеты, подвизающиеся в цирках, но это, конечно, значительно меньше рекордов прославленных атлетов.

— Если, — заметил Ленин, — вы могли над головой поднять семь пудов двадцать фунтов, значит, могли бы поднять от земли наверное вдвое больше.

— Нет, это не так. Пробы поднятия от земли максимального

для данного лица веса мне кажутся опасными. Так можно нажить грыжу… Один раз поднял от земли нанемного девять пудов, и это было столь тяжело, что больше за такой номер не брался.

Ленин недоверчиво возразил:

— Здесь какой-то физический или физиологический абсурд! Не пойму, как же так — поднимали над головой семь пудов, а девять пудов еле подняли с земли?

Вольский стал доказывать Ленину, что тот заблуждается и «здравый смысл» здесь не работает. (Теперь, с учетом современных знаний о тяжелой атлетике, можно добавить, что в этом споре прав был как раз Ленин.) Владимира Ильича так увлекла тема разговора, что он попросил Вольского показать классические упражнения со штангой. Правда, настоящей штанги под рукой не оказалось, но Ильича это ничуть не смутило — взамен он принес половую щетку. Вольский взял ее в руки и принялся объяснять:

— Вот смотрите, Владимир Ильич, номер первый. Вы берете штангу двумя руками, вот так, быстро подымаете ее на грудь и от плеча, толчком рук, ног, спины, усилиями всего тела, вскидываете наверх, держа ее там на вытянутых руках. Вот так. Этот номер называется толканием двумя руками.

«Взяв половую щетку из моих рук, Ленин мастерски повторил, «скопировал» упражнение.

— Второй номер. На этот раз штанга не толкается от груди, а без всяких толчков медленно подымается, так сказать выжимается. Поэтому это упражнение называется выжиманием и оно много тяжелее первого. При нем крайне напрягаются бицепсы, трицепсы, мускулы плечевые и груди. Для облегчения можно корпус откинуть немного назад. Ноги должны быть раздвинуты для придания себе большей опоры. Если же приставить их одна к другой, встать, как говорят русские атлеты, в «солдатскую стойку», упражнение делается еще более тяжелым.

Ленин и это упражнение в солдатской стойке и без нее проделал снова мастерски.

— Наконец, третье основное упражнение — выбрасывание. Штанга берется на этот раз одной рукой и должна быть быстро поднята вверх и там удержана. Ничего не выйдет, если пробовать взметывать ее вот так на вытянутой руке. Тут требуется следующий трюк…

Два раза «трюк» не удавался Ленину, в третий он сымитировал его превосходно». Атлетические упражнения Ленина с половой щеткой случайно увидела его теща Елизавета Васильевна. Это зрелище вызвало у нее бурный приступ смеха. «Держа платок у рта, она тряслась от хохота». Заметив ее, Ленин

строго воскликнул:

— Елизавета Васильевна, не мешайте нам, мы занимаемся очень важными делами!

Весьма характерно для Ленина, что он ничуть не боялся показаться смешным, всерьез упражняясь с половой щеткой. Он вообще никогда не боялся выглядеть смешным. А в позднейшем (70-х годов) фольклоре эта история, видимо, отразилась в следующем анекдоте: «Любил Владимир Ильич спортом заниматься. Особенно штангу уважал, хотя поднять не мог…»

«Это уже замашки Чухломы». Когда Ленин жил в Швейцарии, он часто отправлялся на прогулку в горы — как он выражался, «размять старые кости». Любил быструю ходьбу на природе. «Как приятно, — замечал он, — иногда бывает отряхнуть прах от ног своих и бежать в горы от бесконечных дел и дрязг женевских». Ленин не считал такое времяпрепровождение простым развлечением, бесполезной тратой времени. Он советовал товарищам:

— Поверьте, что ваша работа будет гораздо продуктивней, если вы час-два побродите в лесу, чем если будете сидеть в душной комнате, беспощадно тереть лоб и глушить папиросу за папиросой…

«Ходить по горам страшно любил Ильич, — писала Крупская. — Высоты не боялся — в горах ходил «по самому краю».

Взобравшись на вершину, откуда открывался хороший вид на окрестности, радостно восклицал: «Видите, наши усилия не пропали даром!.. Нам стоило сюда карабкаться!»

Крупская описывала один из таких длительных походов: «Мы с Владимиром Ильичем [так в цитате; и далее] взяли мешки и ушли на месяц в горы… Мы… выбирали всегда самые дикие тропинки, забирались в самую глушь, подальше от людей. Пробродяжничали мы месяц: сегодня не знали, где будем завтра, вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали. Деньжат у нас было в обрез, и мы питались больше всухомятку — сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка».

Любил Владимир Ильич и зимние горнолыжные прогулки. «Хорошо на горах зимой! — писал он в 1916 году. — Прелесть, и Россией пахнет». Мария Ульянова замечала: «Он очень любил всякие игры на воздухе: городки, крокет… Такие сражения в крокет бывали — страстные, азартные. Игра в городки процветала в Горках».

Здоровье Ленин ценил по-рахметовски: как важное оружие

революции. Шутливо называл его «казенным имуществом». «Нельзя, — говорил он, — чтобы организм работал на снос». Когда он услышал от одного из товарищей, что тот не ходил к врачу, несмотря на болезнь, на его лице появилось выражение неподдельной брезгливости.

«У доктора не были? — повторил он. — Это уж совсем некультурно, это уже замашки Чухломы… Здоровье надо ценить и беречь. Быть физически сильным, здоровым, выносливым — вообще благо, а для революционера — обязанность. Допустим, вас выслали куда-нибудь к черту на кулички в Сибирь. Вам представляется случай бежать на лодке, это предприятие не удастся, если не умеете грести и у вас не мускулы, а тряпка. Или другой пример: вас преследует шпик. У вас важное дело, вы обязательно должны шпика обуздать, другого выхода нет. Ничего не получится, если нет силенок».

Самым ярким «спортивным подвигом» Рахметова был, как уже упоминалось, поход в качестве бурлака по Волге. В эпоху Ульянова бурлаков здесь уже не оставалось, но походы по реке Владимир Ильич совершал. Вот еще одно свидетельство Вольского: «О гимнастике и физических упражнениях мы потом неоднократно говорили с Лениным. Он как-то мне рассказывал, что, живя в Самаре, несколько раз совершал на лодке один, без компаньонов, четырехдневное путешествие по Волге, по маршруту, названному самарскими любителями лодочного спорта «кругосветкой». Из Самары нужно было спуститься вниз по Волге… Километров семьдесят от Самары, на правом берегу Волги, у села Переволоки, лодка перетаскивалась в речку Уса, текущую… параллельно Волге, но в обратную сторону и впадающую в Волгу… Выплывая на Волгу, отсюда возвращались в Самару… Трудно было «волочить», перетаскивать лодку от села Переволок в Усу, кажется — около трех километров».

Впрочем, не всегда Ульянов путешествовал в одиночестве. Сохранились воспоминания участника одной из таких «кругосветок» Алексея Белякова. Он запомнил восклицание Владимира Ильича во время похода: «Хорошо быть Робинзонами!»

«Какие чудесные велосипеды». Находясь в Швейцарии, Ленин как-то посетовал жене, что у него нет своего велосипеда — а он так любит велосипедную езду. Об этом разговоре узнала мать Владимира Ильича, которая вскоре прислала ему в подарок два велосипеда. Он искренне обрадовался и хвастался своим приобретением перед товарищем: «Смотрите, какое великолепие!.. Вдруг — уведомление из Транспортного общества: куда прикажете доставить посылку? Я подумал, что вернулась

какая-либо нелегальщина, литература, а может быть, кто выслал книги? Приносят, и вот вам нелегальщина! Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды… Ай да мамочка! Вот удружила! Мы теперь с Надей сами себе господа. Поедем не по железной дороге, а на велосипедах».

Большевичка Злата Лилина вспоминала, как Ленин в 1911 году под Парижем отправлялся на велосипедные прогулки: «В.И. работал 6 дней в неделю, не давая себе ни минуты отдыха. Зато один день в неделю… он отдыхал полностью. Мы тогда садились все четверо — Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Зиновьев и я — на велосипеды и уезжали с 6 часов утра до 10–11 вечера за город. Условие, которое В.И. при этом ставил, — ни слова о политике. В первый раз, когда мы поехали, мне казалось странным: о чем же мы будем говорить, если нельзя говорить о политике. Но оказалось, что с В.И. можно говорить обо многом, не касаясь политики. В.И. был прекрасным велосипедистом». Большевик Григорий Зиновьев добавлял: «Сколько раз в Париже В.И. увлекал нас на велосипеде за 50–70 верст только для того, чтобы на живописном берегу красивой реки выкупаться и погулять. Поездка в полсотни верст на велосипеде в прекрасный французский лес для того, чтобы собрать ландышей, считалась обычным делом».

Случалось, велосипед доставлял Ленину и неприятности. Однажды, задумавшись, он въехал в трамвайные рельсы, упал на полном ходу и чуть было не лишился глаза. Лицо его после этого было в синяках и ссадинах… Другой раз, в Париже, велосипед украли. «Раз чуть не пострадал, — замечала Мария Ульянова, — какой-то виконт налетел на него на своем автомобиле, Владимир Ильич успел отскочить, но велосипед совершенно сломался».

«Вот как я столкнулся с диалектикой, — шутил Ленин, — сел на велосипед, а соскочил с кучи железного лома».

Правда, ему удалось выиграть по суду крупную сумму у этого французского виконта: вот где неожиданно пригодились юридические познания Владимира Ильича.

«Смотрю — не сырые ли простыни». Ленин внимательно следил не только за своим здоровьем, но и за здоровьем окружающих. В 1907 году, находясь в Лондоне, Ленин поразил своим странным поведением Максима Горького. Придя к писателю в гостиницу, Владимир Ильич поздоровался, затем быстро направился к кровати и, ни слова не говоря, стал озабоченно шарить рукой под одеялом и подушкой.

— Я стоял, — рассказывал потом Горький, — чурбаном, абсолютно не понимая, что делает и для чего это делает Ленин.

Не с ума ли он сошел?

Наконец Горький воскликнул:

— Что это вы делаете?

— Смотрю, — невозмутимо отвечал Ленин, — не сырые ли простыни.

Писатель опять ничего не понял. «Зачем ему нужно знать — какие в Лондоне простыни?» Поступок Ленина, заметим, был чисто рахметовским — абсолютно непонятным на первый взгляд, но в то же время, как выяснилось, тщательно продуманным.

— Слава аллаху, — завершал свой рассказ Горький, — мое смущение и недоумение быстро окончились: Ленин, подойдя ко мне объяснил, что в Лондоне климат очень сырой, даже летом, и нужно тщательно следить, чтобы постельное белье не было влажным. Это очень опасно и вредно для лиц, как я — Горький, — с больными легкими.

— Простыни-то совсем сырые, — посетовал Владимир Ильич, — надо бы их посушить, хотя бы перед этим дурацким камином!.. Вы должны следить за своим здоровьем.

Вся эта сценка оставила у Горького «несколько комичное впечатление». В 1913 году Ленин снова писал Горькому: «Расхищать зря казенное имущество, т. е. хворать и подрывать свою работоспособность, — вещь недопустимая во всех отношениях».

Большевичка Ольга Лепешинская вспоминала, как однажды в Красноярске Владимир Ильич спросил у нее (она в это время ожидала ребенка):

«— Чего бы вам сейчас хотелось поесть?

— Мой младенец хочет омаров…

Я решила пошутить так, считая, что просьба моя невыполнима. Однако Ильич, схватив фуражку, быстро вышел из дому, раздобыл в каком-то магазине консервы из крабов и преподнес их мне, к моему великому смущению».

Подобное внимание к здоровью окружающих Ленин проявлял и позднее, до конца жизни. В дни Октября он заметил, что один из товарищей буквально падает с ног от усталости. И распорядился строго: «Спать, вам надо спать. Вы бы, товарищи, поставили к нему пару красногвардейцев и заставили бы его выспаться. — Потом обратился к самому «провинившемуся»: — Вы, быть может, обиделись на меня? Я не хотел вас обидеть, но вы валитесь; и для дела, и для здоровья вам нужно 3–4 часа отдохнуть».

Сам Ленин признавался приблизительно тогда же: «Моя мечта — полчасика вздремнуть».

Его секретарь Лидия Фотиева вспоминала такой эпизод:

«Доктор Кожевников, который лечил Ленина, рассказывает, что 7 ноября 1922 года он был у Владимира Ильича и сказал ему, что собирается идти на Кремлевскую стену — смотреть с нее парад и демонстрацию. Владимир Ильич сейчас же спросил, достаточно ли тепло он одет. Узнав, что доктор одет в осеннее пальто, Ленин стал настаивать, чтобы он взял его шубу. Доктор Кожевников, взволнованный и смущенный, долго отказывался, но Ленин так настаивал, что тот вынужден был согласиться и простоял на Кремлевской стене несколько часов в шубе Владимира Ильича…»

Вообще в общении с товарищами Владимир Ильич бывал очень любезен и обаятелен. Своим домашним гостям глава правительства вежливо подавал пальто и даже галоши. В. Адоратский вспоминал их встречу после революции: «Я не видал его с 1912 года. На мой взгляд, он нисколько не изменился. Это был тот же веселый, милый, простой Владимир Ильич. Мы с ним поцеловались». Однажды такими поцелуями Ленин стал обмениваться со своими старыми друзьями на глазах у огромного зала. Участник этого заседания С. Зорин вспоминал:

«Кто-то недоумевает:

— Ильич целуется! Ильич может целоваться?!»

«Надо попробовать достать дно». В спорте (включая охоту, рыбалку, шахматы) Ленин обычно проявлял себя по-мальчишески азартным. «Владимир Ильич ничего не умел делать наполовину, — замечала Н. Крупская, — не отдаваясь делу со всей страстью». Любил плавать, нырять и непременно старался в самых глубоких местах реки или озера «достать дно». Полотенцем после купания не пользовался, надевал рубашку прямо на мокрое тело, объясняя: «Так лучше, свежесть дольше остается».

Вот характерный рассказ большевика Владимира Бонч-Бруевича о Ленине как пловце:

«Несколько раз я ходил с ним купаться, и так как он был замечательный пловец, то мне бывало жутко смотреть на него: уплывет далеко-далеко в огромное озеро, линия другого берега которого скрывалась в туманной дали, и там где-то ляжет и качается на волнах… А я знал и предупреждал его, что в озере есть холодные течения, что оно вулканического происхождения и потому крайне глубоко, что в нем есть водовороты, омуты, что, наконец, в нем много тонет людей и что по всему этому надо быть осторожным и не отплывать далеко. Куда там!

— Тонут, говорите… — переспросит, бывало, Владимир Ильич, аккуратненько раздеваясь…

— Да, тонут, — вот еще недавно…

— Ну, мы не потонем… Холодные течения, это неприятно…

Ну, ничего, мы на солнышке погреемся… Глубоко, говорите?..

— Чего уж глубже!..

— Надо попробовать достать дно…

Я понял, что лучше ему ничего этого не рассказывать, так как он, как настоящий, заядлый спортсмен, все более и более каждый раз при этих рассказах начинает распаляться, приходить в задор…»

Понырял вволю, Ленин крикнул: «Дна не достал, там шибко глубоко. Хо-р-р-о-о-шо!»

После купания: «Доволен из всех сил… Хвалит озеро… Хвалит разнообразную температуру… Говорит, как попал в холод — словно обожгло, — а потом на солнышко. И нырял глубоко: ни травы, ни дна, ничего не видно, даже темно в воде…»

«Ну-ка, кто со мной вперегонку?» В селе Шушенском во время ссылки, купив в Минусинске коньки, Ленин и утром, и вечером бегал на реку кататься. В ноябре 1898 года он сообщал родным: «Теперь у нас явилось новое развлечение — каток, который отвлекает сильно от охоты». Спустя пару месяцев: «На коньках я катаюсь с превеликим усердием. Глеб (Кржижановский. — А.М.) показал мне в Минусе разные штуки (он хорошо катается), и я учусь им так ретиво, что однажды зашиб руку и не мог дня два писать… А моцион этот куда лучше зимней охоты, когда вязнешь, бывало, выше колен в снегу, портишь ружье и… дичь-то видишь редко!»

Местные жители, по словам Крупской, «поражались разными гигантскими шагами и испанскими прыжками» Владимира Ильича. Старый большевик Пантелеймон Лепешинский вспоминал, как состязались между собой товарищи по ссылке: «Во всех видах спорта (особенно же в игре в шахматы) Ильич всегда первенствовал… Высыпает, например, своя компания на гладкий лед замерзшей реки, чтобы «погиганить» на коньках. Возбужденный и жизнерадостный Ильич уже первый там и задорно выкрикивает: «Ну-ка, кто со мной вперегонку»… И вот уже несколько пар ног на славу работают, «завоевывая пространство». А впереди всех Ильич, напрягающий всю свою волю, все свои мышцы, наподобие излюбленных персонажей Джека Лондона, лишь бы победить во что бы то ни стало и каким угодно напряжением сил».

«Какие прекрасные грибы!» Иногда Ленин неохотно начинал какое-то новое дело, но стоило ему увлечься, как он и здесь входил в настоящий «раж». Так было, например, со сбором грибов. «Ильич, — писала родным Крупская, — заявил, что не

любит и не умеет собирать грибы, а теперь его из леса не вытащишь, приходит в настоящую грибную ражь».

«Был азартный грибник… Страшно любил ходить по лесу вообще», — добавляла она потом. «Ильич очень любил горы, любил под вечер забираться на отроги Ротхорна, когда наверху чудесный вид, а под ногами розовеющий туман… Ложились спать с петухами, набирали альпийских роз, ягод, все были отчаянными грибниками — грибов белых была уйма, но наряду с ними много всякой другой грибной поросли, и мы… азартно спорили, определяя сорта…» В 1916 году произошел такой характерный случай: «Спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич вдруг увидел белые грибы и, несмотря на то что шел дождь, принялся с азартом за их сбор… Мы вымокли до костей, но грибов набрали целый мешок».

В. Бонч-Бруевич описывал свою лесную прогулку с Лениным в августе 1918 года: «Мы вышли с ним на чудесную поляну, всю окруженную молодыми березками, осинами, елочками. Мягкий зеленый мох так и манил к себе.

— Вот тут должны быть грибы! — воскликнул Владимир Ильич и со страстью охотника стал внимательно осматривать кочки, кусты, березки. И действительно, грибы пошли…

— Какая прелесть! — любовался он, показывая мне их. — Какие прекрасные грибы! И как здесь чудесно!»

«Синьор Дринь-дринь». Точно таким же Ленин был и в охоте, и в рыбалке. Максим Горький рассказывал, как на Капри Владимир Ильич учился рыбачить непривычным для него образом — без удочки. Не зная итальянского, он общался с местными рыбаками на странной смеси французских и латинских слов.

«Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Козu: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже как дети радостно захохотали и прозвали рыбака Синьор Дринь-дринь.

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет Синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?»

«Зайцы нам быстро надоели». «Из всех видов физического

спорта он особенно любил охоту», — писал Лепешинский о Ленине. Охотиться он учился еще в Кокушкине во время высылки. «Владимир Ильич охотился за зайцами, — вспоминала Мария Ульянова, — но должно быть неудачно, и сестра часто поддразнивала его этими неудачами». Как-то раз после прогулки он сказал ей:

— А нам нынче заяц дорогу перебежал.

— Володя, — пошутила Анна, — это, конечно, тот самый, за которым ты всю зиму охотился.

Действительно, меткостью в стрельбе Ленин не отличался. Но где нельзя было взять природным талантом, там Ленин брал удвоенным старанием. Так было во время ссылки в Шушенском. П. Лепешинский рассказывал: «Лучшие охотники — Курнатовский и Старков; что же касается Ильича, то он большой мастер «пуделять» (охотничий термин, означающий неудачные выстрелы с промахами). Но разве может он и в этом деле отстать от других, быть в числе «последних»? Нив коем случае. И если Старков исходит двадцать верст, то Ильич избегает (буквально избегает) по кочкам и болотам сорок верст, гонимый надеждой где-нибудь да подстрелить такую глупую птицу, которая позволит приблизиться к ней на расстояние достаточно близкое, чтобы какая-нибудь шальная дробинка горе-охотника нашла-таки наконец свою несчастную жертву».

«Владимир Ильич был страстным охотником, — писала Крупская о том же времени, — завел себе штаны из чертовой кожи и в какие только болота не залезал. Ну, дичи там было… Горячился очень. Осенью идем по далеким просекам. Владимир Ильич говорит: «Знаешь, если заяц встретится, не буду стрелять, ремня не взял, неудобно будет нести». Выбегает заяц, Владимир Ильич палит». «Ну и задам же я перцу сегодня зайцам!» — воинственно приговаривал Ленин, отправляясь на охоту. А если охота бывала неудачной, разочарованно приговаривал: «Вот досада, хоть бы общипанный какой выскочил!»

По словам Крупской, во время утиной охоты Ленин в азарте ползал за утками на четвереньках. Она замечала о нем:

— Ильич — волевая натура… Овладевшее им желание он немедленно осуществляет. В Сибири, если на него нападало желание идти на охоту, он шел охотиться, не считаясь ни с погодой, ни с тем, что другие указывали на невозможность охоты в такую погоду.

Довольно яркий охотничий случай произошел с Лениным в той же ссылке. «Позднею осенью, — писала Крупская, — когда по Енисею шла шуга (мелкий лед), ездили на острова за зайцами. Зайцы уже побелеют. С острова деться некуда, бегают, как овцы,

кругом. Целую лодку настреляют, бывало, наши охотники». Владимира Ильича не смутило, что охота на таких «овец» выглядит не слишком спортивно. Но она довольно быстро ему прискучила. «Зайцев, — писал он родным, — здесь я бил осенью порядком, — на островах Енисея их масса, так что нам они быстро надоели…»

Александра Коллонтай вспоминала, как в декабре 1917 года уговаривала Владимира Ильича отдохнуть на охоте в Финляндии. Он отвечал:

— Охота вещь хорошая, да вот дел у нас непочатый край.

Потом поддался уговорам и стал расспрашивать ее:

— Так, значит, домик отдельный и теплый, говорите вы, и в лесу охотиться можно? А есть ли там зайцы?

Коллонтай ответила, что за зайцев не ручается, но, наверное, есть белки.

— Ну белок стрелять — это детская забава…

Ян Рудзутак охотился вместе с Лениным в феврале 1921 года: «Раз, после утомительной ходьбы по глубокому снегу, уселись на пнях отдохнуть. Начались шутки и «охотничьи рассказы». Один из охотников, явно увлекшись, заявил, что убил в Крыму орла весом в два пуда. Я, придравшись к случаю позубоскалить, начал расспрашивать: не чугунный ли это был орел с ворот какой-нибудь княжеской виллы. Видно было, что Ильич так сконфузился за товарища, как будто его самого уличили в чем-либо неблаговидном, и немедленно перевел разговор на другую тему».

Рассказывал Рудзутак и такой любопытный случай: «Выскочил из загона заяц, которого Ильич уложил метким выстрелом. Ильич, не дождавшись окончания загона, заторопился к убитому зайцу. В это время совсем рядом выскочил другой заяц и благополучно скрылся в кустах. Я не выдержал: «Эх, вы, за убитым погнались, а живого упустили». Ильич сконфузился:

— Да, действительно, нехорошо я сделал.

И добавил примирительно:

— В следующий раз не буду».

Гуляя по лесу с ружьем, Ленин говорил: «Воздух, воздух какой чудесный! Побудешь пару часов в лесу, надышишься на целую неделю. Жаль только, что мы, горожане, редко бываем наедине с природой!.. Чудесно, чудесно! Так бы и ходил по нему с утра и до вечера!»

Чекист В. Манцев описывал такой эпизод на охоте с Лениным: «Помню, мы с ним как-то проходили целый день (ходили он, я, его брат и еще один товарищ) и ничего не убили. Потом, когда мы возвращались, поднялся тетерев. Мы

обрадовались и почти одновременно вчетвером выстрелили. Тетерев был молодой, после четырех выстрелов от него остался только один пух. Но Владимир Ильич высказал громадное удовлетворение такими результатами. Он сказал:

— Придем домой, и некому будет хвастаться, кто убил, — все попали».

Однажды Ленин и другие охотники заплутали в лесу. Среди них был бывший советский Верховный главнокомандующий Николай Крыленко.

— Ну а ты сможешь найти выход? — спросил Ленин у него.

Тот отрицательно покачал головой.

— Непростительно, — заметил Ленин с усмешкой. — Ведь ты же был главнокомандующим.

Из леса всех вывел сам Ленин — оказалось, он лучше остальных запомнил дорогу…

Вот собственный рассказ главы советского правительства об одной охоте: «Я, знаете ли, прошлой осенью поехал в деревню с товарищами отдохнуть. Ну беседовали мы с крестьянами и крестьянками о деревенской жизни. Чайку попили. Потом пошли поохотиться. Хозяин говорил, что под самой деревней есть озерцо в камышах, там масса уток. Приходим туда. Сняли башмаки, закатили штаны и полезли в озеро… Топко. Шуршит камыш, из-за него ничего не видно. Высокий. Мы шлепаем по воде. Ноги уходят выше колена в тину, с усилием вытаскиваем их. Слышим, где-то впереди из камыша вылетают утки и… пропадают — нам из-за камыша их не видно. Мы все болтаемся в тине, с плеском и шумом. Так, должно быть, с час промаялись… «Да ну их к черту, — говорит товарищ… — Этак мы до вечера без толку будем болтаться…» Насилу вылезли. На берегу собрались ребятишки. Как глянули на нас, давай хохотать и шлепать в ладошки. «Дяденьки, дяденьки, да вы всю тину с озера выгребли». Мы глянули друг на друга и тоже стали хохотать. Жалко — не было ни художника, ни фотографа. Надо было нас увековечить…»

Упустив добычу, Ленин иногда шутил: «Пусть живут», — глядя, например, на разлетающихся глухарей.

В советских хрестоматиях часто упоминался случай с лисицей, описанный Крупской. Произошло это уже после революции. «Устроили раз охоту на лис, с флажками. Все предприятие очень заинтересовало Владимира Ильича.

«Хитро придумано», — говорил он. Устроили охотники так, что лиса выбежала прямо на Владимира Ильича, а он схватился за ружье, когда лиса, постояв с минуту и поглядев на него, быстро повернула в лес». Ленин стал ругаться на себя:

— Сапог я, а не охотник, мне не на охоту ходить.

— Что же ты не стрелял?

— Уж очень она была красива.

Ленин действительно залюбовался лисой, но упускать ее вовсе не собирался. В некоторых мемуарах эта лисица превратилась в целых трех лисиц. Участник охоты Н. Лихачев: «На лисиц он [Ленин] только любовался, а стрелять не хотел.

— Уж больно они красивые, — говорил».

На самом деле Владимира Ильича расстроил этот промах. «Помню, — писал Троцкий, — с каким прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то навсегда непоправимого, Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве по лисице в 25-ти шагах. Я понимал его, и сердце мое наливалось сочувствием».

«Он был очень смешлив». Глеб Кржижановский писал: «Вспоминаю, что когда в период сибирской ссылки в одном из разговоров с В.И. я рассказал ему об определении здорового человека, данном известным в то время хирургом Бильротом, по которому здоровье выражается в яркой отчетливости эмоциональной деятельности, В.И. был чрезвычайно доволен этим определением». Ленин заявил, что Бильрот «попадает в точку».

«Вот именно так, — сказал он, — если здоровый человек хочет есть — так уж хочет по-настоящему; хочет спать — так уж так, что не станет разбирать, придется ли ему спать на мягкой кровати или нет, и если возненавидит — так уж тоже по-настоящему…»

«Я взглянул тогда, — продолжал Кржижановский, — на яркий румянец его щек и на блеск его темных глаз и подумал, что вот ты-то именно и есть прекрасный образец такого здорового человека… Если Владимир Ильич смеялся, то смеялся от души, до слез, невольно заражая своим смехом окружающих, а гнев его немедленно принимал также выразительные формы».

Максим Горький в своих воспоминаниях о Ленине много раз возвращается к описанию его «удивительного смеха»: «Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист… может смеяться по-детски, до слез, захлебываясь смехом… Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слез. Краткому характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения…» Заметим, что далеко не всегда эта привычка Ленина вызывала у Горького умиление, — например, в 1919 году он с раздражением говорил Корнею Чуковскому:

«Хохочет. Этот человек всегда хохочет». Один из знакомых Горького — итальянских рыбаков, послушав, как по-детски смеется Владимир Ильич, сказал о нем: «Так смеяться может только честный человек».

Лев Троцкий писал: «Он был очень смешлив, особенно когда уставал. Это в нем была детская черта». Когда Ленин уже возглавлял правительство, Троцкий на заседаниях иногда отправлял ему деловые записочки, написанные в шутливом тоне. «Я с торжеством наблюдал, — вспоминал он, — как он забавно борется с приступом смеха, продолжая строго председательствовать. Его скулы выдавались тогда от напряжения еще более». «Сам Ленин любил всегда смеяться, — замечал большевик Анатолий Луначарский. — Улыбка на его лице появлялась чаще, чем у любого другого… В самые страшные минуты, которые нам приходилось переживать, Ленин был неизменно ровен и так же наклонен к веселому смеху». «Он смеялся очень ярко иногда, — рассказывал В. Молотов. — Как колокольчик. Ха-ха-ха-ха-ха! Раскатисто очень, да». «Ух, как умел хохотать, — писала Крупская. — До слез. Отбрасывался назад при хохоте».

«Юмор — прекрасное, здоровое качество, — говорил сам Ленин. — Я очень понимаю юмор, но не владею им.

А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше».

«Я бы с ума сошел, если бы пришлось жить в коммуне».

Л. Троцкий отмечал: «Ленин не знал безразличного отношения к людям… Нередко в подлинном смысле слова влюблялся в людей. В таких случаях я дразнил его: «Знаю, знаю, у вас новый роман». Ленин сам знал об этой своей черте и смеялся в ответ чуть-чуть конфузливо, чуть-чуть сердито». «У Владимира Ильича постоянно бывали такие полосы увлечения людьми, — писала Н. Крупская. — Подметит в человеке какую-нибудь ценную черту и вцепится в нее».

Будучи по характеру веселым, увлекающимся человеком, Ленин предпочитал общаться с такими же родственными ему натурами. Об одном товарище он заметил: «Это очень хороший человек, то есть честный и полезный партии революционер, беда только, но это уже относится к области личных отношений, он скучен, как филин, смеется раз в год, да и то неизвестно по какому поводу».

Н. Вольский писал: «Он чурался скучных, очень мрачных и бесстрастных людей… Если можно так выразиться, он любил страстных (вернее, пристрастных) и веселых революционеров». «В

тесном дружеском кругу, — отмечал Кржижановский, — Владимир Ильич немедленно становился душою всего общества. Именно около него слышались самые страстные речи и наиболее веселый смех». «Владимир Ильич — центр всеобщего веселья, — писал большевик Николай Семашко. — Его юмор, жизнерадостность, клокочущая энергия проявляются и здесь; вокруг него стон стоит от смеха».

В. Бонч-Бруевич вспоминал декабрь 1903 года в Женеве. Товарищи Ленина тогда сидели, погруженные в дела, а в городе бурлил праздничный женевский карнавал. «Не до веселья было нам. На улицу даже не тянуло. Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич, оживленный, веселый».

— Что это мы все сидим за книгами, — задорно спросил он, — угрюмые, серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски… Идемте гулять!.. Все важные вопросы отложим до завтра…

Компания большевиков вышла на улицу, стала разбрасывать серпантин и конфетти. Ленин лихо заломил свою кепку на затылок. «Кое-кто принялся танцевать. Вдруг Владимир Ильич быстро, энергично схватив нас за руки, мгновенно образовал круг около нескольких девушек, одетых в маски, и мы запели, закружились, заплясали вокруг них. Те ответили песней и тоже стали танцевать. Круг наш увеличился, и в общем веселье мы неслись по улице гирляндой, окружая то одних, то других, увлекали всех на своем пути». Ленин был запевалой и заводилой в этой неистовой пляске. По обычаю карнавала большевики не выпускали девушек-из круга, пока те не соглашались с ними поцеловаться… «Всю ночь мы так проканителились на улице, — писал большевик Мартын Лядов. — Как хохотал Ильич, заразительно весело, и мы все чувствовали себя точно дети».

Пляшущих большевиков на женевской улице увидели их противники — меньшевики.

— Твердокаменные пошли! — острили они.

— Дорогу мягкотелым! — задиристо отвечали большевики.

«Если отдыхать, так отдыхать, — говорил Владимир Ильич. — Если дело делать, так уж делать». «Ленин умеет отдыхать, — отмечал Луначарский. — Он берет этот отдых, как какую-то ванну, во время его он ни о чем не хочет думать и целиком отдается праздности и, если только возможно, своему любимому веселью и смеху».

В. Молотов говорил о Ленине: «Он компанейский человек». Но, как видно, компанейство Ленина имело свои пределы. Владимир Ильич всегда возмущался, когда кто-то без разрешения вторгался в его уединение и отвлекал его от намеченных занятий.

«Что у нас, праздники, что ли?» — сердился он в таких случаях. Впрочем, в этом он тоже следовал примеру Рахметова, который соблюдал «то же правило, что и в чтении, — не тратить времени над второстепенными делами и с второстепенными людьми, заниматься только капитальными, от которых уже и без него изменяются второстепенные дела и руководимые люди. Например, вне своего круга он знакомился только с людьми, имеющими влияние на других. Кто не был авторитетом для нескольких других людей, тот никакими способами не мог даже войти в разговор с ним. Он говорил: «Вы меня извините, мне некогда» — и отходил».

Владимир Ильич говорил: «Нельзя жить в доме, где все окна и двери никогда не запираются, постоянно открыты на улицу и всякий проходящий считает нужным посмотреть, что вы делаете. Я бы с ума сошел, если бы пришлось жить в коммуне, вроде той, что в 1902 году Мартов, Засулич и Алексеев организовали в Лондоне. Это больше, чем дом с открытыми окнами, это проходной двор. Мартов весь день мог быть на людях. Этого я никак не могу. Впрочем, Мартов вообще феномен. Он может одновременно писать, курить, есть и не переставать разговаривать хотя бы с десятком людей. Чернышевский правильно заметил: у каждого есть уголок жизни, куда никто никогда не должен залезать, и каждый должен иметь «особую комнату» только для себя одного».

«В игре Ленина нет элегантности». Во всех своих житейских увлечениях Ленин неизменно оставался самим собой: таким же азартным, увлеченным, настроенным на победу любой ценой. Максим Горький писал: «Азарт был свойством его натуры… Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков».

Н. Крупская вспоминала, что Владимир Ильич не пренебрегал и картежной игрой: садился с товарищами поиграть «в дураки», «расчетливо и с азартом играл». М. Горький: «Я знаю Ленина, когда он играл в карты в «тетку», любил игру и хохотал так, как умеет только он один». Социал-демократ Василий Десницкий: «Эта игра — винт наизнанку, в которой нужно не набирать взятки, а, наоборот, брать их как можно меньше, — забавляла Владимира Ильича. Он весело потирал руки, шутил, награждая Алексея Максимовича (Горького. — А.М.)и его партнера взятками…»

Шахматную игру Ленин воспринимал вполне серьезно, как ребенок или профессиональный шахматист. На одной из фотографий 1909 года он сошелся в шахматном поединке с Александром Богдановым. Вокруг каприйский пейзаж, все залито солнцем. Видно, что Ленин целиком погружен в игру, он придвинулся к доске, а его соперник напряженно вперил в нее взгляд. Возле игроков столпились зрители, среди которых и Горький. «Он азартно играл с Богдановым в шахматы, — продолжал Горький, — и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех — не нарушали целостной слитности его характера». «При проигрыше, — писал большевик Сергей Багоцкий, — он добродушно признавал свое поражение и объяснял, в чем заключалась его основная ошибка, отдавая должное удачной комбинации противника».

Игре в шахматы Владимир Ильич выучился еще в детстве, в возрасте восьми-девяти лет, когда они с братом Александром устраивали шахматные баталии с отцом. «Сначала отец нас обыгрывал, — рассказывал сам Ленин, — потом мы с братом достали руководство к шахматной игре и стали отца обыгрывать. Раз — мы наверху жили — встретил отца, идет из нашей комнаты со свечой в руке и несет руководство по шахматной игре. Затем за него засел»…

Порой Ленин просиживал за шахматами целые дни и ночи напролет — с утра и до поздней ночи. Игра настолько поглощала его, что виделась ему и во сне. Крупская рассказывала, как спящий Владимир Ильич вскрикивал: «Если он конем пойдет сюда, я отвечу турой!» П. Лепешинский в ссылке затеял с ним игру по переписке. «Все мое свободное время, — вспоминал он, — (а у меня его было много) уходило у меня на то, чтобы создавать на шахматной доске всевозможные вариации ближайших комбинаций и выбирать, таким образом, наилучшую из них. А так как Владимир Ильич мог тратить на это дело минуты, а не многие часы в день, то он, в конце концов, партию проиграл, и я был счастливейшим из смертных».

Насколько сильным игроком был Ленин, сказать трудно — записей его партий не сохранилось. Однако товарищи считали, что играет он превосходно. «В ссылке случалось, — писал Михаил Сильвин, — что он, лежа на кровати, не смотря на доску, играл одновременно три партии и разбивал всех трех противников».

Вероятно, более интересен «стиль игры» Владимира Ильича. Татьяна Алексинская оставила в своем дневнике такую выразительную зарисовку: «Есть хорошие шахматисты, которые настолько любят и ценят красивый процесс игры, что сами

исправляют ошибки противника. Ленин не из этого числа: его интересует не столько игра, как выигрыш. Он пользуется каждой невнимательностью партнера, чтобы обеспечить себе победу. Когда он может взять у противника фигуру, он делает это со всей поспешностью, чтобы партнер не успел одуматься. В игре Ленина нет элегантности».

Все же слишком легкая победа Ленину бывала неинтересна. Его брат Дмитрий рассказывал: «Играя со слабейшими игроками, чтобы уравновесить силы, давал вперед ту или другую фигуру. Когда же партнер из самолюбия отказывался, Владимир Ильич обычно заявлял: «Какой же интерес для меня играть на равных силах, когда нет надобности думать, бороться, выкручиваться»… У него главный интерес в шахматах состоял в упорной борьбе, чтобы сделать наилучший ход, в том, чтобы найти выход из трудного, иногда почти безнадежного положения… Бывало, когда сделаешь в игре глупость и этим дашь ему легкий выигрыш, он говаривал, смеясь: «Ну, это не я выиграл, а ты проиграл».

«Шахматы чересчур захватывают». «Ярче всего натура Ильича, как прирожденного спортсмена, сказывалась в шахматной игре», — писал П. Лепешинский. Он оставил и более подробное описание одной из партий Владимира Ильича — но не движения фигур по доске, а поведения игроков. «Помню, — вспоминал он (еще при жизни Ленина), — между прочим, как мы втроем, т. е. я, Старков и Кржижановский, стали играть с Ильичем по совещанию… И, о счастье, о восторг, Ильич «сдрейфил»!.. Ильич терпит поражение. Он уже потерял одну фигуру, и дела его очень неважны. Победа обеспечена за нами.

Рожи у представителей шахматной «Антанты» — веселые, плутовские, с оскалом белых зубов и все более и более ширятся… Враг сидит в застывшей позе над доской, как каменное изваяние, олицетворяющее сверхчеловеческое напряжение мысли. На его огромном лбу, с характерными «сократовскими» выпуклостями, выступили капельки пота, голова низко наклонена к шахматной доске, глаза неподвижно устремлены на тот уголок, где сосредоточен был стратегический главный пункт битвы…

По-видимому, если бы кто-нибудь крикнул тогда: «пожар, горит, спасайтесь…», он бы и бровью не шевельнул. Цель его жизни в данную минуту заключалась в том, чтобы не поддаться, чтобы устоять, чтобы не признать себя побежденным. Лучше умереть от кровоизлияния в мозг, а все-таки не капитулировать, а все-таки выйти с честью из затруднительного положения…

Легкомысленная «Антанта» ничего этого не замечает.

Первым забил тревогу ее лидер.

— Ба-ба, ба-ба! да это что-то нами непредвиденное, — голосом, полным тревоги, реагирует он на сделанный Ильичем великолепный маневр. — Гм… гм… це діло треба розжувати, — бормочет он себе под нос.

Но, увы, разжевать нужно было раньше, а теперь уже поздно… С этого момента их лица все более и более вытягиваются, а у Ильича глазки загораются лукавым огоньком. Союзники начинают переругиваться между собою, попрекая друг друга в ротозействе, а их победитель весело-превесело улыбается и вытирает платком пот со лба…»

Вообще Владимир Ильич относился к Лепешинскому («товарищу Олину») по-дружески, но, видимо, считал его излишне склонным к покою и созерцанию. Ленин замечал: «В товарище Олине сидит Обломов, в уменьшенном размере, а все же Обломов».

И, как ни увлекался Ленин спортом, но всегда готов был его оставить для более важных занятий. «Шахматы чересчур захватывают, — говорил он, — это мешает работе… Не надо забывать, что шахматы все-таки только игра, а не дело». Вскоре после Октября 1917 года старые товарищи встречались в Смольном. Это были горячие дни для новой власти, когда противники предсказывали ей скорое и неминуемое падение. Во время этого разговора Лепешинский шутливо спросил: «А что, не сыграть ли нам как-нибудь в шахматишки, а? Помните старые-то времена?»

«Боже мой, — вспоминал он, — какой веселый, раскатистый хохот удалось мне исторгнуть своей фразой из груди Ильича! Его глаза перестали смотреть вдаль и привычно залукавились, оглядывая того чудака, который так «вовремя» вспомнил о шахматах.

— Нет, — сказал наконец серьезно Ильич, немного успокоившись от охватившего его смеха. — Теперь уж не до шахмат. Играть больше, вероятно, не придется».

«Ленин ни одного романа не прочитал». Н. Крупская вспоминала: «Товарищ, познакомивший меня впервые с Владимиром Ильичем, сказал мне, что Ильич человек ученый, читает исключительно ученые книжки, не прочитал в жизни ни одного романа, никогда стихов не читал. Подивилась я. Сама я в молодости перечитала всех классиков, знала наизусть чуть ли не всего Лермонтова… Чудно мне показалось, что вот человек, которому все это не интересно нисколько».

Конечно, «Ленин как человек, никогда не бравший в руки книгу» — это была только забавная легенда, хотя и довольно

характерная. Очевидно, товарищ, приписавший ему равнодушие к романам и стихам, хотел похвалить Владимира Ильича: мол, это человек дела, а не пустой «читатель романов», как другие. В действительности Владимир Ильич испытывал едва ли не голод без художественной литературы. «Без чего мы прямо тут голодаем, — писала в 1913 году Крупская, — это без беллетристики. Володя чуть не наизусть выучил Надсона и Некрасова, разрозненный томик Анны Карениной перечитывается в сотый раз». (Это при том, что из всех отечественных поэтов Надсона Владимир Ильич особенно недолюбливал.)

Более того, Ульянов был воспитан именно русской литературной классикой. В своих сочинениях он вовсе не противопоставляет себя традиционной русской культуре, наоборот, постоянно черпает оттуда образы, мысли, сравнения. Там он находит и источники непримиримости ко всему существующему порядку вещей. В одной из статей («Памяти графа Гейдена») Владимиру Ильичу прямо-таки не хватает слов, чтобы передать читателю все свое отвращение к защитникам этого порядка — особенно «облагороженным, надушенным», «гуманным… приглаженным и напомаженным». И тогда за последним, неотразимым доводом он обращается к помощи литературы, вспоминая «Записки охотника» Тургенева (рассказ «Бурмистр»):

«Перед нами — цивилизованный, образованный помещик, культурный, с мягкими формами обращения, с европейским лоском. Помещик угощает гостя вином и ведет возвышенные разговоры. «Отчего вино не нагрето?» — спрашивает он лакея. Лакей молчит и бледнеет. Помещик звонит и, не повышая голоса, говорит вошедшему слуге: «Насчет Федора… распорядиться»… Тургеневский помещик тоже «гуманный» человек… настолько гуманен, что не идет сам в конюшню присматривать за тем, хорошо ли распорядились выпороть Федора. Он настолько гуманен, что не заботится о мочении в соленой воде розог, которыми секут Федора. Он, этот помещик, не позволит себе ни ударить, ни выбранить лакея, он только «распоряжается» издали, в мягких и гуманных формах…»

В другой статье Ленин тоже ссылался на этот литературный образ: «Тургеневский цивилизованный помещик не только не шел сам на конюшню, но ограничивался вполголоса сделанным замечанием чрез одетого во фрак и белые перчатки лакея: «Насчет Федора… распорядиться!»

Один из любимых Лениным русских писателей — Николай Гоголь. Ленин вспоминает в своих статьях около трех десятков различных гоголевских героев, включая даже второстепенных,

вроде Кифы Мокиевича. О каком бы человеческом качестве ни зашла речь, Ленин моментально подбирает к нему подходящего гоголевского персонажа.

Празднословие? Разумеется, Манилов. Непонятливость? Коробочка. Неуместная резкость? Собакевич. Развязность? Ноздрев. Благодушие? Иван Федорович Шпонька. И так далее… Ленин с удовольствием распределяет этих героев по современным ему партиям: «угрожающе рычит черносотенец Собакевич», «вежливо поправляет его кадет Манилов», «Манилов сидит в каждом народнике»… Впрочем, «галерею гоголевских типов» Ленин открывает даже и среди своих товарищей: «Кто похож на прямолинейного Собакевича, наступающего всем на самолюбие, то бишь на мозоли? Кто похож на увертливого Чичикова, покупающего вместе с мертвыми душами также и молчание? Кто на Ноздрева и на Хлестакова? на Манилова и на Сквозника-Дмухановского? Интересные и поучительные загадки…» (Между прочим, самого Владимира Ильича в молодости друзья наградили кличкой Тяпкин-Ляпкин — за то, что он, как гоголевский судья, «до всего доходил собственным умом»…)

Особенно охотно Ленин пользуется «говорящими фамилиями» различных персонажей, применяя их как уничижительные ярлыки и клички для противников: в его сочинениях то и дело попадаются начальственные Угрюм-Бурчеевы, газетчики Тряпичкины, адвокаты Балалайкины, купцы Киты Китычи, кулаки Колупаевы и Разуваевы…

Сильное впечатление на Ленина произвел рассказ Антона Чехова о жизни душевнобольных «Палата № 6», который он прочитал вскоре после его выхода в 1892 году. Он признался сестре Анне: «Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате номер шесть».

Иногда, если приходилось к слову, Ленин вкратце пересказывал содержание понравившегося ему произведения. Например, в 1905 году он писал о героине чеховского рассказа «Душечка» (1899): «Душечка жила сначала с антрепренером и говорила: мы с Ваничкой ставим серьезные пьесы. Потом жила она с торговцем лесом и говорила: мы с Васичкой возмущены высоким тарифом на лес. Наконец, жила с ветеринаром и говорила: мы с Количкой лечим лошадей…»

«Один старый пройдоха, писал Тургенев, давал однажды мудрые советы: когда ты совершаешь подлость, кричи громче всех о низости тех именно поступков, которые ты совершаешь»…

К литературным сравнениям Ленин охотно прибегал и в

разговоре, в качестве меткого словца. Например, характеризуя одну деятельницу, Ленин выразился так: «Знаете, у Горького есть один рассказ, где какой-то из его героев, говоря своему товарищу о лешем, так характеризует его: «Леший, вишь, вон он какой — одна тебе ноздря…» — «Как ноздря?» — спрашивает удивленный собеседник. «Да так… просто ноздря и больше ничего, — вот он каков, леший-то…» Так вот М.Ф. похожа именно на горьковского лешего, ха-ха-ха!»

Время от времени Ленин оживлял свои тексты и небольшими историческими анекдотами из разных областей жизни. «Пример немцев напомнил мне немецкое слово Verballhornung, по-русски буквально: обалгорнивание. Иван Балгорн был лейпцигский издатель в XVI веке; издал он букварь, причем поместил, по обычаю, и рисунок, изображающий петуха; но только вместо обычного изображения петуха со шпорами на ногах он изобразил петуха без шпор, но с парой яиц около него. А на обложке букваря добавил: «исправленное издание Ивана Балгорна». Вот с тех пор немцы и говорят Verballhornung про такое «исправление», которое на деле есть ухудшение».

«Мне невольно вспомнился… рассказ об одном незнакомце, который впервые присутствовал на собеседовании античных философов и все время молчал при этом. Если ты умен, — сказал этому незнакомцу один из философов, — то ты поступаешь глупо. Если ты глуп, то поступаешь умно».

«Старый Обломов остался». Еще один «любимый» литературный образ Ленина — помещик Илья Ильич Обломов из одноименного романа Гончарова. По Ленину, Обломов — это почти что воплощение России, русского человека. «Был такой тип русской жизни — Обломов, — говорил он в одной из речей в 1922 году. — Он все лежал на кровати и составлял штаны. С тех пор прошло много времени. Россия проделала три революции, а все же Обломовы остались, так как Обломов был не только помещик, а и крестьянин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и коммунист… Старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел». И после всех революций Россия, по Ленину, осталась «обломовской республикой».

В сочинениях Ленина пестрят упоминания «русской обломовщины», «наших проклятых обломовских нравов», «проклятой привычки российских Обломовых усыплять всех, все и вся»… «Вот черта русского характера: когда ни одно дело до конца не доведено, он все же, не будучи подтягиваем из всех сил, сейчас же распускается. Надо бороться беспощаднейшим образом

с этой чертой… Я не знаю, сколько русскому человеку нужно сделать глупостей, чтобы отучиться от них». «Русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями». «По части организаторских способностей российский человек, пожалуй, самый плохой человек. Это — самая наша слабая сторона…» «Мы дьявольски неповоротливы, мешковаты, сколько еще у нас обломовщины, за которую нас еще неминуемо будут бить». «Они уже совсем было улеглись спать на пожалованном всем российским Обломовым диване, как вдруг…»

Вячеслав Молотов вспоминал: «Ленин говорил: «Русские ленивы», — и чувствовалось, что ему страшно обидно, что русские действительно ленивы, начнут дело, не кончат… «Поболтать, покалякать — это мы мастера! А вот организовать…» «По-моему, — писал Ленин в 1922 году, — надо не только проповедовать: «учись у немцев, паршивая российская коммунистическая обломовщина!», но и брать в учителя немцев. Иначе — одни слова». «Немецкого в нем было мало, нет, — продолжал Молотов, — но аккуратность, организованность — чертовская. Чертовская организованность!» «Одной из характерных черт Владимира Ильича, — писала Мария Ульянова, — была большая аккуратность и пунктуальность… Вероятно, эти качества передались Владимиру Ильичу по наследству от матери… А мать наша по материнской линии была немка, и указанные черты характера были ей свойственны в большой степени».

«Я бы взял не кое-кого, а даже многих из наших партийных товарищей, — говорил Владимир Ильич, — запер бы их на ключ в комнате и заставил читать «Обломова». Прочитали? А ну-ка еще раз. Прочитали? А ну-ка еще раз. А когда взмолятся, больше, мол, не можем, тогда следует приступить к допросу: а поняли ли вы, в чем суть обломовщины? Почувствовали ли, что она и в вас сидит? Решили ли твердо от этой болезни избавиться?»

Подобное отношение к Обломову Владимир Ильич усвоил от Николая Добролюбова — из его статьи в журнале «Современник» «Что такое обломовщина?». Ленин вспоминал: «Говоря о влиянии на меня Чернышевского как главном, не могу не упомянуть о влиянии дополнительном, испытанном в то время (в период высылки в Кокушкино. — *А.М.)* от Добролюбова — друга и спутника Чернышевского. За чтение его статей в том же «Современнике» я тоже взялся серьезно. Две его статьи, — одна о романе Гончарова «Обломов», другая о романе Тургенева «Накануне» — ударили, как молния. Я, конечно, и до этого читал «Накануне», но вещь была прочитана рано, и я отнесся к ней по-ребячески. Добролюбов выбил из меня такой подход. Это

произведение, как и «Обломов», я вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова. Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается. Вот как нужно писать!»

В этих статьях Добролюбов с горечью спрашивает, по сути, а есть ли в России не-Обломовы?.. «А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно — или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей…» Эпиграфом статьи про Обломова служит цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»? Веки проходят за веками, полмильона сидней, увальней и болванов дремлет беспробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это всемогущее слово…»

Насколько глубоко эти мысли запали в душу юного Ульянова, видно хотя бы из того, что первую чисто большевистскую газету в 1904 году Ленин и его товарищи назвали именно этим словом — «Вперед»… Сам Владимир Ильич старался быть полной противоположностью Обломову. Это сразу привлекало к нему внимание, этим он ярко выделялся среди других революционеров. Ему были почти чужды обычные для интеллигентов сомнения, колебания, нерешительность. Он всегда твердо знал, чего добивается, и уверенно вел людей за собой. «Ведь мы окружены людьми, — писал позднее Вольский, — которые хныкают, которые ничего не знают, которые говорят, кто же покажет? Приходил Владимир Ильич, молодой, энергичный, и говорил — так и так. У него была ражь».

Меньшевик Александр Потресов рассказывал: «Никто, как он, не умел так заражать своими планами, так импонировать своей волей, так покорять своей личности, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубоватый человек, по-видимому, не имеющий никаких данных, чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто-либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным прямо-таки гипнотического воздействия на людей, я бы сказал, господства над ними. Плеханова — почитали, Мартова — любили. Но только за Лениным беспрекословно шли, как за единственным, бесспорным вождем. Ибо только Ленин представлял собою, в особенности в России, редкостное явление человека железной воли, неукротимой энергии, сливающего фанатичную веру в движение, в дело, с не меньшей верой в себя».

«Из такого теста делаются Робеспьеры». Не только на своих сверстников, но и на революционеров старшего поколения Ульянов производил тогда сильное впечатление.

Георгий Плеханов, бывший поначалу его союзником, объяснил причины своей симпатии к Ульянову так:

— Из такого теста делаются Робеспьеры.

Вера Засулич как-то в глаза похвалила его, сравнив с Плехановым:

— Жорж — борзая: потреплет, потреплет и бросит, а вы — бульдог: у вас мертвая хватка.

Владимиру Ильичу этот комплимент пришелся очень по душе, он с удовольствием переспросил:

— Мертвая хватка?

Другой старый социал-демократ, Павел Аксельрод, позднее так вспоминал первые встречи с Лениным: «Я тогда почувствовал, что имею дело с человеком, который будет вождем русской революции. Он не только был образованный марксист, — таких было очень много, — но он знал, что он хочет делать и как это надо сделать. От него пахло русской землей».

Вождь эсеров Виктор Чернов весной 1917 года отчасти повторял эти оценки, но вносил в них и насмешливую нотку: «У Ленина есть импонирующая цельность. Он весь — как из одного куска гранита, и притом весь — круглый, обточенный, как бильярдный шар: зацепить его не за что, и он катится вперед с неудержимостью. Но он мог бы повторить про себя известную фразу… «Я не знаю, куда иду, но иду туда — решительно». Позднее, уже после смерти Владимира Ильича, Чернов добавил: «Я думаю, что в лице Ленина сошел в могилу самый крупный характер из выдвинутых русскою революцией».

Обломов, Ленивцын, Ленин… А приходилось ли Владимиру Ильичу «бороться с Обломовым» в самом себе? Многие соратники Ленина и не подозревали, что время от времени этот неугомонный человек превращался в законченного «Обломова», сверхлентяя. Так бывало после крупных событий, в которых Ленин выкладывался весь, до конца. Тогда, чтобы восстановить силы, ему требовались полный покой и отдых. Безделью и сну Ленин отдавался столь же полно, как до того — работе.

Н. Крупская вспоминала лето 1907 года: «Про него [Ленина] рассказывали: первые дни ежеминутно засыпал — сядет под ель и через минуту уже спит. Дети его «дрыхалкой» прозвали». Мог заснуть в самую неожиданную минуту, например во время горного восхождения. «Полезли мы на Ротхорн, — писала

Крупская. — Лезли с «великоторжественным аппетитом», но когда влезли наверх, Ильич вдруг лег на землю, как-то очень неудобно, чуть не на снег, и заснул. Набежали тучи, потом прорвались, чудесный вид на Альпы раскрылся с Ротхорна, а Ильич спит, как убитый, не шевельнется, больше часу проспал». После месяца такого «обломовского» отдыха Владимир Ильич возвращался в свою обычную боевую форму.

Ленин не только признавал в себе Обломова, но даже свой псевдоним произвел, судя по всему, именно от «лени», характерной черты этого литературного героя. Впрочем, Николай Ленин был вполне реальным человеком, чьим паспортом Владимир Ульянов пользовался в 1901 году. Но он скрывался и еще под множеством фамилий, не говоря уж о псевдонимах. (Всего их насчитывают не менее 150.) Вот только некоторые из них: Базиль, Иван, Иванов, Петров, В. Ильин, Ильич, Карич, Карпов, Кубышкин, Куприянов, Мейер, Мирянин, Наблюдатель, Читатель, Не-депутат, Нелиберальный скептик, Посторонний, Дядя, Старик, Петербуржец, Правдист, Большевик, Сотрудник, Осипов, Пирючев, Рихтер, Силин, К. Тулин, Вильям Фрей…

Это множество псевдонимов порождало иногда забавные ситуации. Например, однажды Владимиру Ильичу как Ленину стали возражать ссылками на книгу Ильина. Он насмешливо ответил, что его оппонент «знает эту книгу, потому что он ее читал, я же знаю эту книгу, потому что я ее писал»…

Из всего этого обилия именно кличке Ленин Владимир Ильич отдал в конце концов предпочтение. Она стала его второй фамилией. Уж больно удачно она совпала с представлением Ульянова о главнейшей русской черте. В одном случае Ленин даже прямо расшифровал смысл своей клички: «Я предпочел бы обычный свой псевдоним, конечно. Если неудобно, предлагаю новый: Н. Ленивцын». Трудно более откровенно признать «духовное родство» Владимира Ильича и Ильи Ильича…

В начале века противники старались припечатать Ленина и его сторонников словечками пообиднее: бешеные, меднолобые, твердокаменные… Он подбирал эти оскорбления как лучшие похвалы. «Я принадлежу к твердокаменным», — гордо писал он. Из оскорблений рождались такие подпольные клички большевиков, как Каменев и Лобов. Но сам Ленин предпочел взять себе псевдоним попроще, поскромнее…

Между прочим, в начале марта 1923 года журнал «Прожектор» объявил среди своих читателей «конкурс на тему: почему Владимир Ильич называется Лениным?». Редакция журнала обещала: «Владимир Ильич обязуется никому не открывать разгадки в течение указанного срока». Любопытно

было бы узнать, какую «разгадку» планировали обнародовать журналисты… Увы, намеченный конкурс так и не состоялся: здоровье Ленина резко ухудшилось — и, видимо, подобное веселое соревнование сочли неуместным.

«Что такое якобинизм». В сущности, зная Ленина как спортсмена, совсем нетрудно представить его и как политика. Целеустремленность, полная самоотдача, выигрыш во что бы то ни стало — в этом весь Ленин. «Для того, чтобы достигнуть намеченной цели, — говорил он, — нужно исключительно к ней стремиться, нужно сосредоточить на ней все свое внимание, всю свою энергию, все свои силы и всю волю, сосредоточить, отбрасывая все лишнее, все не идущее к цели».

А самыми лучшими «спортсменами» в политике Ленин, по-видимому, считал французских якобинцев XVIII века. Как и Чернышевский, он чувствовал себя их наследником. «Революционный социал-демократ, — говорил Ленин, — должен быть и не может не быть якобинцем».

Уже оказавшись у власти, Ленин не раз цитировал слова Чернышевского из его письма к президенту США: «Исторический путь — не тротуар Невского проспекта («чистый, широкий, ровный тротуар совершенно прямой главной улицы Петербурга», — поясняет Ленин); он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя». Ленин писал: «Еще Чернышевский сказал: кто боится испачкать себе руки, пусть не берется за политическую деятельность… Наивные белоручки только вредят в политике своей боязнью прямо смотреть на суть дела». Бывший большевик Георгий Соломон вспоминал о Ленине: «Однажды в Брюсселе в разговоре со мной он заметил: «Да… политика ггязное (он несколько картавил) дело».

В 1904 году Ленин говорил Вольскому о своих оппонентах (меньшевиках):

— Они обвиняют нас в якобинстве… и прочих страшных вещах. Идиоты, жирондисты, они не могут даже понять, что таким обвинением делают нам комплименты.

— Мне кажется, — сказал его собеседник, — нужно все-таки установить, что понимать под якобинством.

— Не давайте себе этот труд! — воскликнул Ленин. —

Лишне. Это давным-давно, с конца XVIII столетия, уже установлено самой историей. Что такое якобинизм, всем революционным социал-демократам давно известно. Возьмите историю французской революции, увидите, что такое якобинизм. Это борьба за цель, не боящаяся никаких решительных плебейских мер, борьба не в белых перчатках, борьба без нежностей, не боящаяся прибегать к гильотине.

Сама история французской революции привлекала пристальное внимание Ленина. Он замечал, что эта революция «доказывает до сих пор жизненность и силу своего влияния на человечество тем, что до сих пор возбуждает самую яростную ненависть». «Она недаром называется великой… Она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции. Он во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял по частям, доделывал то, что создали великие французские революционеры буржуазии…»

Владимир Ильич любил повторять знаменитые слова якобинца Жоржа Дантона: «Что нам необходимо? Смелость, еще раз смелость, и всегда смелость!»

В 1908 году большевик В. Адоратский спросил у Ленина, как бы он стал действовать, если бы и вправду оказался в роли Робеспьера. «Владимир Ильич полушутя наметил такой план действий: «Будем спрашивать, — ты за кого? за революцию или против? Если против — к стенке, если за — иди к нам и работай». Надежда Константиновна, присутствовавшая при разговоре (мы сидели втроем в комнате), заметила скептически: «Ну вот и перестреляешь как раз тех, которые лучше, которые будут иметь мужество открыто заявить о своих взглядах». Замечание это было, конечно, справедливо, но, тем не менее, Владимир Ильич все-таки был прав».

«Нечаев — титан революции». Одним из русских революционеров, к которому Владимир Ульянов относился с глубокой симпатией, был Сергей Геннадьевич Нечаев. Это тем более удивительно, что в конце XIX столетия имя Нечаева с одинаковой неприязнью произносили и монархисты, и либералы, и революционеры. Как он сумел навлечь на себя столь единодушную ненависть? Сейчас это трудно, почти невозможно понять. Пожалуй, лучшее из объяснений дала революционерка Вера Засулич, которая назвала Нечаева «человеком другого мира, как будто другой страны или другого столетия». Естественно, что этот странный пришелец встретил всеобщее непонимание, а потом и враждебность. «Таких исключительных характеров, —

писала Засулич, — не появлялось больше в нашем движении, и, конечно, к счастью».

Больше всего современников поражала фантастическая, нечеловеческая целеустремленность вождя «Народной расправы» (она же «Общество топора»), В нем не было ни капли обломовской расслабленности, одно непрерывное действие. Своих целей он добивался всеми возможными средствами, не останавливаясь абсолютно ни перед чем. «Я прожил 40 лет, — заявил на суде историк Иван Прыжов, товарищ Нечаева по «Народной расправе», — но такой энергии, как у Нечаева, я никогда не встречал и не могу представить себе». Варвара Александровская, давшая на следствии признательные показания о Нечаеве, писала о нем: «Он смел и остроумен, но не всегда осторожен, смел же до дерзости… Слабостей никаких не проявляет, кроме слепой самоуверенности… Дела общества занимают его свыше физических сил; он, если и пьет, урывками; спит чуть не на ходу; засыпая в кресле… чертит рукой как бы по парте, произнося какие-то несвязные слова, но все-таки из мира своей деятельности». Другая соратница Нечаева, Александра Успенская, вспоминала: «На меня Нечаев производил впечатление умного, чрезвычайно энергичного человека, всею душою безгранично преданного делу. Такое же впечатление он производил на моего мужа и, несомненно, на всех, с кем встречался. Больше всего, что у меня осталось в памяти, — это чувство стыда перед ним. «Вот, — думалось мне, — человек, всего себя отдавший работе, тому делу, о котором мы до сих пор только разговоры разговариваем». Мне стыдно было сознавать, что у меня есть личная жизнь, личные интересы. У него же ничего не было, — ни семьи, ни личных привязанностей, ни своего угла, никакого решительно имущества, не было даже своего имени… Впоследствии я много знала таких людей, отдававших свою душу, всю свою жизнь на служение народу, но тогда это был первый такой человек». Любопытно сравнить эти словесные портреты с портретом нашего героя: трудно усомниться в определенных чертах сходства…

В то время когда юный Владимир Ульянов только примерял мундир гимназиста, Нечаев уже был заживо похоронен в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (где и скончался в 1882 году). Эта историческая тюрьма имела едва ли не самую зловещую репутацию во всей империи. Тюремщикам запрещалось разговаривать с заключенными. Несколько лет Нечаев провел в цепях, ручных и ножных кандалах. Но и в таком безнадежном положении Нечаев сумел совершить одно из своих самых впечатляющих «чудес». Постепенно, шаг за шагом, он

сумел завоевать сочувствие охранявших его солдат. Как ему это удалось?

«Он заговаривал с многими из них, — писал позднее «Вестник Народной Воли». — Случалось, что, согласно приказу, тюремщик ничего не отвечал, но Нечаев не смущался. Со всей страстностью мученика он продолжал говорить о своих страданиях, о всей несправедливости судьбы и людей. «Молчишь?.. Тебе запрещено говорить? Да ты знаешь ли, друг, за что я сижу?.. Вот судьба, — рассуждал он сам с собой, — вот будь честным человеком: за них же, за его же отцов и братьев погубишь свою жизнь, а заберут тебя, да на цепь посадят, и этого же дурака к тебе приставят. И стережет он тебя лучше собаки. Уж действительно, не люди вы, а скоты бессмысленные»… Случалось, что солдат, задетый за живое, не выдерживал и бормотал что-нибудь о долге, о присяге. Но Нечаев только этого и ждал. Он начинал говорить о царе, о народе, о том, что такое долг, и т. д.; он цитировал Священное писание, основательно изученное им в равелине, и солдат уходил смущенный, растроганный, наполовину убежденный».

Тюремщики стали помогать «номеру пять»: покупать узнику пищу, газеты, наконец, установили его переписку с революционерами на свободе. Между собой именовали его «нашим орлом». Нечаев мог бежать на волю, но сам отказался от побега. «Бегство из крепости казалось ему уже слишком недостаточным. Он задумал такой план: в какой-то день года, когда вся царская фамилия должна присутствовать в Петропавловском соборе, Нечаев должен был овладеть крепостью и собором, заключить в тюрьму царя и провозгласить царем наследника». Этот фантастический план не удался, в конце 1881 года заговор был разоблачен. Всего по делу арестовали более 30 тюремщиков. Царь Александр III написал на докладе о происшедшем: «Более постыдного дела для военной команды и ее начальства, я думаю, не бывало до сих пор». На суде прокурор предположил, что Нечаев подкупил своих стражей. Но подсудимые горячо запротестовали: «Какой тут подкуп, номер пять такой человек, для которого без всякого подкупа мы готовы были идти в огонь и воду»…

Нечаев был человеком той же породы, тех же «мира и столетия», что и герой этой книги. Стоит отметить, что знаменитый нечаевский «Катехизис революционера» был опубликован в официальном «Правительственном вестнике». Власти считали, что подобный документ разоблачает самих революционеров. Там же печатались и подробные отчеты о процессе «Народной расправы». Когда после казни брата

Владимир Ульянов стал изучать оставшуюся в его библиотеке революционную литературу, он, вероятно, внимательно проштудировал и эти тексты.

Во всех 55 томах сочинений Ленина невозможно найти ни единого упоминания о Нечаеве. Само это гробовое молчание, конечно, по-своему красноречиво и производит удивительное впечатление. Дело в том, что письменно хвалить Нечаева Ленин не мог — его имя после процесса «Народной расправы» стало чем-то вроде символа вседозволенности. Но и осуждать не хотел — ни строчкой, ни даже словом… Только в частных, доверительных разговорах Ленин позволял себе откровенно высказать все, что он думает о вожде «Народной расправы».

Соратник Ленина Владимир Бонч-Бруевич вспоминал: «До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался… Когда в то время слова «нечаевщина» и «нечаевцы» даже среди эмиграции были почти бранными словами… Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым, с легкой рукой Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять даже на окружающих его солдат таким образом, что они всецело ему подчинялись».

«Совершенно забывают, — говорил Ленин, — что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос: «Кого же надо уничтожить из царствующего дома?» — Нечаев дает точный ответ: «Всю большую ектению». Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство, так или иначе, по тем или другим причинам бывали в церкви и все знали, что на великой, на большой ектении вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. Кого же уничтожить из них? — спросит себя самый простой читатель. — Да весь дом Романовых, — должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности!»

«Нечаев должен быть весь издан, — неоднократно повторял Ленин. — Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и все напечатать».

Заметим, что, несмотря на это пожелание, подобный сборник сочинений Нечаева так и не был издан — ни при Ленине, ни позднее.

Однако в 20-е годы широко обсуждалась «историческая реабилитация» вождя «Народной расправы». Малая советская энциклопедия признавала за ним «огромную революционную энергию». Один из его горячих защитников, Александр Гамбаров, писал в 1926 году: «Вокруг Нечаева и до сих пор продолжают еще бушевать страсти. И до сих пор имя его продолжает вызывать судороги на лице у многих мемуаристов, как вызывало оно полсотни лет тому назад, когда жил и боролся Сергей Нечаев»…

К концу 30-х годов официальное мнение о Нечаеве поменялось на резко отрицательное. «Во всей своей деятельности, — утверждала в 1938 году Большая советская энциклопедия, — Нечаев руководствовался личным честолюбием и интересами своей славы. Ради них он не гнушался такими средствами, как обман и уголовные преступления».

Позднее эту «сталинскую» оценку подхватили и развили советские либералы. В 1976 году вышла книжка Юрия Корякина и других «Чернышевский или Нечаев?», сурово осуждавшая вождя «Народной расправы». Как и веком ранее, Нечаев оказался очень удобной мишенью для либералов, чтобы начать осуждение революции вообще. Любопытно, что авторы книги разыскали отзыв Ленина о Нечаеве (он был напечатан в 1934 году в журнале «Тридцать дней»). Но, прочитав этот текст, они пришли в такой ужас, что предпочли о нем даже не упоминать.

«Морализирующая блевотина». С отношением к Нечаеву тесно переплеталось и отношение Ленина к «омерзительному, но гениальному» Достоевскому. Ленин не стал читать «Бесов». (Этот роман, как известно, писатель создал по материалам процесса «Народной расправы», а сам Нечаев послужил прототипом героя романа Петра Верховенского.) Владимир Ильич признавался: «Явно реакционная гадость, подобная «Панургову стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна, — что она мне может дать?.. На эту дрянь у меня нет свободного времени».

Немногим лучше относился он и к другим произведениям писателя. О «Братьях Карамазовых» вкупе с «Бесами»

высказывался так: «Содержание сих обоих пахучих произведений мне известно, для меня этого предостаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило».

Роман «Преступление и наказание» Владимир Ильич, впрочем, прочитал. Один из товарищей в пылу спора как-то заметил ему:

— Так легко можно дойти до «все позволено» Раскольникова.

— Какого Раскольникова?

— Достоевского, из «Преступления и наказания».

— «Все позволено»! — с нескрываемым презрением подхватил Ленин. — Вот мы и приехали к сантиментам и словечкам хлюпкого интеллигента, желающего топить… революционные вопросы в морализирующей блевотине. Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом все хлопался о землю? Вам… может быть, это нравится?..

«Ничто так не претило Ленину, — замечал Л. Троцкий, — как малейший намек на сентиментальность и психологическое рассусоливание». «Очень строго относился к себе. Но копанье и мучительнейший самоанализ в душе ненавидел», — подтверждала это отношение Н. Крупская.

Чересчур пристальное внимание к темным сторонам человеческой души Ленина отталкивало, в одном из писем он называл это «архискверным подражанием архискверному Достоевскому». И добавлял, поясняя свою мысль: «Мне пришлось однажды провести ночь с больным (белой горячкой) товарищем — и однажды «уговаривать» товарища, покушавшегося на самоубийство (после покушения) и впоследствии, через несколько лет, кончившего-таки самоубийством… Но в обоих случаях это были маленькие кусочки жизни обоих товарищей». А выискивать в жизни подобные «кусочки», чтобы «соединить их все вместе… значит, малевать ужасы, пужать и свое воображение, и читателя».

В то же время Владимир Ильич однажды заметил: «Не забывайте, что Достоевский был приговорен к смертной казни. Над ним был произведен варварский обряд разжалования, а после объявлено, что Николай Первый «помиловал» его, сослав на каторжные работы».

Из сочинений писателя Ленин высоко оценивал главным образом «Записки из мертвого дома». Он называл этот роман «непревзойденным произведением русской и мировой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и «мертвый дом», в котором жил русский

народ при царях из дома Романовых».

В одобренном Лениным списке памятников 20 русским писателям, которые решено было установить после революции, читаем:

«1. Толстой.

2. Достоевский…»

Вообще революция попыталась утвердить новое отношение к Достоевскому и его героям. В Малом театре в 1921 году, например, проходили «суды над Раскольниковым». На одном представлении его оправдали (как «действовавшего в состоянии невменяемости»), а на другом — признали виновным…

С другой стороны, само имя писателя в 20-е годы как пароль объединяло вокруг себя противников революции. В том же 1921 году независимый петроградский журнал «Начала» как бы устами писателя, размышляющего о будущем России, резко осуждал цареубийство, безбожие, революцию и любой бунт вообще… «С бунта ведь начал тот, кто первый отпал от Бога… от него, от этого первого гордеца, который говорил, что он людей любит и за их права заступается, от него, этого первого бунтаря, произошли все остальные, все эти крупные и мелкие бесы, которые бродят по земле и смущают людей видениями рая, откуда они же людей изгнали!»

Профессор (и известный оппозиционный деятель) Питирим Сорокин в 1922 году говорил, выступая перед слушателями Петроградского университета: «В результате войны и революции наше отечество лежит в развалинах. Великая Русская Равнина стала великим кладбищем, где смерть пожинает обильную жатву, где люди едят друг друга… Но раз старые пути негодны, где же новые? Есть ли они у вас?.. Боюсь, что нет… Ищем, тычемся туда и сюда, подобно слепым щенятам, но темно кругом. А история не ждет, она ставит ультиматум, бьет грозное: memento mori, бьет двенадцатый час нашей судьбы и решается наше: быть или не быть… Придется подумать вам и о том, кого взять с собой в спутники и руководители. Настало время от ряда былых спутников отказаться: они завели нас в пропасть. Я бы взял в качестве таковых таких лиц, как Нил Сорский, Сергей Радонежский — носители идеала старца Зосимы; как Толстой и Достоевский. Такие «спутники», по моему мнению, не обманут».

Ленин прочитал эту речь (она была напечатана в независимом петроградском издании «Утренники»), и рассуждения о старце Зосиме и Достоевском, судя по пометкам на полях, вызвали его особенное негодование. Он отметил их своим характерным значком «Nota bene!» (заметьте!)…

А в 1921 году либеральный публицист Юлий Айхенвальд

писал в другом независимом петроградском журнале — «Вестник литературы», что чествование столетия Достоевского красной Россией является «неуместным и незаконным».

«Создатель «Бесов» — живой, одушевленный эпиграф к теперешней кровавой летописи; мы ныне как бы перечитываем, действенно и страдальчески перечитываем этот роман, претворившийся в действительность, мы его сызнова, вместе с автором, сочиняем; мы видим сон, исполнившийся наяву, и удивляемся ясновидению и предчувствиям болезненного сновидца. Как некий колдун, Достоевский наворожил России революцию. Значительная часть интеллигенции гадает по Достоевскому. Но и сам он темной загадкой стоит перед нею, этот пловец страшных человеческих глубин, искатель черных жемчужин, рудокоп души». Высочайшим образом оценив писателя, профессор Айхенвальд язвительно заключал свою статью: «Но не спорить с творцом «Преступления и наказания» хочется мне, а только заявить, определенно и прямо, что нам, гражданам социалистического отечества, с Достоевским не по пути, что нашей республике не подобает славить годовщину его рождения и что необходимо сделать выбор между Достоевским и ею, республикой этой».

«Он делит литературу на нужную ему и ненужную». Фраза Ленина — «такая литература мне не нужна, — что она мне может дать?.. На эту дрянь у меня нет свободного времени» — по смыслу очень «рахметовская». Герой Чернышевского утверждал: «По каждому предмету капитальных сочинений очень немного; во всех остальных только повторяется, разжижается, портится то, что все гораздо полнее и яснее заключено в этих немногих сочинениях. Надобно читать только их; всякое другое чтение — только напрасная трата времени. Берем русскую беллетристику. Я говорю: прочитаю всего прежде Гоголя. В тысячах других повестей я уже вижу по пяти строкам с пяти разных страниц, что не найду ничего, кроме испорченного Гоголя, — зачем я стану их читать? Так и в науках, — в науках даже еще резче эта граница… Я читаю только самобытное и лишь настолько, чтобы знать эту самобытность… Каждая прочитанная мною книга такова, что избавляет меня от надобности читать сотни книг». «Поэтому, — продолжал Чернышевский, — никакими силами нельзя было заставить его читать Маколея; посмотрев четверть часа на разные страницы, он решил: «я знаю все материи, из которых набраны эти лоскутья». Он прочитал «Ярмарку суеты» Теккерея с наслаждением, а начал читать «Пенденниса», закрыл на 20-й странице: «весь высказался в «Ярмарке суеты», видно, что больше

ничего не будет, и читать не нужно».

Таких же правил придерживался в своем чтении и Ульянов: не читать ничего лишнего. «Он говорил, — вспоминала Мария Ульянова, — что просто читать разные книги — мало толку». Читал он с необыкновенной скоростью и объяснял это так: «Я читаю быстро. Но так надо, я себя приучил к этому. Мне необходимо очень много прочесть. Поэтому медленно читать мне нельзя…»

Большевик Вацлав Боровский говорил о Ленине одному из товарищей:

«Изучая в Сибири немецкий язык, он прочитал в подлиннике «Фауста» Гете, даже выучил наизусть несколько тирад Мефистофеля. Вы здесь недавно, поживете подольше — непременно услышите, как в полемике с кем-нибудь Ленин пустит стрелу:

Ich salutiere den gelehrten Herrn
Ihr habt mich weidlich Scwitzen macher».
(Отвешу вам почтительный поклон,
Но вы меня запарили, однако!)

Но, кроме «Фауста», ни одну другую вещь Гете Ленин не знает. Он делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различении — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал».

Известны восторженные отзывы Ленина о Льве Толстом. «Какой же это громадный человечище», — повторял он. Максим Горький вспоминал один такой разговор с Лениным: «Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник… И — знаете, что еще изумительно? Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа подлинного мужика в литературе не было. Не было!

Потом, глядя на меня азиатскими глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный, жмурясь, точно кот на солнце».

Владимир Ильич хвалил Толстого-художника за «срыванье всех и всяческих масок». Посвятил ему несколько статей (самая известная из которых — «Лев Толстой как зеркало русской

революции»). Однако о Толстом-проповеднике Ленин отзывался с нескрываемой издевкой: «Толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками»…

Любил Ленин и некоторых авторов, известных своей враждебностью к революции. В. Бонч-Бруевич замечал: «Из старых поэтов и писателей… особенно, кого ценил Ильич, это был Ф. Тютчев. Он восторгался его поэзией. Зная прекрасно, из какого класса он происходит, совершенно точно давая себе отчет в его славянофильских убеждениях, настроениях и переживаниях, он все это как бы откидывал от этого гениального поэта и говорил об его стихийном бунтарстве, которое предвкушало величайшие события, назревавшие в то время в Западной Европе, и которое отливалось в поэзии Тютчева каким-то особым — бурным, революционным взлетом».

«Никто, — писал Лепешинский, — между прочим, не представлял себе Ильича как большого любителя поэзии и именно поэзии классической, немножко отдающей стариной. Он всегда был не прочь, в очень редкие минуты своего отдыха, заглянуть в какой-нибудь томик Шекспира, Шиллера, Байрона, Пушкина и даже таких менее крупных поэтов, как Баратынский или Тютчев. Даже, если не ошибаюсь, Тютчев пользовался его преимущественным расположением». Федор Тютчев, кстати, тоже вошел в список писателей, которым Ленин после революции посчитал нужным воздвигнуть памятники.

Большевик Ян Берзинь-Зиемелис вспоминал, что в эмиграции любил подолгу беседовать с Лениным — «о лесной тишине, о луне, о поэзии, о любви…». А однажды Ленин увидел у него томик стихов Бальмонта или Блока: «Как, и вы увлекаетесь этой белибердой? Это же декадентщина. Что вы в ней находите?» Посмотрев книжку, заметил: «Гм, звучит неплохо, плавно написано, но смысла в этом все-таки мало».

В другом разговоре Владимир Ильич услышал, что плохие стихи пишутся легче, чем хорошая проза. И удивился: «Ну, что стихи легче прозы — я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите — двух строчек не напишу».

«Очень увлекался Некрасовым». По сочинениям Ленина можно увидеть, какую литературу он считал для себя «нужной». Чаще всего упоминается Салтыков-Щедрин — сотни раз! Премудрые пескари, вяленые воблы, дикие помещики, помпадуры

— ими так и кишат ленинские страницы. Их разбавляет фауна от «дедушки Крылова» — моськи, лисы, волки, медведи, зайцы, свиньи… С удовольствием Ленин цитирует вошедшие в поговорку фразы Грибоедова: «Фельдфебеля в Вольтеры дать!» — эта формула нисколько не устарела. Напротив, XX-му веку суждено увидеть ее настоящее осуществление». Или: «Говорят, история любит иронию, любит шутить шутки с людьми. Шел в комнату — попал в другую. В истории это бывает постоянно…»

Особое место занимает Некрасов. В сочинениях Ленина — десятки скрытых и явных некрасовских цитат. Однажды в разговоре Владимир Ильич вспомнил свою высылку в Кокушкино: «Очень увлекался Некрасовым, причем мы с сестрой (Анной Ульяновой. — *А.М.*) состязались, кто скорее и больше выучит его стихов». Он признавался, что «воспитан на Некрасове». Особенно часто повторял его строки:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть…

Н. Вольский писал: «Основательным был у меня разговор с Лениным о Некрасове. Ленин его превосходно знал и, конечно, любил. Ничего удивительного в том нет. На иконостасе нескольких революционных поколений Некрасов неизменно и по праву занимал место любимой иконы. Если что мне и показалось странноватым, так это почти нежное сочувствие Ленина крестьянофильским пассажам в стихотворениях Некрасова, и особенно в «Кому на Руси жить хорошо».

«Говоря о Некрасове, — продолжал Вольский, — я заметил (знаю теперь — ошибочно), что, хотя он много писал о деревне — у него нет особо хороших описаний природы.

— Ошибаетесь, глубоко ошибаетесь! — воскликнул Ленин. — А ну-ка попробуйте найти лучше, чем у Некрасова, описание ранней весны. — И, картавя, катая «р», он продекламировал:

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум.

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят, повеселелые,
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью

Лепечут песню новую
И липа бледнолистая
И белая березонька
С зеленою косой!

Ленин после этого два раза, точно вталкивая в меня, чтобы я это понял, повторил:

И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!

— А вы любите липу? — спросил я.
— Это самое, самое любимое мною дерево».
Однажды во время прогулки в горах в окрестностях Женевы Владимир Ильич поднялся на горный выступ как на кафедру и продекламировал стихи Некрасова:

Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями полна.
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи.
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!

Но этот случай, пожалуй, был нехарактерен для Ленина, так как обычно он избегал любой «позы» и нечасто прибегал к пафосу.

Владимир Ильич не выносил сентиментальности и тщательно скрывал это свойство у самого себя. «Помню, — писал Мартын Лядов, — раз в Женеве мы были вместе с ним и Надеждой Константиновной в театре. Играла знаменитая Сара Бернар «Даму с камелиями». Ильич сидел в темном уголку ложи. Когда я взглянул на него, — он стыдливо утирает слезы». Н. Крупская описывала, как Ленин в последний раз посещал театр в октябре 1922 года. Шел «Сверчок на печи» Чарлза Диккенса. «Уже после первого действия Ильич заскучал, стала бить по нервам мещанская сантиментальность Диккенса, а когда начался разговор старого игрушечника с его слепой дочерью, — не выдержал Ильич, ушел с середины действия».

«Я тоже помещичье дитя». Рахметов, как и Ленин, вырос в

богатой семье, в помещичьем имении. По тексту Чернышевского не видно, чтобы его герой особенно «раскаивался» за свое происхождение, сожалел о нем, хотя полученное им имущество он постарался употребить на цели революции. А как Ленин в зрелом возрасте относился к своему дворянству? Об этом есть любопытное свидетельство Вольского (он же Самсонов).

Тот однажды в 1904 году поделился с Лениным воспоминаниями о своем детстве, которое тоже прошло в дворянском имении. О клумбах перед домом, аллеях, запахе цветов, травы… Владимир Ильич внимательно слушал, задумчиво спрашивал:

— А много было цветов, какие?

Его собеседник принялся подробно отвечать, в этот момент к ним подошел большевик Михаил Ольминский (бывший народоволец). Он насмешливо заметил:

— Владимир Ильич, вас, наверное, тошнит от того, что говорит Самсонов? Вот как вдруг обнаруживается помещичье дите. Сразу тайное делается явным, он так и икает дворянской усадьбой. О цветах и ароматах говорит совсем, совсем как 16-летняя институтка. Посмотрите, с каким увлечением рассказывает о красоте липовых и березовых аллей. Однако революционер не имеет права забывать, что в этих самых красивых липовых аллеях бары березовыми розгами драли крестьян и дворовых… Для революционера поддаваться таким чувствам опасно. Затоскуешь, а там и усадебку захочется приобрести. А дальше захочется, чтобы мужички работали, а барин, лежа в гамаке с французским романом в руках, приятно дремал в липовой аллее.

Ленин, выслушав все это, принял воинственный вид, и ответил:

— Ну и удивили же вы меня, Михаил Степанович! Послушав вас, придется признать предосудительными и, чего доброго, вырвать и сжечь многие художественные страницы русской литературы. Ваши суждения бьют по лучшим страницам Тургенева, Толстого, Аксакова. Ведь до сих пор наша литература в преобладающей части писалась дворянами-помещиками. Их материальное положение, окружающая их обстановка жизни, а в ней были и липовые аллеи, и клумбы с цветами, позволяла им создавать художественные вещи, которые восхищают не одних нас, русских. В старых липовых аллеях, по вашему мнению, никакой красоты не может быть, потому что их сажали руки крепостных и в них прутьями драли крестьян и дворовых. Это отголосок упростительства, которым страдало народничество. Мы, марксисты, от этого греха, слава богу, освободились. Следуя

за вами, нужно отвернуться и от красоты античных храмов. Они создавались в обстановке дикой, зверской эксплуатации рабов. Вся высокая античная культура, как заметил Энгельс, выросла на базе рабства… Раз Самсонову нравятся липовые и березовые аллеи, клумбы с цветами помещичьих усадеб, значит, заключаете вы, он заражен специфической феодальной психологией и непременно дойдет до эксплуатации мужика. Извольте в таком случае обратить внимание и на меня. Я тоже живал в помещичьей усадьбе, принадлежащей моему деду. В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор много прошло лет, а я все еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни его лип, ни цветов. Казните меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся на копнах скошенного сена, однако не я его косил; ел с грядок землянику и малину, но я их не сажал; пил парное молоко, но не я доил коров. Из сказанного вами… вывожу, что такого рода воспоминания почитаются вами недостойными революционера. Не должен ли я поэтому понять, что тоже недостоин носить звание революционера?..

На такую яростную отповедь Ольминский не посмел ничего отвечать и сконфуженно промолчал.

«Марксистами становились повально все». Ульянов раньше сделался революционером, а потом уже — марксистом (как видно и из его собственного рассказа). Вначале, после казни брата, он почувствовал непримиримую неприязнь и даже ненависть ко всему старому миру — с его Богом, царем и прочими установленными ценностями. А затем уже стал подыскивать теорию, которая помогла бы ему разрушить весь этот ненавистный мир.

В одном разговоре на вопрос, когда именно он прочитал Маркса и Плеханова и стал марксистом, Ленин сказал: «Могу вам точно ответить: в начале 1889 года, в январе».

Впрочем, впервые имя Маркса Владимир Ильич услышал еще от брата. «Владимир Ильич рассказывал мне, — говорил Лев Каменев, — как, ездя из гимназии… к себе, в деревню в Симбирскую губернию, на перекладных, они с братом спорили, и брат его за несколько месяцев до своей гибели на виселице рассказывал ему о марксизме и о книгах К. Маркса».

Но почему все-таки Ульянов выбрал именно марксизм (а не, допустим, народничество)? На этот вопрос ответить нетрудно. Тогдашней молодежью идеи Карла Маркса воспринимались как самые модные и передовые, с блеском сочетающие революцию и науку. Спустя несколько лет это повальное увлечение марксизмом проявилось даже в легальной печати.

Сам Ульянов так описывал «медовый месяц» марксизма в России в 90-е годы: «Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или начале 90-х годов. В стране самодержавной… внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех «интересующихся» понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию (революционного) народовольчества… радуясь всякой направленной против нее критике… А в это время выходили одна за другой марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились повально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг».

Впрочем, сильны были и старые идеи народников-террористов. В 1894 году Дмитрий Ульянов спросил у брата:

— У нас очень много товарищей, старых, известных нам, почему не взяться и не создать террористической организации?

— А для чего это нужно? — возразил Владимир. — Предположим, удалось бы покушение, удалось бы убить царя, а какое это имеет значение?

— Как какое значение, — изумился Дмитрий, — оказало бы громадное влияние на общество.

— На какое общество? Какое ты общество имеешь в виду? Это то общество либеральное, которое играет в картишки и кушает севрюгу под хреном и мечтает о куцей конституции? Это общество ты имеешь в виду? Это общество не должно тебя интересовать, оно нам не интересно…

В 1903 году в России поднялась очередная волна индивидуального террора — эсерам удалось застрелить министра внутренних дел. «Чисто сделано», — заметил Владимир Ильич, услышав об этом покушении. Но его точка зрения на террор не изменилась. Вождь русских либералов Павел Милюков тогда встречался с ним в Лондоне. По словам марксиста Николая Алексеева, Милюков очень упрекал Владимира Ильича за осуждение террора — «уверял нас, что еще один-два удачных террористических акта — и мы получим конституцию». Сам Милюков вспоминал эту встречу с некоторым раздражением: «Я виделся с ним в 1903 г. в Лондоне в его убогой келье… Спор оказался бесполезным. Ленин все долбил свое, тяжело шагая по аргументам противника».

«Стыдно не знать Тургенева». «Тот, кто знал Ленина, — замечал Кржижановский, — видел в нем человека, который не

имеет себе равного по эффективной насыщенности трудового дня». (Даже по лестницам Ленин обычно поднимался быстрой походкой, шагая через ступеньку.) Ведя собрание, он мог прервать кого-нибудь словами: «Я вам дал уже тридцать лишних секунд». Мягко выговаривал опоздавшим товарищам: «Что-то мои часы забегают вперед, надо проверить. Как по вашим часам?» «Случалось, — писала Л. Фотиева, — что Владимир Ильич считал время не минутами, а секундами… Часы, которые отставали или шли вперед хотя бы на одну минуту, Владимир Ильич считал плохими и не пользовался ими… Иногда Владимир Ильич сам называл темп своей работы «бешеным».

Однажды в 1904 году ему пришлось убить два часа на беседу с совершенно неинтересной ему собеседницей. Это столь грубо нарушало главное рахметовское правило — не терять ни минуты понапрасну, — что привело Ленина в крайнее раздражение. Потом он пожаловался:

— Эта дура сидела у меня два часа, отняла меня от работы, своими расспросами и разговорами довела до головной боли… Неужели она думала, что я за ней буду ухаживать… И за кем ухаживать? Эта дура — подлинный двойник Матрены Семеновны, а с Матреной Семеновной я никаких дел иметь не желаю.

— Какая Матрена Семеновна? — удивился кто-то из слушателей.

— Матрена Семеновна Суханчикова из «Дыма» Тургенева. Стыдно не знать Тургенева.

«К величайшему моему удивлению… я узнал, — писал Н. Вольский, — что Ленин великолепно знает Тургенева, намного лучше меня. Он помнил и главные его романы, и рассказы, и даже крошечные вещицы, названные Тургеневым «Стихотворения в прозе». Он, очевидно, читал Тургенева очень часто и усердно, и некоторые слова, выражения Тургенева… въелись в его лексикон». От Ленина нередко можно было услышать (или прочесть в его статьях) тургеневские фразы вроде таких: «Друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво!»; «Дважды два — стеариновая свеча»; «Это не человек, а китайский болванчик, слова, слова, а дел нет».

Между прочим, за советом «не говорить красиво» для Ленина крылась целая философия. Он сам старался говорить очень скупо, не тратя ни одного лишнего слова. А о тех, кто выражался цветисто, пышным слогом, обычно выразительно ронял: «Пустой человек». «Он терпеть не мог внешней «красивости», фразы, — писал большевик Лев Каменев, — презирал всякие попытки «принарядить» мысль, любил чаще всего цитировать слова Базарова: «Мой друг Аркадий, не говори так красиво».

Выступая перед необразованными слушателями, Ленин говорил просто, иногда даже слишком просто. А поймав своих противников на ненужном красноречии, часто припоминал им другого тургеневского героя — Ворошилова, который «оглушал звоном слов», «прикрывал невежество набором ученых слов и имен». «Помните — в «Дыме» — молодого русского приват-доцента, который совершал променад по заграница, отличался вообще большой молчаливостью, но от времени до времени его прорывало, и он начинал сыпать десятками и сотнями ученых и ученейших, редких и редчайших имен?» Ленин призывал выражаться «просто, без тех ненужных ухищрений слога, без тех внешних признаков «учености», которые так пленяют декадентов и титулованных представителей официальной науки». «Ворошиловы поступают наоборот: они предпочитают высыпать целый мешок ученых имен… загромождая ученым сором суть дела».

Ленин замечал между прочим: «Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит — ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал». «Чем ближе к разговорному языку, тем лучше!»

В юности Ленин не ценил тургеневский роман «Накануне», несмотря на то что его главный герой — мятежник, по сути революционер. Владимир Ильич обстоятельно объяснял причины своего былого пренебрежения к роману: «То обстоятельство, что главное лицо романа Инсаров — болгарин, уроженец какой-то маленькой, неинтересной, захолустной страны, а не русский, не француз, не немец или англичанин, словом, не уроженец «великой страны», люди которой могут быть взяты как пример, — делало для меня «Накануне» и менее интересным, и менее поучительным, чем другие романы Тургенева — «Рудин», «Новь», «Дым». Малое внимание к «Накануне» возможно объяснить и таким фактом. Во время войны России с Турцией за освобождение балканских славян — тогда мне было семь лет — моя нянька, у которой родственники были взяты на войну и некоторые из них там убиты, постоянно с плачем говорила: «Русская кровь зря льется из-за каких-то нам чужих, проклятых болгар. На что они нам, у нас самих забот по горло». Не исключено, что такое внушение няньки, с которым, насколько помню, совпадало отношение к этой войне и моих родителей, как-то влезло в меня и, держась бессознательно, надолго убило интерес «к болгарину» из «Накануне»…»

Во время ссылки, желая потренироваться в немецком языке, Ленин занялся переводом на немецкий отрывков из Тургенева.

«Мы, — рассказывала Крупская, — тогда по целым часам занимались переводами… Ильич выбирал у Тургенева страницы

по тем или иным причинам наиболее для него интересные. Так, с большим удовольствием Ильич переводил ехидные речи Потугина в романе «Дым»…»

Что же это за «ехидные речи», от перевода которых Владимир Ильич получал такое «большое удовольствие»? Вот характерные отрывки из них:

«— Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле… Лезут мне в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом, с Кулибиным… Да какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетанье спросонья, а не то полузвериная сметка… А что до Кулибина, который, не зная механики, смастерил какие-то пребезобразные часы, так я бы эти самые часы на позорный столб выставить приказал; вот, мол, смотрите, люди добрые, как не надо делать. Кулибин сам тут не виноват, да дело его дрянь…

Посетил я нынешнею весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность — энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну-с, расхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, — наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы. Подобного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошние жители какие-то лодки да копья изобрели: посетители заметили бы их отсутствие».

Потугин — убежденный «западник». Он так себя и представляет:

«— Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которою так мило у нас теперь потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — и люблю ее всем сердцем, и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет. Это слово… и понятно, и чисто, и свято, а другие все, народность там, что ли, слава, кровью пахнут… Бог с ними!»

Что созвучного было в этих речах со взглядами Владимира Ильича? Сейчас может показаться неожиданным, но марксизм на

рубеже XIX–XX веков представлялся в России не просто как западничество, а как своего рода крайнее, «ультразападничество». «Нас привлекало в марксизме и другое, — вспоминал Вольский, — его европеизм. Он шел из Европы, от него веяло, пахло не домашней плесенью, самобытностью, а чем-то новым, свежим, заманчивым… Запад нас манил».

В сочинениях Ленина можно найти немало проклятий в адрес «азиатского варварства» и «проклятой язвы азиатчины, отравляющей Русь». «Как много старо-китайского в русской жизни!» — восклицал он. Владимир Ильич одобрительно замечал, что Петр I ускорял «перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства». «Мы помним, — писал Ленин, — как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы»… По-нашему, это были слова настоящей любви к родине». Говоря о своей любви к родине, Владимир Ильич вспоминал строки Некрасова:

> Кто живет без печали и гнева,
> Тот не любит отчизны своей…

Что же касается либералов и правых социалистов, тоже считавших себя европейцами в России, то Ленин отзывался о них с убийственной иронией: «Голый дикарь, который оденет себе на голову цилиндр и вообразит себя поэтому европейцем, будет довольно смешон».

«Человеки в футляре». На теорию Ульянов смотрел необычайно трезво — как всего лишь на подходящее оружие. Этим и объясняются его потрясавшие всех крутые повороты: например, в апреле 1917 года (к скорейшей новой революции), позднее — в 1921 году (к нэпу). Победа любой ценой, победа во что бы то ни стало — вот что было настоящим девизом его жизни. В 1923 году, в одном из последних своих текстов, он признавался в этом с необычайной откровенностью: «Помнится, Наполеон писал: «On s'engage et puis… on voit». В вольном русском переводе это значит: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет». Вот и мы ввязались сначала в октябре 1917 года в серьезный бой, а там уже увидели такие детали развития, как… Брестский мир или нэп и т.п.… Иначе вообще не могут делаться революции».

Ульянов не уставал обличать тех, кого он обозначил чеховским выражением «человеки в футляре». Так он называл

товарищей, которые ценят теорию ради нее самой и, по примеру школьного учителя Беликова, всю жизнь самодовольно твердят азбучные истины о том, «что лошади кушают овес и что Волга течет в Каспийское море». «Жалкие человеки в футляре, — говорил Ленин уже после Октября, — которые все время стояли далеко в стороне от жизни, спали и, заснув, под подушкой бережно держали старую, истрепанную, никому не нужную книжку». Заметим, что «книжка» эта — не что иное, как труды Маркса! «Если бы книжка, — говорил Ленин тогда же, — кроме тормоза и вечной боязни нового шага, ничем не служила — она была бы неценна».

Однажды Владимир Ильич с улыбкой рассказал такую историю: «Товарищи, как-то летом я был на даче в Кларане (местечко на берегу Женевского озера). Приехали мы вечером, устроились. Утром я вышел на террасу умываться, слышу — кто-то кричит: «Прекрасная погода, прекрасная погода!» Посмотрел, а это попугай в висевшей клетке. Да, думаю, действительно великолепная погода, солнышко светит, птички поют, воздух свежий. Осенью нам снова довелось побывать там. Выхожу однажды на террасу. На дворе холодно, дождь, слякоть, грязь, а попугай все так же кричит: «Прекрасная погода!»…»

Ленин высмеивал «высокоученых» революционеров, «ученейших кабинетных дураков», которые твердят «простые, заученные, на первый взгляд бесспорные истины: три больше двух. Но политика больше похожа на алгебру, чем на арифметику, и еще больше на высшую математику, чем на низшую. В действительности… перед цифрами появился… новый знак: «минус», а наши мудрецы упрямо продолжали (и продолжают) уверять себя и других, что «минус три» больше «минус двух». «Это просто люди, которые играют словами. Они книжки видали, книжки заучили, книжки повторили и в книжках ничегошеньки не поняли. Бывают такие ученые и даже ученейшие люди». «Не надо оглушать себя словами и не надо поддаваться запугиванию словами».

Иногда Владимир Ильич высказывался о старых революционерах, ходивших по одному и тому же заученному кругу, и еще более мудрено и «заковыристо». «Поистине точно во сне мочалку жует!» — смеялся он в одной из статей. О Вере Засулич однажды выразился так:

«Есть такая детская песенка, точно написанная на Веру Ивановну:

Жила-была старица
В тишине под дубом,

Пошла в баню париться, —
Братья, возликуем!..

И, как баба умная,
Взяла пук мочала…
Песня эта длинная, —
Начинай сначала!

И опять повторяется то же самое, как в песне «у попа была собака». Вот вам и вся Вера Ивановна…»

Большевик Карл Радек писал: «Меня в Ленине поражало то, что англичане называют «Коммон сенс», т. е. здравый смысл… Когда Ленин решает большой вопрос, он не мыслит абстрактными историческими категориями, он не думает о земельной ренте, о прибавочной стоимости, об абсолютизме, о либерализме. Он думает о Собакевиче, о Гессене, о Сидоре из Тверской губернии и о рабочем с Путилова, о городовом на улице и думает о том, как данная мера повлияет на мужика Сидора и на рабочего Онуфрия, как носителей революции». «Излюбленным словом этого… человека является английская пословица: «факты — это упрямые вещи!».

Многие бывшие товарищи и соратники Ленина оказались в рядах решительных противников большевиков. Владимир Ильич замечал об этом: «Между нами, ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в ее столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это — рабочий инструмент». «Если мы… будем воздерживаться от целесообразных и необходимых поступков, то можем просто превратиться в индийских столпников. Не шевелиться, только бы не шевелиться, а не то можем кувыркнуться вниз с высоты столпа наших принципов!»

«Всякие оппортунисты, — писал Ленин, — любят говорить нам: учитесь у жизни. К сожалению, они понимают под жизнью только болото мирных периодов, времен застоя, когда жизнь едва-едва движется вперед. Они отстают всегда, эти слепые люди, от уроков революционной жизни. Их мертвые доктрины оказываются всегда позади бурного потока революции…»

«Конечно, — говорил он в 1919 году, — масса людей обвиняла нас… за то, что мы взялись за это дело, не зная, как довести его до конца. Но это — смешное обвинение людей мертвых. Как будто можно делать величайшую революцию, зная

заранее, как ее делать до конца! Как будто это знание почерпается из книг!» «Новый мир… не рождается готовым, не выходит сразу, как Минерва из головы Юпитера».

Владимир Ильич очень любил цитату из «Фауста» Гете, которую обычно произносил по-немецки:

> Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
> Und grun des Lebens goldner Baum.

Переводил ее так: «Теория, мой друг, сера, но зелено вечное дерево жизни».

«Пустая кишка, верящая, что Бог сжалится». Еще одно любимое словечко Ленина, родственное по смыслу «Обломову» и «человеку в футляре» — филистер. Позднее это слово почти вышло из употребления. Вместо него стали говорить «обыватель», «мещанин», «пошляк» и т. д. Для Владимира Ильича филистер — средоточие всего, от чего человеку следует освободиться. В своей первой печатной работе в 1894 году он спрашивал читателя: «Помните ли вы немецкое определение филистера?» — и в качестве ответа приводил в оригинале стихи Гете:

> Was ist der Philister?
> Ein hohler Darm,
> Voll Furcht und Hojfnung,
> Dass Gott erbarm!

В другом месте он вновь вспоминал эти стихи, давая им такой перевод: «Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что Бог сжалится».

В своих сочинениях Ленин постоянно обличает «филистеров всех цветов», «филистеров в ночном колпаке», ядовито восклицая по разным поводам: «Какая это гениально-филистерская идея!.. Какая бездна тупоумия, какая пропасть филистерства нужна для этого!» Что только, по Ленину, не бывает филистерским: фразы, утопии, сетования, воздыхания, пожелания, пошлость, боязнь, недомыслие, глупость, самодовольство, предрассудки, доверчивость… Чтобы заклеймить все это вполне, он даже изобретает такие нетривиальные выражения, как, например, «виртуозы филистерства» или «слюна филистерского негодования».

«Иной мерзавец тем и полезен, что мерзавец».

Г. Кржижановский вспоминал: «Владимира Ильича можно было легко рассердить расплывчатой характеристикой какого-нибудь человека в качестве вообще «хорошего» человека».

«При чем тут «хороший», — возмущался он. — Лучше скажите-ка, какова политическая линия его поведения». Или спрашивал с нескрываемой иронией: «А ну-ка, скажите, что такое хороший человек?..»

Н. Вольский отмечал, что Владимир Ильич «с полнейшим равнодушием относился к указанию, что «то или иное лицо грешит по части личной добродетели, нарушая ту или иную заповедь праотца Моисея». Ленин в таких случаях — я это слышал от него — говорил: «Это меня не касается, это Privatsache» или «на это я смотрю сквозь пальцы».

В 1904 году один из большевиков попал в неприятную историю: просадил партийные деньги в публичном доме (как тогда выражались, «лупанарии»). Ленин по этому поводу заявил, что, не будучи попом, проповедями с амвона не занимается, и поэтому на происшествие смотрит сквозь пальцы.

«Если Икс пошел в лупанарий, — заметил он, — значит, нужда была, и нужно полностью потерять чувство комичности, чтобы по поводу этой физиологии держать поповские проповеди».

Владимир Ильич одобрил поступок большевика Виктора Таратуты, который женился на богатой невесте. Благодаря этому партия вполне законно получила крупную сумму.

— Но каков Виктор? — возмущался этой женитьбой один из знакомых Ленина. — Ведь это подло по отношению к девушке?

— Тем-то он и хорош, — улыбаясь, возразил Владимир Ильич, — что ни перед чем не остановится. Вот вы скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А Виктор пошел. Это человек незаменимый.

«Партия, — заметил Ленин, — не пансион благородных девиц… Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец». Впрочем, не на всякие нарушения патриархальной морали Ленин смотрел «сквозь пальцы». Его близкая сотрудница в годы эмиграции В. Кожевникова однажды призналась Владимиру Ильичу, что хочет отправить к родным в Россию двух своих маленьких детей. Ленин возмутился. «Как он начал меня ругать: «Бессовестные матери, которые бросают своих детей на попечение чужих! Не имеете права. Должны заботиться сами о них».

«Не люблю общих обедов с разговорами». Рахметов, как известно, придерживался особых правил в своем питании. «Он

стал и вообще вести самый суровый образ жизни. Чтобы сделаться и продолжать быть Никитушкою Ломовым, ему нужно было есть говядины, много говядины, — и он ел ее много. Но он жалел каждой копейки на какую-нибудь пищу, кроме говядины; говядину он велел хозяйке брать самую отличную, нарочно для него самые лучшие куски, но остальное ел у себя дома все только самое дешевое. Отказался от белого хлеба, ел только черный за своим столом. По целым неделям у него не бывало во рту куска сахару, по целым неделям никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки. На свои деньги он не покупал ничего подобного: «не имею права тратить деньги на прихоть, без которой могу обойтись», — а ведь он воспитан был на роскошном столе и имел тонкий вкус, как видно было по его замечаниям о блюдах; когда он обедал у кого-нибудь за чужим столом, он ел с удовольствием многие из блюд, от которых отказывал себе в своем столе, других не ел и за чужим столом. Причина различения была основательная: «То, что ест, хотя по временам, простой народ, и я могу есть при случае. Того, что никогда недоступно простым людям, и я не должен есть!..» Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов… Паштеты ел, потому что «хороший пирог не хуже паштета, и слоеное тесто знакомо простому народу», но сардинок не ел».

Среди революционеров на рубеже XIX–XX веков было принято относиться к питанию «нигилистически», то есть подчеркнуто пренебрежительно. Это резко отличало их от русских «обывателей», вся бытовая жизнь которых строилась тогда вокруг пищи (постов и мясоедов, говения, разговления, Масленицы — «сырной недели» и т. д.). А как питались революционеры? Вот типичный пример — из воспоминаний Надежды Крупской. Она пишет о привычках старой социал-демократки Веры Засулич: «Жила она по-нигилистячему — одевалась небрежно, курила без конца, в комнате ее царил невероятный беспорядок, убирать своей комнаты она никому не разрешала. Кормилась довольно фантастически. Помню, как она раз жарила себе мясо на керосинке, остригала от него кусочки ножницами и ела. «Когда я жила в Англии, — рассказывала она, — выдумали меня английские дамы разговорами занимать: «Вы сколько времени мясо жарите?» — «Как придется, — отвечаю, — если есть хочется, минут десять жарю, а не хочется есть — часа три». Ну, они и отстали». Троцкий добавлял такой штрих к этому портрету: «В области материальных ценностей ее высшими радостями были: табак и горчица. Она потребляла и то, и другое в огромном количестве. Когда она смазывала тончайший ломтик ветчины толстым слоем горчицы, мы говорили: «Вера Ивановна кутит»…»

Ленин в то время восхищался Засулич («Вот ты увидишь Веру Ивановну, — говорил он Крупской, — это кристально-чистый человек»), но подобный стиль жизни категорически отвергал. Обратим внимание на первую и очень существенную фразу из описания «кухни» Рахметова: «ему нужно было есть говядины, много говядины, — и он ел ее много». Рахметов не ест, он «кормит себя». Иначе говоря, революционер, по Чернышевскому (и Ленину), ни в коем случае не должен быть равнодушен к своему питанию. Ведь от пищи зависит здоровье. Ленин говорил: «Работать и отдыхать можно в любое время, но обедать надо непременно в один и тот же час!»

«Не люблю общих обедов с их разговорами, — признавался Ленин. — Если это важные разговоры, им не место во время еды, а если просто болтовня, зачастую как в пансионах очень раздражающая, то она только мешает есть».

«Люди не разговаривают, а калякают», — неодобрительно отзывался Владимир Ильич о пустой болтовне.

Голодать поневоле Ленину не приходилось, он сам признавался в одной из статей: «О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой, нечто вроде побочного продукта писательской работы».

А следовал ли Ленин скромности Рахметова в пище? Насколько можно судить, да. «Помню Ленина еще по Цюриху, — писал итальянский коммунист Франческо Мизиано. — Я тогда часто захаживал в ресторан Народного дома. Там подавались обеды трех категорий: за 1 фр. 25 сант. — «аристократический», за 75 сант. — «буржуазный» и за 50 сант. — «пролетарский». Последний состоял из 2-х блюд: супа, куска хлеба и картошки. Ленин неизменно пользовался обедом третьей категории…» Н. Крупская вспоминала, что среди их сотрапезников по цюрихской столовой постоянно бывали местная проститутка, какие-то люди уголовного вида… «Ильичу нравилось то, что все было просто, что кофе давали в чашке с отбитой ручкой». Дома у Ульяновых на обед в качестве первого блюда часто подавался бульон из кубиков «Магги».

Публицист Владимир Гронский в 1918 году в оппозиционной газете «Раннее утро» вспоминал, как в годы эмиграции в Женеве обедал дома у Владимира Ильича. «Все мы сидели и ели молча. Суетилась и говорила одна старушка-мать.

— Что ж вы, родной, не едите? — говорила она мне. — Такой молодой — и так мало едите… Что ты, Володя, ничего не скажешь гостю, чтобы он ел?..

Действительно, я очень мало ел. Но, — увы! — не из стыдливости… Решительно нечего было есть. Весь обед состоял

из пяти-шести ложек бульона и крошечного кусочка мяса с несколькими ломтиками картофеля. В самой нишей швейцарской семье, конечно, обедали лучше… «Володя» ничего не ответил матери, но медленно оглядел пустые тарелки, посмотрел на мать, потом на меня и тихо улыбнулся в бороду. В этой безмолвной улыбке было так много умной иронии и к ней, и к себе, и к их бедности, что я глубоко был тронут. Старуха вспыхнула:

— Ты всегда говоришь глупости…

И она поспешно ушла с пустыми тарелками».

Немецкая коммунистка Клара Цеткин описывала, как ужинала в доме Ленина в 1920 году: «Это был скромный ужин любого среднего советского служащего того времени. Он состоял из чая, черного хлеба, масла, сыра. Потом сестра (Мария Ульянова. — А.М.) должна была «в честь гостя» поискать, нет ли чего «сладкого», и, к счастью, нашлась небольшая банка с вареньем».

«Осрамили вы меня каратаевскими онучками!». Само отношение Ленина к пище — серьезное, тщательное, аккуратное — буквально гипнотизировало его товарищей, поскольку было совершенно нехарактерно для революционеров.

Н. Вольский описывал такой эпизод во время пребывания Ленина в Швейцарии: «Отправляясь на прогулку в горы, Крупская однажды, по настоянию Ленина, взяла с собою колбасу, крутые яйца, хлеб и печенье. Соль для яиц забыла взять, за что получила «выговор» от Ленина.

Во время пикников, прогулок, когда нет стола, тарелок, вилок и т. д., — как с пищевым добром управляются люди? Полагаю, со мною согласятся, если скажу, что поступают следующим образом: отрезают кусок хлеба, кладут на него кусок колбасы и сделанный таким образом сандвич откусывают. Ленин поступал по-другому. Острым перочинным ножиком он отрезал кусочек колбасы, быстро клал его в рот и, немедленно отрезав кусочек хлеба, подкидывал его вдогонку за колбасой. Такой же прием он применял и с яйцами. Каждый кусочек порознь, один за другим, Ленин направлял, лучше сказать, подбрасывал в рот какими-то ловкими, очень быстрыми, аккуратными, спорыми движениями. Я с любопытством смотрел на эту «пищевую гимнастику», и вдруг в голову мне влетел образ Платона Каратаева из «Войны и мира». Он все делал ловко, он и онучки свои свертывал и развертывал — как говорит Толстой — «приятными, успокоительными, круглыми движениями». Ленин обращается с колбасой, как Каратаев с онучками. Кусая сандвич, я эту чепуху и выпалил Ленину. Это не умно? Но каждый из нас, лишь бы то не повторялось слишком

часто, имеет право изрекать и делать глупости.

До этого не приходилось слышать Ленина громко хохочущим. У меня оказалась привилегия видеть его изгибающимся от хохота. Он отбросил в сторону перочинный ножик, хлеб, колбасу и хохотал до слез. Несколько раз он пытался произнести «Каратаев», «ем, как онучки он свертывает» и не кончал фразы, сотрясаясь от смеха. Его смех был так заразителен, что, глядя на него, стала хохотать Крупская, а за нею я. В этот момент «Старику Ильичу» и всем нам было не более 12 лет.

Из обихода Ленина были изгнаны всякие фамильярности. Я никогда не видал, чтобы он кого-нибудь хлопал по плечу, и на этот жест по отношению к Ленину, даже почтительно, никто из его товарищей не осмелился бы. В этот день, когда, возвращаясь в Женеву, мы спускались с горы, Ленин, вопреки своим правилам, дружески тяпнул меня по спине: «Ну, Самсоныч, осрамили же вы меня каратаевскими онучками!»…

«Икру кушают, а не чистят ею сапоги». Несмотря на всю скромность Рахметова, в его жизни присутствовали кое-какие предметы роскоши — дорогие сигары. Ленин не курил, но тоже позволял себе некоторые «слабости».

Так, Владимир Ильич вовсе не был равнодушен к различным кулинарным деликатесам и ценил их. Беседуя в 1920 году с чешским товарищем, он первым делом спросил его, делают ли еще в Чехии кнедлики со сливами… В сочинениях Ленина между слов порой всплывают различные кушанья: пирог с вязигой, паштет, жареные рябчики, сборная селянка по-московски, «пышный, украшенный сахарными завитушками пирог» и, конечно, знаменитая щедринская «севрюжина с хреном»… В нескольких статьях Ленин с удовольствием повторяет русскую пословицу: первая чарочка (рюмочка) колом, вторая соколом, а остальные — мелкими пташечками.

Очень любил Владимир Ильич «волжские продукты»: балыки, семгу, икру. Н. Крупская вспоминала такой случай в 1913 году: «Пришла из дому посылка со всякой рыбиной — семгой, икрой, балыком; я извлекла по этому случаю у мамы кухарскую книгу и соорудила блины. И Владимир Ильич, который любил повкуснее и посытнее угостить товарищей, был архидоволен всей этой мурой». Он благодарил в письме мать за ее гостинцы: «Едим теперь эти деликатесы… и вспоминаем Волгу».

В сентябре 1917 года Ленин некоторое время скрывался на квартире финского машиниста Блумквиста. Его жена Эмилия рассказывала такой забавный случай: «С питанием в Хельсинки тогда было очень плохо, продукты отпускали только по

карточкам. Надежда Константиновна привезла из России баночку черной икры. Перед обедом Владимир Ильич передал эту баночку мне с просьбой открыть ее. Когда я увидела содержимое, мне показалось, что это сапожная вакса (я никогда до этого не видела черной икры). Поэтому я взяла сапожную щетку и вместе с банкой внесла в комнату Ильича. Когда Владимир Ильич увидел это, он пришел в ужас и, как сейчас помню, с шаловливой искринкой в глазах по-русски воскликнул: «Нет, нет, это надо кушать!» — и показал мне жестом, что икру кушают, а не чистят ею сапоги. Это было мое первое знакомство с черной икрой».

Интересовался Ленин и приготовлением различных блюд. Мария Усениус, жена финского рабочего, в чьем доме Ленин в 1917 году тоже скрывался две недели от полиции, вспоминала: «Однажды я зажарила ему в масле свеклу. Ленину очень понравилось кушанье, и в следующий раз он даже пришел на кухню посмотреть, как я готовлю это блюдо. Он подумал, наверное, что, возможно, ему когда-нибудь придется самому приготовить его. Вообще Ленин был очень неприхотлив. Дважды в день он просил чаю — два стакана утром, два стакана вечером, — стакан молока, и ничего больше».

После революции Ленин сохранил эту привычку пить вечером горячее молоко. «С заседания Совнаркома, — вспоминала Мария Ульянова, — Владимир Ильич приходил вечером, вернее ночью часа в 2, совершенно измотанный, бледный, иногда не мог даже говорить, есть, а наливал себе только чашку горячего молока и пил его, расхаживая по кухне, где мы обычно ужинали».

«Знаете, как я люблю мюнхенское пиво?» Выше уже приводились слова Рахметова: «Я не пью ни капли вина». (Правда, он признаётся: «Как жаль, что не могу и я выпить три-четыре рюмки — хотелось бы».) Другой герой романа возражает ему, осуждая подобную «крайность».

Ленин в этом споре придерживался более мягкой позиции, чем Рахметов. Так, он любил баварское пиво. «Ильич, — замечала Крупская, — похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя». Однажды в эмиграции товарищ предложил ему выпить мюнхенского пива — но, возможно, ненастоящего.

«Да что вы, батенька! — воскликнул Ленин. — Знаете, как я люблю мюнхенское пиво?»

И припомнил случай, когда в Поронине «верстах в четырех-пяти, в одной деревушке, появилось настоящее мюнхенское»: «И вот, бывало, вечерами… начинаю подбивать компанию идти пешком за пять верст выпить по кружке пива. И хаживал, бывало, по ночному холодку налегке, наскоро».

На Рождество супруги Ульяновы — «Ильичи», как их шутливо именовали товарищи, — обычно варили глинтвейн и пунш. В 1908 году Ленин писал Максиму Горькому: «К весне… закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с Вами».

Однако в употреблении пива, вина и водки Владимир Ильич соблюдал чрезвычайную умеренность. «Его нельзя вообразить выпивающим лишнюю кружку пива или вина, — вспоминал Н. Вольский. — Его нельзя себе представить пьяным. Вид одного пьяного товарища… в Париже вызвал у него содрогание и отвращение». Г. Зиновьев рассказывал: «Ему ничего не стоило подбить нас съездить из галицийской деревушки на велосипеде верст за 100 в Венгрию за тем, чтобы оттуда в качестве трофея привезти… одну бутылку венгерского вина».

Социалисты обсуждали вопрос, не ввести ли им для себя абсолютную трезвость. Такое решение в 1906 году приняла финская социал-демократическая партия. Финский коммунист Юрье Сирола вспоминал, как в 1910 году в Копенгагене посещал какой-то ресторан вместе с Лениным.

«Когда графин с водкой по кругу дошел до нас, я спросил у Ленина:

— Вы позволите себе перед обедом рюмочку?

— Моя партия не запрещает этого, — был ответ».

Говоря так, Владимир Ильич подшучивал над своим собеседником: получалось, что финские товарищи сначала приняли неоправданно строгое решение, а теперь не выполняют его. «Мне стало неловко», — писал Сирола.

«Я еду не открывать ателье, а делать революцию!»

«Одевался он очень бедно, хоть любил изящество», — замечал Чернышевский о привычках Рахметова. «Почти бедно, но всегда опрятно одетый, — писал о Ленине в 1915 году швейцарский социалист Фриц Платтен. — Бедность его костюма, казалось, мало или вовсе не угнетала Ленина». «На свою одежду обращал внимания мало, — вспоминала Крупская. — Думаю, что цвет его галстука был ему безразличен. Да и к галстуку относился как к неудобной необходимости».

Скромность и непритязательность в одежде, за редкими исключениями, вообще была свойственна для революционеров. «Ильич… на свою внешность обращал столько же внимания, — вспоминал большевик Григорий Шкловский, — сколько любой русский студент-«нигилист». Борода его росла тогда (в 1903 году. — А.М.) во все стороны, и о стрижке ее он не заботился, и это, между прочим, шло к нему гораздо лучше, чем когда он, по

отношению к ней, применял методы европейской цивилизации…» Глеб Кржижановский отмечал: «Карл Маркс случайно застиг явившегося к нему впервые Луи Блана за прихорашиванием перед зеркалом в передней. Это сразу принизило Луи Блана в глазах Маркса. Ничего подобного не могло случиться с Владимиром Ильичем. Костюм его был всегда весьма прост, обычен, без малейшего оттенка какой-либо претенциозности».

Однако характерным отличием Ленина в своем кругу была подчеркнутая опрятность в одежде. Меньшевик Владимир Цедербаум так описывал весь облик 27-летнего Ульянова: «Ироническая складка у губ под рыжими усами, рыжая бородка клинышком («как у ярославского мужичка», — говорили у нас), — таким запечатлелся в моей памяти Ленин после первой встречи с ним. Одет он был, в отличие от других товарищей, носивших блузы и косоворотки, весьма аккуратно, носил крахмальный воротничок и манжеты. Держался он в высшей степени просто…» Большевичка Феодосия Драбкина писала об одежде 33-летнего Ульянова: «Из дешевой материи, но исключительно опрятный костюм. Я не представляю себе Владимира Ильича с оторванной пуговицей или в несвежем воротничке… Это не было опрощением, за которым часто скрываются фальшь и лицемерие. Это было доведение до минимума своих личных потребностей, чтобы все силы отдавать делу».

Вообще же аккуратности и точности, которые для Рахметова стали своего рода культом, Ленин старался придерживаться и в большом, и в малом. Его теща Елизавета Васильевна говорила о нем в 1904 году: «Володенька во всем ловкий. Пуговица у него где-нибудь оторвется, ни к кому не обращаясь, он сам ее пришьет, и лучше, чем Надя [Крупская]. Он и ловкий, и аккуратный. Утром, прежде чем сесть заниматься, всюду с тряпкой наводит порядок среди своих книг. Если ботинки начнет чистить — доведет их до глянцу. Пятно на пиджаке увидит — сейчас же принимается выводить».

«Никогда, даже в домашней обстановке, — писал Кржижановский, — он не ходил одетым небрежно. А какой идеальный порядок был у него на столе!.. Ни в чем: ни в работе, ни в жизни — Ленин не терпел небрежности».

В 1917 году, после падения самодержавия, Ленин возвращался в Россию и по пути остановился в Стокгольме. Шведский журналист Отто Гримлунд писал: «После обеда нам удалось уговорить Ленина прогуляться по городу. Мы собирались купить ему костюм. Ленин вместе с Крупской пошли в большой универмаг и купили костюм, который теперь демонстрируется в Музее Ленина в Москве. Ленин ворчал, считая, что старый

костюм мог бы ему послужить еще некоторое время. Купить ему еще что-нибудь было совершенно невозможно. «Я еду домой, в Россию, не за тем, чтобы открывать там какое-нибудь ателье, а делать революцию!» — шутил он».

Впрочем, по другим сведениям, Ленин все-таки купил в том же магазине пальто, брюки и кепку. А сам универмаг благодаря посещению Владимира Ильича на долгие десятилетия превратился в одну из туристических достопримечательностей шведской столицы.

Когда Ленин уже жил в Московском Кремле, домашняя работница Ульяновых, вытряхивая в коридоре его костюм, ворчала: «Вот, всем правит, всем ворочает, а костюм себе справить не может, только и знаю, что чиню и штопаю».

Однажды эти причитания услышал сам Владимир Ильич, засмеялся и ободряюще похлопал ее по плечу: «Ничего, ничего. Вот разбогатеем, куплю себе новый костюм. Вам меньше хлопот будет».

«В старых туфлях приятнее». Владимир Ильич вообще старался избегать излишнего комфорта. Лидия Фотиева вспоминала такой случай после революции: «У него [Ленина] мерзли ноги в кабинете, и он попросил дать ему войлок под ноги. Войлок достали… Но позже удалось достать шкуру белого медведя. Большую, роскошную шкуру расстелили под письменным столом и креслом и были рады: и красиво и тепло будет Владимиру Ильичу. Но, придя в кабинет и увидев эту обновку, Владимир Ильич рассердился. Он сказал: «В нашей разоренной, полунищей стране такая роскошь недопустима». Пришлось убрать шкуру и водворить на ее место войлок».

Кремлевскую квартиру Ленина тоже вначале обставили шикарно — позолоченными стульями, зеркальными шкафами, креслами, обитыми шелком и бархатом. Но он тотчас распорядился все это вынести вон и поставить простую мебель. «Что сказали бы об этом рабочие?» — спрашивал Ленин в подобных случаях. «Советское государство должно дешево стоить», — замечал он.

Однажды, в декабре 1921 года, после смены истопников в квартире Ульяновых по ошибке не топили целых девять дней. Ленин не жаловался, сидел дома, закутавшись шалью жены, и говорил своим домашним: «В Москве топливный кризис, ничего не поделаешь, не мы одни, а многие переживают этот недостаток».

«Ох, уж эти большевики, — шутил Ленин по поводу нехватки дров, — послал их бог на нашу голову». Впрочем, он любил

умеренную прохладу и сам просил истопника: «Сделайте такую милость, чтобы у меня в комнате было не выше 14 градусов». «Я ведь жил в Швейцарии, — объяснял он, — в горах и привык к холодному воздуху…»

Когда заходила речь о каком-нибудь улучшении его личного комфорта, Владимир Ильич обычно отделывался фразой: «Нет, в старых туфлях приятнее…»

Кстати, обувь Владимира Ильича была под стать его одежде. В беседе с писателем Феликсом Чуевым бывший глава Совнаркома Вячеслав Молотов рассказывал: «Мне до сих пор почему-то запомнилось, в голове сидит, даже представляю натурально, как Ленин провозглашает Советскую власть. Я был позади трибуны… И мне почему-то помнится, что Ленин, обращаясь к аудитории, к залу стоял, и одна нога у него была приподнята — имел он такую привычку, когда выступал, — и видна была подошва, и я заметил, что она протерта. Форма дырки даже отпечаталась в голове…»

Молотов так увлекся своим рассказом, что стал рисовать на бумаге форму дырки на ленинском ботинке. Потом показал Чуеву получившийся рисунок.

«Вот примерно такая штука протертая. Но есть там вторая стелька. Вторая стелька еще сохранилась, а нижняя подметка протерта. Даже форму подошвы запомнил…»

Ненамного лучше была обувь главы правительства и в последующие годы. В 1921 году один из слушателей заметил на его правом ботинке аккуратную заплатку возле мизинца…

Впрочем, к обуви Ленин относился также внимательно, как и ко всем прочим мелочам быта. В его сочинениях даже попадаются «обувные» сравнения: «Нельзя обойтись без толстых и подбитых гвоздями подошв, идя в горы». Эта фраза Ленина — о его собственных альпийских сапогах. В них он в 1917 году уехал из Швейцарии, в них сошел на шведский берег. За эту простецкую обувь и одежду, потертые чемоданы прислуга даже отказалась поначалу впускать его в фешенебельную гостиницу «Регина», где русским эмигрантам сняли номера. «Вероятно, — писал Радек, — добропорядочный вид солидных шведских товарищей вызвал в нас страстное желание, чтобы Ильич был похож на человека. Мы уговаривали его купить хотя бы новые сапоги. Он уехал в горских сапогах с гвоздями громадной величины… Мы купили Ильичу сапоги и начали его прельщать другими частями гардероба. Он защищался как мог…»

Разумеется, советский фольклор 70-х годов заменил отношение Ленина к вещам на ровно противоположное:

«Максим Горький спрашивает у Ленина:

— Владимир Ильич, где костюмчик брали?

Ленин отворачивает борт пиджака, показывая лейбл:

— В Швейцарии, батенька, в Швейцарии».

«И мы перевернем Россию!» В 1902 году Ульянов напечатал брошюру, которую озаглавил «Что делать?». Он не случайно выбрал для заголовка название своего любимого романа. Ленин тоже постарался изложить свое заветное кредо, ответить на вопрос: как готовить революцию? В сущности, ленинское «Что делать?» и одноименный роман Чернышевского находятся между собой в тесном родстве. Работа Ульянова — это перевод романа Чернышевского на язык политики.

Вспомним, какое значение придавал Рахметов своему престижу в глазах народа — «уважению и любви простых людей». Сколько сил и энергии он тратил как будто «впустую» — только на то, чтобы завоевать это уважение! Добиться такого уважения, делает вывод Ленин, может только «революционер по профессии», у которого в жизни нет никаких иных занятий.

И Ленин резко восстает против неумелых революционеров — «кустарей», которые пытаются совмещать революцию с другими делами. «Мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси», — жестко заявляет он. Такие люди только, «позорят революционера сан». «Неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве, — борьбе с политической полицией, — помилуйте! это — не революционер, а какой-то жалкий кустарь».

Основная мысль Ленина, которую он повторяет много раз: нужна организация «Рахметовых» (правда, Ленин нигде не упоминает этой фамилии) — «революционеров по профессии». Эту идею Владимир Ильич считал гораздо важнее любых прочих разногласий. Известен эпизод, когда Ленин в начале века беседовал с Александром Мартыновым (позднее видным меньшевиком). Сидя в каком-то ресторанчике, они обсуждали различные политические вопросы. «И вот, — вспоминал Мартынов, — мы с товарищем Лениным по всем этим пунктам оказались солидарными, по всем пунктам мыслили одинаково. Но вот он меня в конце беседы спрашивает:

— А как вы относитесь к моему организационному плану?»

— Я считаю его неправильным, — отвечал его собеседник, — вы хотите создать партию наподобие какой-то македонской четы…

— Ну, раз так, тогда нам вообще с вами больше разговаривать не о чем, — отрезал Ленин. (По другим сведениям, он выразился более резко: «Вы ровно ничего ни в чем не

понимаете, и разговаривать с вами мне не о чем».)

В своей книжке Ленин перефразировал изречение Архимеда («Дайте мне точку опоры — и я переверну земной шар!») и бодро восклицал: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» Еще в 1895 году Владимир Ильич замечал в разговоре с Михаилом Сильвиным: «Революция предполагает участие масс, но ее делает меньшинство. Аксельрод рассказывал мне, что в конце 70-х годов среди революционеров была полная прострация, и через какой-нибудь год небольшая кучка создала мощную партию «Народной Воли»…»

Родство своей работы с романом Чернышевского признавал и сам Владимир Ильич. И как-то на наивный вопрос одного из товарищей: «Значит, вы не случайно назвали… вашу книжку «Что делать?»?» — Ленин с глухим раздражением ответил: «Неужели о том нельзя догадаться?»

Ленин вообще любил по примеру Чернышевского называть свои сочинения заголовками-вопросами: что делать? с чего начать? кто такие «друзья народа»?., от какого наследства мы отказываемся? чего мы добиваемся?., мир или война?..

«Ладони изображали рыбьи плавники». Ленин заражал людей не только своей энергией и идеями, но даже жестами. Владимир Ильич был очень подвижным человеком, настоящим «живчиком». «Теперь о Ленине… обычно пишут, как о каком-то «спокойном мудреце», вещавшем истины. Напротив… Ленин был крайне нервен, непоседлив, взвинчен», — вспоминал бывший большевик Александр Нагловский.

Н. Вольский писал о 1904 годе: «В первые же минуты визита к Ленину я познакомился с одним, только ему принадлежащим, жестом. Говоря или споря, Ленин как бы приседал, делал большой шаг назад, одновременно запуская большие пальцы за борт жилетки около подмышек и держа руки сжатыми в кулаки. Прихлопывая правой ногой, он делал затем небольшой, быстрый шаг вперед и, продолжая держать большие пальцы за бортами жилетки, распускал кулаки, так что ладони с четырьмя пальцами изображали растопыренные рыбьи плавники… Постоянно попадая в поле зрения собеседников, ленинская жестикуляция настолько их заражала, что некоторые из них… тоже начинали запускать пальцы за жилетку. Ленин гипнотизировал и этим…» «Мне приходилось потом встречать много товарищей, — замечал В. Адоратский, — которые как будто даже внешне становились похожими на Владимира Ильича, повторяя, видимо, невольно и безотчетно его жесты, его выражения, его интонации, вплоть до выражения глаз». «Все в нем привлекало, — признавался

Г. Кржижановский. — И то, как он насмешливо прищуривал глаз, и даже то, как он картавил».

Другие жесты Ленина тоже были довольно характерными, своеобычными.

«Два раза провел по лысине и по лицу рукой, словно умылся. Этот жест как-то сразу показался мне похожим на жест татар, когда они молятся богу на вечерней заре». (А. Аросев).

«Он обеими руками приглаживает свой череп, точно до сих пор не снял парика, который носил в сентябре 1917 года…» (Н. Осинский).

«Его жесты всегда были быстры… но никогда не суетливы… У Ильича жесты были короткие, отрывистые, целесообразные» (А. Луначарский).

«В момент вышучивания противника Владимир Ильич нередко прибегал к комическим жестам, расшаркиваниям, убивавшим его противника перед аудиторией» (Н. Семашко).

«Когда… по его мнению, противник нес чепуху, Ленин иронически улыбался и аплодировал, в насмешку ударяя ногтем большого пальца правой руки о ноготь левой» (Альберт Рис Вильямс).

«У Владимира Ильича была такая привычка: он прищуривал один глаз, а перед другим глазом ставил два растопыренных пальца и смотрел между ними на говорившего» (Е. Стасова).

Эта привычка (связанная с тем, что его левый глаз был близоруким, правый — дальнозорким) иногда порождала забавные недоразумения. Один из большевиков, впервые посланный к Ленину, вернулся напуганным: «Знаешь, я пришел к товарищу, он стал так на меня смотреть, что мне стало страшно».

«Отчаянно, огненно, краснорыж». Как ни странно, но, несмотря на множество портретов и скульптур Владимира Ильича, советские люди не всегда ясно представляли его внешний облик. Курсант Константин Губин при встрече не узнал его: «В то время не было красочных портретов, все издания были черно-белыми. По этим портретам Ленин представлялся с черной бородой. Здесь же я встретил человека, очень похожего на Ленина, но с рыжеватой бородкой и такими же висками. Это меня смутило»…

А вот каким увидел главу Совнаркома писатель Александр Куприн: «Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно, краснорыж. Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-

накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье!» Как теперь известно, Ленин после революции вовсе не отличался особо крепким здоровьем: однако пышущая от него энергия оставляла именно такое впечатление.

Куприна поразил и цвет райков глаз Владимира Ильича: «Подыскивая сравнение к этому густо и ярко оранжевому цвету, я раньше останавливался на зрелой ягоде шиповника. Но это сравнение не удовлетворяет меня. Лишь прошлым летом в Парижском Зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: «Вот, наконец-то я нашел цвет ленинских глаз!» Разница оказалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они — точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них точно выскакивают синие искры».

Скульптор Сергей Коненков описывал облик главы Совнаркома довольно сходно, хотя и в более мягких выражениях: «Огромный, поистине сократовский лоб окаймлен слегка вьющимися волосами. И волосы, и блеск глаз — золотистые».

Вот еще разнообразные штрихи к портрету Ленина:

«Все лицо у него в веснушках» (большевик Александр Никишин).

«Пожалуй, немного косят глаза, да и то не оба, а скорее только правый» (меньшевик Николай Вольский).

«Чуть картавый голос» (Лев Троцкий).

«Особенно поразила меня сильная хрипота голоса и его легкая странно-приятная картавость» (большевичка Мария Скрыпник).

«Когда Ленин сидит за столом, он кажется значительно выше своего роста. Это оттого, что у него короткие ноги» (скульптор Натан Альтман).

«Некрасивой наружности, он был прекрасно сложенным, стройным и ловким человеком, любил быстрые и сильные движения» (социал-демократ Михаил Сильвин).

«Цветом волос был рус, с рыжеватым оттенком» (большевик Н. Осинский).

«Пронзительные черные глазки с раскосом на широком скуластом лице» (большевик Пантелеймон Лепешинский).

«Рыжий… глаза серые, матенькие, хитрые… тип лица калмыцкий» (из описания царской полиции).

«Темно-темно-карие глаза» (большевик Глеб Кржижановский).

«Хитро прищуренные светло-карие глаза» (большевик Михаил Васильев-Южин).

Подвижность, бьющая ключом энергия — главная черта

облика Ленина. «Подвижной, как ртуть», — писал о нем Кржижановский. «Лицо у него беспрерывно меняется, оно все в движении. Ленин похож на себя только в кинематографе. Ни один его портрет не передает его точно. Ленин весь — динамика…» (французский журналист Андре Моризэ).

«Каждое слово — ночной горшок, и притом не пустой».

Рахметов не стеснялся в выражениях, — например, самому Чернышевскому (своему создателю) он резко заявил: «Вы или лжец, или дрянь!» «Но он говорит таким тоном, без всякого личного чувства, будто историк, судящий холодно не для обиды, а для истины».

Ленин в спорах также никогда не выбирал выражений. «Jedes Wort — ein Nachttopf und kein leerer» («каждое слово — ночной горшок, и притом не пустой») — этими словами Энгельса он высмеивал неистовую брань своих противников. Однако Владимир Ильич никогда не оставался в долгу и на брань умел отвечать, как он выражался, «архиругательно». «Когда Владимир Ильич кого-нибудь громит, — замечал К. Радек, — то он находит в нем все болезни, которые числятся в известной старой медицинской книге, находящейся у него в большом почете». Ленин действительно очень любил открывать у своих противников различные «болезни» — от эпилепсии до какой-нибудь чесотки. Одна его статья так и называется «О чесотке» и посвящена «мерзкой чесотке фразы». «Уф! — писал он. — И скверная же болезнь чесотка. И тяжкое же ремесло человека, которому приходится парить в баньке чесоточных…»

Вот самая добродушная ленинская ругань: о, мудрецы! Бывают же такие комики! Чудаки! Шутники! Наивные люди! О, комедианты! Вы — просто слезоточивые дурачки, слюнтяи. Кисейные барышни да жеманные юноши, которые «читали в книжке» и вычитали одни жеманности. Кисляи поганые, мямли, нытики, слякоть, ученые дураки и старые бабы. Святенькие, но безрукие болваны. Милейшие поросята, болтуны, оболтусы, шуты гороховые, совсем безголовые люди, пустомели, хвастуны, слепцы, тупицы первого ранга, круглые дураки, не люди, а жалкие тряпки. Пустозвонный болтун, болван, путаник первого ранга, пустолайка, поросеночек, милейший добряк, миляга, сладенький дурачок, дура петая, махровая. О, теленок! Дитя! Поистине образец растерянного, слезоточивого и импотентного филистера! О, какое убожество! О, лицемеры! Эти глупые, истерические существа, я так зол, так зол!..

Ругань покрепче: сами по себе вы — гробы повапленные. Душонка у вас насквозь хамская… Какая презренная холопская

фигура! Негодяй! Сукин сын, подлец, архижулик, архимерзавец, паскудная гнида, грязная сволочь. Мазурики, подонки, каналии, лакейские души, прохвосты, хамы, архипройдохи. Сволочь и дурни! Дурачье и сволочь! Мерзавцы!.. Негодяи, которые плюют и блюют на нас.

Самый высокий градус брани: дать в морду… наплевать в харю… вдрызг уничтожить, смешать с грязью… втоптать в помойную яму… выпороть жестоко и публично… пороть всурьез… бить и драть… бить в три кнута… слизняки, шваль, гадины, вонючки, говно, говняки… нелюди, а слизь и мерзость. Мы его высечем так, что до новых веников не забудет. Вас надо четыре раза расстрелять.

Столь же часто Ленин сравнивал своих противников с животными. Это дикие и бешеные собаки, сторожевые псы, тигры, ослы, шакалы, свиньи, акулы, пауки, клопы, блохи, пиявки, могильные черви, вонючие насекомые, гиены, стервятники, а также «мастодонты и ихтиозавры, ибо «зубры» для них слишком почетное название». Среди такого зоопарка даже «страус», «комнатная собачка» или «нахохлившийся индюк» выглядят почти как похвалы.

В поисках выразительных красок Ленин прибегал и к сочным выражениям, взятым из половой области: языкоблудствовать вовсю, пачкать языкоблудством, языком распутничать, кастрировать, публичный дом, общедоступная сводница, «выкидыш, недоносок, ублюдок», труположство и т. д. Особое внимание уделено проституткам: здесь и просто «проститутки», и «проститутки либерализма», и «публичные мужчины»… Но знаменитого выражения «политическая проститутка», которое приписывается Ленину, в его сочинениях нет.

Нередко ленинская ругань обращается и на «своих»: арестовать паршивых чекистов… сажать коммунистическую сволочь… подвести под расстрел чекистскую сволочь. Мы будем достойны лишь того, чтобы нам все плевали в рожу. Нас всех… надо вешать на вонючих веревках.

Однажды Ленин прочитал целую лекцию о ругани товарищу, который упрекнул его за резкие слова.

«До сих пор я думал, что имею дело с взрослым человеком, а теперь смотрю на вас и не знаю: не дитя ли вы или по ряду соображений, ради моральности, хотите казаться дитятей. Вас, видите ли, тошнит, что в партии не господствует тон, принятый в институте благородных девиц. Это старые песни тех, кто из борцов-революционеров желает сделать мокрых куриц. Боже упаси, не заденьте каким-нибудь словом Ивана Ивановича. Храни вас Бог — не вздумайте обидеть Петра Петровича. Спорьте друг с

другом только с реверансами. Если бы социал-демократия… применяла бы беззубые, никого не задевающие слова, она была бы похожа на меланхолических пасторов, произносящих по воскресеньям никому не нужные проповеди».

Владимир Ильич с удовольствием вспомнил, как великолепно бранился Маркс и как другие революционеры умеют «так замазать морду противника, что он ее долго не может отмыть»… «Маркс и Энгельс в «хорошем тоне» смыслили мало, — замечал Ленин, — не долго раздумывали, нанося удар, но и не хныкали по поводу каждого ими полученного удара. «Если вы думаете, — писал однажды Энгельс, — что ваши булавочные уколы могут пронзить мою старую, хорошо выдубленную, толстую кожу, — то вы ошибаетесь». «Говорят: боритесь, но только не отравленным оружием», — замечал Ленин по поводу ругани и возражал на это слегка измененной евангельской фразой: «Поднявшие отравленный меч от отравленного меча и погибают».

Резкости и обидные выпады, считал Ленин, — это своего рода прием борьбы. В. Адоратский вспоминал: «Владимир Ильич, смеясь, говорил, что он этот прием хорошо знает: цель этого приема состоит в том, чтобы заставить противника в злобе наговорить лишнего, написать в состоянии раздражения какие-нибудь глупости. После того как противник на такую удочку попался, — тут-то его и можно разделать». «Люблю я, когда люди ругаются, — писал Ленин, — значит, знают, что делают». Однажды он сказал товарищу, с которым спорил: «Меня раздражает ваш дипломатический или, вернее, парламентский тон! Говорите же, ругайтесь, возражайте!»

«Борьбы не бывает без увлечения, — писал Ленин. — Увлечения не бывает без крайностей; и, что до меня, я всего больше ненавижу людей, которые в борьбе… видят прежде всего «крайности». Меня всегда подмывает — извините — крикнуть этим людям: «по мне уж лучше пей, да дело разумей».

Была ли ругань Ленина совершенно лишена «личного чувства», как у Рахметова? Во всяком случае нередко после обмена яростнейшей бранью он мирился со своими противниками. И тогда полностью восстанавливал с ними дружеские отношения. Никакой «тени прошлого» не оставалось: все сказанное мгновенно предавалось забвению. Предлагая в одном случае примирение своим противникам, он замечал: «Все личное (неизбежно внесенное острой борьбой) пойдет в минуту насмарку». «Когда Ильича противник ругал, — писала Крупская, — Ильич кипел, огрызался вовсю, отстаивал свою точку зрения, но когда вставали новые задачи и выяснялось, что с противником можно работать вместе, тогда Ильич умел подойти

ко вчерашнему противнику как к товарищу. И для этого ему не нужно было делать никаких усилий над собой».

Сколько резких слов Ленин потратил, например, на Троцкого. «С Троцким, — ядовито замечал он, — нельзя спорить по существу, ибо у него нет никаких взглядов». Он клеймил Троцкого как пустозвона, проходимца, негодяя, мерзавца, шельмеца, тушинского перелета, Ноздрева, Балалайкина, Тартарена из Тараскона, Иудушку… Но после всего этого в ноябре 1917 года невозмутимо назвал «лучшим большевиком». «У нас нет ни тени озлобления против лиц… У нас нет чувства мстительности», — замечал Ленин о большевиках. «Никому из нас не приходит в голову брать что-либо назад или хныкать по поводу «озлобления спора».

Вообще стиль Ленина очень эмоционален. Речь обильно уснащена восклицаниями. Даже его письменные тексты пестрят междометиями и эмоциональными возгласами: уф! Бррр!.. Фи, фи! Ха-ха!! Аминь! Тьфу-тьфу! Увы, увы! Ей-ей! Гм… гм… Вот! вот! Ура!! Какие страсти! Какие ужасы! Беда! Боюсь! Какой позор! Стыд и срам! Помилуйте! Это скандал, это зарез, это крах! Швах! Это смертоубийство! Это хаос! Это верх безобразия! Какая гнусная комедия! Картина! Прелесть! Премило! И смех и горе! Вот ахинея и глупость! Вздор и вздор! Это архиглупо! Да ведь это просто галиматья, сапоги всмятку! Это чистейшее ребячество!! Сумасшествие!! Святая истина! Святители! Какая благодать! Да и тысячу раз да! Нет и тысячу раз нет, товарищи!

Ленин и на бумажной странице постоянно кипит действием, ему не хватает одних слов, он вовсю помогает своим мыслям зубами, губами, руками, ногами, призывая то «плюнуть себе в харю», то «разжевывать и вбивать в башки всеми силами». Ремарка к одной из его речей 1919 года гласит: «Ленин делает красноречивый жест ногой. Смех» (жест изображал пинок под зад). «Воняйте!!» — яростно обращался Ленин к своим оппонентам. В его текстах вообще довольно много «физиологии»: здесь лязганье и скрежет зубов, ковыряние в носу, вонючие прыщи и нарывы, гной и отрыжка, слезы и текущие от удовольствия слюнки, дрожь бешенства и тошнота, пена на губах и бешеная слюна, жирные поцелуи, трупный яд, река помоев, моря вони и сто тысяч плевков… В одном месте Ленин замечает: «Это рассуждение до того прелестно по своей наивности, что так и хочется расцеловать его автора».

Уже после революции Владимиру Ильичу сообщили, что в запале спора один большевик и впрямь плюнул в своего оппонента. У Ленина такой поступок не укладывался в голове. Он стал дотошно расспрашивать виновника происшествия:

— Так что же, товарищ, неужели это было?

— Да, было.

— Так вот и было?.. Вы действительно плюнули?

— Да, так и плюнул, Владимир Ильич.

— Может быть, вы сказали: я на вас плюю, а не плюнули или плюнули в сторону?..

Этими недоверчивыми вопросами Владимир Ильич до крайности устыдил и сконфузил своего собеседника…

Некоторые шутки Ленина отдают «черным юмором»: «Были бы трупы, а черви всегда найдутся»; «Карась, говорят, любит жариться в сметане». «Nebst gefangen, nebst gehangen. Вместе пойман, вместе повешен». Ленин шутит, что хотел бы поддержать одного противника «так же, как веревка поддерживает повешенного». Он старается воздействовать не только на зрение, но и на все чувства читателя: «Есть изречение: не тронь — не воняет»; «Его приходится сравнить с гнилым яйцом, которое лопается и шумно и с особенно… пикантным ароматом»; «Можно жить около отхожего места, привыкнуть, не замечать, обжиться, но стоит только приняться его чистить — и вонь непременно восчувствуют тогда все обитатели не только данной, но и соседних квартир»; «Чувствуешь себя так, как будто бы под носом у тебя начали разворачивать накопившуюся с незапамятных времен груду нечистот».

Глава 3
«Как следует умереть»

Ленин всегда подставлял свое плечо, когда людям было трудно или они болели, но люди на Ленина всегда покушались и все-таки убили… Пули были смазаны змеиным ядом, и Ленин умер.

Несколько раз на него покушались. Одно из таких покушений совершила Вера Засулич, которая ранила Ленина. Через несколько лет после этого ранения он скончался.

Из школьных сочинении о Ленине

Как люди, подобные Ленину или Рахметову, относились к собственной смерти? Свою жизнь они рассматривали точно так же, как и здоровье, — как «казенное имущество», только еще более ценное. И тратить его следовало расчетливо, осмотрительно, с пользой для дела, ни в коем случае не напрасно.

В 1905 году хозяин петербургской квартиры, в которой ночевал Владимир Ильич, все время держал наготове револьвер, собираясь в случае обыска стрелять в полицию. Ленину это не понравилось. «Ну его совсем, — сказал он. — Нарвешься зря на историю».

«Эх, как глупо приходится погибать». Одна из первых встреч Ленина со смертью произошла в дни первой русской революции, вернее, на ее излете, в декабре 1907 года. Владимир Ильич покидал пределы Российской империи. Чтобы не попасть в руки русской полиции, он решил сесть на пароход на одном из островов в Ботническом заливе. Идти туда следовало пешком по льду.

Несмотря на декабрь, лед был ненадежен, и найти проводников не сразу удалось: никто не хотел рисковать жизнью. Наконец вызвались два подвыпивших финских крестьянина, которым было «море по колено». И вот на полпути к острову

ледяной пласт под ногами этой троицы угрожающе заскрипел и подался в глубину. Ленин и его спутники побежали, перескочили на другой пласт, который сломался под их тяжестью…

Только чудом путники уцелели. «Ильич рассказывал, — писала Крупская, — что, когда лед стал уходить из-под ног, он подумал: «Эх, как глупо приходится погибать».

И все-таки благодаря везению Ленину удалось избежать в тот день и ареста, и гибели.

«Надо уметь умереть так, как Лафарги». В октябре 1911 года социалисты всего мира были потрясены неожиданным трагическим известием: дочь Карла Маркса Лаура и ее муж Поль Лафарг покончили с собой. Лафарги считали, что любой человек, в особенности революционер, становится бесполезным для общества, когда ему исполняется семьдесят лет. И устроили свой «заговор против старости». «Они умерли, как атеисты, — писала Крупская, — покончив с собой, потому что пришла старость и ушли силы, необходимые для борьбы».

Перед двойным самоубийством супруги посетили один парижский ресторан, где с аппетитом поужинали. Вернувшись домой, Лафарг ввел цианистый калий в кровь своей жене, а затем и себе. В прощальном письме он написал: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я лишаю себя жизни прежде, чем неумолимая старость, постепенно отнимающая у меня все радости и наслаждения жизни, лишит меня физических и духовных сил, парализует энергию, разобьет мою волю и превратит в тягость для самого себя и других».

Ленин познакомился с Полем Лафаргом еще в середине 90-х годов. Вернувшись в Россию, он с улыбкой пересказывал товарищам разговор, который вел с ним острый на язык француз. Владимир Ильич рассказал, что русские марксисты в кружках стараются объяснять рабочим идеи Маркса.

— И они читают Маркса? — ехидно поинтересовался Лафарг.

— Читают.

— И понимают?

— И понимают.

— Ну, в этом-то вы ошибаетесь, — ядовито заключил Лафарг. — Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает…

Последний раз Ленин встречался с Лафаргами под Парижем, примерно за год до их смерти. Ленин и Поль Лафарг увлеченно спорили о философии.

«Скоро он докажет, — вдруг заметила Лаура про своего мужа, — насколько искренни его философские убеждения».

«И они как-то странно переглянулись, — вспоминала Крупская. — Смысл этих слов и этого взгляда я поняла, когда узнала в 1911 году о смерти Лафаргов». На похоронах Лафаргов Ленин произнес надгробную речь от лица всех русских социал-демократов. «Я помню, — замечала Крупская, — как, волнуясь, он говорил… от имени РСДРП на похоронах».

Социалисты горячо спорили о том, правильным или неправильным был поступок Лафаргов. Ленин считал их самоубийство оправданным. «Эта смерть произвела на Ильича сильное впечатление, — вспоминала Крупская. — Ильич говорил: «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так, как Лафарги»… Правда, Ленин оговаривался: «Если он [социалист] может хотя бы чем-нибудь еще быть полезным… хотя бы написать статью или воззвание, он не имеет права на самоубийство».

«Остается только суметь как следует умереть». Очередной раз Владимир Ильич столкнулся с призраком смерти в 1917 году, когда он скрывался от ареста в знаменитом шалаше в Разливе. В случае обнаружения властями Ленин не без оснований ожидал не ареста, а немедленного самосуда. Его товарищ по шалашу Григорий Зиновьев вспоминал: «Помню один момент (кажется, на пятый день нашего «отдыха» в шалаше), сильно взволновавший нас. Ранним утром мы вдруг слышим частую, все усиливающуюся, все приближающуюся стрельбу на совсем близком расстоянии (пара-другая верст от нашего шалаша). Это вызвало в нас уверенность, что мы выслежены и окружены. Выстрелы становились все чаще и ближе. Решаем уйти из шалаша. Крадучись, мы вышли и стали ползком пробираться в мелкий кустарник. Мы отошли версты на две от нашего шалаша. Выстрелы продолжались. Дальше открывалась большая дорога, и идти было некуда. Помню слова В.И., сказанные не без волнения: «Ну, теперь, кажется, остается только суметь как следует умереть». Твердо запомнил эти слова Ильича…»

Очевидно, самым легким способом смерти стало бы самоубийство, чтобы не попасть в руки врага. Но это было невозможно. «Оружия с собой у нас не было», — пояснял Зиновьев.

«Однако стрельба скоро стала затихать, и через некоторое время мы с кучей предосторожностей стали возвращаться «домой» — в шалаш. Скоро дело разъяснилось». Отряд юнкеров разоружал рабочих соседнего Сестрорецкого оружейного завода.

«Он дико на меня посмотрел и вышел». В декабре 1917

года с Лениным произошел странный случай, который мог угрожать его жизни. В кабинет к нему зашел побеседовать какой-то молодой человек в студенческой форме. Потом этот студент стал добиваться повторного свидания с главой правительства: «Я плохо рассмотрел товарища Ленина, пропустите меня к нему».

Назойливого посетителя выпроводили на улицу, и тут неожиданно прогремел выстрел. Оказалось, что в кармане у молодого человека находился заряженный револьвер со взведенным курком. (Позднее этого студента обследовали и признали психически больным.)

— Он произвел на меня странное впечатление, — рассказывал сам Ленин. — Когда я говорил с ним, он вдруг встал, побледнел и зашатался. Я подумал, что он голоден, и предложил ему пособие и работу. Он дико на меня посмотрел и вышел. Мне и в голову не могло прийти, что тут что-то неладное… По-видимому, он в первый раз не решился и пришел вторично.

— Владимир Ильич, — возмущался В. Бонч-Бруевич, — да ведь этот человек приходил к вам со взведенным курком револьвера, а вы ему пособие предлагаете. Господи! Да ведь это только вы так можете!

Владимир Ильич после этого эпизода несколько минут сидел неподвижно, о чем-то задумавшись. Его сотрудница Мария Скрыпник вспоминала: «Он сидел по-прежнему, откинувшись на спинку кресла, заложив большой палец за вырез жилетки. Что редко я замечала, на его лицо легла печаль, морщины его лица как будто исчезли, и оно было ясно».

Бонч-Бруевич укоризненно выговаривал М. Скрыпник: «Он ребенок в таких вопросах. Разве вы не видите — человек пришел к нему с целью покушения, а он предлагает ему пособие».

А сам Ленин как-то задорно заметил своим помощницам: «Вы вот боитесь (за его жизнь. — *А.М),* а я нет. Впрочем, это никогда не помогает».

Действительно, в вопросах личной безопасности Владимир Ильич порой проявлял поразительную беспечность. Довольно часто сбегал от своей охраны, которую шутливо называл «хвостами». Например, в декабре 1920 года, уже за полночь, вышел прогуляться по московским улицам. В полном одиночестве! Большевик Борис Волин случайно встретил его во время этой прогулки.

— Как вы решились, Владимир Ильич, в такую ночь один пуститься по Москве?! — вскрикнул он.

— А что, товарищ Волин, если я председатель Совнаркома, — насмешливо ответил Ленин, — то уже лишен всяких прав состояния гражданина республики?..

— Да, но без провожатых!

— Уж будто не могу и без провожатых… Смотрите, какая хорошая ночь…

«Что ж тут удивительного, что начинают стрелять?».

Первое покушение на жизнь Ленина совершилось вечером 1 января 1918 года. На Симеоновском мосту через Фонтанку неизвестные обстреляли автомобиль «Делонэ-Белльвиль», в котором Владимир Ильич возвращался с митинга. Ружейные пули защелкали по металлу машины, навылет пробили кузов, задние крылья и смотровое стекло. Улица была затянута белесым туманом, густым, как молоко. Возможно, это и спасло всем жизнь. Кто-то заметил:

— Стреляют.

— Должно быть, шина лопнула, — возразил Владимир Ильич.

Сидевший рядом с ним швейцарский социалист Фриц Платтен пригнул рукой его голову, пуля скользнула по этой руке Платтена, содрав кожу с пальца. Когда опасность миновала, шофер Тарас Гороховин осведомился у своих пассажиров:

— Все живы?

— Разве в самом деле стреляли? — удивился Ленин.

— А то как же! — отвечал водитель. — Я думал, никого из вас уже и нет. Счастливо отделались. Если бы в шину попали, не уехать бы нам. Да и так ехать-то очень шибко нельзя было — туман, и то уже на риск ехали.

У Владимира Ильича так и осталось некоторое сомнение, было ли это настоящее покушение. Оппозиционная газета «День» 3 января опубликовала рассказ Ленина об этой истории, будто бы произнесенный «в кругу интимных друзей и комиссаров»: «Мне же показалось, что был лишь один, продолжительный выстрел, очень похожий на звук лопнувшей шины. Когда затем Платтен нагнулся к стеклу… он пальцем — в автомобиле было темно — нащупал отверстие от пули. Впрочем… вряд ли отверстие в стекле сделано пулей, так как оно оказалось с неровными краями, и притом настолько, что когда товарищ Платтен просунул туда палец, он оцарапал его об острие стекла. Между тем, если бы отверстие в стекле было от пули, оно было бы кругло без какого-либо острия…»

Максим Горький в своей газете «Новая жизнь» прямо высказал мнение, что никакого покушения не было вообще, просто «некий шалун или скучающий лентяй расковырял перочинным ножиком кузов автомобиля, в котором ездил Ленин».

По факту покушения началось следствие. Ленин, узнав об этом, заметил: «А зачем это? Разве других дел нет? Совсем это не

нужно… Что ж тут удивительного, что во время революции остаются недовольные и начинают стрелять?.. Все это в порядке вещей…»

Вскоре по делу о покушении арестовали трех офицеров. Они не отрицали своей вины. «Я докладывал Владимиру Ильичу о ходе дела, — вспоминал Бонч-Бруевич, — и он, подвергавшийся смертельной опасности от пуль этих молодых людей, был самым трудным препятствием в деле расследования. Он, словно защитник этих подсудимых, ставил мне всевозможнейшие вопросы, — то сомневаясь в достоверности материала, то требуя новой проверки, казалось бы, совершенно ясных сведений, и все более и более заинтересовываясь личностью покушавшихся».

«Да так ли все это? Да верно ли? Смотрите, нельзя так… Нет, это надо доказать… Это может каждому показаться… Эти показания недостаточно достоверны…»

Спросил, получают ли арестованные газеты и посоветовал: «Вы им побольше литературы, книг давайте читать…»

Из газет подследственные узнали о начавшемся немецком наступлении. И — попросились добровольцами на фронт. Между Лениным и Бонч-Бруевичем состоялся последний разговор об их судьбе.

— Владимир Ильич, они просят бросить их на фронт, на немцев. Виновность их вполне доказана…

Ленин с полуслова понял, о ком идет речь.

— Освободить, сейчас же! Хотят на фронт — послать!..

— А дело?

— Дело кончено…

«Пускай поживут молодые юнцы, — весело заметил потом Ленин, — осмотрятся, поучатся и подумают…»

Возможно, преувеличенная «заботливость» и мягкость Ленина по отношению к своим несостоявшимся убийцам отразилась в одном из анекдотов 60-х годов. В этом анекдоте Ленин распоряжается:

— Расстреляйте этого товарища! Но сначала — чайку, чайку!

«Они с нами драться будут». Надо сказать, что Ленину вообще было свойственно определенное сочувствие своим врагам, даже вооруженным. Скажем, восставших в Кронштадте матросов в 1921 году он называл «несчастными кронштадтцами», в то же время решительно выступая за подавление мятежа.

Б. Волин в 1920 году стал описывать Ленину участников крестьянского восстания под Костромой. «Я рассказал… о том, что я увидел, войдя в избу, где содержались арестованные главари восстания.

— Представьте себе, Владимир Ильич, — говорил я, — мужики и бабы, очень рослые, кряжистые, черные, настоящие потомки стрельцов, как будто сами сошли с картины Сурикова «Утро стрелецкой казни».

Ленин даже остановился:

— А разве там были стрельцы? Как они там очутились?

И я рассказал Владимиру Ильичу, что мне сообщили…

Предки восставших были стрельцами, сосланными Петром I в костромские леса»…

Иногда Ленин почти любовался своими врагами. Так, в 1918 году в Петрограде он с удовольствием наблюдал за парадом казаков. Мария Скрыпник вспоминала: «Ленин особенно любовался процессией казаков, хотя и добавил:

— А ведь они с нами драться будут».

«Ничего, со всяким революционером это может случиться». Самый запоминающийся, пожалуй, эпизод в биографии Рахметова — уже описанный случай с гвоздями: Рахметов провел всю ночь, лежа на гвоздях. Перепуганную его окровавленным видом хозяйку он успокаивал словами: «Ничего, Аграфена Антоновна». Однако она побежала за лекарем. «Какое, ничего! — восклицала она испуганно. — Спаси, батюшка-лекарь, боюсь смертного случаю. Ведь он такой до себя безжалостный…»

Нашему герою тоже пришлось пережить испытание, подобное случаю с рахметовскими гвоздями, даже еще более жестокое и не вполне добровольное.

30 августа 1918 года эсеры организовали покушение на Ленина. Вечером в этот день он выступал перед рабочими завода Михельсона. Свою речь он закончил горячим призывом: «У нас один выход: победа или смерть!»

Когда после этого председатель Совнаркома садился в свой автомобиль «Рено-40», прозвучали три выстрела. Глава правительства был ранен двумя пулями. Одна из них попала в плечо, раздробила плечевую кость и застряла под кожей. «Рука сразу повисла, — говорил Ленин, — как виснет крыло подстреленной птицы». Эта рана не угрожала жизни. Вторая пуля вошла со стороны лопатки, пробила насквозь левое легкое и прошла через шею, тоже засев под кожей. Каким-то чудом она не задела ни один из находящихся рядом шести крупных нервов и кровеносных сосудов. «Точно змейка пробежала», — описывал Владимир Ильич свои ощущения от полета этой пули. Врач Владимир Розанов писал: «Уклонись эта пуля на один миллиметр в ту или иную сторону, Владимира Ильича, конечно, уже не было бы в живых». Другой врач, Мамонов, осмотрев раненого, заметил:

«Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после такого ранения… Ранение безусловно смертельное, таких случаев я не видел и не слыхал».

После покушения Ленина хотели везти в больницу, но он распорядился:

— Домой, домой… Нигде не останавливаться. Ехать прямо в Кремль.

Кто-то спросил, нет ли в машине бинтов для перевязки. Ленин ответил, что воевать не собирался. Когда машина мчалась по тряской мостовой, он кашлял и сплевывал кровь. По дороге пожаловался:

— Страшно горит рука, нельзя ли посмотреть, что с рукой?..

Прибыв на место, Владимир Ильич попросил остановить машину у черного хода, чтобы его не видели в таком состоянии. Он сам поднялся к себе на третий этаж. Когда ему предложили: «Мы вас внесем…», он наотрез отказался:

— Я пойду сам… Снимите пиджак, мне так будет легче идти. Потихоньку дойдем.

Дверь открыла Мария Ульянова и спросила испуганно:

— Что случилось?

Он с трудом улыбнулся ей:

— Успокойся, Маняша, ничего особенного. Ранен легко, только в руку…

«Когда я пришел в спальню Владимира Ильича, — вспоминал врач Александр Винокуров, — я нашел его раздевающимся у кровати. Он имел столько сил и выдержки, что сам поднялся на третий этаж, дошел до кровати и стал сам раздеваться. Он был бледен как полотно…» Врача Ленин приветствовал шутливыми словами:

— Подкузьмили мне руку…

Раненый старался успокоить окружающих и — характерно — делал это почти рахметовскими словами. Он сказал врачу:

— Да ничего, они зря беспокоятся.

— Молчите, молчите, — отвечал тот, — не надо говорить.

«Ищу пульс, — писал В. Розанов, — и, к своему ужасу, не нахожу его, порой он попадается, как нитевидный».

— Ничего, ничего, — продолжал Ленин, улыбаясь, — хорошо, со всяким революционером это может случиться.

«А пульса все нет и нет», — добавлял Розанов…

Пришедший к раненому Луначарский смотрел на него испуганно и с жалостью.

— Что же, любоваться нечем, — сказал ему Ленин. — Штука неприятная.

Увидев жену, Ленин неловко попытался успокоить ее:

— Ты приехала, устала. Поди ляг.

«Слова были несуразны, — вспоминала она, — глаза говорили совсем другое: «Конец».

Потом он попросил:

— Вот что, принеси-ка мне стакан чаю.

— Ты знаешь ведь, — отвечала Крупская, — доктора запретили тебе пить.

«Хитрость не удалась. Ильич закрыл глаза: «Ну иди»».

Ленин попросил оставить его наедине с врачом и спросил напрямик:

— Скоро ли конец? Если скоро, то скажите мне прямо, чтобы кое-какие делишки не оставить… Нужно смотреть правде в глаза, какой бы горькой она ни была.

Раненое легкое целиком заполнилось кровью. «Нужно сознаться, — писал потом Розанов, — что в этом кровоизлиянии и в этом упадке сердечной деятельности виноват был во многом и сам Владимир Ильич, который, может быть, желая поднять настроение у окружающих, может быть, немного бравируя своим крепким организмом, после ранения не позволил себя внести, а сам поднялся к себе наверх, на 3-й этаж, и здесь уже свалился».

Крупская сама зашивала простреленное в нескольких местах пальто мужа. «Я сама штопала эти дырочки, — вспоминала она. — Ведь пальто было одно у Ильича. Я штопала в те дни, когда Ильич был очень болен и никто не мог сказать, придется ли ему снова надевать это пальто… Я штопала ночью. Не знаю, чего было больше на этих штопках, стежков или моих слез, которые все капали и капали…». Потом Ленин с улыбкой спросил у жены, плакала ли она. «Все отнекивалась, а потом как-то созналась, что плакала… Ильич тогда громко рассмеялся и в первый раз попробовал запеть. Врачи были в ужасе. С этого дня он начал серьезно выздоравливать…» А пальто Ленина, простреленное и зашитое, приобрело теперь совсем убогий вид. «Пальто его обращало, — вспоминал 1920 год большевик Николай Угланов, — действительно на себя внимание. Старое, изношенное, разорванное около воротника и вдобавок ватное, а ведь дело-то было в июле, стояла жара».

«Зачем мучают, убивали бы сразу». Большевик Владимир Бонч-Бруевич вспоминал Ленина сразу после покушения несколько иначе: «Он открыл глаза, скорбно посмотрел на меня и сказал:

— Больно, сердце больно… Очень сердце больно…»

Очевидно, заполненное кровью левое легкое давило на сердце, вызывая боль.

— Сердце ваше не затронуто, — попытался успокоить раненого Бонч-Бруевич. — Я вижу раны… они в руке, и только… это отражательная нервная боль…

— Раны видны?.. В руке?..

— Да…

— А сердце?.. Далеко от сердца… Сердце не может быть затронуто…

«И он затих, закрыв глаза. Через минуту застонал тихонько, сдержанно, точно боясь кого-то обеспокоить.

— И зачем мучают, убивали бы сразу… — сказал он тихо и смолк, словно заснул. Лицо стало еще бледней, и на лбу появился желтоватый восковой оттенок…

Худенькое обнаженное тело Владимира Ильича, беспомощно распластавшееся на кровати, — он лежал навзничь, чуть прикрытый, — склоненная немного набок голова, смертельно бледное, скорбное лицо, капли крупного пота, выступившие на лбу, — вдруг напомнили мне какую-то знаменитую европейскую картину снятия с креста Иисуса, распятого попами, первосвященниками и богачами… Я невольно подумал… не являемся ли и мы счастливыми современниками нового явления народу того, кого так долго ожидало исстрадавшееся человечество…

Дыхание становилось тяжелым, прерывистым… Он чуть-чуть кашлянул, и алая кровь тихой струйкой залила его лицо и шею… Почти безжизненное тело его прикрыли белой простыней».

А. Винокуров вспоминал: «Несколько дней Владимир Ильич был между жизнью и смертью. Но вскоре он стал быстро поправляться…» Своему племяннику через пару дней после выстрелов Ленин отвечал на вопрос, очень ли ему больно:

— Да сейчас уже ничего, не то что в первый день, но болеть-то болит, конечно: еще бы, ведь две пули во мне сидят. В общем, более или менее благополучно все обошлось. Как видишь, живой остался!

Вскоре Владимир Ильич уже нетерпеливо спрашивал у врачей:

— Что вы сидите около меня, разве у вас нет дела в больнице?

В конце концов Ленин решительно заявил, что «не желает больше болеть, а желает работать, что ему скучно, что он так без дела хуже еще заболеет».

— А там, в Совнаркоме, — заявил он, — сам воздух меня лечит.

Прощаясь с врачами, Владимир Ильич протянул им конверты с гонораром:

— Это — за лечение, я глубоко вам благодарен, вы так много на меня тратили времени.

Смущенные врачи стали отказываться. Ленин прищурился, пристально поглядел на них, потом отложил конверты и произнес:

— Бросим это, спасибо, еще раз благодарю… Если что-либо нужно будет — скажите.

Спустя несколько недель после ранения Владимир Ильич уже, как обычно, взбегал по лестнице, шагая через ступеньку.

— Пожалуй, — заметил Бонч-Бруевич, — вам не следует так торопиться.

— Почему? — возразил Ленин. — Я не инвалид и никакой слабости не чувствую.

«Вынимать пули будем, когда с Вильсоном справимся». Пуля, пробившая Ленину шею, оставалась в его теле до 23 апреля 1922 года, когда ее удалили хирургическим путем. Эта пуля легко прощупывалась под кожей на шее. После выздоровления в ответ на вопросы врачей, не беспокоят ли его засевшие в теле пули, Владимир Ильич шутил: «А вынимать мы с вами их будем в 1920 году, когда с Вильсоном (президентом США. — А.М.) справимся». «Это все пустяки, легко сошло, — говорил он. — Рукой только двигать не очень удобно…»

В 1922 году Ленин согласился удалить пулю, поскольку наличием свинца в организме врачи стали объяснять ухудшение его самочувствия: «Ну, одну-то давайте удалим… Чтобы ко мне не приставали и чтобы никому не думалось».

Что же касается второй пули, то она осталась в теле Ленина до конца жизни.

«Нужно иметь мужество, чтобы прослыть трусом…». 19 января 1919 года Ленин, как и множество простых москвичей в те времена, стал жертвой ограбления. Вместе с сестрой Марией Владимир Ильич направлялся на автомобиле в Сокольники, на детский праздник «Рождественской елки». На улице машину остановили четыре вооруженных человека.

— Выходи! — скомандовали они, резко распахнув дверцы.

— В чем дело, товарищи? — спросил у них Владимир Ильич.

— Не разговаривать! — рявкнули в ответ. — Живей выходи!

Один из нападавших, громадного роста (как позднее выяснилось, предводитель налетчиков Яков Кошельков по прозвищу Кошелек), схватил Ленина за рукав пальто и силой выволок его наружу. Два налетчика направили свои маузеры Ленину в виски и потребовали отдать все ценности. Шофер

Степан Гиль описывал эту сценку: «Он [Ленин] стоит, держа в руках пропуск. По бокам него стоят бандиты и оба, целясь в голову, говорят:

— Не шевелись!..

— Что вы делаете, — говорит Владимир Ильич. — Это недоразумение. Я — Ленин…

Как сказал это Владимир Ильич, так у меня сердце и замерло. «Ну, — думаю, — погиб Владимир Ильич».

Однако Кошелек не расслышал и грубо бросил в ответ:

— А нам наплевать, что ты Левин, давай, что спрашивают.

Мария Ульянова позднее говорила: «Ужасно было смотреть, когда на Владимира Ильича приставили два дула револьверов к обоим вискам. А он хоть бы что: стоит и не дрогнет, лицо не переменилось, как будто бы ничего не случилось…»

Мария Ильинична выкрикнула, обращаясь к главарю:

— Вы-то кто? Покажите ваши мандаты!

«Это был высокий блондин в короткой теплой куртке, — вспоминала она, — с серой меховой папахой на голове, с очень спокойным и невозмутимым лицом…

— Уголовным никаких мандатов не надо, — спокойно ответил он мне с усмешкой». И добавил: «У нас на все право есть».

Кошелек схватил Ленина за лацканы пальто, расстегнул пуговицы, едва не оторвав их, и обшарил боковой карман. Вытащил оттуда заряженный браунинг, бумажник с деньгами, отобрал пропуск и положил все это к себе в карман. После этого бандиты преспокойно уселись в ленинский «Делонэ-Белльвиль» и уехали, оставив главу правительства и его спутников стоять на пустынной, заснеженной улице. Минуту среди них царило ошеломленное молчание. «Мы остались на дороге… а потом громко расхохотались, — рассказывала М. Ульянова, — увидав, что товарищ Чебанов стоит с бидоном молока (мы везли молоко Надежде Константиновне)». Владимир Ильич заметил:

— Да, ловко! Вооруженные люди — и отдали машину. Стыдно!

Вечером того же дня, прибыв все-таки на детский праздник, Ленин сказал Бонч-Бруевичу:

— На нас напали какие-то хулиганы с револьверами и отняли машину, я приехал на чужой… Ничего не говорите Наде… Жаль машины… И мы-то хороши! — Ленин засмеялся. — Все вооружены, а машину отдали… И револьверы отняли!..

В момент нападения Ленина сопровождали двое вооруженных людей — шофер и его помощник. Но они опешили от неожиданности и тоже безропотно подчинились всем

требованиям бандитов. Ленин потом одобрил их действия: «Тут силой ничего мы бы не сделали. Только благодаря тому, что мы не сопротивлялись, мы уцелели». И шутил: «Вообще, когда стоит выбор: кошелек или жизнь, и сила на стороне напавших разбойников, надо быть окончательным идиотом, чтобы выбрать кошелек!»

Когда позднее главарь налетчиков все-таки попался властям, он признался, что после этого случая, разобравшись, кто был у него в руках, страшно жалел, что не увез Владимира Ильича с собой.

«Взяли бы мы его в плен, — мечтал Кошелек, — вот бы нам деньжищ отвалили за него!»

Перед арестом он писал своей невесте: «За мной охотятся, как за зверем… Что же они хотят от меня. Я дал жизнь Ленину».

А как восприняли происшедшее соратники Ленина? Об этом рассказывал Н. Вольский: «Товарищи Ленина, из его же рассказов видевшие, что он имел полную возможность стрелять и одним выстрелом разогнать нападающих, удивлялись, почему же он не стрелял? Ленину эти вопросы и удивления так надоели, что в одну из своих статей он вставил следующий пассаж: «Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо, несомненно. «Do ut des» («даю» тебе деньги, оружие, автомобиль, «чтобы ты дал» мне возможность уйти подобру-поздорову). Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс «принципиально недопустимым». (В рукописи статьи Ленин указывал, что такой случай произошел с ним самим.)

Позднее Ленин советовал итальянскому коммунисту Франческо Мизиано: «Посмотрите, что случилось в Германии. Карл Либкнехт, Роза Люксембург и другие лучшие пали. Германская партия, оставшись без вождей, не способна к действию. Сохраняйте вождей. Не обращайте внимания на мнение врагов. Часто нужно иметь больше мужества, чтобы прослыть трусом в глазах врага и даже товарищей, чем бесцельно жертвовать собой».

«Дальше жить так немыслимо». В следующий раз смерть явилась к Ленину в 1922 году, уже в виде болезни, которая мало-помалу лишала его возможности писать, ходить, говорить. Лев Троцкий замечал: «Ленин хотел сам остаться хозяином своей дальнейшей судьбы. Недаром он в свое время одобрял Лафарга, который предпочел добровольно «join the majority»

(«присоединиться к большинству». — А.М.), чем жить инвалидом».

В самом начале болезни Ленин, как писала Мария Ульянова, «сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом, и взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему достать и даст ему цианистого калия. Сталин обещал. Почему В.И. обратился с этой просьбой к Сталину? Потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности. Больше ему не к кому было обратиться с такого рода просьбой». Примечательно, что Ленин просил именно цианистый калий — тот самый яд, которым воспользовались Лафарги. Ленин и Сталин даже скрепили свой договор поцелуем…

22 декабря 1922 года Владимир Ильич продиктовал записку: «Не забыть принять все меры достать и доставить… в случае, если паралич перейдет на речь, цианистый калий как меру гуманности и как подражание Лафаргам…»

Дальнейшее описывал сам Сталин. В секретной записке в Политбюро он писал: «17 марта (1923 года. — А.М.) т. Ульянова (Н.К.) сообщила мне в порядке архиконспиративном «просьбу Вл. Ильича Сталину» о том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать Вл. Ильичу порцию цианистого калия. В беседе со мной Н.К. говорила, между прочим, что «Вл. Ильич переживает неимоверные страдания», что «дальше жить так немыслимо», и упорно настаивала «не отказывать Ильичу в его просьбе». Ввиду особой настойчивости Н.К. и ввиду того, что В. Ильич требовал моего согласия (В.И. дважды вызывал к себе Н.К. во время беседы со мной из своего кабинета, где мы вели беседу, и с волнением требовал «согласия Сталина», ввиду чего мы вынуждены были оба раза прервать беседу), я не счел возможным ответить отказом, заявив: «прошу В. Ильича успокоиться и верить, что, когда нужно будет, я без колебаний исполню его требование». В. Ильич действительно успокоился».

«В феврале 1923 года, — вспоминал Вячеслав Молотов, — Ленину стало совсем плохо, и он попросил Сталина принести ему яд. Сталин обещал, но не принес. Потом он говорил, что, наверное, Ленин обиделся на него за это. «Как хотите, я не могу это сделать», — сказал Сталин. На Политбюро обсуждался этот вопрос». Секретная записка Сталина завершается словами: «Должен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу В. Ильича и вынужден отказаться от этой миссии, как бы она ни была гуманна и необходима, о чем и довожу до сведения членов П. Бюро ЦК».

Троцкий излагал эту историю так: «Во время второго заболевания Ленина, видимо, в феврале 1923 года, Сталин на

собрании членов Политбюро… сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Он снова терял способность речи, считал свое положение безнадежным, предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях, сохранял полную ясность мысли и невыносимо мучился…

— Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы! — воскликнул я. — Гетье не теряет надежды. Ленин может поправиться.

— Я говорил ему все это, — не без досады возразил Сталин, — но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе… прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения… Мучается старик…»

Слова Сталина, вероятно, правильнее было бы записать несколько иначе — «мучается Старик». Старик — то была старая подпольная кличка Владимира Ильича, широко известная. Повторяя это слово, Сталин как бы сдержанно напоминал соратникам о временах подполья, о товариществе тех лет. Тогда многие одобряли самоубийство Лафаргов, смотрели на вещи проще и, скорее всего, не отказали бы Ленину в его просьбе. Но теперь все было иначе.

Увы, Владимиру Ильичу не вполне удалось исполнить свое желание умереть достойно — «как следует… так, как умерли Лафарги», — но не по его собственной воле.

Глава 4
Тюрьма и ссылка

За ним давно уже охотились, но находились добрые люди, которые прятали В. И. Ленина, подставляя свое тело.

Ленин был вынужден скитаться, прятаться, отсиживаться в ссылках. Его разыскивала полиция за то, что он разводит революцию.

Из школьных сочинений о Ленине

Переехав осенью 1894 года в Петербург, Ульянов познакомился со столичными молодыми марксистами. В 1895 году их кружок получил название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Вскоре он был раскрыт полицией, и 9 декабря Владимира Ульянова с товарищами арестовали.

Оказавшись в известной петербургской тюрьме Кресты, Владимир Ильич не унывал. Он шутил: «Я в лучшем положении, чем другие граждане Российской империи, — меня взять не могут».

«Шесть чернильниц пришлось съесть». В советские хрестоматии непременно входила знаменитая история: когда Ленин сидел в тюрьме, он писал на волю конспиративные «химические» письма. Разумеется, достать в тюрьме необходимые реактивы было невозможно. Но Владимир вспомнил детскую игру, которой он научился когда-то от матери: писать вместо чернил молоком. (Чтобы прочесть потом подобное письмо, его требовалось слегка нагреть над огнем свечки или лампы.) Молоко входило в его тюремный рацион. Что же касается миниатюрных чернильниц, то их Ульянов лепил из мякиша черного хлеба.

Если щелкала форточка в двери камеры или раздавался шорох возле волчка, заключенный преспокойно отправлял в рот и хлебную чернильницу, и налитые в нее молочные «чернила». Когда надзиратель уходил, мастерил следующую… На одном из свиданий он со смехом признался родным: «Неудачный день сегодня: шесть чернильниц пришлось съесть».

Разумеется, съедобная чернильница из школьных

хрестоматий перекочевала и в фольклорную «биографию» Ленина. О ней самые хлесткие и ядовитые анекдоты: «Ко дню рождения Ленина музей Петропавловской крепости выставил одну из несъеденных чернильниц Владимира Ильича. Чернильница выполнена из хлебного мякиша, пропитанного сливками, и инкрустирована красной и черной икрой из тюремного рациона». «Когда Ленин сидел в тюрьме, из хлеба он сделал чернильницу, из молока — чернила, а из соседа по камере — Надежду Константиновну Крупскую». И даже такой неожиданный «наркоманский» анекдот: «Владимир Ильич Ленин постоянно курил конопельку. А когда его пробивало на хавчик — он ЧЕРНИЛЬНИЦУ ЕЛ!!!»

«О мелких грызунах»? В первом же подцензурном письме из тюрьмы (2 января 1896 года) Ульянов умудрился спросить оставшихся на свободе товарищей о том, кто был арестован вместе с ним. Разумеется, спрашивать напрямую было невозможно — такое письмо тюремные цензоры бы не пропустили. Свои вопросы Ульянов замаскировал в списке книг, которые просил передать ему в камеру для чтения и работы.

Список содержал и вполне серьезные научные труды по экономике. Но были в нем и такие книги: Костомаров, «Герои Смутного времени». Эту строчку Ульянов пометил знаком вопроса, как будто бы не помня точно название книги. По содержанию она заметно выбивалась из общего ряда. Дело было в том, что товарищи Ульянова по подпольному обществу Ванеев и Сильвин (оба нижегородцы) носили клички: Минин и Пожарский. Шифр, непонятный для тюремщиков и предельно ясный для всех друзей Ульянова…

«Альфред Брэм, «О мелких грызунах»?» — спрашивал Ленин. Под «мелким грызуном» подразумевался Глеб Кржижановский, носивший кличку Суслик.

«Майн Рид, «Минога»?..»

Написанное по-английски название несуществующей книги обозначает Надежду Константиновну Крупскую. За слегка выпученные вследствие базедовой болезни глаза товарищи прозвали ее Рыбой или Миногой…

Конечно, столь разнообразные интересы арестанта — и экономика, и Смутное время, и грызуны, и миноги… — могли бы насторожить тюремных аргусов. Поэтому в своем письме Ульянов обронил невинное замечание о том, что «разнообразие книг должно служить коррективом к однообразию обстановки». Его уловка вполне удалась: бдительные цензоры ничего не заподозрили — и письмо благополучно попало на волю… Вскоре

арестант получил ответы на все интересовавшие его вопросы. Например, о «Героях Смутного времени» ему сообщили, что «в библиотеке имеется лишь первый том сочинения», то есть Ванеев арестован, а Сильвин — нет.

«Помню, — вспоминал Сильвин, — что Ильич в те годы и перед тюрьмой и после нее любил говорить: «Нет такой хитрости, которой нельзя было бы перехитрить».

«Могу порекомендовать 50 земных поклонов». В тюрьме Ульянов не прекращал своих занятий гимнастикой. «Владимир Ильич рассказал, — писал его брат Дмитрий, — что в предварилке он всегда сам натирал пол камеры, так как это было хорошей гимнастикой. При этом он действовал, как заправский полотер, — руки назад — и начинает танцевать взад и вперед по камере со щеткой или тряпкой под ногой. «Хорошая гимнастика, даже вспотеешь…»». В шутку он называл тюрьму санаторией.

Позднее, когда Дмитрий тоже оказался за решеткой, Ленин вспоминал в письме собственное заключение: «Я… с большим удовольствием и пользой занимался каждый день на сон грядущий гимнастикой. Разомнешься, бывало, так, что согреешься даже в самые сильные холода, когда камера выстыла вся, и спишь после того куда лучше. Могу порекомендовать ему (Дмитрию Ульянову. — А.М.) и довольно удобный гимнастический прием (хотя и смехотворный) — 50 земных поклонов. Я себе как раз такой урок назначал — и не смущался тем, что надзиратель, подсматривая в окошечко, диву дается, откуда это вдруг такая набожность в человеке, который ни разу не пожелал побывать в предварилкинской церкви!»

В тюрьме Ленин пробыл более 14 месяцев. Он перечитал за это время настоящие горы литературы, которую ему доставляли прямо из столичных библиотек. Когда он узнал, что дело близится к концу и скоро его освободят и отправят в ссылку, то с сожалением заметил: «Рано! Я не успел еще собрать все нужные мне материалы!»

Арестованных не судили: как это часто делалось, простым постановлением императора Николая II их отправили в ссылку. Владимиру Ильичу назначили три года ссылки. За ворота тюрьмы он вышел 14 февраля 1897 года.

«Свидания» через окно. Ко времени пребывания Владимира Ильича в тюрьме относится такой романтический эпизод. Он сильно скучал по своим товарищам, увидеть которых не мог. Отношения его с Надеждой Крупской были в это время уже чем-то большим, чем простая дружба. Племянница Ленина Ольга

Ульянова замечала: «Надежда Константиновна красивая была… У нее была огромная русая коса».

«В одном из писем, — вспоминала Крупская, — он развивал такой план. Когда их водили на прогулку, из одного окна коридора на минутку виден кусок тротуара Шпалерной. Вот он и придумал, чтобы мы — я и Аполлинария Александровна Якубова — в определенный час пришли и стали на этот кусочек тротуара, тогда он нас увидит. Аполлинария почему-то не могла пойти, а я несколько дней ходила и простаивала подолгу на этом кусочке…»

«Венчается раб Божий Владимир…» Три года ссылки В. Ульянов отбывал в сибирском селе Шушенское (Шуша) Минусинского уезда Енисейской губернии. «Село большое, — описывал место своего наказания Владимир Ильич, — в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. Окружено село… навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом».

По пути в ссылку, впервые увидев Саянские горы, Ульянов в порыве романтического настроения написал первую строчку стихотворения:

В Шуше, у подножия Саяна…

«Дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил», — признавался Владимир Ильич.

В 1898 году в Шушенское прибыла его невеста — Надежда Крупская. Она была ссыльной по тому же делу. Когда она приехала, то не обошлось без розыгрыша. Вернувшись с охоты домой, Владимир Ильич удивился, что в его окошке горит свет. Хозяин объяснил, что это накуролесил один их знакомый: явился пьяным, все книги разбросал. Разгневанный Ленин быстро взбежал на крыльцо… «Тут я ему навстречу из избы вышла», — вспоминала Крупская.

10 июля 1898 года «рабов Божьих Владимира и Надежду» обвенчали в местной церкви. Перед таинством венчания, как и полагалось в таких случаях, невесту и жениха исповедали и причастили; во время церемонии они трижды обошли вокруг алтаря… Для церковного обряда требовались кольца, и один из ссыльных изготовил два обручальных кольца из медных пятаков. Правда, в среде революционеров колец носить было не принято, и позднее супруги их не надевали. Потом, когда они жили за границей, это порой вызывало недоразумения. В Лондоне сомнения по этому поводу высказывала хозяйка квартиры, где

они поселились. Социал-демократ Николай Алексеев вспоминал: «Смутило мистрисс Ио (такова была фамилия хозяйки квартиры) отсутствие у Н.К. обручального кольца. Но с этим последним обстоятельством ей пришлось примириться, когда ей объяснили, что ее жильцы — вполне законные супруги, и если она толкует отсутствие кольца в предосудительном смысле, то подвергается риску привлечения к суду за диффамацию»…

По рассказу Крупской, до свадьбы Владимир Ильич часто пел ей романс Даргомыжского «Нас венчали не в церкви, не в венцах со свечами…». А после бракосочетания изменил репертуар и стал петь арию из оперы «Пиковая дама» — «Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить…».

«Все нашли, что я растолстел за лето». Питался Владимир Ильич во время ссылки совсем неплохо. Крупская так описывала их быт: «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю. Но молока и шанег было вдоволь и для Владимира Ильича, и для его собаки… В общем, ссылка прошла неплохо».

Сама Надежда Константиновна была не очень хорошей поварихой, в чем откровенно признавалась: «Хозяйка я была плохая». «Мы с мамой вдвоем воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу. Потом привыкла».

«Я тоже вроде принцессы «Соломенные лапки», — говорила она, — за что ни возьмусь, все из рук валится».

Крупская с иронией замечала, что умеет сносно стряпать только горчицу. «Но Владимир Ильич был неприхотлив, — замечал С. Багоцкий, — и ограничивался шутками, вроде того, что ему приходится слишком часто есть «жаркое», имея в виду подгоревшее вареное мясо».

В сентябре 1897 года Ленин писал матери: «Здесь тоже все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!»

«Кусаются, окаянные, и мешают». Сильно раздражали

Ульянова сибирские комары. «Владимир Ильич очень не любил комаров, — писал его брат Дмитрий. — Один комар укусит, он сразу же: «Фу, комары кусаются». Терпеть не мог тех мест, где есть комары… Ему скажешь: «Это ведь безвредный комар, это кулекс». — «А мне все равно — кулекс или нет, все равно кусаются, окаянные, и мешают».

Владимир Ильич даже попросил родных прислать ему в ссылку лайковые перчатки. «Никогда я их не носил ни в Питере, ни в Париже, а в Шушушу хочу попробовать — летом от комаров… Глеб (Кржижановский. — А.М.) уверяет меня, что здешние комары прокусывают перчатки, — но я не верю. Конечно, уж выбирать надо перчатки подходящие — не для танцев, а для комаров».

«Завел себе свою собаку». В ссылке Ленин, как и прежде, любил различные физические упражнения и забавы. «По утрам, — писал Г. Кржижановский, — В.И. обыкновенно чувствовал необычайный прилив жизненных сил и энергии, весьма не прочь был побороться и повозиться, по каковой причине и мне приходилось неоднократно вступать с ним в некоторое единоборство, пока он не уймется при самом активном сопротивлении с моей стороны». Летом Ленин часто отправлялся поплавать в Енисее, иногда, по его словам, даже дважды в день. Его письма родным изобилуют описаниями охоты. В октябре 1897 года он писал:

«До сих пор преобладали осенние деньки, когда можно с удовольствием пошляться с ружьем по лесу. Я и зимой, вероятно, не оставлю этого занятия. Зимняя охота, например, на зайцев не менее интересна, чем летняя, и я отношу ее к существенным преимуществам деревни».

«Охотой я все еще продолжаю заниматься. Теперь охота гораздо менее успешна (на зайцев, тетеревов, куропаток — новая еще для меня охота, и я потому должен еще привыкнуть), но не менее приятна. Как только вывернется хороший осенний денек (а они здесь нынешний год не редки), так я беру ружье и отправляюсь бродить по лесу и по полям… Беру хозяйскую собаку… Завел себе свою собаку — взял щенка у одного здешнего знакомого и надеюсь к будущему лету вырастить и воспитать его: не знаю только, хороша ли выйдет собака, будет ли чутье».

Щенка Владимир Ильич назвал Пегасом. Однако затея с его воспитанием не удалась — щенок отчего-то погиб. В декабре 1897 года Ленин сообщал: «Помню я, Марк как-то писал мне, — не достать ли де охотничью собаку в Москве для меня? Я тогда очень холодно к этому отнесся, ибо рассчитывал на Пегаса, который так

жестоко мне изменил. Теперь я бы очень сочувственно отнесся, конечно, к подобному плану, — но, по всей видимости, это чистая утопия, и овчинка не стоит выделки. Перевозка дорога невероятно».

Фантастическая затея с перевозкой охотничьей собаки через всю страну, конечно, поражает воображение. Н. Вольский замечал, что эта «прихоть… подходила больше к лицу какого-нибудь старорежимного помещика-охотника, из тех, что описывал Тургенев, чем к ссыльному социал-демократу». (И не случайно Владимир Ильич от нее отказался.)

Потом он завел себе другую собаку, рыжего шотландского сеттера-гордона, названную им Дженни, или попросту Женькой. «В.И. сам дрессировал своего сеттера, — писал М. Сильвин, — и, как человек системы, выписал даже для этого специальное руководство». Крупская вспоминала эту собаку — «прекрасного гордона… которую он выучил и поноску носить, и стойку делать, и всякой другой собачьей науке». Но самого Владимира Ильича его воспитанница не вполне устраивала. Он писал: «На куропаток нужна (осенью) хорошая собака, — моя же Дженни либо молода еще, либо плоха. Зимой куропаток больше ловят в «морды», вентера и петли»…

Неудивительно, что в фольклоре 70-х годов относительное благополучие ленинской ссылки отозвалось таким ядовитым анекдотом:

«Зима. Сибирь. Метель, темный вечер, по полю мчатся три тройки с бубенцами. На первой тройке — цыгане, песни поют, веселятся. На второй — женщины, все в песцах, соболях, жизни радуются. Подлетают к постоялому двору, из третьих саней вылезает маленький мужичок в огромной шубе. Ему навстречу выбегает хозяин, с низким поклоном протягивает поднос. На подносе — хрустальный графинчик с водочкой, хрустальный бокальчик. Барин выпивает графин из горла и трактирщику по голове пустым графином — хрясь!

— За что, барин? — стонет трактирщик.

— Чтоб знал, подлец, не барин я, — Ленин, в ссылку еду».

Ленин как резчик по дереву. В ссылке Ленин увлекался и еще одним неожиданным занятием — вырезыванием шахматных фигурок. Н. Крупская писала родным: «Шахматы Володя режет из коры, обыкновенно по вечерам, когда уже окончательно «упишется». Иногда меня призывает на совет: какую голову соорудить королю или талию какую сделать королеве. У меня о шахматах представление самое слабое, лошадь путаю со слоном, но советы даю храбро, и шахматы выходят удивительные».

«Он затыкал уши». Радио в эпоху ленинской ссылки еще не существовало, и новости Ленин и его товарищи узнавали только из газет. «Газеты мы получали, — писал Кржижановский, — конечно, с громадным запозданием и сразу целыми пачками». Но Владимир Ильич и в этот хаос сумел внести стройный порядок. «В.И. ухитрялся систематизировать и чтение этих старых газет: он распределял их таким образом, что каждый день прочитывал только номера, соответствующие темпу запоздания, но именно приходящиеся только на определенный день. Выходило, что он каждый день получает газету, только с большим запаздыванием процесса получения. А когда я пытался портить этот газетный ритм, злонамеренно выхватывая сообщения позднейших номеров, он затыкал уши и яростно защищал преимущества своего метода».

Товарищи Ленина позднее поражались, как быстро он прочитывал целый ворох газет. Он объяснял свой метод: «Журналист должен уметь читать газеты по-особому. Нужно завести такой порядок: выбрать себе одну газету и в ней прочитать все наиболее важное, потом другие можно просмотреть легко и быстро. Из них берешь только то, что нужно для специальной работы».

«Музыкальные вечера» в Минусинске. Изредка ссыльные собирались вместе в Минусинске и устраивали «музыкальные вечера»: пели хором. Одним из «гвоздей» репертуара была тягучая украинская песня «Така ж ии доля, о Боже ж мий милый…». Ленин эту заунывную, меланхолическую песню терпеть не мог.

«Особую страстность, — вспоминал П. Лепешинский, — и бьющую ключом жизнь в наши вокальные увлечения вносит Владимир Ильич… Он входит в раж и начинает командовать:

— К черту «Такую ее долю», — выкрикивает он, — давайте зажарим «Смело, товарищи, в ногу».

И тотчас же… спешит затянуть своим хриплым и несколько фальшивым голоском, представляющим нечто среднее между баритоном, басом и тенором:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепну в в борьбе…

И, когда ему кажется, что честная компания недостаточно отчетливо фразирует козырные места песенки, он, с разгоревшимися глазами, начинает энергично в такт размахивать кулаками, нетерпеливо притоптывать ногой и подчеркивает, в

ущерб элементарным правилам гармонии, нравящиеся ему места напряжением своих голосовых средств, причем очень часто с повышением какой-нибудь ответственной ноты на полтона или даже на целый тон…» «Голос был громкий, — рассказывала Крупская, — но не крикливый, грудной. Баритон… Любил напевать и насвистывать. Любил песню тореадора».

Мария Ульянова подтверждала, что певцом Владимир Ильич был далеко не блестящим, что он и сам охотно признавал: «Помню обычный финал его пения, когда он принимался за романс «У тебя есть прелестные глазки». На высоких нотах — «от них я совсем погибаю» — он смеялся, махал рукой и говорил: «Погиб, погиб».

«Я могу двадцать раз слышать одну и ту же мелодию, — признавался Ленин, — и не запомнить ее».

Г. Кржижановский замечал: «Владимир Ильич особенно любил переведенные мною с польского языка революционные песни «Варшавянка» и «Беснуйтесь, тираны». Между прочим, русский текст «Варшавянки» Кржижановский сочинил, сидя в Бутырской тюрьме:

Вихри враждебные веют над нами,
Черные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут…

Ленину нравились и любовные романсы… По свидетельству Лепешинского, уже упомянутый выше романс «Нас венчали не в церкви» производил на Ленина прямо-таки магическое действие: «Владимир Ильич, откинувшись на спинку дивана и охватив руками колено, весь уходил при этом внутрь самого себя и, видимо, переживал какие-то глубокие, одному ему ведомые, настроения».

С особенным удовольствием ссыльные распевали комическую песенку «Туруханская», сложенную Мартовым:

Там, в России, люди очень пылки,
Там к лицу геройский им наряд,
Но со многих годы дальней ссылки
Быстро позолоту соскоблят.

И порывы эти все сведет на ноль
Сдобренный махоркой алкоголь…
И глядишь, плетется доблестный герой
В виде мокрой курицы домой…

Сам Владимир Ильич умел играть на гитаре, которую в Шушенском одалживал у соседа-крестьянина по фамилии Заверткин. Тот замечал: «В.И. частенько играл, и притом очень хорошо».

Советский фольклор 70-х годов, который старательно высмеивал всю биографию Ленина, не обошел вниманием и его песенно-музыкальное увлечение. Один из анекдотов на эту тему: «Надежда Константиновна играла на рояле, а Владимир Ильич пел. Получалось препротивнейше».

Глава 5
«Моя безграничная дружба посвящена 2–3 женщинам»

У него была жена, ее звали Крупская, у них были одни и те же мысли.

Ленин имел очень много детей, которых любил и баловал.

Старшего звали Александром.

Пионерам Ленин повязывал бантики.

Из школьных сочинений о Ленине

«Никакой пташечки прилететь не собирается…» История отношений Владимира Ульянова и Надежды Крупской частично уже рассказана выше. Их обоих приговорили к трехлетней ссылке в Сибирь — но Крупскую несколько позже, чем Ульянова. Тогда он сделал ей предложение стать его женой.

«Ну что ж, женой, так женой», — осторожно ответила она.

Крупская не вполне понимала, что ей предлагают: то ли «настоящий» брак, то ли какую-то хитрость, которая просто позволит двум ссыльным отбывать наказание вместе. Вскоре стало ясно, что брак будет «настоящим». «Мы ведь молодожены были, — говорила она позднее, — и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти…».

Родные молодых супругов ожидали, что вскоре в семье появится ребенок. Но этого не произошло: рождению младенца помешала базедова болезнь, которая развилась у Крупской. В апреле 1899 года она писала из ссылки свекрови: «Что касается моего здоровья, то я совершенно здорова, но относительно прилета пташечки дела обстоят, к сожалению, плохо: никакой пташечки что-то прилететь не собирается…»

«Я всегда очень жалела, — признавалась позднее Надежда Константиновна, — что у меня не было ребят».

Сходные чувства испытывал и Владимир Ильич. Однажды в эмиграции он заметил со вздохом о каком-то товарище: «Он, видите ли, пишет, что через некоторое время, счастливец, его жена ждет ребенка…» «Ленин, — писал Г. Соломон, — как и его

жена, Надежда Константиновна, очень, но тщетно хотели иметь ребенка».

В своих сочинениях Ленин резко осуждал некую воображаемую «мещанскую парочку, заскорузлую и себялюбивую, которая бормочет испуганно: самим бы, дай бог, продержаться как-нибудь, а детей уж лучше ненадобно».

Не терпел он и высокомерного отношения к прекрасному полу. «Это очень умная женщина», — заметил он как-то о своей жене. Большевик Владимир Бонч-Бруевич был свидетелем, как в эмиграции на улице Ленин признался одному знакомому:

— Люблю путешествовать, особенно вдвоем вместе с Надей.

— Ну уж, — грубовато засмеялся его собеседник, — нашли что интересного… Я понимаю вдвоем, это да…

Он хотел продолжить, но Ленин покраснел и перебил его:

— Как? С женой-то не интересно?.. А с кем же?.. Эх, вы…

Вскочил на велосипед и быстро поехал прочь, оборвав таким образом разговор.

В домашнем хозяйстве Владимир Ильич не стеснялся выполнять некоторые обязанности, которые в то время считались чисто женскими: пришивал пуговицы, чистил одежду и т. д. Однажды он услышал, что к чаю нет хлеба, и возмутился:

— Ну уж за хлебом это я пойду! Почему ты, Надя, мне раньше этого не сказала?.. Должен же я принимать участие в хозяйстве…

Сердечные отношения у Владимира Ильича сложились и с матерью жены — Елизаветой Васильевной. Крупская: «Раз как-то сидит мать унылая. Была она отчаянной курильщицей, а тут забыла купить папирос, а был праздник, нигде нельзя было достать табаку. Увидал это Ильич. «Эка беда, сейчас я достану», — и пошел разыскивать папиросы по кафе, отыскал, принес матери».

«Мне хотелось бы поцеловать тебя тысячу раз…» Долгое время «запретной темой» для советских историков оставались отношения Владимира Ильича и Инессы Арманд. (Хотя факт их близкой дружбы никто не отрицал.) Арманд — дочь оперного певца, француженка по происхождению, выросшая в России. К моменту знакомства с Лениным у нее в двух браках родились уже пятеро детей.

Женщины-революционерки обычно считали «хорошим тоном» избегать украшений, духов, и вообще выражать пренебрежение к своей женственности. Арманд ярко выделялась среди них красотой и обаянием. Ее товарищи шутили, что Инессу стоит включить в учебники по марксизму как образец единства формы и содержания…

В письме к Ленину в 1913 году Инесса Арманд кратко описывала историю их личных отношений, начавшихся в 1910 году в Париже. Вначале, как следует из ее слов, это были просто товарищеские и дружеские отношения — «без поцелуев».

«Я тогда совсем не была влюблена в тебя, — писала Арманд, — но и тогда я тебя очень любила… Много было хорошего в Париже и в отношениях с Н.К. (Надеждой Константиновной. — А.М.). В одной из наших последних бесед она мне сказала, что я ей стала особенно дорога и близка лишь недавно. А я ее полюбила почти с первого знакомства. По отношению к товарищам в ней есть какая-то особая чарующая мягкость и нежность. В Париже я очень любила приходить к ней, сидеть у нее в комнате. Бывало, сядешь около ее стола — сначала говоришь о делах, а потом засиживаешься, говоришь о самых разнообразных материях. Может быть, иногда и утомляешь ее. Тебя я в то время боялась пуще огня. Хочется увидеть тебя, но лучше, кажется, умерла бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо заходил в комнату Н.К., я сразу терялась и глупела. Всегда удивлялась и завидовала смелости других, которые прямо заходили к тебе, говорили с тобой. Только в Longiumeau (Лонжюмо. — А.М.) и затем следующую осень в связи с переводами и пр. я немного попривыкла к тебе. Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твое лицо так оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал…»

В Париже Ленин и Арманд часто бывали вместе в кафе на авеню д'Орлеан. Французский социалист Шарль Рапопорт рассказывал: «Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой француженки»… «Инесса была хорошая музыкантша… очень хорошо играла многие вещи Бетховена, — писала позднее Крупская. — Ильич особенно любил «Sonate Pathetique», просил ее постоянно играть…»

Крупская вспоминала, как они втроем проводили время в Кракове в 1913 году: «Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса. Мы с Ильичем и Инессой много ходили гулять. Зиновьев и Каменев прозвали нас «партией прогулистов». Ходили на край города, на луг (луг по-польски — блонь). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина». В определенный момент Крупская хотела «отстраниться», но Владимир Ильич не допустил этого. Он просил ее: «Оставайся». И счел невозможным разрываться дальше между двумя женщинами — сам расстался с Инессой.

В декабре 1913 года Инесса Арманд писала Ленину: «Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно.

Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты еще здесь, в Париже, занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитями связана с мыслью о тебе… Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты «провел» расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя».

И после «расставания» Инесса Арманд продолжала занимать мысли Владимира Ильича, его беспокоило чувство вины перед ней. Это видно по его сохранившимся письмам.

«If possible, do not be angry against me, — писал он ей весной 1914 года. — I have caused you a great pain, I know it…» («Если возможно, не сердись на меня. Я причинил тебе много боли, я знаю это…»). «Никогда, никогда я не писал, что я ценю только трех женщин. Никогда!! Я писал, что самая моя безграничная дружба, абсолютное уважение посвящены только 2–3 женщинам» (лето 1914 года, перевод с английского).

«Вы пишете, что у Вас даже руки и ноги пухнут от холоду. Это, ей-ей, ужасно. У Вас ведь и без того руки всегда были зябки. Зачем же еще доводить до этого?» (ноябрь 1916 года).

«Дорогой друг! Последние Ваши письма были так полны грусти и такие печальные думы вызывали во мне и так будили бешеные угрызения совести, что я никак не могу прийти в себя» (декабрь 1916 года).

И после «расставания» Инесса обращалась к Владимиру Ильичу нежно, как к возлюбленному: «Дорогой…» В конце письма писала: «Крепко тебя целую. Твоя Инесса». Он же в ответных письмах обращался к ней тоже сердечно, но подчеркнуто по-дружески: «Дорогой друг!» — а завершая послание: «Крепко, крепко жму руку. Твой В. У.». Но не всегда Владимиру Ильичу удавалось выдержать этот товарищеский тон. «Oh, I would like to kiss you thousand times…» («О, мне хотелось бы поцеловать тебя тысячу раз…») — писал он Инессе в июле 1914 года. Вряд ли это были чисто дружеские поцелуи…

На родину в марте 1917 года Арманд, Крупская и Ленин возвращались в одном купе «пломбированного вагона». Их отношения не прервались и в России: Арманд бывала в гостях у Ленина. Однажды пришла с дочерью Варей. «Ильич при них, — вспоминала Крупская, — как я по старинке выражалась, «полки разводил»; помню я, как поблескивали глаза у Варюшки».

24 сентября 1920 года Инессы Арманд не стало, она умерла от холеры. Насколько можно судить, ее утомило, донельзя

измотало постоянное напряжение революции. Незадолго до смерти Инесса записала в дневник: «Как мало теперь я стала любить людей. Раньше я, бывало, к каждому человеку подходила с теплым чувством. Теперь я ко всем равнодушна. А главное — почти со всеми скучаю. Горячее чувство осталось только к детям и В.И. Во всех других отношениях сердце как будто бы вымерло. Как будто бы, отдав все свои силы, свою страсть В.И. и делу работы, в нем истощились все источники любви, сочувствия к людям, которыми оно раньше было так богато… Я живой труп, и это ужасно!»

Похоронили Инессу Арманд на Красной площади у Кремлевской стены. На ее похоронах 12 октября, по свидетельству Александры Коллонтай, Ленин «был неузнаваем». Он шатался, шел с закрытыми глазами. «Мы думали, что он упадет». Другая участница траурной церемонии, Анжелика Балабанова, вспоминала: «Я искоса посматривала на Ленина. Он казался впавшим в отчаяние, его кепка была надвинута на глаза. Всегда небольшого роста, он, казалось, сморщивался и становился еще меньше. Он выглядел жалким и павшим духом. Я никогда ранее не видела его таким». Балабанова добавляла, что глаза Ленина «казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах». К гробу Владимир Ильич положил венок из белых гиацинтов… «Боюсь, — писала Крупская, — чтобы смерть Инессы не доконала Володю — он плачет и смотрит в одну точку».

Ульяновы взяли под свою «опеку» детей покойной. Ее дочь Варвара Арманд рассказывала: «После смерти моей матери Владимир Ильич и Надежда Константиновна взяли над нашей семьей шефство. Мы постоянно ходили к Надежде Константиновне. Иногда на 3–5 минут приходил Владимир Ильич. Он не садился, а быстро ходил по комнате, включался в наш общий разговор, даже если мы говорили о пустяках, оживляя его своей шуткой, расспросит немного и уходит работать. Иногда мы пили чай вместе»…

Н. Вольский отмечал: «Нельзя не отметить проявленное потом Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд», и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях… Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя…»

«Вы состоите членами общества чистых тарелок?»

В 70-е годы навязчивые рассказы о том, как Ленин любил детей, породили многочисленные анекдоты. Вот один из них: «Маленькая девочка никак не засыпала ночью:

— Мама, я боюсь.

— Чего?

— А нам воспитательница в садике сказала, что Ленин жив и… очень любит маленьких детей».

Другой: «— А я читал, что Борис Годунов не убивал царевича Димитрия. И Ричард III своих племянников на самом деле не убивал.

— Ну ты, историк! Ты еще скажи, что Ленин не любил детей!»

Самый известный анекдот из этой серии: «Крупская выступает перед пионерами:

— Дорогие дети! Всем известна доброта Владимира Ильича. Я вам расскажу такой случай. Однажды собрался он побриться утром у шалашика в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Ленин бритвочку точит, асам на мальчика поглядывает. Взбил себе мыльца, бриться начал. Бреется, — а сам на мальчика поглядывает! Закончил он бриться, вытер бритвочку и… положил в футлярчик.

— Так где же тут доброта-то проявляется?

— А ведь мог бы и полоснуть!»

И все же, возвращаясь к реальному Ленину, — было ли в его отношении к детям что-то необычное, заслуживающее внимания? Или это была заурядная, как выразился бы он сам, «филистерская сентиментальность»?

Врач Борис Вейсброд писал: «В нашей стране любят детей очень многие. Но не все умеют подойти к ребенку, чтобы завоевать его доверие, не навязываясь к нему со своей лаской, не сюсюкая. Владимир Ильич прекрасно знал детскую психику, умел подойти к ребенку с такой же серьезной простотой, с какой он подходил к любому взрослому человеку». Он продолжал: «Мне особенно запомнился такой случай, происшедший в 1920 году в Горках. Мы гуляли по саду, когда навстречу нам выбежала маленькая девочка. Владимир Ильич остановился и молча залюбовался ею. Его глаза засветились любовью и лаской. Девочка тоже остановилась и, широко раскрыв свои глазенки, молча и серьезно смотрела на Ленина. Я вздумал окликнуть и подозвать ее; девочка, конечно, сразу смутилась и убежала. И надо было видеть, с каким огорчением Ленин смотрел вслед ребенку и как укоризненно отчитывал меня за эту маленькую, но грубую педагогическую ошибку».

«Владимир Ильич, — рассказывала Мария Ульянова, — стоял всегда за предоставление детям наибольшей свободы и останавливал нас, когда замечал, что мы «обдергиваем» их: «сиди смирно», «не вертись», «не озоруй» и т. п.». «Мне пришлось, — вспоминала большевичка Злата Лилина, наблюдать любовь В.И. к

моему сынишке — Степе… Он никогда не уставал лазить под кровать и диван за мячом Степы. Он носил Степу на плечах, бегал с ним взапуски и исполнял все его повеления. Иногда В.И. и Степа переворачивали все вверх дном в комнате. Когда становилось особенно уж шумно, я пыталась их останавливать, но Ильич неизменно заявлял — не мешайте, мы играем. Однажды мы шли с В.И. по дороге… Степа бежал впереди нас. Вдруг В.И. произнес: «Эх, жаль, что у нас нет такого Степы».

Ленин никогда не «приставал» к детям с нежностями, отчего некоторым казалось, что он вообще их не любит. Так, П. Лепешинский писал: «Владимир Ильич, если не ошибаюсь, не очень-то долюбливал маленьких детей».

В сущности, Ленин применял к детям те же воспитательные приемы, что и ко взрослым людям. Не навязывать что-то силой, а увлекать, «соблазнять». Весьма характерен в этом смысле хрестоматийный рассказ В. Бонч-Бруевича об «обществе чистых тарелок». За одним столом с Владимиром Ильичем обедали трое детей: две девочки и мальчик. «Дети ели плохо, почти весь суп остался в тарелках… Подали второе. Та же история».

— А вы состоите членами общества чистых тарелок? — серьезно поинтересовался Ленин, обращаясь к детям.

— Нет, — растерянно отвечали они. — Мы не состоим!

— Как же это вы? Почему так запоздали?

— Мы не знали… мы ничего не знали об этом обществе!

— Напрасно… Это очень жаль! Оно давно уже существует. Впрочем, вы не годитесь для этого общества… Вас все равно не примут.

— Почему?.. Почему не примут?

— Как — почему? А какие у вас тарелки? Посмотрите! Как же вас могут принять, когда вы на тарелках все оставляете!

— Мы сейчас доедим!

Дети принялись доедать то, что еще оставалось у них на тарелках.

— Ну, разве что вы исправитесь, тогда попробовать можно… Там и значки выдают тем, у кого тарелки всегда чистые.

— И значки!.. А какие значки? А как же поступить туда?

— Надо подать заявление.

— А кому?

— Мне.

«Дети попросили разрешения встать из-за стола и побежали писать заявление. Через некоторое время они вернулись… и торжественно вручили бумагу Владимиру Ильичу. Владимир Ильич прочел, поправил три ошибки и надписал в углу: «Надо принять».

Как мы видим, Ленин обращался с детьми, вовлекая их в свое несуществующее общество, точно так же, как и со взрослыми, принимая их в РСДРП. Не звать и тянуть силой, а, наоборот, делать членство в «обществе чистых тарелок» почетным, заманчивым, труднодоступным. Возвышать тем самым вступающих в их собственных глазах…

Случалось, дети своими вопросами ставили в тупик даже такого прирожденного спорщика, как Ленин. Однажды П. Лепешинский оставил с ним свою пятилетнюю дочь. Владимир Ильич развлекал ее, пуская в миске с водой кораблики из скорлупок от грецких орехов. А девочка неожиданно спросила:

«— Ленин, а Ленин, отчего у тебя на голове два лица?

— Как так два лица? — подскочил вопрошаемый.

— А одно спереди, а другое сзади…

Ильич… быть может, в первый раз в своей жизни не сразу нашелся, что ответить.

— Это оттого, что я очень много думаю, — после некоторой паузы промолвил он наконец.

— Ага, — удовлетворилась любознательная гостья».

Глава 6
«Проклятое далеко»

«Надо держать камень за пазухой». В 1900 году ссылка Владимира Ильича закончилась. В самый последний момент его освобождение чуть было не сорвалось: домой к Ульянову нагрянули с обыском жандармы, а ссыльный не позаботился вовремя спрятать запрещенную литературу. О происшедшем повествует один из хрестоматийных рассказов о Ленине: Надежда Константиновна вежливо предложила жандарму стул, чтобы ему было удобнее смотреть книжные полки. Он, естественно, начал проглядывать их сверху вниз… Владимир Ильич потом говорил: «Так и не дошли до нижней полки, а там-то все и было».

В июле 1900 года Владимир Ильич выехал за границу. Он говорил шутливо:

— Съездить один раз в ссылку — это можно, но ехать туда второй раз было бы глупо; за границей мы будем более полезны.

Вместе с товарищами Владимир Ульянов с пылом принялся за создание социал-демократической газеты «Искра». А в сентябре он написал небольшой текст под заголовком «Как чуть не потухла «Искра»?». Он выдержан в жанре дневниковой записи или мемуарного очерка (и был опубликован только после смерти автора). Ульянов описывает свою размолвку с Георгием Плехановым. Ссора имела скорее личный характер, и с исторической точки зрения значение ее невелико. Но для самого Ульянова она, видимо, имела немалое значение. Кроме того, в этом очерке как живой предстает он сам, со своей горячей эмоциональностью, бьющей через край. Несколько страничек запечатлели целую бурю чувств 30-летнего Ульянова!

«До такой степени тяжело было, — признается он, — что, ей-богу, временами казалось, что я расплачусь…» Что же случилось? Плеханов попытался командовать молодыми сотрудниками редакции (Ульяновым и А. Потресовым). Это было неожиданно для них, и, растерянные, они сперва подчинились. Но спустя несколько часов возмущение и протест взяли верх.

«Быть пешками в руках этого человека мы не хотим; товарищеских отношений он не допускает, не понимает… Трудно описать с достаточной точностью наше состояние в этот вечер: такое это было сложное, тяжелое, мутное состояние духа!.. И все оттого, что мы были раньше влюблены в Плеханова: не будь этой влюбленности, относись мы к нему хладнокровнее, ровнее, смотри мы на него немного более со стороны, — мы иначе бы

повели себя с ним и не испытали бы такого, в буквальном смысле слова, краха, такой «нравственной бани»… Это был самый резкий жизненный урок, обидно-резкий, обидно-грубый. Младшие товарищи «ухаживали» за старшим из громадной любви к нему, — а он вдруг… заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками… И влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление: надо ко всем людям относиться «без сентиментальности», надо держать камень за пазухой… Ослепленные своей влюбленностью, мы держали себя в сущности как рабы, а быть рабом — недостойная вещь, и обида этого сознания во сто крат увеличивалась еще тем, что нам открыл глаза «он» самолично на нашей шкуре…»

«Мою «влюбленность» в Плеханова… как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, veneration (преклонением, благоговением. — А. М), ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» — и никогда не испытывал такого грубого «пинка».

«Возмущение наше было бесконечно велико: идеал был разбит, и мы с наслаждением попирали его ногами, как свергнутый кумир: самым резким обвинениям не было конца».

На следующий день состоялось их объяснение с Плехановым. «Просто как-то не верилось самому себе (точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека) — неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?»

«У вас все впечатления да впечатления, больше ничего, — заметил Георгий Валентинович, — получились у вас такие впечатления, что я дурной человек. Ну, что же я могу с этим поделать?..»

Как ни странно, вся эта буря эмоций постепенно улеглась и сторонам удалось договориться. «Искра начала подавать надежду опять разгореться», — завершает свой очерк Ульянов. В декабре вышел первый номер этой знаменитой газеты. В качестве ее эпиграфа Ульянов предложил строчку из ответа декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя!..»

«Мы говорили на разных языках». На своем II съезде Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) раскололась на два течения — большевиков и меньшевиков. Весь

съезд проходил в ожесточенной борьбе между ними. В своей работе «Шаг вперед, два шага назад» Ленин описывал свой разговор с одним из делегатов-центристов.

«Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде!» — жаловался он мне. «Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика — это нетоварищеское отношение!..» «Какая прекрасная вещь — наш съезд! — отвечал я ему. — Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисовались. Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь. Это — не то что бесконечные, нудные интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить…»

Товарищ из «центра» смотрел на меня недоумевающими глазами и пожимал плечами. Мы говорили на разных языках».

Война с «пошляками». Даже самому Ленину вначале казалось, что раскол произошел скорее из-за личных разногласий. Он соглашался: «Тут действительно что-то такое неладно. Выходит так, что я один — умный, а вы — никто ничего не понимаете… А так как этого быть не может, то, очевидно, я не прав».

Но потом Ленин пришел к выводу, что причина раскола кроется глубже… В 1904 году он говорил: «Есть детская игра — кубики. На каждой стороне их представлена часть какой-нибудь вещи — дома, дерева, моста, цветка, человека. В несобранном виде эти картинки ничего не дают, только бессмысленный хаос. Когда же, выбирая соответствующие сторонки кубиков, всячески повертываете их, прикладываете одну к другой, получается осмысленная картинка, рисунок. Совершенно такой же результат получается при разборе «кубиков» меньшинства. С первого взгляда в заявлениях, словах, действиях меньшинства — одна только непродуманность, глупая кружковая болтовня, вспышки личной обиды, раздутое самолюбие. Однако, если у вас есть терпение достаточно долго повозиться с кубиками меньшинства, находя на стороне одного кубика продолжение изображения на другом, в результате обнаружится политическая картинка, смысл которой не возбуждает никаких сомнений. Эта картинка неопровержимо свидетельствует, что меньшинство есть оппортунистическое, ревизионистское крыло партии…»

Однако начало борьбы с меньшевиками было самым тяжелым временем для Владимира Ильича. «Личная привязанность к людям, — писала Крупская, — делала для Владимира Ильича расколы неимоверно тяжелыми. Помню, когда на втором съезде

ясно стало, что раскол с Аксельродом, Засулич, Мартовым и др. неизбежен, как ужасно чувствовал себя Владимир Ильич. Всю ночь мы просидели с ним и продрожали».

Порой Ленина уговаривали ради старой дружбы поступиться своими взглядами. На это он отвечал насмешливо: «Дружба дружбой, а служба службой… Революция — не игра в бирюльки, в ней нет места обывательским соображениям».

«Интересы дела, — писал Ленин, — должны стоять выше каких бы то ни было личных… отношений, каких бы то ни было «хороших» воспоминаний». «Он всегда готов был остаться один, — замечал Лев Каменев, — имея против себя бесчисленных противников…»

Тем не менее книга против меньшевиков «Шаг вперед, два шага назад» давалась Ленину с трудом. П. Лепешинский вспоминал: «Я был свидетелем такого подавленного состояния его духа, в каком никогда мне не приходилось его видеть ни до, ни после этого периода… Наш Ильич совершенно потерял присущую ему бодрость… Совсем было захандрил наш Ильич».

«Я, кажется, товарищи, — признавался Ленин, — не допишу своей книжки. Брошу все и уеду в горы… Поймите же, поймите, товарищи, что это за мучение! Когда я писал свое «Что делать?» — я с головой окунулся в эту работу. Я испытывал радостное чувство творчества. Я знал, с какими теоретическими ошибками противников имею дело, как нужно подойти к этим ошибкам, в чем суть нашего расхождения. А теперь — черт знает что такое… Все время ловить противников на мелких мошеннических проделках мысли — ты, мол, просто лгунишка, а ты — интриганишка, скандалист, склочник — как себе хотите, а это очень невеселое занятие».

Большевики и меньшевики, по Ленину, разошлись из-за несходства самой психологии людей слова и людей действия, интеллигентов и революционеров. Он разъяснял: «Разницу эту можно понять на таком простом примере: меньшевик, желая получить яблоко, стоя под яблоней, будет ждать, пока яблоко само к нему свалится. Большевик же подойдет и сорвет яблоко».

«Быть марксистом не значит выучить наизусть формулы марксизма. Выучить их может и попугай. Марксизм без соответствующих ему дел — нуль. Это только слова, слова и слова. А чтобы были дела, действия, нужна соответствующая психология. У меньшинства слова внешне марксистские, а психология хлюпких интеллигентов, индивидуалистов, восстающих… против всего, в чем они могут увидеть обуздание их психики».

«Боязнь «тирании», — говорил он, — отпугнет от нас только

дряблые и мягкотелые натуры». Большевик Н. Семашко развивал эти мысли так: «Некоторые меньшевики говорили как-то мне, что меньшевики и большевики различаются, между прочим, по темпераменту. По-моему, это — глубокое психологическое наблюдение. Рефлексия… лежит в основе меньшевика, как психологического типа. Боевой темперамент — основа психологии большевика. Я не могу себе представить большевика с меньшевистским темпераментом». «При достаточной опытности, — замечал Троцкий, — глаз даже по внешности различал большевика от меньшевика, с небольшим процентом ошибок».

По-видимому, Ленин тоже считал, что большевикам присущ определенный темперамент, который проявляется во всех мелочах. После революции он как-то спросил у большевички Елены Малиновской, отчего она такая бледная.

— Вероятно оттого, что очень обижают, — полушутливо пожаловалась она.

— Что? Обижают? Так краснеть надо, если обижают!..

В 1906 году Ленин писал о том, что такое в его понимании оппортунизм: «Напрасно считают у нас нередко это слово «просто бранью», не вдумываясь в его значение. Оппортунист не предает своей партии, не изменяет ей, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его типичная и характерная черта — податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, политическая близорукость и бесхарактерность». Позднее он добавлял: «Оппортунизм состоит в том, чтобы жертвовать коренными интересами, выгадывая временные частичные выгоды. Вот в чем гвоздь… Тут многие сбивались».

Все годы своей политической деятельности Ленин неумолимо воевал с теми, кто, по его мнению, поддавался моде и уступал «настроениям минуты». А настроений этих было много, и они бывали очень разными… Ленин однажды так юмористически описывал свою борьбу с этими «шатаниями» из стороны в сторону: «Я очутился в положении того мужика, у которого телега опрокинулась на одну сторону. Мужик, стараясь поднять телегу, призывал на помощь святых сначала по одному: «святой угодник Николай, помоги, святой такой-то, помоги», — но телега не трогалась с места. Наконец, мужик натужился всеми своими силами и крикнул: «все святые, помогите!» — и телега от сильного удара опрокинулась у него на другую сторону. Тогда мужик вскрикнул: «Да вы, черти, не все сразу!»

Крупская рассказывала: «Мы вспоминали однажды с Владимиром Ильичем одно сравнение, приведенное где-то

Л. Толстым: идет он и видит издали — сидит человек на корточках и машет как-то нелепо руками; он подумал — сумасшедший, подошел поближе, видит — человек нож о тротуар точит. Так бывает и с теоретическими спорами. Слушать со стороны: зря люди препираются, вникнуть в суть — дело касается самого существенного».

Первое время все идейные разногласия большевиков и меньшевиков сводились к знаменитому «параграфу первому устава». Кто может быть членом партии? Тот, кто сочувствует ей, отвечали меньшевики. Нет, сочувствия мало, отвечали большевики, нужна революционная работа. «Как смеялись многие из заграничных социалистов, — замечал К. Радек, — когда им рассказывали, что в русской социал-демократии происходит раскол из-за определения параграфа, говорящего о том, кто состоит членом партии!.. А о чем же шло дело? Ленин боролся против того, чтобы политику рабочей партии определял интеллигентский кисель». Ленин не считал эти споры далекими от жизни. «Известное изречение гласит, — писал он, — что если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, то они наверное опровергались бы».

«Меньшевики опаснее кадетов, — заявлял Ленин в 1905 году, — вреднее истинно-русских людей».

«Такая критика меньшевизма, помню, нас очень удивила, — писал профессор В. Коваленков. — Мы говорили: «Как это меньшевизм может быть вреднее союза истинно русских людей?! Должно быть, т. Ленин через край хватил?!»

Программа у большевиков и меньшевиков вплоть до весны 1918 года была одна и та же. Ленин рассказывал в марте 1918 года, что недавно его спросил один шведский социалист: «А какая программа вашей партии, — такая же, как у меньшевиков?»

«Надо было видеть, какие большие глаза сделал этот швед, который ясно понимал, как мы далеко ушли от меньшевиков».

Накануне Февральской революции Ленин писал Инессе Арманд: «Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д. Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

При этом Ленин не держал зла на тех товарищей, которые отошли от борьбы в силу личных причин.

«Ну что же, — говорил он в таких случаях с грустью, — устал человек, нервы не выдержали…»

Вспоминал строчки Некрасова:

Они не предали, они устали

Свой крест нести;
Покинул их дух гнева и печали
На полпути.

«Уродливое слово — большевик». Самому Владимиру Ильичу словечки «большевик» и «меньшевик» не слишком нравились. Много лет спустя он с раздражением замечал о слове «большевик»: «Бессмысленное, уродливое слово… не выражающее абсолютно ничего, кроме того, чисто случайного, обстоятельства, что на… съезде 1903 года мы имели большинство».

Но если Ленин не усматривал здесь более глубокого смысла, то совсем иначе воспринимал это народ. Большевик! В 1917 году простые люди часто повторяли шутку (об этом писала меньшевистская газета «День»): «Большевики… это которые побольше добра народу хотят, а меньшевики — поменьше…»

Конечно, противники большевиков пытались наполнить эти слова другим смыслом. Но без особого успеха. Например, на одном рисунке в бульварной печати 1917 года богатая дама капризно пеняла своему кавалеру: «Как большевик, вы и бриллианты мне должны дарить большие, а уж мелкие — пусть меньшевики дарят!»

На другом похожем рисунке: «Вы должны понять, барон, что… как «большевичка», я не могу довольствоваться таким скромным содержанием, какое вы мне предлагаете!»

Своеобразный итог всем этим расшифровкам подводил советский юмористический журнал «Красная оса» в 1924 году:

«— Откуда берутся названия большевиков и меньшевиков?

— Большевиков становится все больше, а меньшевиков все меньше…»

«Жаль — Мартова нет с нами!» Любопытно, что Ленин до конца дней сохранил свою личную привязанность к вождю меньшевиков Юлию Мартову, хотя в 1903 году судьба развела их раз и навсегда. А. Луначарский передавал настроения Ленина после раскола: «С грустью, с горечью, но и, несомненно, с любовью говорил о Мартове, с которым неумолимая политика развела его на разные дороги».

В своих статьях после раскола Ленин с удовольствием вспоминал старые сатирические стихи Мартова (Нарцисса Тупорылова), высмеивавшие «умеренных» марксистов:

Медленным шагом,
Робким зигзагом,
Не увлекаясь,

Приспособляясь,
Если возможно,
То осторожно,
Тише вперед,
Рабочий народ!

М. Горький вспоминал, как уже в советское время Ленин пожаловался ему: «Жаль — Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой чистый человек!»

«Мартов — типичный журналист, — замечал Ленин, — он чрезвычайно талантлив, все как-то хватает на лету, страшно впечатлителен, но ко всему легко относится».

«Хотя Ю.О., как известно, мой большой друг… вернее, бывший друг, но, к сожалению, он великий талмудист мысли, и что к чему — это ему не дано…»

То, что Мартов стал меньшевиком, Ленин объяснял так: «Ведь это истеричный интеллигент. Его все время надо держать под присмотром».

В кругу товарищей Ленин однажды с улыбкой высказался о Мартове следующим образом: «Какой же Мартов лидер политической партии? Он талантливый публицист… Заприте его в комнату. Первое время он будет нервничать, бить стекла, ломать дверь, а затем успокоится, потребует чернила, перо и бумагу и начнет писать, писать и писать… А что напишет? За это ручаться нельзя».

В декабре 1919 года Ленин и Мартов в последний раз публично спорили на VII съезде Советов. Меньшевиков в Большом театре не без юмора усадили в царскую ложу. И Владимир Ильич шутил в своей речи: «Из ложи, которая в прежние времена была ложей царской, а теперь является ложей оппозиции *(смех),* я слышу иронический возглас «ого!»…»

А в сентябре 1920 года Ленин помог Мартову получить заграничный паспорт и отправиться в эмиграцию. «Мы охотно пустили Мартова за границу», — сказал Ленин в одной из речей. На вопрос, зачем ему это понадобилось (ведь меньшевики тогда еще оставались легальной оппозицией), Ленин будто бы ответил так: «Потому что меня окружают люди, которые гораздо более последовательные ленинцы, чем сам Ленин».

Даже живя за рубежом, Мартов сохранял советское гражданство. Ленин интересовался деятельностью своего друга-противника в эмиграции. «Когда Владимир Ильич был уже тяжело болен, — вспоминала Крупская, — он мне как-то грустно сказал: «Вот и Мартов тоже, говорят, умирает»… И что-то мягкое звучало

в его словах». Ленин даже попросил Сталина послать Мартову денег на лечение. Но Сталин возмутился таким поручением: «Чтобы я стал тратить деньги на врага рабочего дела! Ищите себе для этого другого секретаря!»

«В.И. был очень расстроен этим, — писала Мария Ульянова, — очень рассержен на Сталина».

4 апреля 1923 года Мартов скончался от туберкулеза. Крупская вспоминала, что уже лишенный речи Ленин знаками спросил ее о Мартове. «Я сделала вид, что не поняла. На другой день он спустился вниз в библиотеку, в эмигрантских газетах разыскал сообщение о смерти Мартова и укорительно показал мне».

«Плеханов — человек колоссального роста…»

«Большевизм существует, — писал Ленин, — как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года». Плеханов и Ленин стали первыми вождями большевиков. Владимир Ильич замечал, что Плеханов обладает «физической силой ума»: «Вот вы можете ведь сразу увидеть и отличить в человеке физическую силу. Войдет человек, посмотрите на него, и видите: сильный физически… Так и у Плеханова ум. Вы только взглянете на него, и увидите, что это сильнейший ум, который все одолевает, все сразу взвешивает, во все проникает, ничего не спрячешь от него. И чувствуешь, что это так же объективно существует, как и физическая сила».

Ленину нелегко дался разрыв отношений с Плехановым, когда в 1904 году тот перешел на сторону меньшевиков. Бывший социал-демократ К. Тахтарев вспоминал этот момент: «Владимир Ильич вышел ко мне таким, каким я его до этого времени еще никогда не видал. Он был в страшно подавленном виде и встретил меня словами: «Вы знаете, Плеханов нам изменил».

Ленин шутил: «Я дал бы отрубить топором мне один палец, лишь бы Плеханов не шатался».

«Владимир Ильич крайне болезненно относился ко всякой размолвке с Плехановым, — вспоминала Крупская, — не спал ночи, нервничал». «Любил он людей страстно. Так любил он, например, Плеханова… И после раскола внимательно прислушивался к тому, что говорил Плеханов. С какой радостью он повторял слова Плеханова: «Не хочу умереть оппортунистом». Л. Каменев: «В Плеханове живет подлинный якобинец», — не раз говаривал Владимир Ильич, а это было в его устах высшей похвалой… Мы шутливо говорили Владимиру Ильичу (около 1909 года. — *А.М.)* «А ведь вы, Владимир Ильич, влюблены в Плеханова», — Владимир Ильич отшучивался».

И все-таки внутренне Ленин верил в свою правоту. П. Лепешинский вспоминал такой эпизод: «Однажды, в интимной обстановке, разоткровенничавшийся Ильич сказал: «А знаете ли… Плеханов действительно человек колоссального роста, перед которым приходится иногда съеживаться… А все-таки мне почему-то кажется, что он уже мертвец, а я живой человек». Это было весной 1904 года».

Ленин понимал, что уступает Плеханову в красноречии. «Когда Плеханов говорит, — ядовито писал он в 1907 году, — он острит, шутит, шумит, трещит, вертится и блестит, как колесо в фейерверке. Но беда, если такой оратор точно запишет свою речь и ее подвергнут потом логическому разбору».

Последний и окончательный разрыв с Плехановым случился у Ленина в начале мировой войны, когда Плеханов оказался «оборонцем» — сторонником «зашиты Отечества». «Он верил и не верил, — писала Крупская, — что Плеханов стал оборонцем. «Не верится просто, — говорил он. — Верно, сказалось военное прошлое Плеханова», — задумчиво прибавлял он». Правда, сначала Плеханов не поддерживал прямо русское правительство, а больше выражал свое сочувствие Франции.

«Это говорил… самый настоящий француз», — с досадой заметил Ленин о первой «оборонческой» речи Плеханова. С этого дня судьба разносила их все дальше и дальше…

«Пятнадцать лет Владимир Ильич воевал против Плеханова, — писал большевик Г. Шкловский, — но влюбленность его в Плеханова никогда не проходила, даже в самые острые моменты борьбы. Она не прошла у него и после смерти Плеханова».

«Как мыши кота хоронили». Ленин любил сатирические и юмористические рисунки. В своих сочинениях он иногда даже пересказывал их содержание. Например, вот его пересказ одной карикатуры на Николая 11: «Царь изображен был в военной форме, с смеющимся лицом. Он дразнил ломтем хлеба лохматого мужика, то подсовывая ему этот ломоть чуть не в рот, то отнимая его назад. Лицо лохматого мужика то озарялось улыбкой довольства, то озлобленно хмурилось, когда ломоть хлеба, чуть-чуть не доставшийся ему, отнимали назад. На этом ломте была надпись: «конституция». А последняя «сцена» изображала мужика, который напряг все силы, чтобы откусить кусочек хлебца, и — откусил голову у Николая Романова. Карикатура меткая…»

До революции и в первые годы после нее среди большевиков царила раскованная и непринужденная атмосфера общения, позволявшая высмеивать почти все и вся. Большевик Юрий

Стеклов замечал в 1924 году: «В нашей среде вообще принято вести самые серьезные разговоры в шутливом духе и пересыпать серьезные темы веселыми анекдотами. По этому поводу припоминаю следующую смешную сценку. Плеханов, который страшно любил цитировать Глеба Успенского и действительно знал его блестяще, не помню сейчас по какому случаю, желая подшутить над Владимиром Ильичем, начал приводить из Успенского объяснение того, отчего люди лысеют. Но, быстро сообразив, что для него, пожалуй, эта цитата невыгодна, оборвал ее. Ленин сразу заметил слабую сторону противника. Катаясь от смеха по траве, он громко закричал: «Что же это вы, Георгий Валентинович, не договариваете? Позвольте, я сейчас приведу эту цитату. У Успенского сказано так: «Который человек лысеет ото лба, и то от большого ума. (Ленин показал на свою лысину, которая действительно шла ото лба). А который лысеет от затылка (и тут он ехидно указал пальцем на Плеханова, у которого лысина шла одновременно и ото лба, и от затылка), и то от развратной жизни». Плеханов был сражен».

В 1904 году большевики оказались среди российских социал-демократов слабейшей, проигрывающей стороной. У них не было даже собственной газеты. И горечь от поражения находила разрядку в шутках, карикатурах. Сюжеты рисунков женевские большевики придумывали все вместе, обедая в столовой супругов Лепешинских. Большевик Мартын Лядов рассказывал: «Особенно злой была карикатура «Житие Георгия Непобедоносца», которая состояла из ряда картин. В последней — Ильич изображался в виде атамана разбойников, мы все в виде его подручных, которые по команде Ильича растянули Плеханова и готовимся высечь его»…

Самую скандально известную серию карикатур — назидательную сказку «Как мыши кота хоронили» — нарисовал П. Лепешинский. Текст был пародией на известную сказку Жуковского «Война мышей и лягушек». А повод для серии подал Ю. Мартов, который свою статью против Ленина сопроводил подзаголовком «Вместо надгробного слова».

Первый из рисунков Лепешинского («не-Жуковского») изображал Ленина в виде громадного полосатого кота, висящего на собственной лапке. Вокруг суетятся радостные мыши-меньшевики. Они обсуждают счастливое известие о том, что «Мурлыка повешен». Впрочем, Плеханов («Премудрая крыса Онуфрий») предупреждает их: «Ах, глупые мыши!.. Я старая крыса, и кошачий нрав мне довольно известен. Смотрите: Мурлыка висит без веревки, и мертвой петли вокруг шеи его я не вижу. Ох, чую, не кончатся эти поминки добром!!!..»

На втором рисунке Мурлыка-Ленин хлопается вниз и лежит на полу, как труп. Вокруг отплясывают канкан счастливые мышки. Мышь-Мартов, взгромоздившись коту на брюхо, читает «надгробное слово»: «Жил-был Мурлыка, рыжая шкурка, усы, как у турка; был же он бешен, на бонапартизме помешан, за что и повешен. Радуйся, наше подполье!..»

Третья картинка — последняя. «Но только успел он последнее слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся. Мы брысь — врассыпную… Куда ты! Пошла тут ужасная травля». Кое-кто из мышей воротился домой без хвоста, а другие достались Мурлыке на завтрак. «Так кончился пир наш бедою».

Карикатуры Лепешинского, отпечатанные в нескольких тысячах экземпляров, произвели среди меньшевиков настоящий фурор. Супруга Плеханова Розалия Марковна выговаривала автору рисунков: «Это что-то невиданное и неслыханное ни в одной уважающей себя социал-демократической партии. Ведь подумать только, что мой Жорж и Вера Ивановна Засулич изображены седыми крысами… У Жоржа было много врагов, но до такой наглости еще никто не доходил…»

«Плеханов, — вспоминал В. Бонч-Бруевич, — который органически не переваривал мышей, о чем, конечно, тов. Лепешинский не знал, до последней степени был потрясен и возмущен изображением его в неподобающем мышином виде. Его добрая и чрезвычайно нежно относившаяся к нему подруга жизни Розалия Марковна… чуть не плача, высказывала свое негодование и возмущение этим ужасным глумлением над «Жоржом», — как звала она Георгия Валентиновича. Мы объяснили ей, что выпуск карикатур — это единственно доступное нам теперь оружие самозащиты…

— Вы знаете, Жорж горяч, и он может, узнав автора, просто вызвать его на дуэль.

Я невольно улыбнулся и сказал:

— Кроме литературной, ведь вы знаете, социал-демократы никаких дуэлей не признают».

Ленину эти рисунки очень понравились, но он внес в них одно довольно характерное исправление. П. Лепешинский писал: «старой мыши с лицом Аксельрода, издыхающей от расправы воспрянувшего кота, я вложил в уста предсмертный вопль: «испить бы кефирцу», намекая на то, что Павел Борисович Аксельрод имел в Швейцарии собственное кефирное заведение, дававшее ему средства к жизни… Вся наша «шпана» реагировала на этот кефирный намек веселым одобрительным смехом». И только Ленин, от души хохотавший над карикатурами, увидев «кефирный» выпад, вдруг посерьезнел и нахмурился: «Товарищ

Один, что же тут политического в этом намеке: «испить бы кефирцу»? Это место обязательно надо переделать».

«Этот глупый намек, — писал Лепешинский, — Ильичу сильно резанул ухо своей бестактностью… Сконфуженный, я поторопился исправить свою ошибку». Забракованное изречение заменили другим: «Я это предвидел!» — патетически восклицала теперь полупридушенная мышь. «Что было намеком на любимый оборот речи Аксельрода, воображавшего себя изумительно тонким прорицателем».

Характерно, что в первые годы после революции советская печать довольно часто изображала вождей в виде животных. Льва Троцкого рисовали, естественно, в образе льва, главного чекиста Дзержинского — как хищную щуку, кавалериста Буденного — как кентавра, ядовитого Радека — как скорпиона и т. д.

В 1924 году была напечатана еще одна карикатура Лепешинского, нарисованная им двадцатью годами ранее. На ней высмеивалась неудачная попытка Бебеля примирить большевиков и меньшевиков. Германский социал-демократ («мальчик в штанах») ласково уговаривал Ленина: «Иди, милый драчунишка, сюда, я тебя помирю с твоими камрадами…» Но Ленин («мальчик без штанов») в ответ непочтительно показывал увесистую дулю: «На-тко, выкуси!»

По словам автора, эта карикатура, оставшаяся тогда неизданной, «заставила Ильича хохотать до упаду».

«Я надеюсь дожить до революции в России». Большинство социалистов в начале XX века не верили, что им удастся увидеть своих товарищей у власти. Владимир Ильич сердился, когда слышал рассуждения в таком духе.

«Как-то в разговоре с В.И., — вспоминал Н. Алексеев, — я посмеялся над одной статьей в лондонской «Джастис» о близости социальной революции… В.И. был недоволен моей иронией. «А я надеюсь дожить до социалистической революции», — заявил он решительно, прибавив несколько нелестных эпитетов по адресу скептиков». Вольский вспоминал очень похожий спор с Лениным в 1904 году.

— Социалистическую революцию ни вы, ни я во всяком случае не увидим, — заметил Вольский.

— А вот я, — запальчиво возразил Ленин, — позвольте вам заявить, глубочайше убежден, что доживу до социалистической революции в России.

Правда, Владимир Ильич вовсе не считал, что этот срок зависит от самих революционеров. «Революция, — говорил он, — не зависит от пропаганды. Если нет условий для революции,

никакая пропаганда не сможет ни ускорить, ни задержать ее».

Глава 7
«Хорошая у нас в России революция, ей-богу»

«Наиболее нормальный в истории — порядок революции».

Иосиф Сталин рассказывал одну небольшую историю о Ленине, чем-то похожую на восточное поучение. «Помнится, — говорил Сталин, — как во время одной беседы, в ответ на замечание одного из товарищей, что «после революции должен установиться нормальный порядок», Ленин саркастически заметил: «Беда, если люди, желающие быть революционерами, забывают, что наиболее нормальным порядком в истории является порядок революции». Очевидно, в словах собеседника Ленин почувствовал «обывательскую усталость от революции». Сталину врезалось в память это парадоксальное заключение (может быть, оно ему и было адресовано?). Беспорядок и хаос революции, неистовство всех стихий — это и есть, оказывается, «наиболее нормальный порядок в истории»!

Однако нет сомнений, что Ленин ощущал себя «как рыба в воде» именно в такие дни, когда все вокруг рушилось и летело кувырком. «Хорошая у нас в России революция, ей-богу!» — с удовольствием писал он в октябре 1905 года. А в долгие годы затишья и успокоения Ленин тосковал по революции, не мог дождаться ее прихода.

«Великие вопросы в жизни народов решаются только СИЛОЙ». В 1904 году шла русско-японская война, Россия терпела поражение, и в воздухе чувствовалось приближение революции. Ленина это радовало, он убежденно писал: «Русский народ выиграл от поражения самодержавия». Он говорил тогда товарищам: «Поймите же, настал момент, когда нужно уметь драться не только в фигуральном, не в политическом только смысле слова, а в прямом, самом простом, физическом смысле. Время, когда демонстранты выкидывали красное знамя, кричали «долой самодержавие» и разбегались, — прошло. Этого мало. Это приготовительный класс, нужно переходить в высший. От звуков труб иерихонских самодержавие не падет. Нужно начать массовыми ударами его физически разрушать, понимаете — физически бить по аппарату всей власти… Это важно. Хамы самодержавия за каждый нанесенный нам физический удар должны получить два, а еще лучше — четыре, пять ударов. Не

хорошие слова, а это заставит их быть много осторожнее, а когда они будут осторожнее, мы будем действовать смелее. Начнем демонстрации с кулаком и камнем, а привыкнув драться, перейдем к средствам более убедительным. Нужно не резонерствовать, как это делают хлюпкие интеллигенты, а научиться по-пролетарски давать в морду, в морду! Нужно и хотеть драться, и уметь драться. Слов мало».

«Ленин, — вспоминал Н. Вольский, — сжав кулак, двинул рукою, — словно показывая, как это нужно делать».

В 1905 году в своих статьях Ленин вновь и вновь призывал перейти от мирных шествий (наподобие 9 января) к прямой борьбе — с оружием в руках. Он убежденно повторял: «Великие вопросы в жизни народов решаются только силой» (это слегка измененная фраза Отто фон Бисмарка: «Не речами и постановлениями большинства решаются великие современные вопросы… а железом и кровью»), Владимир Ильич ехидно высмеивал меньшевиков, которые мечтали совершить революцию без насилия — обойтись без «грубых акушерок, которые до сих пор в этом осквернённом, греховном, нечистом мире являлись аккуратно на сцену всякий раз, когда старое общество бывало беременно новым». Избежать в таком положении насилия — это «есть самая тупоумная мечта заскорузлых «человеков в футляре».

Для социал-демократов физическая, а тем более вооруженная борьба была относительно новым, непривычным занятием. Еще пару лет назад сам Ленин осуждал подобные лозунги. «Ленин издевался над теми пустобрехами, — вспоминал Лев Каменев, — которые звали тогда на вооруженное восстание, и говорил: вооруженное восстание — вещь серьезная; тот болтун, который зовет на вооруженное восстание, не имея за собою масс, тот — преступник революции…»

Как всегда, к новому делу приступали неохотно, неуверенно, «по-обломовски», чего-то ждали. Ленин в 1905 году без устали тормошил, толкал, упрекал товарищей. «Индивидуальный террор, — доказывал он, — это порождение интеллигентской слабости, отходит в область прошлого… Бомба перестала быть оружием одиночки-«бомбиста». Теперь ручная бомба — это новый, необходимый вид «народного оружия». «Я с ужасом, — писал Ленин, — ей-богу, с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали!» «Христа ради» и «бога для» он упрашивает, умоляет, заклинает товарищей не медлить: «Отряды должны вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер, бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином для поджога, веревка или веревочная лестница, лопата для стройки баррикад, пироксилиновая шашка, колючая проволока, гвозди

(против кавалерии) и пр. и т. д.)… Даже и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль… забираясь на верх домов, в верхние этажи и т. д. и осыпая войско камнями, обливая кипятком и т. д.». «Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч».

«Посылайте миноносец за мной». В июне 1905 года на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический» вспыхнуло стихийное восстание матросов. Матросы захватили корабль в свои руки. Вся Россия была потрясена этим событием. Император Николай II записал в дневник: «Просто не верится!.. Лишь бы удалось удержать в повиновении остальные корабли эскадры!» Владимир Ильич отправил в Одессу своего доверенного посланца — большевика Михаила Васильева-Южина.

«Постарайтесь, — говорил он ему, — во что бы то ни стало попасть на броненосец, убедите матросов действовать решительно. В крайнем случае не останавливайтесь перед бомбардировкой правительственных учреждений. Город нужно захватить в наши руки…»

«Ильич явно волновался и увлекался, — писал позднее Васильев-Южин. — В таком состоянии я раньше никогда его не видел. Особенно меня поразили и, каюсь, удивили его дальнейшие планы».

«Дальше, — продолжал Ленин, — необходимо сделать все, чтобы захватить в свои руки остальной флот. Я уверен, что большинство судов примкнут к «Потемкину». Нужно только действовать решительно и смело. Тогда немедленно посылайте миноносец за мной. Я выеду в Румынию».

Однако посланник Ленина опоздал: когда он прибыл в Одессу, мятежный броненосец «Потемкин» уже ушел из порта.

«Двое рабов и лев». В дни революции Ленину приходилось много спорить о своем лозунге вооруженного восстания не только с социалистами, но и с либералами. «Вы боитесь народной страсти, вы боитесь толпы, — упрекал он их. — А между тем вся та свобода, которая еще есть в России, завоевана только «толпой»… Опыт всех революций учит, что дело народной свободы гибнет, когда его вверяют профессорам».

«Мне пришлось недавно, — писал Ленин в 1906 году, — выступить… в квартире одного очень просвещенного и чрезвычайно любезного кадета. Поспорили. Представьте себе, говорил хозяин, что перед нами дикий зверь, лев, а мы двое,

отданных на растерзание, рабов. Уместны ли споры между нами? Не обязаны ли мы объединиться для борьбы с этим общим врагом… — Пример хороший, и я его принимаю — ответил я. Но как быть, если один из рабов советует запастись оружием и напасть на льва, а другой как раз во время борьбы рассматривает повешенный у льва нагрудничек с надписью «конституция» и кричит: «Я против насилия и справа и слева»…

Вообще, как ни странно, Ленину не была чужда определенная романтика (что видно и из того, как охотно он поддержал сравнение своего собеседника о битве со львом). Сам он уподоблял революцию сражению с неким драконом — «царским чудовищем», «двуглавым хищником». В 1906 году для описания происходящего он приводил стихи Степана Скитальца:

Струны порваны! песня, умолкни теперь!
Все слова мы до битвы сказали.
Снова ожил дракон, издыхающий зверь,
И мечи вместо струн зазвучали…

Тихо стало кругом; в этой жуткой ночи
Нет ни звука из жизни бывалой.
Там — внизу — побежденные точат мечи,
Наверху — победитель усталый.

Одряхлел и иссох обожравшийся зверь.
Там, внизу, что-то видит он снова,
Там дрожит и шатается старая дверь,
Богатырь разбивает оковы…

В те горячие дни многим казалось, что еще один последний отчаянный натиск — и монархия рухнет. На рисунке художника Шульца в журнале «Simplicissimus» спящему царю Николаю II является казненный французский король Людовик XVI. Он вежливо приподнимает за волосы свою отрезанную голову, как обычно приподнимают шляпы, и предупреждает: «Николай, пришло время убираться… Знаю это по собственному опыту».

Вообще-то задевать священную персону царя в легальной печати строжайше воспрещалось. Но язвительные журналисты ловко обходили этот запрет, печатая такие якобы невинные телеграммы из провинции: «Забастовали младенцы, кричат: долой ромашку». Или стихи:

Однажды на митинг собрались лягушки,
«Нам, — квакали, — жить невозможно.

Долой из пруда кровопийцу-колюшку,
Что колет нас всех так безбожно».

Разумеется, и «ромашка» (Романов), и «колюшка» (Николай) — это было одно и то же лицо — его величество государь-император..

«Ничего себе прокричал?» До первой русской революции Ленину ни разу не приходилось выступать перед большой массой народа. Узнав, что одному из товарищей довелось обращаться сразу к двум тысячам киевских рабочих, Владимир Ильич с сожалением признался: «Мне в бытность в Петербурге не приходилось выступать с речью и перед пятнадцатью рабочими. Я даже не знаю, хватит ли моего голоса для речи пред большой толпой».

И вот 9 мая 1906 года в Петербурге Ленину впервые удалось обратиться к трехтысячной толпе народа. Это было на митинге в «Народном доме» графини Паниной. Участник митинга Александр Шлихтер вспоминал: «Все места и подоконники заняты. У стен и во всех проходах — плотно сгрудившиеся тела. Преобладает «чистая» публика… но очень много и рабочих». Самой горячей темой дня в то время были тайные переговоры либералов с правительством — «чашка чая», выпитая ими с министром внутренних дел.

Кадеты, которые и устроили митинг, убедительно доказывали, что никаких соглашений с властями они не заключали, а только вели переговоры. Ленину надо было как-то просто и доходчиво опровергнуть эти доводы. Он записался для выступления под фамилией Карпов.

«Ильич волнуется, — рассказывал Шлихтер, — как бы не остаться без слова.

— Надо бы узнать, записали ли меня?..

Председатель затрудняется предоставить слово какому-то совершенно неведомому Карпову. Ему дано понять, что это виднейший представитель партии большевиков». Тогда он объявляет: «Слово имеет господин Карпов».

«Председатель предоставил слово Карпову, — вспоминала Крупская. — Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. Вся кровь прилила у него к сердцу». Знавшие, кто такой Карпов, подбодрили его аплодисментами…

Но вот оратор заговорил. Итак, кадеты утверждают, повторил он, что соглашения не было, только переговоры.

«Но что такое переговоры? Начало соглашения. А что такое соглашение? Конец переговоров…»

«Я хорошо помню то изумление неожиданности, — продолжал Шлихтер, — какое охватило всех, положительно всех слушателей от этой столь простой, но такой ясной, чеканной формулировки существа спора… В составе слушателей произошел крутой перелом настроения».

На волне этого нового настроения Карпов предложил принять резолюцию, выражавшую недоверие либералам. И почти все руки поднялись в ее поддержку… Такой оборот был полной неожиданностью для самих устроителей митинга. Кадетская газета «Речь» сообщала: «Следующий оратор, г. Карпов, известный большевик, обрушился с упреками на к.-л. думу, отвечающую, по его выражению, на пощечины бюрократии молчанием… Член государственной думы г. Огородников пытался говорить в защиту партии народной свободы и опровергнуть брошенные по ее адресу обвинения, но речь его много раз прерывалась шумом, свистками и криками «это неправда».

— Мы ведем пароход свободы! — гордо воскликнул Огородников.

— Вы — только пароходные свистки! — тотчас парировал Карпов.

Зал грохнул от общего смеха и рукоплесканий… Завершился митинг пением «Марсельезы».

Это было первое и последнее (вплоть до 1917 года) выступление Ленина перед большой массой народа. Он всегда вспоминал о нем с удовольствием. «Он рассказал мне, — писал В. Адоратский, — что огромное удовлетворение доставил ему один большой митинг, на котором ему удалось единственный раз выступить и где он провел свою резолюцию». Позднее, выступая на митингах, Ленин тоже волновался, хотя уже и не так сильно. По словам Луначарского, он как-то озабоченно спрашивал у него после своей речи: «Ну, как, ничего себе прокричал? Зацепил, кажется? Все сказал, что нужно?..»

Выступая, Ленин никогда не всматривался в лица слушателей, а смотрел обычно куда-то поверх их голов. На вопрос, почему он так делает, отвечал: «А для того, чтобы они выражением своих лиц не могли испортить моего настроения и сбить моих мыслей. Я всегда нарочно стараюсь не смотреть на свою аудиторию, чтобы она не помешала мне изложить должным образом мои мысли».

Владимир Ильич не любил особенно долгих речей, старался по возможности выступать коротко. После революции как-то заметил: «Да я в жизни своей никогда больше часа не говорил».

Однажды он пожаловался: «Я больше не оратор. Не владею голосом. На полчаса — капут. Хотелось бы мне иметь голос Александры Коллонтай».

Нужно ли было браться за оружие? Вначале, когда Ленин стал вновь и вновь повторять, что в России возможно вооруженное восстание, даже товарищи слушали его с недоумением. Историк Михаил Покровский вспоминал: «Сколько раз мы, партийные люди, изучившие и Маркса, и историю, пожимали плечами, слушая речи Ленина. Я никогда не забуду первого своего впечатления в этом роде. Дело было в Женеве, летом 1905 г. Ленин говорил почти исключительно на тему о вооруженном восстании… Что за утописты эти заграничные лидеры, — говаривал я, идя после собрания под проливным дождем по женевским улицам, — нашего рабочего и на забастовку-то не раскачаешь, а он эка что закатывает — вооруженное восстание».

Однако к концу 1905 года народ неожиданно «созрел» для подобного лозунга. В декабре в Москве вспыхнуло восстание, город покрылся баррикадами. Но восставших разгромили верные правительству войска, прибывшие из Петербурга. «Ильич тяжело переживал московское поражение», — вспоминала Крупская.

Плеханов по итогам этих событий сделал вывод: «Не нужно было и браться за оружие». Ленин с этим категорически не соглашался. «Напротив, — писал он, — нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие». Ленин призывал «не отрекаться от восстания, как делают всякие Иуды». Он напоминал слова Карла Маркса, восхищавшегося готовностью парижан вопреки всему, безрассудно-храбро «штурмовать небо».

«Ленин остался на своем, — писал бывший большевик Александр Нагловский. — По его мнению, восстание было нужно, и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии».

«Победа? — говорил Ленин еще до начала восстания. — Да для нас дело вовсе не в победе! От моего имени так и передайте всем товарищам: нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты и пусть никто не воображает, что мы должны обязательно победить! Для этого мы еще очень слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстанием потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в восстаньи как таковом! А разговоры о том, что «мы не победим» и

поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!»

«Мужик сосет лапу». Революция пошла на спад, вовсю заработали военно-полевые суды, но какое-то время Ленин еще жил в России под чужими именами.

«Пока идет борьба, — говорил он, — а она идет, что бы вы там ни говорили, надо не ныть, а действовать».

«С легким юмором Владимир Ильич вспоминал, — писал финский социалист Густав Ровио, — как он в течение 1906–1907 гг. жил по паспорту какого-то грузина, хотя совсем непохож на грузина»… Многие большевики не хотели смириться с тем, что революция угасает, и продолжали верить в скорую победу. Ленину приходилось тратить немало сил, чтобы разубедить товарищей.

Большевик Леонид Рузер вспоминал его речь в начале 1907 года: «Пред нами предстала своеобразная фигура. Ильич был в каком-то потертом пиджаке горохового цвета, с короткими рукавами, в облезлой котиковой шапке, на шее у него был большой серый шарф, один конец которого свисал у него по груди, на ногах у него были большие резиновые ботики». Истощив свои доводы о том, что победа неблизка и потому надо использовать все легальные возможности, Ленин прибег к последнему доводу: «А посмотрите на меня! — и он юмористически сложил руки на груди: — Ну, разве я похож на победителя!»…

Осенью 1907 года Ленин заметил в одном частном разговоре: «Революция закончилась. Нового подъема революционной волны можно ожидать не раньше чем через десять лет».

«Все в России спит, — с сожалением говорил Владимир Ильич, — все замерло в каком-то обломовском сне». «На мой вопрос, — вспоминал В. Адоратский, — что он думает о будущем, когда наступит снова революция, Владимир Ильич отвечал, что «мужик сосет лапу», — когда он перестанет этим заниматься, тогда наступит революция».

Разумеется, в эти годы затишья Ленин внимательно следил за попытками премьера Петра Столыпина по-своему «обновить» Россию. Писал об этом так: «Струве, Гучков и Столыпин из кожи лезут, чтобы «совокупиться» и народить бисмарковскую Россию, — но не выходит. Не выходит. Импотентны. По всему видно, и сами признают, что не выходит. Аграрная политика Столыпина правильна с точки зрения бисмарковщины. Но Столыпин сам «просит» 20 лет, чтобы ее довести до того, чтобы «вышло». А двадцать лет и даже меньший срок невозможен в

России…»

Глава 8
«Удастся ли дожить до следующей революции?»

Ленин разработал теорию революции, но сам в ней не участвовал, так как был серьезно ранен какой-то эсесеркой.

Из школьных сочинении о Ленине

«Точно в гроб ложиться сюда приехал». За границу в 1907 году Ленин возвращался с очень тяжелым чувством. Еще в первую эмиграцию он, перефразируя слова Гоголя о «прекрасном далеке», называл свое изгнание «проклятым женевским далеком», «постылой эмигрантской «заграницей».

Теперь же Владимир Ильич признавался: «Грустно, черт подери, снова вернуться в проклятую Женеву… У меня такое чувство, точно в гроб ложиться сюда приехал». «Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелей, чем было до революции».

Вторая эмиграция Ленина продлилась дольше, чем первая: больше девяти лет. В 1911 году он грустно спрашивал в разговоре с сестрой Анной: «Удастся ли еще дожить до следующей революции?»… Но когда товарищи начинали ему жаловаться, он сам утешал их: «Что вы жалуетесь, разве это эмиграция? Эмиграция была у Плеханова, у Аксельрода, которые в течение 25 лет все глаза проглядели, пока увидели первого рабочего-революционера».

«Дума — для зубров». Ленин выступал за участие большевиков в выборах в Третью и Четвертую Государственную думу. Многие левые большевики считали это ненужным и вредным занятием, — ведь в обеих Думах господствовали октябристы и черносотенцы. Но Ленин считал иначе. Большевики сумели провести несколько депутатов. В последней, Четвертой Думе они имели шесть мандатов и отдельную фракцию (хотя в 1914 году, после начала мировой войны, фракцию большевиков целиком арестовали и отправили на каторгу).

Бывший думский депутат Алексей Бадаев вспоминал, что Ленин сразу резко заявил ему: «Никаких законов, облегчающих положение рабочих, черносотенная Дума никогда не примет».

Позднее, уже после революции, выступая в бывшем зале заседаний Госдумы, Зиновьев рассказывал: «Тов. Ленин сумел обучить нескольких рабочих депутатов революционному парламентаризму… Простые питерские пролетарии (Бадаев и другие) приезжали к нам за границу и говорили: мы желаем заниматься серьезной законодательной работой; нам надо посоветоваться с вами насчет бюджета, обсудить такой-то законопроект, выработать такие-то подробные поправки к такому-то проекту кадетов и т. п. В ответ на это тов. Ленин искренно хохотал. А когда они, смущенные, спрашивали, в чем дело, т. Ленин отвечал Бадаеву: миляга, зачем тебе «бюджет», поправка, кадетский законопроект? Ты, чай, рабочий, а Дума — для зубров. Ты выйди и скажи навею Россию попросту про рабочую жизнь… Ты внеси им «законопроект» такой, что через три года мы вас, черносотенных помещиков, повесим на фонарях. Вот это будет настоящий «законопроект»… Такие уроки парламентаризма давал депутатам тов. Ленин. Сперва товарищ Бадаев и другие находили их странными. Вся думская обстановка давила на наших товарищей. Здесь, в этом зале Таврического дворца, где мы сейчас заседаем, все были в великолепных сюртуках, кругом сидели министры, а ему вдруг говорят такую вещь. Но потом наши депутаты усвоили уроки».

Рассказывали, что депутаты-большевики даже брали уроки у уличных мальчишек, обучаясь искусству оглушительно свистеть. В сущности, в громком «шиканье и свисте» на всю страну и заключалась их главная роль в Думе.

«Чего ради сытые гонят голодных на бойню?» По воспоминаниям Горького, в 1907 году в Лондоне Ленин говорил ему: «Может быть, мы, большевики, не будем поняты даже и массами, весьма вероятно, что нас передушат в самом начале нашего дела. Но это неважно! Буржуазный мир достиг состояния гнилостного брожения, он грозит отравить все и всех, — вот что важно».

Спустя несколько лет, когда на Балканах уже вспыхнула война, Ленин вспомнил этот разговор: «Видите, — я был прав! Началось разложение. Угроза отравиться трупным ядом теперь должна быть ясна для всех, кто умеет смотреть на события прямыми глазами».

«Характерным жестом он сунул пальцы рук за жилет под мышками и, медленно шагая по тесной своей комнате, продолжал:

— Это — начало катастрофы. Мы еще увидим европейскую войну. Дикая резня будет. Неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с

большой силой, но негромко:

— Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы указать преступление менее оправданное, более глупое?»

Впрочем, Ленин и верил, и не верил, что императоры решатся на такую самоубийственную глупость, как европейская война. «Война Австрии с Россией, — замечал он в 1912 году, — была бы очень полезной для революции (по всей восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». «Наилучшие приветствия в связи с приближающейся революцией в России», — писал он по-английски Инессе Арманд в июле 1914 года.

«Если сравнительно небольшая война с Японией, — рассуждал Ленин, — происходившая на Дальнем Востоке, так всколыхнула массы, то нынешняя война, гораздо более серьезная, к тому же ведущаяся ближе к жизненным центрам России, не может не привести к революции».

Позднее он замечал, что в первой мировой войне старая Европа «загнила и лопнула… как вонючий нарыв». «Величайшей ложью было объявление войны из-за освобождения малых народностей. Оба хищника стоят, все так же кровожадно поглядывая друг на друга, а около немало задавленных малых народностей». «Миллионы людей погибли в этой бойне, миллионы людей остались искалеченными. Война стала всемирной, и все больше и больше стали возникать вопросы: зачем, во имя чего эти ненужные жертвы?» «Во всех странах призываются под ружье самые сильные, самые здоровые люди, губится самый цвет человечества… И за что? Да для того, чтобы один из этих стервятников стал победителем над другим…»

«Пленение мое было совсем короткое». Лично для Ленина начало мировой войны обернулось арестом, ведь война застигла его на территории враждебного России государства — Австро-Венгрии. И Владимира Ильича, как русского подданного, заподозрили в шпионаже в пользу России…

7 августа 1914 года он говорил товарищу: «Только что у меня был обыск. Производил здешний жандармский вахмистр… Обыск был довольно поверхностный. Дурак всю партийную переписку оставил, а забрал мою рукопись по аграрному вопросу. Статистические таблицы в ней принял за шифр… Да, в хламе нашел какой-то браунинг, — я не знал даже, что имеется…»

На следующий день Ленина взяли под стражу. Впрочем, этот арест продлился недолго — обвинение Владимира Ильича в шпионаже в пользу Николая II выглядело слишком нелепо.

Освобождению Ленина помог один из вождей австрийских социал-демократов — Виктор Адлер. Он явился с просьбой об этом к министру внутренних дел, причем министр строго спросил:

— Уверены ли вы, что Ульянов враг царского правительства?

— О да! — отвечал Адлер. — Более заклятый враг, чем ваше превосходительство.

«Пленение мое, — писал позднее Ленин, — было совсем короткое, 12 дней всего… вообще «отсидка» была совсем легонькая, условия и обращение хорошие». Товарищи по заключению приняли Ленина хорошо. «Он сразу стал душой общества в этой тюрьме, — вспоминал Г. Зиновьев. — Там сидело некоторое количество крестьян за недоимки и несколько уголовных… Все они сошлись на том, что сделали тов. Ленина чем-то вроде старосты, и он с величайшей готовностью отправлялся под конвоем начальства покупать махорку для всей этой компании».

«Не беда, что нас единицы…» С началом войны германские социал-демократы поддержали в рейхстаге кайзеровское правительство, проголосовали за войну. Это событие стало огромным, ошеломляющим потрясением для социалистов всего мира.

Г. Зиновьев рассказывал: «В.И. уже задолго до войны не верил в европейскую социал-демократию. Он хорошо знал: что-то гнило в царстве Датском… Когда разразилась война, мы жили в далекой глухой галицийской горной деревушке. Я помню, мы тогда держали пари с тов. Лениным. Я говорил: вы увидите, что господа германские социал-демократы не посмеют голосовать против войны, они воздержатся… А тов. Ленин говорил: нет, они все-таки не такие подлецы. Бороться против войны, конечно, они не будут, но для очистки совести они будут голосовать против… Тов. Ленин в данном случае ошибся, как ошибся и я».

Допустить, что социал-демократы проголосуют за войну — на это не хватало никакого самого разнузданного воображения. Тем не менее случилось именно так…

«Не может быть! — недоверчиво воскликнул Ленин, услышав это известие. — Вы, вероятно, неправильно поняли польский текст телеграммы».

«Когда… появился номер «Vorwarts'a» с отчетом о заседании рейхстага 4 августа, — вспоминал Троцкий, — Ленин твердо решил, что это поддельный номер, выпущенный германским генеральным штабом для обмана и устрашения врагов. Так велика была еще, несмотря на весь критицизм Ленина, вера в

немецкую социал-демократию». «Увы, — продолжал Зиновьев, — это оказалось не так… Когда тов. Ленин в этом убедился, первое его слово было: «второй Интернационал погиб».

«Это конец II Интернационала, — сказал Ленин. — С сегодняшнего дня я перестаю быть социал-демократом и становлюсь коммунистом».

Окружающие восприняли это намерение не очень серьезно, как эмоциональный всплеск. «Мы не придали значения этой вырвавшейся у него фразе», — писал С. Багоцкий.

Позднее Владимир Ильич нашел, что происшедшее принесло революционерам «великую пользу». «Война часто тем полезна, — замечал он, — что она вскрывает гниль и отбрасывает условности». Ведь за долгий мир 1871–1914 годов среди социалистов накопились «авгиевы конюшни филистерства». И только с началом войны все увидели, что «назрел какой-то отвратительный гнойный нарыв, и несется откуда-то нестерпимый трупный запах». «Недаром сказала Роза Люксембург 4 августа 1914 года, что немецкая социал-демократия теперь есть смердящий труп». Война очистит ряды революционеров от всего «навоза, накопленного десятилетиями мирной эпохи». «Война убьет и добьет все слабое…»

«Мы против «защиты отечества», — решительно заявлял Ленин. «Представьте себе, что рабовладелец, имеющий 100 рабов, воюет с рабовладельцем, имеющим 200 рабов, за более «справедливый» передел рабов». «По общему правилу, война такого рода с обеих сторон есть грабеж; и отношение демократии (и социализма) к ней подпадает под правило: «2 вора дерутся, пусть оба гибнут»…» Но для этого каждый социалист должен бороться против своего «рабовладельца» — то есть своего правительства. «Нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 населения Великороссии». «Для нас, русских… наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма». К интеллигентам, которые оправдывают подобную войну и мнят себя при этом «мозгом нации», относятся знаменитые слова Ленина: «На деле это не мозг, а говно».

В противовес бушевавшим патриотическим настроениям большевики осудили даже переименование Санкт-Петербурга в Петроград и для себя до 1918 года сохраняли прежнее название: Петербургский комитет РСДРП.

Читая в мае 1917 года лекцию о войне, Ленин говорил: «Известно изречение одного из самых знаменитых писателей по философии войн и по истории войн — Клаузевица, которое

гласит: «Война есть продолжение политики иными средствами»… Этот писатель, основные мысли которого сделались в настоящее время безусловным приобретением всякого мыслящего человека, уже около 80 лет назад боролся против обывательского и невежественного предрассудка, будто бы войну можно… рассматривать как простое нападение, нарушающее мир, и затем восстановление этого нарушенного мира. Подрались и помирились!.. Вот — жили народы мирно, а потом подрались! Как будто это правда!.. Повторяю еще раз: это — основной вопрос, который постоянно забывают, из-за непонимания которого 9/10 разговоров о войне превращаются в пустую перебранку и обмен словесностями… И поэтому понятно, что вопрос о том, который из этих двух хищников первый вытащил нож, не имеет никакого для нас значения… Вот почему смешно тут обвинять того или другого коронованного разбойника. Они все одинаковы — эти коронованные разбойники».

Большевики выдвинули лозунг: «Мир хижинам, война дворцам!» «Объявляя войну богачам, — заявлял Ленин, — мы говорим: «мир хижинам». «В один кровавый комок спутано все человечество, и выхода из него поодиночке быть не может». «Тебе дали в руки ружье, — обращался он к солдатам, — и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом…» «Войну нельзя кончить втыканием штыков в землю; если есть толстовцы, которые так думают, надо пожалеть о людях свихнувшихся, — что же, с них ничего не возьмешь». Впрочем, в 1917 году Ленин отзывался о толстовцах более благожелательно: «Конечно, они исходят из иной точки зрения, чем мы, они против насилия вообще… Но это ничего. Пускай они делают это свое дело, оно явно полезно… Они расшатывают старые устои, особенно в армии».

Позицию пораженцев разделяла во всем мире всего жалкая горстка людей, а лозунг «Мир хижинам, война дворцам!» — и того меньше. В сентябре 1915 года пораженцы разных стран собрались на конференцию в горной швейцарской деревушке Циммервальд. Россию представляли большевики, левые меньшевики и эсеры. «Делегаты, — писал Троцкий, — плотно уселись на четырех линейках и отправились в горы. Прохожие с любопытством глядели на необычный обоз. Сами делегаты шутили по поводу того, что полвека спустя после основания I Интернационала оказалось возможным всех интернационалистов

усадить на четыре повозки».

Но Ленина эта малочисленность нисколько не удручала. Он подбадривал товарищей-пораженцев: «Не беда, что нас единицы, с нами будут миллионы».

За этими единицами, говорил он, «будущее человечества, революция, которая с каждым днем растет и зреет». Ленин считал, что единицы революционеров говорят вслух то, что чувствуют, но боятся додумать и громко высказать большие массы людей. Он приводил в пример слова американского писателя Эптона Синклера: «Тысяча людей, с пылкой верой и решимостью, сильнее, чем миллион, ставший осторожным и почтенным (респектабельным)».

Подписанный в Циммервальде манифест завершался так: «К вам, рабочие и работницы, к вам, матери и отцы, вдовы и сироты, к вам, раненые и искалеченные, к вам всем, жертвам войны, взываем мы: протяните друг другу руку через все пограничные линии, через поля сражений, через руины городов и сел. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Письма должны быть слезливыми». Сохранились письма Ленина, которые в годы мировой войны он направлял товарищам. Он упоминал там и о своем личном безденежье. Тон некоторых посланий прямо-таки отчаянный, кажется, что Владимир Ильич вот-вот лишится крыши над головой. «О себе лично скажу, — писал он в 1916 году, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем… Если не наладить этого, то я, ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне, вполне».

Крупская как-то объясняла в частном разговоре: «Нужно писать так, чтобы… разжалобить, иначе товарищи из России нам не пришлют денег. Нужно, чтобы они верили, что, если не получим немедленно денег, мы все погибли. Письма должны быть слезливыми».

Конечно, Крупская выражала точку зрения самого Владимира Ильича. Ее собеседницу, Татьяну Алексинскую, эта откровенность немного покоробила.

«Это вас шокирует?» — спросила Крупская, видя ее смущение.

«Посылаю людей на нелегальную работу…» Иногда Ленину приходилось выслушивать от своих противников упреки: почему он остается за границей, в относительной безопасности, в то время как его товарищи на родине каждодневно рискуют жизнью и свободой? Он отвечал: «Я живу сейчас за границей,

потому что меня сюда послали русские рабочие. А когда придет время, мы сумеем быть на своих постах…»

Карл Радек описывал такой эпизод из жизни Ленина: «Это было в марте 1916 года. Это было в Берне. В.И. ужасно устал, страдал бессонницей, и Надежда Константиновна попросила затащить его каким-нибудь образом в кабак, чтобы Ильич немного проветрился… Ильич любил пильзенское пиво. В марте месяце немцы, которые изобрели не только марксизм, но и самое лучшее пиво, производят самое чудеснейшее пиво, которое называется «Сальватор». Вот этим «Сальватором» я соблазнил Ильича… Нечего греха таить, мы выпили несколько крупных кувшинов этого пива, и, может быть, благодаря этому Ильич, несмотря на свою глубочайшую сдержанность, на одну минуту потерял ее».

Очевидно, в минуту расслабленности Ленин высказал собеседнику мысль, которая больше всего мучила его в тот момент и заставляла передумывать ее не однажды. Возможно, она и послужила одной из причин его «бессонницы». Что же это была за мысль?

«Это было ночью, — продолжал Радек, — когда я его проводил домой… тогда он сказал несколько слов, которые врезались мне в память на всю жизнь:

— Что же, двадцать лет посылаю людей на нелегальную работу, проваливаются один за другим, сотни людей, но это необходимо…»

В январе 1917 года, выступая с докладом, Ленин бодро заявил: «Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией». Но тут же добавил с ноткой печали: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции».

Самому Владимиру Ильичу в этот момент оставалось жить ровно семь лет, а до революции в России — чуть больше месяца.

Глава 9
«Бояться народа нечего»

Народ сказал царю, чтоб он не правил, — и к власти пришел Ленин.

Ленин был немецкий шпион, но сам не догадывался об этом…

Ленин лично командовал полком сочувствующих ему солдат и матросов, захватил Смольный и Зимний, после чего переехал в Москву, захваченную в то же время Сталиным.

Из школьных сочинений о Ленине

«Шведы должны быть глухонемые». Узнав в 1917 году о совершившейся на родине революции, Ленин, обрадованный и потрясенный, вернулся к себе на квартиру. Он возбужденно расхаживал из угла в угол и восклицал: «Потрясающе! Вот это сюрприз! Подумать только! Надо собираться домой, но как туда попасть? Нет, это поразительно неожиданно! Невероятно!»

Теперь вся Швейцария, где он находился, показалась Владимиру Ильичу одной большой тюремной камерой. Им владела единственная мысль: скорее в Россию! По словам его соратника Григория Зиновьева, он «в это время напоминал льва, запертого в клетке». Крупская тоже сравнивала своего мужа в Швейцарии с пойманным зверем: «Нет выхода колоссальной энергии… Ни к чему ясное осознание совершающегося. И почему-то вспомнился мне белый северный волк, которого мы видели с Ильичем в лондонском зоологическом саду и долго стояли перед его клеткой. «Все звери, с течением времени, привыкают к клетке: медведи, тигры, львы, — объяснил нам сторож. — Только белый волк с русского севера никогда не привыкает к клетке — и день и ночь бьется о железные прутья решетки».

6 (19) марта Ленин писал Инессе Арманд: «По-моему, у всякого должна быть теперь одна мысль: скакать. А люди чего-то «ждут»!!. Конечно, нервы у меня взвинчены сугубо. Да еще бы! Терпеть, сидеть здесь…»

Владимир Ильич предлагал самые невероятные способы возвращения на родину. Н. Крупская: «Ильич метался… Можно

перелететь на аэроплане, не беда, что могут подстрелить. Но где этот волшебный аэроплан, на котором можно донестись до делающей революцию России? Ильич не спал ночи напролет». Увы, аэроплана не было… «Об этом можно было думать только в ночном полубреду».

Или такой проект: «Необходимо во что бы то ни стало немедленно выбраться в Россию, и единственный план — следующий: найдите двух шведов, похожих на меня и Григория. Но мы не знаем шведского языка, поэтому они должны быть глухонемые». «Я могу одеть парик», — добавлял Ленин. «Прочтя записку, — признавался позднее большевик Яков Ганецкий, — я почувствовал, как томится Владимир Ильич, но, сознаюсь, очень хохотал над этим фантастическим планом». А жена Ленина по этому поводу шутила: «Не выйдет, можно во сне проговориться… Заснешь, увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться: сволочи, сволочи! Вот и пропадет вся конспирация». «В такие моменты, как теперь, — писал Ленин, — надо уметь быть находчивым и авантюристом. Надо бежать к немецким консулам, выдумывать личные дела и добиваться пропуска в Копенгаген…»

Впрочем, уже в начале марта Ленин обдумывал и самый неожиданный план: ехать всем вместе через Германию. «Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут!»

«Хоть с чертовой бабушкой войдем в сношения». «Мы должны во что бы то ни стало ехать, хотя бы через ад», — убежденно повторял Владимир Ильич. Наконец остановились на самом авантюрном плане: проехать в Россию через Германскую империю. Немецкие власти согласились помочь противникам войны вернуться на родину. Конечно, Ленин предвидел, какой водопад упреков и обвинений за этот шаг обрушится на него в России.

«Чего вы боитесь? — уговаривал он сомневающихся. — Будут говорить, что мы воспользовались услугами немцев? Все равно и так говорят, что мы, интернационалисты, продались немцам…»

Опасаться, что рабочие и впрямь этому поверят? «Да это — курам на смех», — презрительно бросал Ленин. Он еще десятилетием ранее сочувственно повторял слова Бебеля: «Если нужно для дела, хоть с чертовой бабушкой войдем в сношения». «Бебель-то прав, товарищи, — говорил он, — если нужно для дела, конечно, тогда можно и с чертовой бабушкой».

«Решено, — рассказывал Г. Зиновьев. — Мы едем через Германию. Впервые высказанная мысль о поездке через Германию встретила, как и следовало ожидать, бурю негодования… Однако

через несколько недель к тому же «безумному» решению вынуждены были прийти и Мартов и другие меньшевики».

27 марта 1917 года Ленин, Крупская и еще 30 русских эмигрантов выехали на поезде из Швейцарии. Вагон, в котором они ехали, считался особым, «запломбированным». Это означало, что по пути через Германию его пассажиры ни с кем не будут встречаться. Однако в вагон зашли германские социал-демократы — сторонники победы своей страны. Они хотели поговорить с «товарищем Лениным». Такой разговор мог опорочить его окончательно, и он попросил передать им, что если они только сунутся к русским пассажирам, то получат в ответ оскорбление действием.

«Нам давали обед в вагон — котлеты с горошком, — вспоминала Крупская. — Очевидно, желали показать, что в Германии всего в изобилии». Другим пассажирам запомнились «огромные свиные отбивные с картофельным салатом». Однако из окон вагона путешественники видели совсем не благополучные картины: почти полное отсутствие взрослых мужчин, толпы сумрачных прохожих без тени улыбки на лицах… Карл Радек вспоминал: «Во Франкфурте… к нам ворвались германские солдаты, услыхавшие о том, что проезжают русские революционеры, стоящие за мир. Всякий из них держал в обеих руках по кувшину пива.

Они набросились на нас с неслыханной жадностью, допрашивая, будет ли мир и когда. Это настроение солдат сказало нам о положении больше, чем это было полезно для германского правительства». По всем этим небольшим штрихам, возможно, Ленин и пришел к убеждению, что революция в Германии уже не за горами.

Неутомимый шутник Карл Радек скрашивал поездку своими анекдотами. Позднее он писал: «Ильич всю дорогу работал. Читал, записывал в тетрадки, но, кроме того, занимался и организационной работой. Это дело очень деликатное, но я его все-таки расскажу. Шла постоянная борьба между курящими и некурящими из-за одного помещения в вагоне. В купе мы не курили из-за маленького Роберта (четырехлетнего ребенка. — А.М.) и Ильича, который страдал от курения. Поэтому курящие пытались устроить салон для куренья в месте, служащем обыкновенно для других целей. Около этого места поэтому происходило беспрерывное скопление народа и перепалки. Тогда Ильич порезал бумагу и раздал пропуска. На три ордера одной категории, на три билета категории А, предназначенных для законно пользующихся оным помещением, следовал 1 билет для курящих. Это вызывало споры о том, какие потребности

человеческие имеют большую ценность, и мы очень жалели, что не было с нами тов. Бухарина, специалиста по теории Бем-Баверка о предельной полезности».

Поздно вечером 3 апреля пассажиры «пломбированного вагона» прибыли в Петроград. «Доехали чудесно», — писал сам Ленин об этом путешествии. Устроивший поездку швейцарский социалист Фриц Платтен по дороге как-то простодушно заметил Владимиру Ильичу: «Он и его верные товарищи представляются мне чем-то вроде гладиаторов древнего Рима, которым угрожает опасность, что их разорвут дикие звери». «Каков же был ответ Ленина? Взрыв искреннего смеха».

Так, по замечанию Л. Троцкого, в Россию был переброшен «груз необычайной взрывчатой силы». Троцкий добавлял: «Если бы Ленин с группой товарищей и, главное, со своим деянием и авторитетом не прибыл в начале апреля в Петроград, то Октябрьской революции… той революции, которая произошла 25 октября старого стиля — не было бы на свете». А германский генерал Эрих Людендорф позднее писал: «Помогая Ленину поехать в Россию, наше правительство принимало на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие было оправданно. Россию было нужно повалить».

«Нужно съесть много соли и перца, когда едешь драться». Стоит взглянуть на известную фотографию, запечатлевшую Ленина в Швеции, по пути в Россию. Он идет по стокгольмской улице. Весь его облик дышит неукротимым движением: сложенный зонтик воинственно выброшен вперед, ноги широко шагают. Владимиром Ильичем владел сильнейший азарт, который проявлялся во всем, — и в походке, и даже в пище.

Бифштексы «Шатобриан», которые подавали в здешних ресторанах, по рецепту готовились без соли. Обедавший с Лениным шведский писатель Фредрик Стрем вспоминал: «Во время ленча мы ели в гостинице шведский бифштекс. Я был поражен количеством соли и перца, которое Ленин сыпал на бифштекс. Я предостерег его, сказав, что он наносит вред не только кровеносным сосудам, но и желудку». Ленин рассмеялся и ответил: «Нужно съесть много соли и перца, когда едешь домой драться с царскими генералами и оппортунистами-керенскими».

«Всю дорогу, — рассказывал Зиновьев, — тов. Ленин говорил нам: «Мы едем прямо в тюрьму». Он был уверен, что в Петрограде все мы будем арестованы…»

Находясь в Швеции, Владимир Ильич заметил: «Революция — это локомотив истории. И мы его машинисты».

«Арестуют ли нас в Петрограде?» Подъезжая к российской столице, Владимир Ильич волновался и обеспокоенно спрашивал: «Арестуют ли нас в Петрограде?» (за путешествие через враждебную страну). «Ильич спрашивал, — писала Крупская, — арестуют ли нас по приезде. Товарищи улыбались». А если ареста не случится, продолжал беспокоиться Ленин, то удастся ли в столь поздний час нанять извозчика? Ведь поезд прибывал на вокзал около полуночи (в ночь на 4 апреля)…

Лишь на Финляндском вокзале, вспоминал Зиновьев, «мы поняли загадочные улыбки друзей. Владимира Ильича ждет не арест, а триумф. На перроне длинная цепь почетного караула всех родов оружия. Вокзал, площадь и прилегающие улицы запружены десятками тысяч рабочих…». Горели факелы. В толпе мелькали плакаты «Привет Ленину!», «Да здравствует Ленин!».

«Смирно!..» — разнеслась зычная команда по почетному караулу.

«Оркестр заиграл приветствие, — писал В. Бонч-Бруевич, — и все войска взяли «на караул»… Грянуло такое мощное, такое потрясающее, такое сердечное «ура!», которого я никогда не слыхивал… Владимир Ильич, приветливо и радостно поздоровавшись с нами, не видавшими его почти десять лет, двинулся было своей торопливой походкой и, когда грянуло это «ура!», приостановился и, словно немного растерявшись, спросил:

— Что это?

— Это приветствуют вас революционные войска и рабочие…

Офицер со всей выдержкой и торжественностью больших парадов — рапортовал Владимиру Ильичу, а тот недоуменно смотрел на него, очевидно, совершенно не предполагая, что это все так будет».

Оглядев раскинувшееся вокруг море голов, Ленин сказал: «Да, это революция!»

Военный оркестр сыграл «Марсельезу» — новый русский гимн. Ленину вручили пышный букет из белых и алых гвоздик. Он прошел под триумфальными арками — красными с золотом, которые установили на платформе. Снял свою черную шляпу-котелок и обратился с небольшой речью к солдатам и матросам. Потом взобрался на броневик и повторил приветствие. Это было всего второе в его жизни выступление в России перед «простым народом» (первый раз он выступал в 1906 году). А говорил Ленин, по воспоминаниям товарищей, примерно следующее: «Матросы, товарищи, приветствуя вас, я еще не знаю, верите ли вы всем посулам Временного правительства, но я твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам многое обещают — вас обманывают, как обманывают и весь русский народ. Народу

нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля. А вам дают войну, голод, бесхлебье, на земле оставляют помещика… Да здравствует всемирная социальная революция!»

Согласно другим мемуарам, Ленин выкрикнул: «Да здравствует мировая социалистическая революция!»

По свидетельству большевички Станиславы Висневской, Ленин сказал толпе с броневика: «Я благодарю вас за то, что вы дали мне возможность вернуться в Россию. Вы сделали великое дело — вы сбросили царя, но дело не закончено, еще нужно ковать железо, пока оно горячо. Да здравствует социалистическая революция!»

Слово «социалистическая» не укладывалось у слушателей в голове, казалось какой-то явной несуразицей, абракадаброй. Ведь еще нигде в мире социалисты не находились у власти! Даже один министр-социалист в правительстве казался великим достижением. «Ильич поехал дальше, — писала Висневская, — а мы стояли на месте как вкопанные. Сзади нас в толпе… раздались голоса: «Ленин болен… он не в своем уме!».

Владимир Ильич хотел ехать, стоя на капоте броневика, но ему объяснили, что рессоры жесткие, отсутствуют амортизаторы, шины наполнены густматиком, и по крупному булыжнику мостовой машину будет сильно трясти и раскачивать. Тогда он смирился и сел на командирское место…

Это был, наверное, один из самых счастливых дней в жизни Ленина. «Он был как-то безоблачно весел, — замечал большевик Федор Раскольников, — и улыбка ни на одну минуту не сходила с его лица. Было видно, что возвращение на родину, объятую пламенем революции, доставляет ему неизъяснимую радость».

Правда, к «Марсельезе», ставшей государственным гимном, Владимир Ильич проникся теперь неприязнью. Вдобавок эта песня призывала беспощадно сражаться с врагом!

К оружью, граждане!
Равняй военный строй!
Вперед, вперед, чтоб вражья кровь
Была в земле сырой.
Вперед, плечом к плечу шагая,
Священна к родине любовь.
Вперед, свобода дорогая,
Одушевляй нас вновь и вновь…

Когда той же ночью товарищи запели «Марсельезу», Ленин прервал их. «Владимир Ильич сморщился, — вспоминала большевичка Елена Стасова, — и говорит: «Нет, не надо петь эту

буржуазную песню, споемте «Интернационал»… Но это предложение обернулось для большевиков изрядным конфузом: выяснилось, что почти никто из них не знает слов. Владимир Ильич стал стыдить товарищей, которые умеют распевать чужую «Марсельезу», а собственного гимна не знают…

«Прожекторы полосовали небо своими загадочными, скоробегущими снопами света, то поднимающимися в небесную высь, то опускающимися в упор в толпу. Этот беспокойный, всюду скользящий, трепещущий свет, играя и переливаясь… еще более волновал всех, придавая всей картине этой исторической встречи какой-то таинственный, волшебный… вид» (В. Бонч-Бруевич).

«О, это была встреча, достойная… не моей жалкой кисти!» (меньшевик Н. Суханов).

«Тот, кто не пережил революции, не представляет себе ее величественной, торжественной красоты» (Н. Крупская).

Позднее эта яркая сцена на полуночной площади у Финляндского вокзала — «явление революционного мессии» — стала одним из символических образов XX века. Закованный в сталь броневик сменил собой мирного евангельского ослика. Кто только не повторял позднее эту сцену, вплоть до Бориса Ельцина! К концу века броневик преобразился в еще более грозное орудие разрушения — танк.

А в советском фольклоре 70-х годов произошло любопытное наложение двух ночных событий, 3 апреля и 26 октября. Именно с броневика Ленин объявляет о свержении Временного правительства. Вот только три известных анекдота на эту тему:

«Ленин выступает на броневике:

— Товарищи, революция, о которой так долго говорили большевики, наконец свершилась! Что глаза выпучили? Мы сами обалдели, когда узнали!»

«Стоит Ленин на броневике. Внизу ревет толпа:

— Леннон! Леннон!

— Товарищи! Я — Ленин!!!

— Лен-нон! Лен-нон!

— Товарищи!.. Ну ладно, Леннон так Леннон… Yesterday…»

«К столетнему юбилею Ленина часовой завод выпустил новые часы с кукушкой. Вместо кукушки каждый час из часов выезжает Ленин на броневике, простирает вперед руку и говорит: «Товарищи! Революция, о необходимости которой все время говорили большевики… ку-ку!».

«Троянский конь в виде поезда, начиненного Лениным». В самой России на предстоящий приезд Ленина смотрели по-разному. Некоторые считали, что по возвращении он займет

умеренную позицию (как это сделали Плеханов, Засулич, Кропоткин и другие старые революционеры), поддержит правительство. Старый, умудренный опытом, трезвый вождь остудит «горячие головы» в собственной партии. Правда, земляк Ленина в правительстве — Александр Керенский — подобных надежд не разделял. На одном из заседаний правительства в марте он заметил со смешком: «А вот погодите, сам Ленин едет… Вот когда начнется по-настоящему!»

Среди министров разгорелся спор, можно ли впускать в страну Ленина, едущего через Германию.

«Господа, — спросил Павел Милюков, — неужели мы их впустим при таких условиях?»

«На это довольно единодушно отвечали, — вспоминал Владимир Набоков, — что формальных оснований воспрепятствовать въезду Ленина не имеется, что, наоборот, Ленин имеет право вернуться, так как он амнистирован, — что способ, к которому он прибегает для совершения путешествия, не является формально преступным. К этому прибавляли… что самый факт обращения к услугам Германии в такой мере подорвет авторитет Ленина, что его не придется бояться».

И действительно, в печати тех дней можно найти целые моря иронии по поводу способа возвращения на родину вождя большевиков. Сатирик Волк (Аркадий Аверченко) в апреле 1917 года посвятил приезду Ленина фельетон «Дар данайцев». Отрывки из фельетона:

«Кайзер поднял усталые глаза на запыхавшегося адъютанта и удивленно спросил:

— Что такое случилось, что вы вбегаете без доклада и дышите, как опоенная лошадь.

— Поздравляю, ваше величество! Ленин едет в Россию!

— Быть не может! Молодец Пляттер! (Платтен. — А.М.). Только нужно дать приказ нашим подводным лодкам… Чтобы они не вздумали сдуру потопить тот пароход, на котором поедет Ленин.

— Я вас обрадую еще больше! Он едет в Россию сухим путем!

— ?!!??

— Через Германию!

Вильгельм взял карандаш, прикусил его зубами и смог произнести только одно слово:

— Од… нако!

— Да-с. Хи-хи.

— Только вы уж озаботьтесь, чтобы он проехал, как король — со всеми удобствами.

— Еще бы! Такой человек едет в Россию!!»

«— Пожалуйте, герр Ленин. Поезд уже подан, герр Ленин! Осторожнее, тут ступенька, герр Ленин!

— Эх, хорошо, если бы мне нашлось спальное местечко…

— Спальное местечко?! Вы нас, право, обижаете, герр Ленин! Целое купе к вашим услугам! Да что купе — целый вагон!! Поезд целый вам даем — вот что-с.

— Странно, — прошептал польщенный Ленин. — И об этих людях говорят, как об «озверевших тевтонах». Да я не встречал более милого, обязательного народа!»

«Интервью с Лениным в России.

— Скажите, господин Ленин, чем вы объясняете такое исключительное к вам внимание со стороны немцев?

— Хороший я — очень просто. И немцы тоже хорошие. А иначе чего бы им так за мной ухаживать?

Смеялось небо»…

Среди многочисленных шуток на тему «Ленин — купленный германский шпион» попадались и неожиданные. Заметка (подписанная псевдонимом «Три А») из апрельского номера журнала «Бич»:

«— У Лены есть жених… Так она — поверите ли — запрещает ему даже смотреть на других женщин…

— Ну, а он?

— Он ничего, смеется. Я, — говорит, — купленный человек. Я — Ленин».

От писателей-сатириков не отставали и художники. Карикатурист Ре-ми откликнулся на путешествие Ленина двумя рисунками под общим заголовком «Все совершенствуется». На первом рисунке изображен деревянный троянский конь, в туловище которого забираются античные воины. Подпись гласила: «Раньше «троянский конь» изготовлялся в виде деревянной лошади, в которую засовывали нескольких воинов, и, бросив это нехитрое сооружение у неприятельских городских стен, выжидали, пока осажденные враги сами втянут к себе в город загадочного коня». Второй рисунок изображал железнодорожный вагон, в который по ковровой дорожке шествует Ленин. Вокруг восторженно приветствующие его немецкие бюргеры, у дверей, вытянувшись в струнку и отдавая честь, стоит военный в кайзеровском шлеме и с саблей на поясе. Подпись: «Теперь «троянский конь» делается германцами в виде поезда, начиненного Лениным. Поезд подвозится к самой русской границе, — последующее (смотри в античном мифе о Троянской войне) — все делается, как по писаному».

Сам Ленин отвечал на подобные насмешки и упреки спокойно: «Пусть наши враги пишут об этом, сколько им угодно, а

мне необходимо было как можно скорее попасть в Петроград… Другого пути у меня не было».

«Никакой поддержки Временному правительству!» С первой же минуты встречи Ленин не скрывал своего несогласия с большинством товарищей. Ведь они, по существу, призывали поддержать Временное правительство! Еще в поезде Ленин, дружески поприветствовав Льва Каменева, накинулся на него с упреками: «Что у вас пишется в «Правде»? Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали…»

Сразу после возвращения, в ночь на 4 апреля, Ленин выступил перед большевиками со своими «Апрельскими тезисами». На следующий день он повторил их перед более широкой аудиторией в Таврическом дворце. Тезисы производили впечатление разорвавшейся бомбы. Ленин требовал крутого поворота в политике большевиков. «Никакой поддержки Временному правительству!» — провозгласил он. Вместо этого — борьба за углубление революции, за республику Советов.

Меньшевик Николай Суханов, слушавший «Апрельские тезисы» еще ночью, во дворце Кшесинской, писал: «Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Ленин вообще очень хороший оратор — не оратор законченной, круглой фразы, или яркого образа, или захватывающего пафоса, или острого словца, — но оратор огромного напора, силы, разлагающий тут же, на глазах слушателя, сложные системы на простейшие, общедоступные элементы и долбящий ими, долбящий, долбящий по головам слушателей — «до бесчувствия», до приведения их к покорности, до взятия в плен». Как выражался сам Ленин, он старался «втолковывать до чертиков».

Первыми же словами Ленин вылил на головы восторженных соратников ушат холодной воды.

«Я полагаю, товарищи, — сурово заметил он, — что довольно уже нам поздравлять друг друга с революцией».

Слушатели стали смущенно переглядываться.

«Когда я с товарищами ехал сюда, — говорил Ленин, — я думал, что нас с вокзала прямо повезут в Петропавловку. Мы оказались, как видим, очень далеки от этого. Но не будем терять надежды, что это еще нас не минует, что этого нам не

избежать…»

Двухчасовой речи, конечно, поаплодировали, но как-то смущенно. По словам Суханова, соратники Владимира Ильича «долго и дружно аплодируя, как-то странно смотрели в одну точку или блуждали невидящими глазами, демонстрируя полную растерянность».

«Я вышел на улицу, — вспоминал Суханов. — Ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами. Ясно было только одно: нет, с Лениным мне, дикому, не по дороге…».

«Даже наши большевики обнаруживают доверчивость к правительству, — заявил Ленин 4 апреля. — Объяснить это можно только угаром революции. Это — гибель социализма. Вы, товарищи, относитесь доверчиво к правительству. Если так, нам не по пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве».

И тогда, и позднее Ленин яростно высмеивал социалистов, которые «добровольно уступают свое влияние» либералам: «Может быть, в детской «добровольная уступка» указывает легкость возврата: если Катя добровольно уступила Маше мячик, то возможно, что «вернуть» его «вполне легко»… В политике добровольная уступка «влияния» доказывает такое бессилие уступающего, такую дряблость, такую бесхарактерность, такую тряпичность, что… кто добровольно уступит влияние, тот «достоин», чтобы у него отняли не только влияние, но и право на существование». «Нельзя быть мягкотелыми», — говорил Ленин весной 1917 года.

Г. Зиновьев рассказывал: «Я помню беседу с одним из тогдашних оборонцев, с Н. Д. Соколовым, который подвез в своем автомобиле Владимира Ильича и меня. (У нас тогда не было, конечно, никаких автомобилей.) В тот самый день, когда Керенский был назначен военным министром, Н. Д. Соколов сказал нам: «Ну, чего нам еще нужно, раз у нас военный министр — социалист». А Владимир Ильич, посмеиваясь в бороду и не отвечая на эти слова, только попросил его: «Скажите, чтобы шофер вез поскорее, — нам некогда». (Кстати, Ленин вообще любил ездить быстро, и позднее, когда у него уже появился собственный водитель, тоже замечал: «Чего он каждой курице реверанс делает, скажи, чтобы он ехал скорее».)

Г. Плеханов назвал тезисы Ленина «бредом» и сравнил их с «Записками сумасшедшего» гоголевского титулярного советника Поприщина: «Думается мне, что тезисы эти написаны как раз при той обстановке, при которой набросал одну свою страницу Авксентий Иванович Поприщин… «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое».

Дворец балерины Кшесинской, штаб большевиков, теперь иронически именовали «палатой номер шесть». Даже большевики восприняли идеи Ленина с недоумением. Вячеслав Молотов вспоминал: «Я никогда не был против Ленина, но ни я, никто из тех, кто был всегда с Лениным, сразу толком его не поняли. Все большевики говорили о демократической революции, а тут — социалистическая!» А. Коллонтай с гордостью вспоминала, что 4 апреля точку зрения Ленина поддержала она одна. «Эта поддержка, — замечал Суханов, — не вызвала ничего, кроме издевательств, смеха и шума». Среди большевиков появилась ироническая частушка:

Ленин что там ни болтай,
Согласна с ним лишь Коллонтай.

Но своим натиском и непоколебимой убежденностью Ленин завоевывал колеблющихся на свою сторону. «Это было именно то, что нужно было революции», — писал Троцкий о его тезисах. В конце апреля большевики уже почти единодушно поддерживали Ленина. Правда, в масштабах всей страны они оставались незначительным меньшинством. Однако Ленина это не смущало. Он не сомневался, что верно угадал логику развития событий и теперь время на его стороне.

— Да, это бывает, — говорил он, — многие не всегда сразу умеют охватить то, что именно нужно сделать в данный момент… Позднее это всем станет ясно…

Но нарастала и враждебность к Ленину. «Идешь по Петербургской стороне, — вспоминала Крупская, — и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют: «И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? в колодези его, что ли, утопить?».

Вождя либералов Павла Милюкова 11 июня спросили на одном из митингов:

— Что делать с Лениным и его единомышленниками?

— Этот вопрос мне задавали не раз, — твердо отвечал он, — и всегда я отвечал на него одним словом: арестовать!

Владимир Ильич не сомневался, что рано или поздно большевиков действительно станут арестовывать. «Почти каждый вечер, — замечал Зиновьев, — он говорил: «Ну, сегодня нас не посадили, — значит, посадят завтра». Он не уставал окатывать товарищей «холодным душем»:

«Зачем мы приехали в Россию? Чтобы принять участие в революции? И это наша высшая обязанность. Не одному из здесь присутствующих придется кончить жизнь свою в период этой

революции. Но пока мы еще разговариваем и газету выпускаем…»

Вообще же отклики на проповедь Ленина были самыми разнообразными и часто неожиданными. Например, в майской печати 1917 года можно прочитать такую заметку Исидора Гуревича:

«Широкая платформа. Один отставной чиновник признавался:

— Я согласен на все строи от монархии до анархии, я согласен даже на такое смешение строев: чтобы вместо династии Романовых воцарился на престоле Ленин и открыл бы собой новую династию, Лениных, но при условии: я сохраняю мою пенсию, и если будет раздел имущества, то мое не делится, но умножается при дележе чужого!»

«Его все время жестоко обманывали…» Когда Ленин 4 апреля выступал в Таврическом дворце со своими сенсационными тезисами, его речь прервал скандальный случай. Владимир Ильич отрывисто произнес слово «братание». Это был один из наиболее шокирующих моментов его новой программы — братание с неприятелем на фронте! Не выдержав, с места вскочил один из депутатов-фронтовиков, подошел к трибуне и обрушил на оратора целый шквал площадной ругани.

В. Бонч-Бруевич вспоминал: «В зале зашумели… Владимир Ильич примолк и спокойно, улыбаясь, выжидал, когда страсти улягутся». Наконец возмутитель спокойствия истощил свой запас ругательств и замолчал. Не всякий оратор сумел бы обратить такое досадное происшествие в свою пользу. Ленин сделал это с блеском.

«Товарищи, — заговорил он снова, — сейчас только товарищ, взволнованный и негодующий, излил свою душу в возмущенном протесте против меня, и я так хорошо понимаю его. Он по-своему глубоко прав. Я, прежде всего, думаю, что он прав уже потому, что в России объявлена свобода, но что же это за свобода, когда нельзя искреннему человеку, — а я думаю, что он искренен, — заявить во всеуслышание, заявить с негодованием свое собственное мнение?.. Я думаю, что он еще прав и потому, что, как вы слышали от него самого, он только что из окопов, он там сидел, он там сражался уже несколько лет, дважды ранен, и таких, как он, — там тысячи. У него возник вопрос: за что же он проливал кровь, за что страдал он сам и его многочисленные братья? И этот вопрос — самый главный вопрос. Ему все время внушали, его учили, и он поверил, что он проливает свою кровь за отечество, за народ, а на самом деле оказалось, что его все время жестоко обманывали, что он страдал, ужасно страдал,

проливая свою кровь за совершенно чуждые и безусловно враждебные ему интересы… Как же ему не высказать свое негодование? Да ведь тут просто с ума можно сойти!..»

Пораженцы и оборонцы. Вся политическая борьба 1917–1918 годов кипела вокруг этих слов — пораженцы и оборонцы. Оборонцы — сторонники обороны России. Пораженцы — соответственно сторонники ее поражения. Это новое разделение смяло и перемешало все прежние привычные карты.

Например, еще вчера социал-демократ Плеханов и черносотенец Пуришкевич считались политическими антиподами, непримиримыми врагами. И вдруг они оказались по одну сторону баррикады — в числе оборонцев, союзников поневоле! Когда в июне 1918 года в Петрограде торжественно хоронили отца русской социал-демократии, вождь русского черносотенства прислал на его могилу траурный венок с уважительной надписью: «Русь диктовала бы мир в Берлине, если бы русский социалист в дни бранных бурь шел по путям, указанным тобой».

Оборонческий «Новый Сатирикон» в 1917 году высмеивал новомодные словечки, публикуя такой диалог:

«— Товарищ! Вы пораженец или оборонец?

— Пораженец. Я каждый день поражаюсь, сколько у нас в России идиотов!»

В ряды крайних пораженцев попали анархисты и большевики. Но анархисты были разрознены, и большевики оказались единственной крупной силой в этом лагере. Еще до приезда Ленина большевиков и газету «Правда» подозревали в скрытом пораженчестве. По страницам либеральной печати гуляла шутка: «Хлеб-соль ешь, а «Правду» режь. Или рви на мелкие кусочки. По желанию»…

Но Ленин сделал пораженчество настоящим знаменем партии, ее главным лозунгом, символом. Многим это казалось политическим самоубийством. Однако Ленин именно в этом лозунге видел ключ к победе большевиков. «Не на верхи, не на правительство надо смотреть, — писал он еще в 1907 году, — а на низы, на народ».

Лев Троцкий так объяснял поведение Ленина: «Он чувствовал солдата, оглушенного тремя годами дьявольской бойни — без смысла и без цели, — пробужденного грохотом революции и собиравшегося за все бессмысленные жертвы, унижения и заушения расплатиться взрывом бешеной, ничего не щадящей ненависти… Все клокотало и бурлило, все обиды прошлого искали выхода, ненависть к стражнику, квартальному,

исправнику, табельщику, городовому, фабриканту, ростовщику, помещику, к паразиту, белоручке, ругателю и заушителю — готовила величайшее в истории революционное извержение. Вот что слышал и видел Ленин, вот что он физически чувствовал… История делается в окопах, где охваченный кошмаром военного похмелья солдат всаживает штык в живот офицеру и затем на буфере бежит в родную деревню, чтобы там поднести красного петуха к помещичьей кровле. Вам не по душе это варварство? Не прогневайтесь, — отвечает вам история: чем богата — тем и рада. Это только выводы из всего, что предшествовало».

Земля также была больным вопросом революции. Крестьяне мечтали забрать себе землю, остававшуюся у помещиков. Временное правительство медлило и не решалось на этот шаг. Еще в поезде, при подъезде к Петрограду, один из солдат обратился к Владимиру Ильичу:

— Ты, революционер, едешь в Россию, нам хоть немного земли дали бы.

— Бери! — ответил Ленин. — Ведь земля твоя.

Спустя пять лет, выступая с речью, сам Ленин поделился секретом своего успеха в 1917 году: «Политические события всегда очень запутаны и сложны. Их можно сравнить с цепью. Чтобы удержать всю цепь, надо уцепиться за основное звено. Нельзя искусственно выбрать себе то звено, за которое хочешь уцепиться. В 1917 году в чем был весь гвоздь? В выходе из войны, чего требовал весь народ, и это покрывало все… Основная потребность народа была учтена, и это дало нам победу на много лет». В другой раз Ленин выражал ту же мысль — но с обратной стороны: «Если нужна железная цепь, чтобы удержать тяжесть, скажем, в 100 пудов, — то что получится от замены одного звена этой цепи деревянным? Цепь порвется. Крепость или целость всех остальных звеньев цепи, кроме одного, не спасет дела. Сломается деревянное звено — лопнет вся цепь. В политике то же самое».

«Ленин, — замечал Троцкий, — не раз возвращался к этой мысли, а нередко и к самому образу цепи и кольца. Этот метод из сферы сознания как бы перешел у него в подсознательное, став, в конце концов, второй природой его… Ленин как бы отметал все остальное, второстепенное или терпящее отлагательство… В наиболее острые моменты он как бы становился глухим и слепым по отношению ко всему, что выходило за пределы поглощавшего его интереса». Потом, по свидетельству Троцкого, порой случались диалоги:

— А ведь мы тут дали маху, — досадовал Ленин, — занятые главным вопросом…

— Да ведь этот же вопрос ставился, — возражали ему, — и

это самое предложение вносилось, только вы тогда и слушать не хотели.

— Да неужели? — отвечал он, — что-то я не помню.

И, по словам Троцкого, разражался при этом «лукавым, немножко «виноватым» смехом… делая особый, свойственный ему, жест рукою сверху вниз, который должен был означать: всех дел, видно, никак не переделаешь. Этот его «недочет» был только оборотной стороной его способности к величайшей внутренней мобилизации всех сил, а именно эта способность сделала его величайшим революционером в истории».

Сам Владимир Ильич в одной из речей замечал: «Я приведу вам одну французскую поговорку, которая говорит, что обыкновенно у людей недостатки имеют связь с их достоинствами. Недостатки у человека являются как бы продолжением его достоинств…»

«Есть такая партия!» Характерный случай произошел в июне 1917 года, на I съезде Советов. Меньшевик Ираклий Церетели защищал с трибуны политику союза с либералами («буржуазией»). Он заявил, что «в настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место. Такой партии в России нет». Его перебил громкий голос Ленина из зала: «Есть!» Потом, поднявшись на трибуну, Ленин пояснил: «Я отвечаю: есть!.. Наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».

Известная картина художника Е. Кибрика «Есть такая партия!» запечатлела этот хрестоматийный момент российской истории (как его представляли в 30-е и 40-е годы). Владимир Ильич, привстав и по-боевому сжав кулаки, задорно выкрикивает: «Есть!» Рядом, конечно, одобрительно усмехается в усы сидящий на соседнем стуле Иосиф Сталин… На смутьяна с негодованием оборачиваются со всех сторон: особенно выразителен какой-то бородач, похожий на лавочника, — должно быть, меньшевик или эсер. Вокруг видны только возмущенные или, наоборот, восторженные лица…

В действительности все было несколько иначе. Ответом на задиристую реплику Ленина был общий смех всего зала, кроме горстки большевиков (они составляли около седьмой части делегатов). «Керенщина казалась в те дни всемогущей, — замечал Троцкий. — Большевизм представлялся «ничтожной кучкой»… «Вы можете смеяться сколько угодно», — сказал Ленин. Он знал: «Хорошо посмеется тот, кто смеется последним». Ленин любил эту французскую пословицу, ибо твердо готовился смеяться

последним».

Правда, в более спокойной обстановке Ленин признавал, что большевикам рано поднимать восстание. Он говорил в июне: «Наивно думать, что взять сейчас власть сумеем, а взявши, сможем ее удержать… Не нужно предупреждать событий… Выжидательная тактика — наилучшая сейчас. Время работает на нас…»

«Страна… раз в сто левее нас». Одна из постоянных тем печатных дискуссий 1917–1918 годов — отношение к народу. Народ в дни революции неожиданно открыл свое новое, непривычное лицо. Ленин такому превращению неизменно радовался: «Одна за другой разрушаются те иллюзии, один за другим падают те предрассудки, которые делали русский народ доверчивым, терпеливым, простодушным, покорным, всевыносящим и всепрощающим». «Посмотрите, — писал он еще в годы первой революции, как быстро выпрямляется вчерашний раб, как сверкает огонек свободы даже в полупотухших глазах».

Однако значительная часть интеллигенции переживала глубокое разочарование в народе. Либеральный публицист А. Дикгоф-Деренталь сокрушался в 1918 году в газете «Русские ведомости»: «Мы все ждали, все надеялись, — вот пробьет слушный час, и прекрасная фея выйдет из тайных недр народных… Час пробил… Безмолвный сфинкс зашевелился. Разверзлись веками молчавшие каменные уста. Но что услышали мы из них! Какое косматое чудовище вылезло вместо прекрасной феи!..» А поэт-сатирик Василий Князев в стихах «Народ и интеллигенция» так описывал произошедший перелом:

Познанья черпая из книжек,
Творили собственный народ,
И был приятен им, как рыжик,
Духами вспрыснутый Федот.
Опрятен, мягок, добр, воспитан,
Любил царя, был тих, учтив,
Гостеприимен, трезв, начитан
И набожно-благочестив…
И вдруг — ужасная картина:
Под топорами стонет дверь!..
Заместо ангела — скотина,
Заместо брата — лютый зверь!
«Ах!., ах!.. Какое превращенье!
Где ж добрый русский наш народ?!»
И вот уж полон отвращенья

Интеллигентный жалкий крот.

Либеральный журнал «Новый Сатирикон» изображал произошедший раскол так: на карикатуре нарком просвещения Луначарский, облаченный во фрак, в пенсне, тщетно пытается засыпать «пропасть между народом и интеллигенцией». Он мечет в эту пропасть книги и всевозможные предметы высокого искусства: картины, бюсты, античную женскую скульптуру… На другом берегу пропасти возвышается мрачный бородатый детина с топором. И пропасть между ними бездонна…

На рисунке Алексея Радакова тот же бородатый мужик (только пока без топора) беспробудно спит, держа в руке огромную бутылку водки. Из-под его туши пытается выползти придавленный им хлипкий интеллигент в очках. Подпись гласила: «Народ — это большой ребенок, и долг интеллигенции вынянчить этого ребенка» (Из речей на митингах)»…

Отвечая на подобные мнения, Ленин писал в мае 1917 года: «Боязнь народа — вот что руководит этими руководителями страхов и ужасов. Бояться народа нечего». Тогда же он объяснял одному из вождей либералов Василию Маклакову: «страна» рабочих и беднейших крестьян, уверяю вас, гражданин, раз в 1000 левее Черновых и Церетели, раз в 100 левее нас. Поживете — увидите». Слова Ленина звучали почти как оправдание: получалось, что большевики не торопят историю, а только стараются не отстать от ее бешеного темпа. «Volentem ducunt fata, nolentem trahunt, — писал он, — по-русски это значит, примерно: сознательный политик идет впереди событий, несознательного они волокут за собой».

Этот же довод он использовал и позднее. По воспоминаниям М. Горького, глава советского правительства однажды, доверительно понизив голос, сказал ему: «Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках — не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много — и правильно! — шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто».

«Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? — риторически спрашивал Ленин. — Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдет к массам. Это — ее вина будет, если мы разобьем слишком много горшков».

Известно афористичное изречение Ленина о дворянах-декабристах 1825 года: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа». А в течение всего XIX века, по Ленину, русские революционеры становились все ближе и ближе к народу, пока в 1917 году наконец не слились с ним воедино…

Владимир Ильич очень любил ловить с уст простых людей или в толпе какие-то случайно слетевшие меткие реплики. Так он замерял настроения в обществе и очень доверял этому своему «барометру». Ленин объяснял: «Подслушивать — это одно, а прислушиваться — совсем другое. Подслушивание некрасиво, и недостойно порядочного человека, а прислушиваться необходимо всегда и всюду… Часто бывает так: прослушаешь несколько ораторов и не можешь ни с одним согласиться, а сбоку услышишь только одну фразу и убедишься, что ораторы напрасно занимали время, доказывая свою правоту. Учитесь слушать, прислушиваться и тут же делать выводы…»

Прислушиваясь к репликам простых людей, Ленин старался расслышать в них «голос истории». И ему хватало смелости записывать «выводы» из того, что он слышал, хотя у некоторых от ужаса перо выпадало из рук…

«Грабь награбленное!» Один из самых ярких лозунгов, подхваченных Лениным со слов простых людей, — его знаменитый призыв «Грабь награбленное!». В январе 1918 года Ленин говорил: «Прав был старик-большевик, объяснивший казаку, в чем большевизм. На вопрос казака: А правда ли, что вы, большевики, грабите? — старик ответил: Да, мы грабим награбленное».

Разумеется, в печати эти крылатые слова немедленно стали мишенью для ядовитейших насмешек. Лев Троцкий замечал:. «Газеты особенно ухватились за слова «грабь награбленное» и ворочали их на все лады: и в передовицах, и в стихах, и в фельетонах». Ленин как-то пожаловался ему с шутливым отчаянием:

— И далось им это «грабь награбленное».

— Да чьи это слова? — поинтересовался Троцкий. — Или это выдумка?

— Да нет же, я как-то действительно это сказал, — признался Ленин, — сказал да и позабыл, а они из этого сделали целую программу.

Владимир Ильич юмористически замахал рукой.

«Сейчас брать власть нельзя». 3 июля 1917 года в Петрограде вспыхнули волнения против Временного

правительства. Солдаты и рабочие требовали от социалистов взять всю власть в свои руки, перестать делиться ею с либералами («буржуазией»). Красочная сценка разыгралась вокруг министра земледелия Виктора Чернова, вождя эсеров. Его окружила возмущенная толпа, причем какой-то дюжий рабочий подносил к лицу министра-социалиста увесистый кулак и с негодованием кричал: «Принимай власть, сукин сын, коли дают!»

«На министре был изорван пиджак», — отмечала газета «Речь». Освободил «селянского министра» из народного плена Лев Троцкий. Сначала он попытался утихомирить толпу и обратился к самому буйному из матросов:

— Дай мне руку, товарищ! Дай руку, брат мой!..

Матрос упрямо отводил свою руку в сторону… Когда волнение немного стихло, Троцкий громогласно задал толпе вопрос:

— Кто за насилие над Черновым, пусть поднимет руку?

Таковых не оказалось.

— Товарищ Чернов, вы свободны, — торжественно заключил Троцкий и сам, за руку, отвел министра обратно во дворец.

Позднее Ленин писал оппозиции эсеров в 1917 году: «Прошло семь месяцев революции. Народ бесчисленное количество раз выражал свое доверие эсерам, давал им большинство на выборах, говорил партии эсеров: веди нас, мы вручаем тебе руководство!» Но эсеры так и не решились порвать с либералами и взять власть в свои руки…

Узнав о разыгравшихся в Петрограде событиях, Ленин (который в тот момент был не в городе) сказал: «Этим движением надо немедленно овладеть и, может быть, немедленно остановить его».

Утром 4 июля Ленин вернулся в столицу. «Бить вас всех надо», — сердито бросил он питерским товарищам (которые вовремя не погасили волнений). «Не удалось нам предупредить всю эту историю, — с огорчением замечал он. — Мы в июле наделали глупостей». Конечно, у многих большевиков возникало искушение опереться на непокорных солдат, чтобы немедленно взять власть. Г. Зиновьев вспоминал, что в буфете Таврического дворца состоялось маленькое военное совещание, в котором участвовали Ленин, Троцкий и он сам. Смеясь, Владимир Ильич говорил: «А не попробовать ли нам сейчас?» — Но тут же прибавил: «Нет, сейчас брать власть нельзя, сейчас не выйдет, потому что фронтовики еще не все наши. Сейчас обманутый Либерданами (Либер, Дан — вожди меньшевиков. — А.М.) фронтовик придет и перережет питерских рабочих».

Вся правая печать обвиняла большевиков в том, что они

устроили волнения сознательно. Даже поведение Троцкого ставили ему в вину: какое право он имел своей властью «освобождать» министра? Сторонников большевиков изображали как темных, невежественных, обманутых людей. На карикатуре в июльском «Новом Сатириконе» какой-то человек несет плакат «Долой 10 министров».

— Послушайте, — спрашивает его прохожий, — ведь вы же полчаса тому назад в другой манифестации несли другой плакат с доверием Временному правительству, а теперь…

— Разве? — удивляется демонстрант. — А впрочем, может быть, — я же неграмотный.

Ленина очень беспокоил гром обвинений в адрес большевиков, он замечал: «Гораздо хуже и серьезней та травля, которая решительно во всех газетах предпринята сейчас против большевиков. Это прямая контрреволюция, которая нам временно может сильно повредить. С этим нам придется очень считаться…»

«Ленина и компанию — обратно в Германию!» После июльских событий власти арестовали Троцкого, Луначарского, Каменева, Коллонтай и других вождей большевиков и левых социал-демократов. Они угодили в тюрьму, которую Ленин предрекал им еще в первый день своего приезда… Казалось, что большевики окончательно разгромлены. «На наших глазах произошло политическое самоубийство большевизма, — писал эсер Н. Святицкий. — Ленин теперь конченый человек: в широких кругах населения его моральный авторитет подорван».

Противники большевиков торжествовали победу. «Атмосфера накаляется с каждым днем, — вспоминал эти дни Г. Зиновьев. — «Бей пораженцев» — вот главный лозунг дня… Мы пережили время, когда нам казалось, что все погибло». Правда, Ленин этого мнения не разделял. Его предположение о том, что большевиков ждет тюрьма, оправдалось — чему же тут огорчаться? Еще 4 июля он заметил: «Временное правительство роет нам яму, но само в нее угодит».

Тема о том, что «большевики — лучшие друзья Германии», звучала на страницах либеральной печати как постоянный припев. Так, на карикатуре А. Радакова русский медведь свирепо хватал немецкого воина. Вокруг суетился испуганный большевик: «Мишенька, милый! Ведь так ты ему можешь больно сделать!»

Другой сатирик вкладывал в уста германского кайзера реплику: «Если бы не было на свете русских большевиков — их надо бы было выдумать!»

Поэт А. д'Актиль посвящал истории «соблазнения» России большевиками такие стихи:

Повезло весьма уроду, —
Обольстил в единый миг
Деву юную — Свободу —
Распроклятый Большевик.
Чем пленил он сердце девы —
Грязен, худ, горбат и мал?
Иль пьянящие напевы
Деве в уши напевал?..

К счастью, все закончилось благополучно:

Разуверившись воочью
Кое в чем и кое в ком,
Дева знойной летней ночью
Убежала с казаком.
С сильным, стройным, статным, бравым,
Чернооким, кучерявым,
Бесшабашным молодцом —
Разухабистым донцом.

А за роман с «горбатым уродом» бравый донской казак наказал свою «раскрасавицу жену» по справедливости: хорошенько выдрал ее плеткой.

На уличных шествиях еще с апреля звучал лозунг: «Ленина и компанию — обратно в Германию!» Многие противники большевиков мечтали, чтобы этот лозунг претворился в жизнь. «Журнал журналов» даже поместил на обложке карикатуру В. Сварога «К отъезду Н. Ленина в Германию». На рисунке кайзер Вильгельм II в халате и Ленин с чемоданами, счастливо смеясь, бросаются друг другу в объятия. «Наконец мы одни!» — радостно восклицают они.

Либеральный «Новый Сатирикон» в сентябре возмущался мягкостью мер, принятых против большевиков: «Если бы тем, которым сейчас поручено бороться с большевизмом, поручили бы ловить грабителей и взломщиков, они делали бы это так: поймав грабителя на месте взлома, вынули бы деликатно из его рук отмычки и ломик, а его бы с поклоном отпустили на свободу. Пока нет под рукой грабителей, эти люди поступают точно так с большевиками: закрыта «Правда» и «Солдатская Правда», погубившие нашу армию. Что же сделано с мошенниками, которые изловлены на месте преступления? Да ничего. Их с поклоном отпустили. А они купили новые отмычки, новые фомки и стали выпускать «Окопную Правду». Закроют и «Окопную».

Усмехнутся мошенники и приступят к изданию «Немецкой Правды»…»

Одна из карикатур Ре-ми изображала большевика как «грядущего Хама». С «Правдой» в руках, непринужденно развалясь, он провозглашает: «Вот все говорили: «грядущий» да «грядущий»!.. А вот я уже и «пришедший»!..»

Художник Дени нарисовал Ленина в журнале «Бич» в древнеиудейской одежде, с веревочной петлей на шее. Ленин принимает от некоего неизвестного лица мешок с серебрениками: «Благоволите получить и расписаться, херр Ленин… Тридцать сполна!» «Верная служба — честный счет», — иронизировал художник…

Владимира Ильича вся эта кампания в прессе нисколько не огорчала. Наоборот, даже радовала. Он не раз замечал: «В оценке умного врага реже всего бывает сплошное недоразумение: скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся». «Если противник кого-либо из нас ругает, значит, на него действительно можно положиться». А в августе 1917 года, скрываясь в подполье, Ленин отвечал противникам известными строчками Некрасова: «Большевик вообще мог бы применить к себе известное изречение поэта:

Он слышит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья».

«Теперь они нас перестреляют». В первый момент после июльского поражения большевиков их вожди колебались: не сдаться ли властям? Обвинения в адрес Ленина множились: прошел слух, что он не только немецкий шпион, но и тайный сотрудник царской полиции — якобы в департаменте полиции нашлись документы об этом. «Эти слова на Ильича произвели невероятно сильное впечатление, — писал большевик Григорий Орджоникидзе. — Нервная дрожь перекосила его лицо, и он тоном, не допускающим возражения, заявил, что надо ему сесть в тюрьму». Он говорил упавшим голосом: «Да, да, могут доказать, что угодно, — в их руках власть и главным образом печать».

Г. Зиновьев вспоминал: «Сначала у нас были большие колебания: не дать ли себя арестовать?.. 7-го (а пожалуй, и 8-го) июля мы больше склонялись к тому, чтобы дать себя арестовать… Но уже через очень короткое время стало выясняться, что было бы безумием отдать Владимира Ильича в руки тогдашнего «правосудия». Вся обстановка говорила за то, что В.И.,

несомненно, подвергся бы тут же самосуду».

Действительно, многие офицеры в Петрограде были настроены на то, чтобы расправиться с вождем большевиков немедленно, без долгой волокиты. Командующий столичным военным округом генерал П. Половцев позднее вспоминал свой разговор с офицером, посланным арестовывать Ленина. Офицер спросил: «Как доставить этого господина — в целом виде или по кускам?»

«Я ответил ему с улыбкой, — писал генерал, — что люди, которых арестовывают, часто совершают попытку к бегству…»

И тем не менее вначале Ленин собирался сдаться властям. Анна Ульянова-Елизарова: «Одно время он думал, чтобы дать себя арестовать. Помню, он сказал тогда, что если арестуют, то очень вероятно, что с ним покончат, потом они, может быть, даже слезы прольют, крокодиловы слезы, скажут, как это нельзя было удержать, но все же постараются расправиться…» Поэт Демьян Бедный, заставший его в такой момент, говорил: «Прощаясь, мы расцеловались. Владимир Ильич был в каком-то восхищенном состоянии. Глаза его горели. Лицо его было одухотворенно, как никогда, и мне бросилось в глаза, что он удивительно похож на Христа, как его рисуют лучшие художники, в тот момент, когда шел на распятие, отдаваясь в руки врагов своих».

«Давай попрощаемся, — обратился Владимир Ильич к своей жене, — может, не увидимся уж». Они обнялись… Это было 7 июля.

Как опытный шахматист, Ленин привык просчитывать ходы не только за себя, но и за противника. 5 июля он хладнокровно заметил: «Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент».

Лев Троцкий писал по этому поводу: «Он 4–5 июля продумал обстановку не только за революцию, но и за противную сторону и пришел к выводу, что для «них» теперь в самый раз нас расстрелять. К счастью, нашим врагам не хватало еще ни такой последовательности, ни такой решимости».

В конце концов ЦК большевиков запретил Ленину добровольно сдаваться властям. «И через неделю, — вспоминал Зиновьев, — тов. Ленин говорил мне: как же мы могли быть так глупы, что хоть на одну секунду думали довериться и идти к этой банде арестовываться?»

«Пойдем лучше купаться». После июльских событий Ленин скрылся из Петрограда. Садясь на ночной поезд, Владимир Ильич сказал своему спутнику, рабочему Николаю Емельянову:

— Оставайтесь на площадке, а я присяду на ступеньки. Если

понадобится, соскочу на ходу.

— Так опасно, — возразил тот, — вдруг сорветесь…

— Ничего, я цепкий.

«Он умостился на ступеньке, — вспоминал Емельянов, — и взялся за поручни… Вдруг из соседнего вагона вышел офицер и приблизился к нам. Он с подозрением оглядел меня и наклонился над Ильичем. Офицеру взбрело в голову заглянуть Ленину в лицо, но Ильич притворился охмелевшим. В такт ходу поезда он раскачивался из стороны в сторону, все ниже склоняя голову. Когда офицер заглядывал с правой стороны, Ильич почти валился вправо; офицер заглядывал с другой стороны — Ильич склонялся влево. Длилось это несколько минут, но напряжение было такое, что я еле сдержал себя, чтобы не сбросить наглого офицера с поезда. Наконец он махнул рукой и с раздражением сказал:

— Этот все равно свалится, — и ушел».

Ленин укрылся от властей в легендарном шалаше возле станции Разлив. Это жилище построил Емельянов из веток и покрыл сверху сеном. Один из гостей шалаша, фотограф Д. Лещенко, вспоминал: «Это было совершенно лысое место, какой-то заброшенный пустырь или болото; здесь не было ни деревца, ни куста, не было даже камня или ветки, на которую я бы мог усадить свою модель».

«Уж вы извините, пожалуйста, — сказал Ленин, — что у нас нет никаких культурных приспособлений вроде стульев, на которых можно было бы сидеть».

«Не только стоять, — продолжал Лещенко, — но даже, кажется, сидеть в этом низеньком сооружении из палок и соломы было невозможно и было настолько тесно, что нельзя было даже и повернуться»… Иногда это сооружение называли просто «стогом».

«В шалаше, — писал товарищ Ленина по этому последнему подполью Григорий Зиновьев, — мы сразу почувствовали себя спокойнее. Жизнь стала «налаживаться». Кругом версты на две ни одного человека… Усталый и измученный работой и передрягами, В.И. первую пару дней прямо наслаждался невольным отдыхом… Он делал прогулки, ходил купаться на Разлив, лежал на солнышке». По вечерам они пекли картошку в золе костра у шалаша.

«В вечернее время, — вспоминал Емельянов, — частенько ходили ловить рыбу бреднем с ребятишками… Ильич, по-моему, очень любил рыбную ловлю». Рыбачить помогал 13-летний Николай — сын Емельянова. «Наловили много плотвы, окуней, судаков, ершей. Неизвестно, кто больше радовался улову — Коля или Владимир Ильич. Они с таким удовольствием сидели вдвоем и перебирали рыбу, сортировали ее и приговаривали:

— Это для ухи, эту зажарим».

Очевидно, Владимир Ильич переживал волну расслабляющего, «обломовского» настроения. Зиновьев: «Первые дни В.И. не читал газет вовсе или прочитывал только политическую передовицу в «Речи»… Такое море лжи и клеветы не выливалось ни на одного человека в мире. О «шпионстве» Ленина, об его связи с германским генеральным штабом, о полученных им деньгах и т. п. печаталось в прозе, в стихах, в рисунках и т. д.

— Не надо портить себе нервы, — говорил Ильич. — Не стоит читать этих газет, пойдем лучше купаться.

Я не выдерживал и время от времени все же заглядывал в приносившиеся нам газеты, затем рассказывал о содержавшемся в них фантастическом вранье Владимиру Ильичу. Он отвечал: чем больше вранья, чем гнуснее это вранье, тем хуже для них, тем меньше рабочие поверят клеветникам». «Они «пересолили», — замечал Ленин позднее. — Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады кричащие против большевиков, помогли втянуть массы в оценку большевизма…» Людям поневоле пришлось задуматься и рассуждать, и скоро они пришли к выводу, что если их враги так ненавидят большевиков, значит, те умеют с ними бороться. «Они… заставили их думать, что если так травят большевиков, значит, это что-нибудь хорошее».

Большевик Александр Шотман, посещавший Ленина в шалаше, передал ему мнение одного товарища: «Вот посмотрите, Ленин в сентябре будет премьер-министром!» Шотман повторил эти слова как забавный курьез. Но Владимир Ильич спокойно ответил: «В этом ничего нет удивительного».

«От такого ответа, — писал Шотман, — я, признаться, немного опешил и поглядел на него с изумлением».

За головы обитателей шалаша объявили награду — по 100 тысяч рублей золотом за каждого. Говорили, что по их следам пущены лучшие полицейские силы, собаки-ищейки, включая знаменитую ищейку по кличке Треф…

Свои воспоминания Зиновьев опубликовал в 1927 году, когда он снова находился в оппозиции и стоял на грани исключения из партии. В его строках чувствуется почти любовная привязанность к Ленину и тоска по ушедшему времени. «Прохладная звездная ночь. Пахнет скошенным сеном. Дымок от маленького костра, где варили чай в большом чайнике… Ложимся в узеньком шалашике. Прохладно. Накрываемся стареньким одеялом… Оно узковато, и каждый старается незаметно перетянуть другому большую его часть, оставив себе поменьше. Ильич ссылается на то, что на нем фуфайка и ему без одеяла нетрудно обойтись. Иногда подолгу не

спишь. В абсолютной тишине слышно биение сердца Ильича… Спим, тесно прижавшись друг к другу… Еще и теперь, через 10 лет, частенько запах сена и дымок костра вдруг сразу напомнят это время, и иглой уколет сердце и защемит тоской. Почему с нами больше нет Ильича? Ведь все могло быть по-иному…»

Конечно, советский фольклор 70-х годов не обошел вниманием ленинский шалаш. Он вспоминался во многих анекдотах. Вот только два из них:

«Надя остановилась перед вывеской и прочитала вслух: «Пиво в розлив». Тут же Ленину в шалаш были отправлены два ящика пива и вязанка воблы».

«С Лениным и в шалаше рай».

«Жаль, жаль Ленина!» Спустя какое-то время Ленину пришлось покинуть шалаш. «Дни становились все холоднее, — писал Зиновьев. — Особенно ночи. Надвигалась осень… При первых же осенних дождях «крыша» стала все больше и больше протекать. К тому же в наше «жилье» все чаще стали забредать охотники, предполагая найти приют в шалаше, переждать непогоду и т. д. Однажды ночью к нам забрел такой охотник. Мы были совершенно одни… Мы постарались незаметно для охотника спрятать под сено свою «библиотеку», т. е. несколько книжек и рукописей, которые успели у нас накопиться. На вопросы отвечали как можно более односложно. Владимир Ильич притворился спящим. В каждом таком охотнике мы, естественно, заподозревали шпиона. После этого случая стало ясно, что долго нам оставаться в шалаше уже невозможно».

Переодевшись паровозным кочегаром, Владимир Ильич на локомотиве отправился в Финляндию. По пути он настолько вошел в роль, что и вправду стал подбрасывать дрова в топку… «Ленин работал, как заправский кочегар», — вспоминал машинист Гуго Ялава. Спустя несколько дней последовало очередное преображение. «Смастерили парик, — писал Фриц Платтен, — сделавший нашего Ильича неузнаваемым — финским пастором». Пришлось ли Ленину в обличье священника исполнять какие-то духовные обязанности (скажем, благословлять прохожих) — об этом история умалчивает…

Забавная сценка разыгралась при покупке парика. Финский социалист Густав Ровио рассказывал: «Парикмахер… спросил, какого цвета должен быть парик. Ленин ответил, что должно быть много седины в волосах, чтобы он казался шестидесятилетним. Беднягу мастера чуть было не хватил удар».

— Шестидесятилетним! — изумился он. — Ведь вы совсем молодой. Вам едва дашь сорок лет, зачем вам парик старика, у

вас совсем еще нет седых волос.

— Да вам-то не все ли равно, какой парик я возьму?

— Нет, я хочу, чтобы вы сохранили свой молодой вид.

Но Владимир Ильич, конечно, настоял на своем, выбрал парик с длинными седыми волосами…

Скрываясь от ареста, Ленин однажды прочитал своим финским хозяевам статью из русской газеты. В ней говорилось, что сыщики напали на след Ленина, укрывающегося в Петрограде. «Арест Ленина является делом нескольких дней», — бодро завершалась статья.

«Жаль, жаль Ленина, — лукаво прищурившись, заметил Владимир Ильич. — Вот, оказывается, какие дела!..»

«Не понимаю, почему они не берут власть?!» Между тем обстановка в стране быстро менялась. Генерал Лавр Корнилов попытался навести в столице «порядок», покончить с Советами и двинул на Петроград свои войска. Его попытка потерпела неудачу, и сам он в итоге оказался в тюрьме. А ветер общественного настроения вновь подул влево…

Финский журналист Юкка Латукка, в доме которого Ленин скрывался некоторое время, вспоминал: «В какой-то газете… было сообщено… что из 17.000 солдат московского гарнизона 14.000 отдали свои голоса большевистскому списку». Это известие произвело на Ленина сильное впечатление. «Я не понимаю, почему при таких обстоятельствах они не берут власть в свои руки?!» — вырвалось у Ильича».

В сентябре Ленин направил товарищам одно за другим несколько писем, в которых страстно доказывал, что момент для вооруженного восстания назрел. Одно из писем так и называлось: «Большевики должны взять власть». «История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь», — утверждал Ленин. «Ждать — преступление перед революцией». Ленин напоминал «великий завет» Дантона («смелость, смелость и еще раз смелость») и высмеивал противников восстания, которые говорят: «У нас вместо тройной смелости два достоинства: «У нас два-с: умеренность и аккуратность».

В одном из писем Ленин даже угрожал выйти из ЦК, если не будет принято решение о восстании. При этом он оставлял за собой «свободу агитации в низах партии и на съезде». Николай Бухарин вспоминал: «Письмо было написано чрезвычайно сильно и грозило нам всякими карами. Мы все ахнули. Никто еще так резко вопроса не ставил». Письмо единогласно решили сжечь…

В начале октября, не считаясь с риском, Ленин вернулся в столицу, чтобы проповедовать немедленное восстание. «В парике,

побрившись, он приходил к нам на тайные собрания», — вспоминал Лев Каменев. Наконец 10 октября ЦК партии принял решение о восстании. Против голосовали только двое — Зиновьев ж Каменев, за — десять человек. Это знаменитое тайное заседание происходило на квартире меньшевика Николая Суханова — в отсутствие хозяина, но при помощи его жены-большевички. О чем обманутый супруг позднее писал: «О, новые шутки веселой музы истории!.. Все это было без моего ведома».

Решая будущее страны, гости попутно пили чай и ужинали. Хозяйка квартиры подала им горячий самовар, купила немало разных угощений: сыр, масло, колбасу, ветчину, буженину, копчушки (небольшие рыбки), красную икру, соленую красную рыбу, печенье и кекс… Выходя из квартиры, Владимир Ильич все еще (уже заочно) метал громы и молнии в противников восстания.

«Чепуха несусветная!» — возмущался он их речами.

Порыв осеннего ветра сорвал с его головы кепку и седой парик и небрежно швырнул это прямо в лужу на тротуаре. Ленин поднял свой промокший парик, посмеялся, нахлобучил его обратно, но «холодный душ» не остудил его пыла: он продолжал яростно спорить… (По другим мемуарам эпизод с париком случился 16 октября.)

Прошло две недели. Ленин все сильнее беспокоился, не будет ли упущен момент. Вечером 24 октября, когда восстание уже началось, но он еще об этом не знал, Владимир Ильич направил своим соратникам последнее и, возможно, самое отчаянное письмо. «Нельзя ждать!! Можно потерять все!! — восклицал он и заключал, перефразируя слова Петра I: — Промедление в выступлении смерти подобно».

Позднее Ленин замечал: «Когда правительство Керенского… мы истрепали, можно сказать, по ниточке, испробовали, как их сажать на министерские места во всех комбинациях, заставили их проделать министерскую чехарду справа налево и слева направо, снизу вверх и сверху вниз, то оказалось, что, как они ни садились, они в музыканты не годились, и тогда они полетели, как пушинки».

«Es schwindelt». В ночь на 25 октября Владимир Ильич оставил конспиративную квартиру и отправился через весь город в штаб восстания — Смольный институт. Хозяйке квартиры он оставил записку: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич». Предстояло ехать на трамвае, потом идти пешком.

Чтобы не быть узнанным по дороге, Владимир Ильич надел

парик, огромные синие очки и надвинул на глаза картуз. Вдобавок он перевязал щеку грязным платком, как будто его мучила зубная боль, и поднял воротник пальто. «Вид был довольно странный», — вспоминал Троцкий. В таком обличье Ленина остановил вооруженный конный патруль. Однако седенький старичок с подвязанной щекой, в потертом пальто и старенькой кепочке не вызвал у патрульных юнкеров никаких подозрений.

«Я не думал, что у них все так гнило», — заметил после этого путешествия Владимир Ильич.

«Выходя из Смольного, — вспоминал социал-демократ А. Лозовский, — я столкнулся в дверях с бедно одетым рабочим в кепке. Я поднял на него глаза и остолбенел. «Это вы!» — воскликнул я. Ленин наскоро пожал мне руку, прищурил глаз и помчался на верхний этаж Смольного…»

Еще в этом маскараде застали явившегося в Смольный Владимира Ильича меньшевики. Один из них сразу толкнул своего спутника локтем и подмигнул. Ленин с досадой бросил Троцкому: «Узнали, подлецы».

Кадетская газета «Речь» сообщала на следующий день: «В институт 25 октября прибыли под усиленной охраной скрывавшиеся до сих пор от суда и следствия вожди большевизма Ленин и Зиновьев. Их не узнать. Ленин сбрил бороду и усы, а Зиновьев, наоборот, отрастил себе усы и бороду, но зато снял шевелюру».

Сняв парик, Ленин отдал его В. Бонч-Бруевичу, который сказал:

— Давайте спрячу… Еще может пригодиться! Почем знать?..

— Ну, положим, — хитро подмигнул в ответ Ленин. — Мы власть берем всерьез и надолго…

Узнав о том, что восстание уже в полном разгаре, Владимир Ильич пришел в прекрасное расположение духа. «Ленин был в восторге, — писал Троцкий, — выражавшемся в восклицаниях, смехе, потирании рук».

Вожди восстания — Ленин и Троцкий — расположились в одной из комнат Смольного. В этой комнате не было никакой мебели, она предназначалась для того, чтобы спать — вповалку, прямо на полу. «Потом уже, — писал Троцкий, — кто-то постлал на полу одеяла и положил на них две подушки. Мы с Владимиром Ильичем отдыхали, лежа рядом». Заснуть при всем желании было невозможно — каждые 5–10 минут прибегали взбудораженные гонцы, которые доставляли свежие новости об успехах восстания. «Мы лежали рядом, тело и душа отходили, как слишком натянутая пружина… Мы вполголоса беседовали… В его голосе

были ноты редкой задушевности». Временами Ленин спохватывался: «А Зимний? Ведь до сих пор не взят? Не вышло бы чего?..»

«Должно быть, — вспоминал Троцкий, — это было на другое утро, отделенное бессонной ночью от предшествовавшего дня. У Владимира Ильича вид был усталый. Улыбаясь, он сказал: «Слишком резкий переход от подполья и переверзевщины (то есть преследований министра юстиции Переверзева. — А.М.) — к власти. Es schwindelt (кружится голова)», — прибавил он почему-то по-немецки и сделал вращательное движение рукой возле головы». «Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость… Мы смотрим друг на друга и смеемся». За одни сутки из загримированного подпольщика Ленин превратился в первого человека в государстве. «История не знает ни одного примера такого перехода от подпольного революционера к государственному человеку», — замечал Карл Радек.

Днем 25 октября Ленин и Зиновьев впервые появились на трибуне перед депутатами Петросовета. Им устроили громовые овации, настоящий триумф.

«Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!» — провозгласил Троцкий.

«Когда я вошел, — рассказывал меньшевик Н. Суханов, — на трибуне стоял и горячо говорил незнакомый лысый и бритый человек. Но говорил он странно знакомым хрипловато-зычным голосом, с горловым оттенком и очень характерными акцентами на концах фраз… Ба! Это — Ленин. Он появился в этот день после четырехмесячного пребывания в подземельях».

«Мы вас расстреляем!» Вопрос о скорейшем взятии Зимнего дворца стоял очень остро. То, что Временное правительство пока остается на свободе, могло заставить съезд Советов искать с ним какие-то соглашения.

Большевик Николай Подвойский вспоминал: «Владимир Ильич буквально засыпал нас всех записками. Он писал, что мы разрушаем всякие планы; съезд открывается, а у нас еще не взят Зимний и не арестовано Временное правительство». «Мне рассказывали потом, что Владимир Ильич, ожидая с минуты на минуту взятия Зимнего, не вышел на открытие Съезда. Он метался по маленькой комнатке Смольного, как лев, запертый в клетку. Ему нужен был во что бы то ни стало Зимний… Владимир Ильич ругался… Кричал… Он готов был нас расстрелять».

«Почему так долго? — негодовал Ленин. — Что делают наши военачальники? Затеяли настоящую войну! Зачем это?

Окружение, перебросы, цепи, перебежки, развертывание… Разве это война с достойным противником? Быстрей! В атаку! Хороший отряд матросов, роту пехоты — и все там!..»

А Подвойский, по его воспоминаниям, в какой-то момент борьбы с Керенским открыто отказался подчиняться Ленину. Тогда тот вскипел: «Я вас предам партийному суду, мы вас расстреляем!»

Угроза была явно неисполнимой — как раз в день переворота II съезд Советов торжественно отменил смертную казнь. Но на Подвойского эти слова произвели сильное впечатление и заставили его действовать.

«Это пахнет революцией». Большевик Николай Милютин вспоминал: «Возник вопрос, как назвать новое правительство, его членов?.. Название членов правительства «министрами»… отдавало бюрократической затхлостью».

— Только не министрами, — раздумывал вслух Ленин, — это гнусное, истрепанное название… Зачем эти старые названия? Они всем надоели.

— Можно бы — комиссарами, — заметил Троцкий, — но только теперь слишком много комиссаров. Может быть, верховные комиссары… Нет, «верховные» звучит плохо. Нельзя ли «народные»?

— Народные комиссары? Что ж, это, пожалуй, подойдет. А правительство в целом?

— Совет, конечно, совет… Совет народных комиссаров, а?

— Совет народных комиссаров, — подхватил Ленин, — это превосходно: ужасно пахнет революцией!

Это название и закрепилось за советским правительством вплоть до 1946 года (когда его члены из наркомов вновь превратились в «обычных» министров).

Эсер Владимир Зензинов писал: «Конечно, смехом встретит страна опубликованный большевиками список министров». Сформировать первое революционное правительство было не так-то просто: все отказывались. «Каждый из нас, — объяснял причины этих отказов нарком Георгий Ломов, — мог перечислить чуть ли не все тюрьмы в России с подробным описанием режима, который в них существовал. Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели управлять государством…» Один из кандидатов прямо заявил, что у него нет опыта такой работы. Владимир Ильич расхохотался: «А вы думаете, у кого-нибудь из нас есть такой опыт?!»

У одного собеседника в ноябре 1917 года он прямо спросил: «А почему вы считаете, что я знаю, как управлять таким

огромным государством, как наше? Тоже не знаю, опыта нет, а приходится…»

Меньшевик Александр Мартынов так передавал первую речь Ленина после победы большевиков: «Ну, вот мы берем власть, умеем ли мы управлять государством? Не умеем… Но мы на-у-чим-ся!..»

Ленин строго говорил: «Во время революции от назначений не отказываются». «Это не власть, а работа. Отказываться от комиссарства сейчас хуже, чем отказаться машинисткой стучать: худшая форма саботажа». «При рабоче-крестьянском правительстве отставок не просят, а дают».

В день переворота меньшевики отказались войти в новое правительство и громко «хлопнули дверью» — покинули съезд Советов. Многих соратников Ленина искренне расстроил такой поворот. Большевик Александр Спундэ вспоминал: «Было внутренне тяжело видеть, что люди, бывшие еще недавно нашими товарищами в борьбе с царизмом, искренне считающие себя защитниками народа, уходят из блещущего огнями Смольного в темный, скупо освещенный город». Ленин успокаивал огорченных товарищей: «Не смущайтесь этим. Это очень хорошо, что они, огласив свои декларации, покинули съезд. Тем самым они поставили себя на другую сторону баррикад и показали свое истинное лицо».

Поначалу отказались войти в правительство и левые эсеры. Хотя Ленин долго уговаривал их вождя Марию Спиридонову. Н. Крупская вспоминала обстановку этого разговора: «Какая-то комната в Смольном с мягкими темно-красными диванчиками. На одном из диванчиков сидит Спиридонова, около нее стоит Ильич и мягко как-то и страстно в чем-то ее убеждает».

«Милейшая Мария Александровна, — говорил он, — давайте все-таки договоримся. Вы и ваши соратники получаете реальный шанс стать у руля новой России. И будет замечательно, если на этом руле окажется также женская рука… Поверьте, история не простит позиции стороннего наблюдателя тем, кто обязан вертеть ее маховик…»

Забавно, но всеобщую неприязнь к профессии министра разделял и сам Владимир Ильич. На пост главы кабинета он предложил назначить Льва Троцкого. Но тот отклонил это предложение…

«Сначала Ленин, — рассказывал Луначарский, — не хотел войти в правительство. Я, говорит, буду работать в Ц.К. партии… Но мы говорим, — нет. Мы на это не согласились. Заставили его самого отвечать в первую голову. А то быть критиком всякому приятно…»

Троцкий отказался и от портфеля наркома внутренних дел, сославшись на свое еврейство. Ленин возмутился:

— У нас великая международная революция, — какое значение могут иметь такие пустяки?

— Революция-то великая, — возразил Троцкий, — но и дураков осталось еще немало.

— Да разве ж мы по дуракам равняемся?

— Равняться не равняемся, а маленькую скидку на глупость иной раз приходится делать: к чему нам на первых порах лишнее осложнение?..

Не прошло и недели после революции, как четыре наркома (Луначарский, Рыков и другие) подали в отставку. Луначарского потрясли кровопролитные бои в Москве, где белая гвардия (юнкера) отчаянно сражалась против красной и черной гвардии (большевиков и анархистов). «Я только что услышал от очевидцев, — писал Луначарский, — то, что произошло в Москве. Церковь Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль… бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из совета народных комиссаров». Нарком просвещения разрыдался прямо на заседании правительства:

— Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции…

Меньшевистская «Рабочая газета» после этих отставок печатала насмешливое объявление: «Ищут грамотных людей, желающих занять должность «народных комиссаров». Прошлым не интересуемся».

Одна из газетных карикатур тех дней изображала Ленина — он придавлен огромной царской короной и из-под нее жалобно стонет: «Да, тяжела ты, шапка Мономаха»!..

На многих большевиков отставки наркомов произвели удручающее впечатление. Но настоящий Ленин бодрости не терял: «Что же, революция пойдет мимо них… А я предпочитаю остаться с двадцатью стойкими рабочими и матросами, чем с тысячью мягкотелых интеллигентов».

«Снять с себя ответственность», — замечал он, — манера капризных барышень и глупеньких русских интеллигентов».

Эсеровская газета «Дело народа» шутила:

«Подслушанный разговор.

— Вы куда?

— В Смольный.

— А револьвер с вами есть? Запаслись?

— Нет…

— Ну, плохо ваше дело. Не отделаетесь. Вернетесь оттуда министром».

Сказка о добром красногвардейце. Для высших классов общества в 1917 году «человек с ружьем» — революционный матрос и красногвардеец — постепенно стал чем-то вроде навязчивого кошмара. В нем видели разновидность разбойника и грабителя. Шутка первых месяцев советской власти: «Когда рабочие-красногвардейцы проходят теперь по Москве, то московские буржуи кричат им:

— Довольно вы попили нашей кровушки! Будя!»

На одной из карикатур 1918 года обыватель, раздетый дошла вооруженным налетчиком, обращается к нему: «Вы еще не все взяли, о добрый налетчик! Вот золотая коронка с моего буржуазного зуба… Без коронки зуб будет демократичнее!»

Другой рисунок изображал вооруженных грабителей, раздевающих прохожих. Подпись гласила: «Большевики, пользуясь каждым удобным случаем, разоблачают контрреволюционеров»…

Ленин, напротив, радовался переходу «людей с ружьем» на сторону новой революции. Ведь еще в июле 1917 года верные правительству войска стреляли в демонстрацию большевиков… Но к октябрю все стало иначе. В ночь переворота Ленин с чувством говорил Троцкому: «Какая это великолепная картина: рабочий с ружьем рядом с солдатом у костра! Свели, наконец, солдата с рабочим!..»

В январе 1918 года, выступая на III съезде Советов, Ленин отметил, что в народе теперь крепнет совсем иное отношение к «людям с ружьем». Он сказал: «Я позволю себе рассказать один происшедший со мной случай. Дело было в вагоне Финляндской железной дороги, где мне пришлось слышать разговор между несколькими финнами и одной старушкой…»

Владимир Ильич обратил внимание, что пассажиры улыбаются, слушая эту старушку, и попросил перевести ему, что она говорит.

«Я не мог принимать участия в разговоре, так как не знал финского языка, но ко мне обратился один финн и сказал: «Знаете, какую оригинальную вещь сказала эта старуха? Она сказала: теперь не надо бояться человека с ружьем. Когда я была в лесу, мне встретился человек с ружьем, и вместо того, чтобы отнять от меня мой хворост, он еще прибавил мне». «Раньше бедняк жестоко расплачивался за каждое взятое без спроса

полено, а теперь, если встретишь в лесу, говорила старушка, солдата, так он еще поможет нести вязанку дров».

Оппозиционная печать не обошла вниманием это наблюдение Ленина. В ней в феврале 1918 года появились язвительные стихи Надежды Тэффи «Добрый красногвардеец»:

Вечер был, сверкали звезды,
На дворе мороз трещал,
Тихо лесом шла старушка,
Пробираясь на вокзал.
Жутко бедной! Кто жалеет
Старость, слабость, нищету?
Всяк зарежет и ограбит,
Боже правый, сироту.
Мимо шел красногвардеец.
«Что тут бродишь, женский пол?»
Но вгляделся и не тронул,
Только плюнул и пошел.
А старушка в умиленьи
Поплелася на вокзал…
Эту сказку папа-Ленин
Добрым деткам рассказал.

«Иначе Россию ждет судьба Турции». Чтобы понять эмоциональное отношение белогвардейцев к Ленину и большевикам, надо учитывать, что в них они видели прежде всего врагов «России» (как они ее понимали). Эта мысль звучала почти в каждом тексте либералов 1917–1918 годов (а затем и белогвардейцев). Характерный рисунок художника Ре-ми: «сознательный» революционер катит куда-то мусорную тачку. В ней сидит и безутешно рыдает молодая девушка в русском сарафане и кокошнике.

«Ради чистоты партийной программы, — гордо провозглашает «сознательный», — я даже России не пожалею!»

А на карикатуре Николая Раддова три «сознательных» революционера собираются сбросить ту же пассажирку в кокошнике с борта воздушного шара; она растерянно отбивается. Внизу, на земле, густо ощетинились солдатские штыки.

«А Россию можно выбросить, — рассуждают между собой воздухоплаватели, — тогда мы поднимемся еще выше!»

Вот (в декабре 1917 года) эта несчастная уже болтается на виселице. Мужик с бутылкой в руке и дезертир бодро обсуждают ее судьбу: «Повесили Россеюшку-то? Здорово… Спасибо, что

сапожки-то оставили: поживимся…»

Наконец, эту мысль мы находим и на красочном белогвардейском плакате времен гражданской войны — «В жертву Интернационалу». На жертвеннике перед бюстом Карла Маркса распростерта все та же несчастная в белом сарафане и кокошнике с изображением двуглавого орла. Она связана по рукам и ногам. Вокруг толпятся вожди большевиков, радостно гогочут пьяные матросы, Иуда Искариот сжимает в руках свой мешок с 30 сребрениками. На происходящее с доброжелательным интересом взирает Керенский в своем неизменном френче. Главные действующие лица — Ленин и Троцкий. Владимир Ильич облачен в пурпурную императорскую тогу. А рядом Троцкий в испачканном кровью фартуке заносит над жертвой окровавленный нож…

Карикатурист Борис Ефимов вспоминал: «Когда началась революция, я жил в Киеве. За год там 12 раз сменилась власть. То белые, то красные, то Петлюра. И все заказывали карикатуры друг на друга. Первую карикатуру мне заказали белые. Против большевиков. Я ее отлично помню. Я нарисовал Ленина и Троцкого. Ленин спрашивает Троцкого: «Много у нас в стране преданных людей?». И Троцкий на это отвечает: «Все 150 миллионов». Игра слов такая…»

А что думали о судьбе России сами большевики? Как сложилось бы ее будущее, не случись революции? Большевики мечтали освободить весь мир, а не одну страну, поэтому они мало рассуждали на эту тему. Однако они давали свой ответ и на этот вопрос. «Было совершенно очевидно, что страна загнила бы надолго, если бы не октябрьский переворот», — замечал Троцкий. А Ленин еще в 1905 году предсказывал, что без революции «Россию ждет судьба Турции, долгое, мучительное падение и разложение…» «Старая Россия умирает», — уверенно писал он в начале века.

Глава 10
«Каша, а не диктатура»

Говорят, что во время его правления детей спрашивали на улице: «Кого ты больше любишь?» Если ребенок отвечал «родителей», то их расстреливали. Нужно было говорить: «Я люблю Ленина…»

Из школьных сочинений о Ленине

«Эпоха прекраснодушия». Первые месяцы после Октября можно назвать «эпохой прекраснодушия» новой власти. Из тюрем были освобождены видные сановники царского правительства, арестованные после Февраля. Бывший начальник царской охранки генерал А. Герасимов вспоминал: «Недели через две после большевицкого переворота к нам в тюрьму явился комиссар-большевик… Нас всех собрали в коридоре, и явившийся большевицкий комиссар начал опрашивать, кто за что сидит… Когда очередь дошла до нас, начальник тюрьмы сказал: «а это политические». Комиссар удивился: какие теперь у нас политические? Начальник разъяснил, что это деятели старого режима… Комиссар… заявил, что он считает наше содержание под стражей неправильным и несправедливым: «Они по-своему служили своему правительству и выполняли его приказания. За что же их держать?». Осенью 1917 года вышла на свободу фрейлина императрицы Анна Вырубова (известная своей дружбой с Григорием Распутиным). Ее доставили в Смольный, и Лев Каменев даже устроил небольшое застолье в честь ее освобождения…

Весьма ярким проявлением прекраснодушия большевиков стало их отношение к известному черносотенцу Владимиру Пуришкевичу. Его арестовали вскоре после Октября за создание подпольной монархической организации, о планах которой он сам писал: «Организация, во главе коей я стою, работает не покладая рук, над спайкой офицеров и… над их вооружением… Властвуют преступники и чернь, с которыми теперь нужно будет расправиться уже только публичными расстрелами и виселицами». На суде Пуришкевич оправдывался:

— Я считаю большевизм величайшим злом, для борьбы с

которым должна объединиться вся страна… Но я никогда никого не убивал.

— А Распутина? — послышался укоризненный возглас со скамей для почетных гостей-большевиков…

Тем не менее приговор Пуришкевичу поражает своей «суровостью» — один год тюремного заключения! И уже 1 мая 1918 года черносотенца освободили по амнистии. Вскоре Пуришкевич уехал на Дон, где стал одним из идейных вождей белогвардейцев.

Через несколько дней после Октябрьского переворота под «честное офицерское слово» не воевать больше против революции был отпущен казачий генерал Петр Краснов.

— Даю честное слово офицера, — убеждал Краснов Ленина, — что не выступлю против Советов. Если же нужна моя помощь в чем-то, пожалуйста.

— Товарищ Крыленко разберется, — сухо ответил Владимир Ильич.

«Когда освобождали генерала Краснова под честное слово, — вспоминал Троцкий, — кажется, один Ильич был против освобождения, но, сдавшись перед другими, махнул рукой». Оказавшись на свободе, казачий атаман стойко сражался с большевиками всю гражданскую войну, а затем и всю Вторую мировую (на стороне Германии)…

Позднее, когда Краснов стал одним из главных вожаков белой гвардии, Ленин вспомнил этот случай: «На Дону Краснов, которого русские рабочие великодушно отпустили в Петрограде, когда он явился и отдал свою шпагу, ибо предрассудки интеллигенции еще сильны и интеллигенция протестовала против смертной казни…». «Он был арестован нашими войсками и освобожден, к сожалению, потому что петроградцы слишком добродушны». «Мы ведь, по существу, очень мирные, я бы сказал, совсем штатские люди… Мы ведь были против гражданской войны и даже атамана Краснова отпустили из плена под честное слово. Но, видно, нельзя было верить честному слову этого генерала. При первом удобном случае он удрал на Дон да такую кашу заварил…»

Тем не менее дань прекраснодушным настроениям сполна отдал и сам Ленин. Большевики после Октября переживали, по его выражению, «эпоху опьяняющего успеха». Ленин говорил о либералах: «Ну, что же, раз так, раз они не только не хотят понять, но мешают нашей работе, придется предложить им выехать на годок в Финляндию… Там одумаются…»

Глава революции и впрямь надеялся, что удастся обойтись подобными «архисуровыми» мерами — попросить противников

Октября «выехать на годок»! А там, глядишь, они переменят свое отношение… В январе 1918 года он заявил: «Если теперь найдутся в России десятки людей, которые борются против Советской власти, то таких чудаков немного, а через несколько недель не будет и совсем…»

«Террор мы не будем применять». После Февральской революции публика постепенно привыкла к частым случаям уличных самосудов. Это привыкание хорошо прослеживается по тогдашней прессе: самосуды — одна из модных тем для юмора. Шутка из бульварной печати ноября 1917 года — кавалер объявляет даме:

— Я решил вас насильно поцеловать.

— На каком основании? — возмущается она. — Почему?

— На кушетке! И потому, что теперь «самосуды» в моде!

Другая шутка — состоятельный человек деловито спрашивает:

— Вы не знаете, скоро пролетариат будет резать буржуев?

— А вам зачем знать?

— Да у меня камни в печени. Так я уж и не знаю: стоит ли мне делать операцию или уж не возиться, подождать, что ли…

В ноябре 1917 года ушли в прошлое старые суды. Заметка Эмиля Кроткого в газете «Новая жизнь»: «Суд упразднен. Функционируют только самосуды. Обыватели недоумевают: как титуловать в прошениях это кочующее учреждение? Его Самоуправством, что ли?» Карикатура В. Лебедева (май 1918-го): светская дама, не прекращая музицировать на рояле, интересуется:

— Что это за шум на улице?

— Против нас сейчас расстреляли двух прохожих.

— А-а… А я думала — что-нибудь случилось!

С идеей судебных казней общество свыкалось сложнее. Введение смертной казни при Керенском одобрили либералы и часть правых социалистов. Писатель Леонид Андреев обращался с грозным воззванием к солдатам: «Взгляни дальше, солдат. Ты видишь нечто страшное, что строится в России? Это — эшафот. А для кого он? Для тебя, солдат. Для тебя, предатель и трус, предавший родину, изменивший свободе! Ты видишь, но ты еще не понимаешь. Ты еще не понимаешь всей скорби нашей». На рисунке А. Радакова в августе 1917 года гигантская Смерть с косой входила в зал, где столпилась растерянная образованная публика. Смущение переживала и сама Смерть. Она стыдливо признавалась: «Господа, мне даже как-то неловко появляться в роли усмирительницы там, где сейчас должна это делать сама

свобода…»

Ленин высмеивал «сладеньких до приторности» деятелей, «которые бьют себя в грудь, уверяя, что у них есть душа, что они ее губят, вводя и применяя против масс смертную казнь, что они плачут при этом — улучшенное издание того «педагога» 60-х годов прошлого века, который следовал заветам Пирогова и порол не попросту, не по-обычному, не по-старому, а поливая человеколюбивой слезой… подвергнутого порке обывательского сынка».

Как известно, самым первым декретом советской власти стала полная отмена смертной казни. Таким было всеобщее настроение среди левых социалистов, в том числе и большевиков. По свидетельству Троцкого, это решение вызвало у Ленина негодование: «Вздор. Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?.. Ошибка, недопустимая слабость, пацифистская иллюзия…»

Однако на рубеже 1917–1918 годов большевики уже сами заговорили о возможности восстановления казней. Целую бурю негодования вызвала оброненная Троцким фраза о гильотине. В декабре 1917 года Троцкий сказал, что противники большевиков напрасно обвиняют их в терроре: «Они забывают, что во Франции во времена революции действовала специальная машина, которая укорачивала человека ровно на одну голову». Характерная шутка из тогдашней либеральной печати:

«Рабочий:

— А теперь наш завод благодаря Троцкому демобилизуется. Переходит на мирное производство.

— Что же вы будете производить?

— Гильотины для провинции!»

Кадетская газета «Наш век» в статье Д. Коковцова сообщала: «Инженер Брюм представил в совет народных комиссаров проект «усовершенствованной гильотины». Если верить слухам, система Брюма имеет значительные преимущества перед старой, испытанной системою якобинцев. Его «машинка» приводится в действие электрическим током и обладает неслыханно-чудесным свойством: она укорачивает рост 500 человек (500 «врагов народа»!) сразу… на 500 голов!.. Стоило Троцкому заикнуться о гильотине, и вот уже какой-то бедный больной стучится в Смольный со своей усовершенствованной системой. Обезглавить одновременно 500 человек! Этого не было, конечно, в самой пылкой мечте у Троцкого-Робеспьера». «Гильотина — средство

отчаяния, — замечала газета Максима Горького «Новая жизнь» и с тревогой вопрошала: — Разве Совет Народных Комиссаров уже дошел до этой грани?»

Ленин в одной из речей успокаивал эту волну возмущения такими словами: «Террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять».

Оппозиционная петроградская газета «Друг народа» высмеивала этот «попятный ход» большевиков — на карикатуре бородатый великан-крестьянин грозно спрашивал у низенького большевика-«маратика»:

— Ты, брат, что-то насчет гильотины болтал?

— Видите ли, — жалко оправдывался тот, — машинка такая есть… Сигары обрезывать… хи… хи… Ежели курите, так вот не угодно ли?

Хотя обстановка непрерывно обострялась, большевики еще несколько месяцев медлили с восстановлением судебных казней.

«**У нас — каша, а не диктатура».** Ленин одним из первых в 1918 году окончательно расстался с первоначальными розовыми надеждами и со всей энергией принялся их развенчивать в глазах товарищей. Выживание Советского государства требовало все более суровых мер в экономике и политике. Они вызывали растущее недовольство различных слоев населения. Но главное — сами большевики к таким мерам внутренне не были готовы. В то время Ленин часто с досадой повторял: «Да где у нас диктатура? Да покажите ее! У нас — каша, а не диктатура… Одна болтовня и каша».

«Слово «каша» он очень любил», — замечал Троцкий.

«Помню, — писала Крупская о 1918 годе, — как однажды мы подъехали к какому-то мосту весьма сомнительной прочности. Владимир Ильич спросил стоявшего около моста крестьянина, можно ли проехать по мосту на автомобиле. Крестьянин покачал головой и с усмешечкой сказал: «Не знаю уж, мост-то ведь, извините за выражение, советский». Слою «советский» прозвучало как обозначение крайней степени шаткости, непрочности, неустойчивости. «Ильич потом, смеясь, не раз повторял это выражение крестьянина». Через несколько лет паркетный пол в усадьбе Горки (где тогда жил Ленин) сильно трещал. Владимир Ильич смеялся: «Как пол-то трещит… Клей-то советский!..»

«Наша власть — непомерно мягкая, — писал Ленин весной 1918 года, — сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо». «Впрочем, — уточнял он, — правильнее было бы сравнить то общественное состояние, в каком мы находимся, не с

киселем, а с переплавкой металла при выработке более прочного сплава». Глава Совнаркома не уставал обличать прекраснодушно, «по-маниловски» настроенных товарищей. Ленин разъяснял: «Им [врагам] грозит опасность лишиться всего. И в то же время у них есть сотни тысяч людей, прошедших школу войны, сытых, отважных, готовых на все офицеров, юнкеров, буржуазных и помещичьих сынков, полицейских, кулаков. А вот эти, извините за выражение, «революционеры» воображают, что мы сможем совершить революцию по-доброму да по-хорошему. Да где они учились? Да что они понимают под диктатурой? Да какая у него выйдет диктатура, если он сам тютя?»

Троцкий, передавая эти настроения Ленина, замечал: «Революции уже не раз погибали из-за мягкотелости, нерешительности, добродушия трудящихся масс… Ленин… на каждом шагу учил своих сотрудников тому, что революция может спастись, лишь перестроив самый характер свой на иной, более суровый лад и вооружившись мечом красного террора…» «Главная опасность в том, что добер русский человек, — повторял он. — Русский человек рохля, тютя…»

Владимир Ильич хмурился и с досадой спрашивал: «Неужели у нас не найдется своего Фукье-Тенвиля (обвинителя Революционного трибунала. — А.М.), который привел бы в порядок расходившуюся контрреволюцию?..»

«Нам могут служить примером якобинцы, — говорил он. — Комиссары периода якобинской диктатуры действовали смело и решительно. Так должны действовать и мы. Отставание от революции опасно…»

Оппозиция смеялась, сравнивая нерешительных русских «маратиков» с грозными французскими якобинцами. Стихи А. Радакова:

> Опытной рукой шулера-премьера
> На глупые рожи наведен грим.
> И Дантона, и Марата, и Робеспьера,
> И великие роли розданы им…

В первой половине 1918 года между двумя правящими партиями — большевиками и левыми эсерами — то вспыхивая, то угасая, шла острая дискуссия по вопросу о смертной казни. Левоэсеровский нарком юстиции Исаак Штейнберг позднее вспоминал: «Правительство объявило тогда «социалистическое отечество в опасности»… Только к лучшим и возвышенным чувствам трудовых масс, только к самым тонким социально-интимным струнам должен был апеллировать манифест,

стремившийся повторить дни французского 93 года. Ибо манифест ведь звал не к чему иному, как к жертве, к подвигу, к утверждению жизнью и смертью великих слов октябрьской революции… И вот в это самое время в этот самый документ большевиками были брошены ядовитые слова о смерти, о казни, о расстрелах!.. Все дремлющие в массовом человеке инстинкты зла и разнузданности, не переплавленные культурой, не облагороженные моральным подъемом революции, изредка проявлявшиеся в фактах самосудов, — были узаконены, выпущены наружу… Мы не заметили, что этими, вначале узкими, воротами к нам вернулся с своими чувствами и орудиями тот же самый старый мир… Так смертная казнь поселилась вновь среди нас». При обсуждении воззвания Штейнберг заявил, что угроза расстрелами нарушает высокий «пафос воззвания». Ленин возразил:

— Наоборот! Именно в этом настоящий революционный пафос и заключается.

Владимир Ильич иронически передвинул ударение в слове «пафос» и вновь высказал свою излюбленную в это время мысль:

— Неужели же вы думаете, что мы выйдем победителями без жесточайшего революционного террора?

— Зачем мы возимся с наркоматом юстиции? — насмешливо поинтересовался Штейнберг. — Давайте честно назовем его комиссариатом общественного уничтожения и будем этим заниматься.

— Хорошо сказано… — согласился Ленин, — именно так и должно быть… но мы не можем сказать это.

4 июля, во время V съезда Советов, левые эсеры устроили демонстрацию на Театральной площади в Москве, причем одним из главных лозунгов, который они выкрикивали, был: «Долой смертную казнь!» На следующий день, продолжая на съезде спор с левыми эсерами, Ленин говорил: «Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов».

Впрочем, на прямо поставленный вопрос, что лучше: террор или поражение революции? — многие тогда отвечали не так, как Ленин. Тот же Штейнберг писал: «Там, где революция действительно доходит до такого рокового распутья, что только два есть выхода — либо террор, либо отступление, — там она должна для себя избрать последнее…» «Я пойду с товарищами по правительству до конца, — писал своей жене Анатолий Луначарский. — Но лучше сдача, чем террор. В террористическом правительстве я не стану участвовать… Лучше самая большая

беда, чем малая вина». Вероятно, так рассуждал тогда не один Луначарский.

«Только мертвые «человеки в футляре», — писал Ленин о насилии, — способны отстраняться из-за этого от революции…» «Они слыхали… что революцию следует сравнивать с актом родов, но, когда дошло до дела, они позорно струсили… Возьмем описание акта родов в литературе, — те описания, когда целью авторов было правдивое восстановление всей тяжести, всех мук, всех ужасов этого акта, например, Эмиля Золя «La joie de vivre» («Радость жизни») или «Записки врача» Вересаева. Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса… Кто на этом основании зарекался бы от любви и от деторождения?»

Но в 1918 году точка зрения Ленина не находила поддержки даже в рядах самих большевиков. Он с горечью замечал: «Если повести дело круто (что абсолютно необходимо), — собственная партия помешает: будут хныкать, звонить по всем телефонам, уцепятся за факты, помешают. Конечно, революция закаливает, но времени слишком мало… Добер русский человек, на решительные меры революционного террора его не хватает». «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, — писал Ленин, — если она умеет защищаться, но не сразу революция научается защищаться». И в этом случае за перелом настроений своих соратников Ленину пришлось заплатить весьма дорогой ценой: собственной кровью.

«Коли воевать, так по-военному». По письмам и телеграммам Ленина лета 1918 года видно, что он буквально изо всех сил раскачивал, подстегивал, тормошил товарищей, чтобы они действовали «на войне, как на войне». (Сам Ленин эту французскую поговорку очень любил, но переводил иначе: «Коли воевать, так по-военному».) Правда, вплоть до сентября 1918 года все равно ничто не помогало.

Ленин не боялся «перегнуть палку», понукая коллег в самых решительных выражениях. «Говоря о борьбе с врагами, — замечала Крупская, — Ильич всегда, что называется, «закручивал», боясь излишней мягкости масс и своей собственной».

20 июня 1918 года в Петрограде эсер-террорист застрелил видного большевика Моисея Володарского. Это успешное покушение вселило надежду во всех противников большевиков, и правых, и левых. Казалось, власть так слаба и беспомощна, что дни ее сочтены. Московская газета «Анархия» отозвалась на

убийство Володарского статьей Виктора Орленка «Memento mori» («Помни о смерти»). «В воздухе, — писал Орленок, — как после сильной жары, внезапно запахло грозой, ждут сильных громовых раскатов, после того, как человек в рабочей куртке выпустил из браунинга шесть пуль, направленных в представителя власти, Володарского». Орленок предупреждал большевиков о приближении «черного террора»: «Вы не будете знать покоя ни днем, ни ночью; власть, которою вы опьянены, будет вам в тягость. Вы будете не уверены в том, что ложась спать — вы проснетесь, а уйдя гулять… вернетесь, к пище, питью и табаку вы будете относиться также с осторожностью. В каждом приближающемся к вам человеке вы будете видеть Каляевых. Каждый незнакомый человек будет вашим memento mori».

Как раз в эти дни Владимир Ильич направил в Петроград знаменитое «террористическое» письмо:

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!..

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает».

В. Молотов вспоминал такой эпизод: «Как-то вечером после работы он [Ленин] говорит мне: «Зайдем ко мне, товарищ Молотов». Пили чай с черносмородиновым вареньем. «У нас такой характер народный, — говорил Ленин, — что для того, чтобы что-то провести в жизнь, надо сперва сильно перегнуть в одну сторону, а потом постепенно выправлять. А чтобы сразу все правильно было, мы еще долго так не научимся. Но, если бы мы партию большевиков заменили, скажем, партией Льва Николаевича Толстого, то мы бы на целый век могли запоздать». Троцкий называл эту тактику Ленина «методом перегибания палки».

«Нельзя оставлять им живого знамени». Эмоциональной вершиной английской, французской революций была казнь бывших монархов — Карла I, Людовика XVI. Это был разрыв со всем прежним миром, объявление ему окончательной войны. Такую «вершину» предстояло пройти и русской революции. Хотя вначале казалось, что без этого обойдется.

В 1917–1918 годах печать довольно много внимания Уделяла

отрекшемуся императору и его супруге. Первоначально по отношению к ним сохранялся снисходительно-насмешливый тон. Выходила даже бульварная газета под названием «Известия совета безработных царей»… Шутки весны 1917 года: «Скверно иметь громадное генеалогическое дерево только для того, чтобы думать: нельзя ли на нем повеситься?»

«— О, знаешь, этот человек с царем в голове!

— Вот несчастный-то!»

Летом, с усилением большевиков, либералы уверенно «зачислили» бывших царя и царицу в их ряды. Вот на рисунке бывшая царица вызывает дух Григория Распутина.

— А к какой партии ты принадлежишь, Гришенька? — спрашивает она.

— Большевиком здесь считаюсь! — уверенно отвечает призрак.

После июльских событий нарисованный Николай облачается в революционный наряд (мексиканское сомбреро и рваный плащ-пончо — в Мексике в то время тоже бурлила революция) и размахивает флагом с надписью «Анархия». «Не удастся ли под этим флагом, — рассуждает он, — чего-нибудь достигнуть и вернуть потерянное?..»

На карикатуре В. Лебедева царственные супруги удят рыбу. «Читала, Сашенька, сегодняшние газеты? — говорит Николай. — Здорово поправела публика! Глядишь, этак пройдет месяца два-три, мы опять корону себе и выудим».

После Октября газета «День» напечатала шуточный манифест от имени Николая II, где он призывал на выборах голосовать за партию большевиков. А эсеровское «Дело народа» поместило «водевиль» Диеза — воображаемую беседу Николая Романова и Николая Ленина.

Николай III (грациозно раскланиваясь):

Бонжур, товарищ большевик…
Ты был Второй, а я стал Третий, —
Ты власть разрушил, — я воздвиг…

Николай II (угодливо):

Прошу присесть… Алиса!.. Дети!..

Николай III (важно разваливаясь в креслах):

О, я превознесен судьбой,

И, как монарху, мне прилично
Держать совет с одним тобой…

Николай II (любезно):

Что ж, побеседуем… Отлично…

В ходе беседы выясняется, что взгляды двух Николаев полностью совпадают. Например, Ленин говорит:

Хочу всех грамотных сослать,
Чтоб править только тот остался,
Кто пишет «лошадь» через ять…

Николай II (хлопая себя по лбу):

А я, дурак, не догадался…

На рисунках бывший царь еще больше приободрился: вот он (весной 1918 года) в Тобольске любуется своим генеалогическим древом, на котором распускаются молодые зеленые листочки: «Ого, кажется, уже свежие листки начинают пробиваться…» В июне сатирический журнал «Бич» шутил: «Б. царь упражняется в старом своем занятии — пишет без конца: «прочел с удовольствием». Этой подписью испещрены поля всех газет, особенно «Правда»…

Летом 1918 года на Екатеринбург, где находилась царская семья, двигались белогвардейцы. Падение города было неизбежным. Ленин оценил, что если царская семья достанется белым, то этот «трофей» создаст у них ощущение крупной моральной победы. А в красные войска это событие, наоборот, вселит неуверенность и колебания, возможно фатальные. И вопрос был решен им с поистине якобинской беспощадностью.

Подробный рассказ о том, как в Москве решалась судьба царской семьи, оставил Лев Троцкий. Он писал: «Белая печать когда-то очень горячо дебатировала вопрос, по чьему решению была предана казни царская семья… Либералы склонялись как будто к тому, что уральский исполком, отрезанный от Москвы, действовал самостоятельно. Это неверно. Постановление вынесено было в Москве… В один из коротких наездов в Москву — думаю, что за несколько недель до казни Романовых, — я

мимоходом заметил в Политбюро, что, ввиду плохого положения на Урале, следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открытый судебный процесс… по радио ход процесса должен был передаваться по всей стране… Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если б было осуществимо. Но… времени может не хватить… Следующий мой приезд в Москву выпал уже после падения Екатеринбурга. В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом:

— Да, а где царь?

— Кончено, — ответил он, — расстрелян.

— А семья где?

— И семья с ним.

— Все? — спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.

— Все! — ответил Свердлов, — а что?

Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.

— А кто решал? — спросил я.

— Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях.

Больше я никаких вопросов не задавал, поставив на деле крест. По существу, решение было не только целесообразно, но и необходимо. Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель. В интеллигентских кругах партии, вероятно, были сомнения и покачивания головами. Но массы рабочих и солдат не сомневались ни минуты: никакого другого решения они не поняли и не приняли бы. Это Ленин хорошо чувствовал…»

Среди простых людей расстрел бывшего царя действительно встретил одобрение. Это подтверждал, в частности, бывший премьер-министр граф Владимир Коковцов. «На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, — писал он, — это известие произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу, на то, что принято называть «народом», — эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал. В день напечатания известия я был два раза на улице, ездил в трамвае и нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями… Самые отвратительные выражения: «давно бы так», «ну-ка — поцарствуй еще», «крышка Николашке», «эх, брат Романов,

доплясался», — слышались кругом…»

Оппозиция восприняла расстрел бывшего царя по-другому. Либеральный «Синий журнал» в августе 1918 года сопроводил свой рассказ о смерти царя сдержанно-скорбной фразой: «Так трагически окончилось бесславное царствование». Петроградская кадетская газета «Наш век» писала в передовой статье: «Мы не будем распространяться о той обстановке, при которой погиб Николай. Казни без суда, казни по суду и расстрелы во имя спасения революции для нас явления, одинаково квалифицируемые, над кем бы они ни происходили… Живой Николай Романов оставался воплощением дискредитированной бессильной идеи. Насильственная смерть с ее трагизмом прерывает развитие этого процесса… Во всяком случае, укреплению русской свободы это событие едва ли может содействовать». Публицист газеты П. Арзубьев замечал о покойном царе: «Он не только Россию привел на край пропасти, но и династию свою погубил и уронил в грязь самую идею монархии». Сходную оценку давала и беспартийная петроградская газета «Вечерние огни»: «Убив Николая второго, убил ли уральский совдеп вместе с ним идею монархизма? Конечно, нет. К сожалению, он ее безмерно возвеличил. Николай второй в заточении, Николай второй в расстрелянии станет мучеником. И весьма возможно, что сознание народных масс отпустит ему, мертвому, расстрелянному, многие и многие грехи, коих живому не забыло бы никогда».

Резко осудил казнь царя патриарх Тихон. Он заявил перед многочисленной толпой прихожан в московском Казанском соборе: «На днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович… Он мог бы после отречения найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринял для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе… И вдруг он приговаривается к расстрелу… Наша совесть примириться с этим не может, и мы должны во всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны Церкви».

Н. Крупская в своих мемуарах о расстреле царской семьи написала коротко и просто. Но можно предположить, что примерно так смотрел на это событие и Ленин: «Чехословаки стали подходить к Екатеринбургу, где сидел в заключении Николай II. 16 июля он и его семья были нами расстреляны, чехословакам не удалось спасти его, они взяли Екатеринбург лишь 23 июля».

«В Англии и Франции, — говорил сам Ленин, — царей

казнили еще несколько сот лет тому назад, это мы только опоздали с нашим царем». «Да если в такой культурной стране, как Англия… понадобилось отрубить голову одному коронованному разбойнику, чтобы обучить королей быть «конституционными» монархами, то в России надо отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых, чтобы отучить их преемников от организации черносотенных убийств и еврейских погромов». А французы и англичане, которые осуждают большевиков за жестокость, просто «забыли, как они казнили своих королей». «Английские буржуа забыли свой 1649-ый, французы свой 1793-ий год».

В число арестованных большевиками в 1918 году попал великий князь Гавриил Константинович. Однако по просьбе Максима Горького и личному распоряжению Ленина его выпустили. «Освободить-то его освободили, — говорил писатель, — а что же дальше? Если оставить его у Герзони (в больнице. — А.М.), — его там убьют. Нет другого выхода, надо взять его ко мне. У меня в квартире его не посмеют тронуть». Некоторое время великий князь с супругой действительно прожили на квартире писателя. «Ну и надоели же они мне, — признавался Горький, — а положение безвыходное. Впрочем, выход есть, — отправить их за границу, но сделать это может только Ленин». И Ленин такое разрешение дал… В ноябре 1918 года великий князь с женой легально покинули Советскую Россию.

В 1919 году большевики казнили в Петрограде четырех великих князей из дома Романовых. Максим Горький вспоминал, что заступался за них, и Ленин также обещал их освободить.

«— Ну, хорошо, — говорил он мне… — ну, ладно, — возьмете вы на поруки этих людей. Но ведь их надо устроить так, чтоб не вышло какой-нибудь шингаревщины (стихийного самосуда. — *А.М.)*. Куда же мы их? Где они будут жить? Это — дело тонкое!..

Спасти этих людей не удалось, их поторопились убить. Мне говорили, что это убийство вызвало у Ленина припадок бешеного гнева».

Юлий Мартов в московской меньшевистской газете «Всегда вперед!» также возмущался этой казнью: «С социалистической точки зрения четыре бывших великих князя стоят не больше, чем четыре любых обывателя. Но столько они стоят, и жизнь каждого из них… столь же неприкосновенна, как жизнь любого торговца или рабочего… Какая гнусность!.. Какая ненужно-жестокая гнусность… Как будто недостаточно было уральской драмы — убийства членов семьи Николая Романова!.. Когда в августе они были взяты заложниками. Социалистическая Академия, которую

вряд ли заподозрят в антибольшевизме, протестовала против ареста Николая Михайловича, как ученого (историка), чуждого политики. Теперь и этого мирного исследователя истории — одного из немногих интеллигентных Романовых, — застрелили, как собаку. Стыдно!»

«Если нас с вами убьют…» Ленин трезво понимал, что после прихода к власти стал одной из главных мишеней для террористов. В ноябре 1917 года Владимир Ильич говорил о противниках новой власти: «Несомненно они приложат все усилия помешать нам… и испытают все способы. Могут и убить, не такие простачки, как о них думают». Ленин размышлял о будущем революции в случае своей гибели. По воспоминаниям Льва Троцкого, как-то спросил его вскоре после 25 октября:

— А что, если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут Бухарин со Свердловым справиться?

— Авось не убьют, — ответил со смехом Лев Давидович.

— А черт их знает, — сказал Ленин и тоже засмеялся.

Ленин одним из первых понял, что главная опасность покушений исходит не от монархистов или либералов, а от вчерашних товарищей по царским тюрьмам и ссылкам — эсеров. В то время эсеры, даже правые, казались многим большевикам почти союзниками — пусть нестойкими, временно заблуждающимися, но все-таки «своими». Большевик Александр Аросев вспоминал, как летом 1918 года Ленин спросил у него:

— А что вы думаете об эсерах?

Аросев ответил что-то в обычном для тех дней духе.

— Да ведь эсеры, — сказал Ленин, — делаются заговорщиками против советской власти… Они просто стрелять будут в нас!

Эти слова поразили Аросева. «Всегда Ильич скажет что-нибудь такое, — замечал он по этому поводу, — что непременно покажется необыкновенным, отчасти даже на первый взгляд вздорным».

«Поймали его или нет?» 30 августа 1918 года эсеры-террористы устроили сразу два успешных покушения на вождей большевиков. В Петрограде был застрелен Моисей Урицкий, в Москве — тяжело ранен Ленин. О том, как пережил свое ранение и болезнь сам Владимир Ильич, рассказано выше. Остановимся теперь на судьбе его неудавшегося убийцы.

Выстрелив в Ленина, террорист сумел скрыться, никто не успел рассмотреть даже его лица. Шофер Ленина Степан Гиль показал в день покушения: «После первого выстрела я заметил

женскую руку с браунингом». Сразу раздался общий вопль: «Стреляют! Убили! Убили!..»

Испуганная толпа разбежалась, двор мгновенно опустел. Гиль подбежал к упавшему на землю Владимиру Ильичу. «Сознания он не потерял и спросил:

— Поймали его или нет?

Он, очевидно, думал, что в него стрелял мужчина».

Случайно оказавшийся на месте событий военный комиссар Стефан Батулин показывал: «Я услыхал 3 выстрела и увидел товарища Ленина, лежащего ничком на земле. Я закричал: «держи, лови»… С этими криками я выбежал на Серпуховку, по которой одиночным порядком и группами бежали в различном направлении перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди… В это время позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила мое внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила:

— А зачем вам это нужно?

Тогда я, обыскав ее карманы и взяв ее портфель и зонтик, предложил ей идти за мной. В дороге я ее спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина:

— Зачем вы стреляли в тов. Ленина?

На что она ответила:

— А зачем вам это нужно знать? — что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина…»

Шофер Ленина показал, что в начале митинга к нему подходила какая-то женщина (возможно, сообщница стрелявшей) и спрашивала:

— Что, товарищ, Ленин, кажется, приехал?

— Не знаю, кто приехал, — буркнул шофер.

Его собеседница засмеялась:

— Как же это? Вы шофер и не знаете, кого везете?

— А я почем знаю? Какой-то оратор, — мало ли их ездит, всех не узнаешь…

А задержанная сперва вообще отказывалась от показаний:

— Я сидела в царских тюрьмах, жандармам ничего не говорила — и вам ничего не скажу. В Ленина я стреляла… Убила я его или нет? Жив он или нет?..

Потом она немного успокоилась и сообщила, что ей 28 лет, зовут ее Фанни Ефимовна Ройд (Каплан). «Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному убеждению… Я стреляла в Ленина, потому что считаю, что он предатель, и считаю, чем

дольше он живет, он удаляет идею социализма на десятки лет». На вопросы о покушении Каплан не отвечала или отвечала односложно: «Кто мне дал револьвер, не скажу». «Сколько раз я выстрелила — не помню». «Я совершила покушение лично от себя».

Каплан рассказала, что в 1906 году ее арестовали как анархистку за терроризм и присудили к вечной каторге. Отбывая каторгу, она страдала приступами слепоты. Вышла на свободу только после Февраля. «В тюрьме мои взгляды оформились, я сделалась из анархистки социалисткой-революционеркой… По течению эсеровской партии я больше примыкаю к Чернову».

«Он сказал, что не любит меня и никогда не любил». Во время допроса, который вел тогдашний глава чекистов Яков Петерс, Фанни Каплан неожиданно стала давать откровенные показания — но не о подготовке покушения (об этом она по-прежнему молчала), а о своей личной жизни. Она рассказала о своем несчастливом любовном романе с товарищем-анархистом, с которым они познакомились еще в 1906 году, до каторги.

«Ранней весной 1917 года, — рассказывала Каплан, — освобожденные февральской революцией мы, десять политкаторжанок, выехали на телегах из Акатуя в Читу… Был мороз, ветер хлестал по щекам, все были больные, кашляли… и Маша Спиридонова отдала мне свою пуховую шаль… Потом, в Харькове, где ко мне почти полностью вернулось зрение, я так хотела в Москву, поскорей увидеть подруг, и часто сидела одна, закутавшись в эту шаль, прижавшись к ней щекой… Там же, в Харькове, я встретила Мику, Виктора. Мы с ним вместе в шестом году работали в одной группе, готовили взрыв. Встреча была случайной, он остался анархистом, и я была ему не нужна… Даже опасна. Он сказал, что побаивается меня, моей истеричности и прошлого. А я тогда ничего этого не понимала. Как мне объяснить? Все опять было в красках, все возвращалось — зрение, жизнь… Я решила пойти к нему, чтоб объясниться. И перед этим пошла на базар, чтобы купить мыла. Хорошего. Просили очень дорого, и я продала шаль. Я купила это мыло. Потом… утром… он сказал, что не любит меня и никогда не любил, а произошло все сегодня оттого, что от меня пахнет духами Ванды. Я вернулась в больницу, села в кресло и хотела закутаться в свою шаль, потому что я всегда в ней пряталась от холодной тоски. Но шали у меня больше не было, а было это мыло… и я не могу простить себя… не прощаю…»

Этот сумбурный рассказ, записанный в виде протокола, Петерс показал Анатолию Луначарскому, который 1 сентября

приехал к нему на Лубянку.

— Я ее слушал, — со вздохом сказал Петерс, — хотя быстро понял, что вместо какой-то связи со Спиридоновой будет фигурировать одна ее шаль. Но теперь хоть понятно, отчего Каплан такая — сначала полная слепота, потом — несчастная любовь…

— Немного жаль ее? — спросил Луначарский.

— Она мне омерзительна! — возразил Петерс. — Шла убивать, а в голове… мыло.

Позднее Петерс писал: «Я долго ей доказывал, что преступление, которое она совершила… перед революцией, чрезвычайно тяжелое, и мы с ней долго спорили по этому вопросу. В конце концов, она заплакала, и я до сих пор не могу понять, что означали эти слезы: или она действительно поняла, что она совершила самое тяжелое преступление против революции, какое только можно было совершить, или это были просто утомленные нервы. Дальше Каплан ничего не говорила о своих соучастниках в покушении».

Английский консул Роберт Локкарт, в камеру которого завели на время Каплан, описывал ее так: «Ее спокойствие было неестественным. Она подошла к окну и, склонив подбородок на руку, смотрела сквозь окно на рассвет. Так она оставалась неподвижной, безмолвной, покорившейся, по-видимому, своей судьбе до тех пор, пока не вошли часовые и не увели ее прочь».

Споры о судьбе Каплан. Несмотря на ясное признание Каплан («стреляла в Ленина я»), вокруг ее дальнейшей судьбы разгорелись бурные споры. Глава Советского государства Яков Свердлов 2 сентября на заседании «советского парламента» — ВЦИК — предложил решить ее судьбу немедля:

— В деле есть ее признание? Есть. Товарищи, вношу предложение — гражданку Каплан за совершенное ею преступление сегодня расстрелять.

— Признание не может служить доказательством вины, — возразил ему Петерс.

В руководстве страны столкнулись две противоположные точки зрения. Свердлов считал, что соблюдение всех формальностей, кропотливое выяснение степени вины каждого арестованного будет для революции смерти подобно. То, что Каплан причастна к покушению на Ленина, не вызывало сомнений. Следовательно, всеми тонкостями и деталями — стреляла ли она сама, или только прикрывала других террористов, можно пренебречь.

— Нам объявили войну, — доказывал Свердлов, — мы

ответим войною. И чем жестче и однозначнее будет ее начало, тем ближе станет конец.

— С дела Каплан, — упорствовал главный чекист, — мы имеем шанс раз и навсегда отказаться от подмены закона какой бы то ни было целесообразностью.

Большинство участников заседания поддержали точку зрения Свердлова. Вечером на Лубянку приехал комендант Московского Кремля Павел Мальков. У него на руках было постановление, требовавшее выдать ему Каплан.

«У меня была минута, — говорил позднее Петерс, — когда я до смешного не знал, что мне делать, — самому застрелить эту женщину, которую я ненавидел не меньше, чем мои товарищи, или отстреливаться от моих товарищей, если они станут забирать ее силой, или… застрелиться самому».

Малькову пришлось несколько раз приезжать на Лубянку. Уговаривать первого чекиста приезжал и Анатолий Луначарский. Он рассуждал о вопросах вины и преступления мягко, в философском ключе. Дано ли человеку вообще быть только праведником?

«Анатолий Васильевич, — рассказывал Петерс, — дал мне урок русского языка, еще раз деликатно напомнив, до какой степени для моих товарищей я все еще «англичанин». (Петерс долго прожил в Англии. — А.М.) «В каждом из нас, — сказал он, — сидят двое: преступник — пере-ступник и праведник — право-дник, судия»… В то утро я отдал-таки своего судью на расстрел Малькову».

Под «судией» Петерс подразумевал, конечно, не саму Каплан, а внутреннее чувство собственной правоты, «праведности». 3 сентября он решился-таки исполнить приказание. Мальков доставил Каплан в Кремль, во двор автобоевого отряда… О дальнейшем рассказывал сам Мальков в своих воспоминаниях: «Расстрел человека, особенно женщины, — дело нелегкое. Это тяжелая, очень тяжелая обязанность, но никогда мне не приходилось исполнять столь справедливый приговор, как теперь… К моему неудовольствию, я застал здесь Демьяна Бедного, прибежавшего на шум моторов… Увидев меня вместе с Каплан, Демьян сразу понял, в чем дело, нервно закусил губу и молча отступил на шаг. Однако уходить он не собирался. Ну что же! Пусть будет свидетелем…

— К машине! — подал я отрывистую команду, указав на стоящий в тупике автомобиль.

Судорожно передернув плечами, Фанни Каплан сделала один шаг, другой… Я поднял пистолет…

Было 4 часа дня 3 сентября 1918 года. Возмездие свершилось.

Приговор был исполнен. Исполнил его я, член партии большевиков, матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Дмитриевич Мальков, — собственноручно. И если бы история повторилась, если бы вновь перед дулом моего пистолета оказалась тварь, поднявшая руку на Ильича, моя рука не дрогнула бы, спуская курок, как не дрогнула она тогда…»

Газета «Известия» напечатала короткое сообщение: «Вчера по постановлению В.Ч.К. расстреляна стрелявшая в тов. Ленина правая эс-эрка Фанни Ройд (она же Каплан)».

Дискуссии о красном терроре. В целом события 30 августа 1918 года — выстрелы в Ленина и убийство Моисея Урицкого — оказались переломными в отношении большевиков к террору. «В эти трагические дни, — писал позднее Троцкий, — революция переживала внутренний перелом. Ее «доброта» отходила от нее». Большевики решились объявить красный террор, что и было официально сделано 5 сентября. Любопытно, что эту меру поддержали не только сами большевики, но и часть левой оппозиции. Так, журнал эсеров-максималистов «Максималист» 7 октября 1918 года провозглашал: «Красный террор всем врагам народа, буржуазии и всем ее прихвостням!» Газета другой народнической партии — партии революционного коммунизма — «Воля труда» писала 15 сентября: «Нам надо пройти через жестокости красного террора. Как неизбежное зло мы его принимаем».

Меньшевики выразили свое отношение к выстрелам в Ленина и Урицкого отдельной листовкой и в газете «Утро Москвы»: «Как бы ни были идейны и чисты граждане, свершившие это покушение, как бы ни были благородны их побуждения… к этим террористическим актам может быть только одно отношение: возмущение и негодование. Убийство — не доказательство. Спор между сторонниками демократии и сторонниками советской власти не может быть решен ни террористическими актами, ни расстрелами по суду и без суда».

Волна расстрелов «за кровь Ленина и Урицкого» прокатилась по всей стране. Среди казненных в Москве оказались и бывшие царские министры: А. Протопопов, И. Щегловитов и другие. Находившийся под арестом английский консул Роберт Локкарт из тюремного окна 5 сентября увидел нескольких стариков-министров, которых куда-то повели.

— Куда они идут? — спросил он.

— На тот свет, — отвечал ему Петерс.

Журнал «Красный дьявол» тогда отозвался на казнь царских министров следующими стихами (переиначив известные строки

Василия Жуковского):

Они жестоко нас давили,
При них для нас был тьмою свет…
Не говори с тоскою: были.
А с благодарностью: их нет.

Другому расстрелянному в те дни, знаменитому вождю черносотенцев доктору Дубровину, советская печать посвящала посмертно такие строки:

Старый партиец с 5-го года.
Член партии «Союз русского народа».
«Русское знамя» держит любовно.
Ну, как не узнать доктора Дубровина?
Честное, открытое лицо! Как не любить!
Такое открытое, что хочется закрыть!..

Глава ВЧК Яков Петерс говорил в ноябре в интервью меньшевистской газете «Утро Москвы»: «Что же касается расстрелов, то я должен сказать, что, вопреки распространенному мнению, я вовсе не так кровожаден, как думают. Напротив, если хотите знать, я первый поднял вопль против красного террора в том виде, как он проявлялся в Петербурге. К этому — я сказал бы истерическому — террору прикосновенны больше всего как раз те самые мягкотелые революционеры, которые были выведены из равновесия и стали чересчур усердствовать…»

Вокруг красного террора, его целей и методов продолжали кипеть жаркие споры. Московская анархическая газета «Вольный голос труда» отмечала 16 сентября: «Полнейшее убожество духа и мысли правящей партии чрезвычайно ярко и выпукло выразилось… в так называемом красном терроре… Выхватывание наугад из буржуазных рядов заложников, кандидатов на расстрел, — это позор, который мог не смущать Тамерлана, но который недопустим в наше время». Журналист той же газеты Григорий Лапоть возмущался: «Расстрел заложников, что это такое?! Где мы живем?! В Африке? Или мы вернулись к временам Цезаря?.. Опомнитесь, господа большевики, не губите революцию!»

Видный чекист Мартын Лацис писал 1 ноября 1918 года в журнале «Красный террор»: «Мы уже не боремся против отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию как класс… Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против

Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного Террора».

Эти строки вызвали острые возражения. Ленин замечал в одной статье (тогда, впрочем, не напечатанной): «Вовсе не обязательно договариваться до таких нелепостей, которую написал в своем казанском журнале «Красный Террор» товарищ Лацис… «Не ищите (!!?) в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом».

В полемику с Лацисом вступил старый большевик Емельян Ярославский. 25 декабря 1918 года в газете «Правда» он также называл его утверждения «нелепостью» и выражал против них «решительный протест». Ярославский писал: «Воображаю только Карла Маркса или тов. Ленина в руках такого свирепого следователя.

— Имя ваше?

— Карл Маркс.

— Какого происхождения?

— Буржуазного.

— Образование?

— Высшее.

— Профессия?

— Адвокат, литератор.

Чего тут рассуждать еще, искать признаков виновности, улик… К стенке его — и только».

Один из чекистов в «Еженедельнике ЧК» пошел еще дальше — предложил «не миндальничать» с явными врагами и применять к ним утонченные пытки, от одного описания которых волосы вставали бы дыбом. Но против этого возмутились уже все партии — от меньшевиков до большевиков. В частности, публицист «Воли труда» А. Александров отмечал: «Средневековые следователи отказались от пыток не из этических соображений, а больше из-за того, что они не достигали цели, редко давая истинные материалы, создавая ложные оговоры себя и других слабых духом и безрезультатно применяемые к сильным и стойким… Уверенные в своей силе и правоте — не ругаются над врагом, это делает толпа в своем ослеплении или садисты в сладострастии жестокости».

«Драка — каждый действует, как умеет». Вскоре после покушения Каплан, когда Ленин только оправлялся от ранений, его навестил Максим Горький. Это была их первая встреча в

России после революции. Писатель тогда принадлежал к противникам большевиков, сурово обличал их в серии своих газетных статей — «Несвоевременные мысли». Кстати, само название этой серии было скрытым возражением Ленину, который в свое время похвалил роман Горького «Мать» знаменитой фразой: «Очень своевременная книга».

Поэт Безработный в 1918 году посвящал Горькому следующие укоризненные строки:

В великий день освобожденья
Ты был не с нами, Горький, нет!..
Ты позабыл свои ученья,
Ты позабыл святой завет!..

Ты отказался от народа,
А ведь народ тебя любил;
И каждый труженик завода
Твои произведенья чтил!..

Однако, несмотря на все разногласия, выстрелы эсеров Горького искренне возмутили, и он пришел к Ленину выразить свои чувства. «Я пришел к нему, — писал Горький, — когда он еще плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на мое возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

— Драка. Что делать? Каждый действует как умеет».

Один из свидетелей этой беседы передавал слова Ленина так: «На войне как на войне! Еще не скоро она кончится…»

Сходную мысль Ленин высказывал еще десятилетием ранее, когда писал, что откровенных врагов «трудно ненавидеть». «Чувство тут уже умерло, как умирает оно, говорят, на войне после длинного ряда сражений, после долгого опыта стрельбы в людей и пребывания среди рвущихся гранат и свистящих пуль. Война есть война…»

Получалось, что Ленин даже «оправдывает» действия террористов против него. Но точно так же он отвечал и на другие упреки писателя — уже в адрес большевиков. И вновь использовал образ драки. Горький вспоминал: «Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

— Чего вы хотите? — удивленно и гневно спрашивал он. — Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на

нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы — что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?..

— Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? — спросил он меня однажды после горячей беседы».

«Что же делать?.. — спрашивал Ленин. — Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело? Конечно! Вы думаете, мне тоже не бывает трудно? Бывает — и еще как!.. Ничего не поделаешь! Пусть лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!»

«Не преуменьшайте ни одного из зол революции, — советовал он иностранным товарищам. — Их нельзя избежать. На это надо рассчитывать заранее: если у нас революция, мы должны быть готовы оплачивать ее издержки».

«Революции не сделаешь в белых перчатках», — любил повторять Владимир Ильич. И он решительно поддерживал, по его выражению, «варварские средства борьбы против варварства». «Мы говорим: нам террор был навязан… Если бы мы попробовали… действовать словами, убеждением, воздействовать как-нибудь иначе, не террором, мы бы не продержались и двух месяцев, мы бы были глупцами».

Однажды он заметил Горькому: «Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Все будет понятно, все!»

Впрочем, Ленин соглашался, что смертная казнь — одна из вынужденных «варварских мер», и в 1920 году попытался отменить ее. «Как только мы одержали решительную победу, — заявил он, — еще до окончания войны… мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали». Но вскоре началась новая война (с Польшей), и об отказе от смертной казни вновь пришлось забыть.

«История — мамаша суровая». Максим Горький часто обращался к Ленину с заступничеством за разных людей, пострадавших от революции. Владимир Ильич писал ему в 1919 году: «Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и «весьма противно»!!! Еще бы! В такое время приковать себя к самому больному пункту… В Питере можно работать политику, но Вы не политик. Сегодня — зря разбитые стекла, завтра — выстрелы и вопли из тюрьмы…

потом сотни жалоб от обиженных… — как тут не довести себя до того, что жить весьма противно». И советовал писателю радикально переменить обстановку, «иначе опротиветь может жизнь окончательно».

Однажды Горький рассказал главе Совнаркома такую историю: «В 19-м году в Петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала: — Я княгиня Ц., дайте мне кость для моих собак! Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства».

«Я рассказал Ленину эту легенду, — писал Горький. — Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он все прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

— Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

— Да, этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

— Думаю — не вживутся.

— Значит — или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это или он действительно жалеет людей?

— Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ, по преимуществу талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови».

«Музыка слишком сильно на меня действует». «Очень любил слушать музыку, — вспоминала Крупская о Ленине. — Но страшно уставал при этом. Слушал серьезно. Очень любил Вагнера. Как правило, уходил после первого действия как больной». Большевик Михаил Кедров, игравший на фортепьяно для Ленина, писал: «Больше всего нравилась Ильичу музыка Бетховена. Его сонаты — патетическая и d-moll, его увертюры «Кориолан» и «Эгмонт»… С большой охотой слушал Ильич также некоторые произведения Шуберта — Листа («Лесной царь», «Приют»), прелюдии Шопена, но не нравилась ему чисто

виртуозная музыка и вовсе не выносил слащавых «Песен без слов» Мендельсона».

«Десять, двадцать, сорок раз, — признавался Ленин, — могу слушать Sonate Pathetique Бетховена, и каждый раз она меня захватывает и восхищает все более и более».

— Почему вы не попробуете развлечься хоть немного хорошей музыкой, Владимир Ильич? — поинтересовался как-то у главы советского правительства Глеб Кржижановский.

— Не могу, — отвечал Ленин. — Она слишком сильно на меня действует.

«Конечно, очень приятно слушать музыку, — заметил он в другом разговоре, — но, представьте, она меня расстраивает. Я ее как-то тяжело переношу».

Однажды в 1921 году Ленин сражался на балконе в шахматы, а в соседней комнате кто-то исполнял на фортепьяно Патетическую сонату Бетховена. Шахматную партию Владимир Ильич проиграл, а потом смущенно признался: «Виновата музыка».

Эти признания Ленина хорошо дополняются воспоминаниями Максима Горького. Как-то вечером на московской квартире Екатерины Пешковой глава Совнаркома с удовольствием слушал сонаты Бетховена в исполнении музыканта Исая Добровейна (которого Владимир Ильич шутливо называл «чудесно-чудесно-вейн»). Затем сказал:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!..

Этот отзыв Ленина об «Аппассионате» вошел во многие советские хрестоматии. Любопытно, что в них обычно опускалось продолжение ленинских слов. А между тем в этом коротком монологе отразился весь Ленин, с его мгновенными переходами из одного настроения в другое. Прищурившись, Владимир Ильич невесело продолжал:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-м, — должность адски трудная!

«Вот вам и гляди на звезды!» В чем-то похожую историю о Ленине рассказывает и Александра Коллонтай. Заодно она

отвечает на вопрос: интересовался ли Владимир Ильич совсем далекими от повседневной жизни вещами вроде астрономии? (Впрочем, писала об этом и Крупская: «Ильич любил… звездные ночи, любил подолгу смотреть на звезды».)

Как-то раз в 1918 году Коллонтай зашла в кабинет Ленина в Смольном. «В комнате темно, но я могу различить у окна стоящего человека и по силуэту, вырисовывающемуся на фоне ясного зимнего неба, узнаю, что это Владимир Ильич. Я замираю от неожиданности и неловкости, что ворвалась, не постучав. Владимир Ильич стоит неподвижно, спиной к двери. Он смотрит в окно, высоко подняв голову, очевидно, глядит на небо. А небо зимнее, светлое и очень звездное. Я боюсь пошевелиться. В комнате тихо-тихо. Неожиданно голос Владимира Ильича прерывает тишину.

— Звезды, — говорит он. — Какие звезды сегодня! Очевидно, мороз покрепчал.

И вдруг, повернувшись в мою сторону, спрашивает:

— А вы когда-нибудь смотрите на звездное небо?

Мой ответ:

— Когда бываю на океане или в деревне.

— На океане? Ах да, ведь вы были в Америке! А я в ранней юности очень хорошо знал все созвездия, теперь начинаю забывать. Некогда…»

А уже через несколько минут Ленин горячо обсуждал злободневное событие — самосуд, который революционные матросы устроили над двумя бывшими депутатами Государственной думы. (Вероятно, Коллонтай имела в виду двух известных кадетов — Шингарева и Кокошкина, убитых в январе 1918 года.) После Февраля такие самосуды — над офицерами, адмиралами… — стали привычным делом. Но теперь большевики пытались положить им конец. «Никогда я еще не видела Владимира Ильича таким возбужденным и рассерженным, — писала Коллонтай. — Всегда бледное его лицо побагровело, и в голосе звучали непривычно грозные ноты».

«Самосуд! — гремел он. — Мы не потерпим этого. И виновных предадим законному народному суду. Скажите вашему Балтфлоту: то, что вынужден был терпеть Керенский, того не потерпит власть рабочих и крестьян… Советую вам, товарищ Коллонтай, сейчас же поехать к вашим друзьям — балтфлотовцам — и разъяснить им, что Советская власть не терпит анархии. И пусть они бросят свои самостийные штучки. Мы их за это по головке не погладим. Нет. Анархии мы не потерпим!»

Прошло некоторое время, и Коллонтай вновь зашла к председателю Совнаркома. «Владимир Ильич был совершенно

спокоен и выдержан, как всегда. Лицо его было бледно, а глаза даже улыбались, когда он, повернувшись ко мне, сказал:

— Вот вам и гляди на звезды!»

Глава 11
«Стихия войны есть опасность»

Ленин старался быстрее кончить
Великую Отечественную войну.

Из школьных сочинений о Ленине

История революции — история бесконечных смертельных опасностей и катастроф. «Как сказал Клаузевиц, стихия войны есть опасность, — говорил Ленин в 1921 году, — а мы ни одно мгновение не стояли вне опасности». «На войне нет ни одной минуты, когда бы ты не был окружен опасностями». «Во время ожесточенной войны (революция есть самая ожесточенная война) карой за глупость бывает поражение».

Чтобы выжить в этой стихии, Ленину приходилось идти на бесчисленные крутые повороты. И каждый раз он преодолевал, иногда с величайшим трудом, отчаянное сопротивление товарищей по партии. Вновь и вновь среди них возникала оппозиция. Об одном таком повороте — от прекраснодушия новой власти к «красному террору» — уже сказано выше. Но, возможно, еще более трудным поворотом стал выход России из мировой войны.

Нобелевская премия для Ленина. Русские солдаты на фронте известие о падении Временного правительства встретили восторженно. Как вспоминала знаменитая женщина-офицер Мария Бочкарева (противница большевиков), в окопах раздавались дружные «крики восторга»:

«— Мир! Мир! — гремело в воздухе.

— Бросай фронт! Все по домам! Ура Ленину! Ура Троцкому! Ура Коллонтай!»…

Среди европейской общественности, уставшей от войны, лозунг мира также находил сочувствие. В ноябре 1917 года Владимир Ильич был выдвинут на присуждение ему Нобелевской премии мира. Это предложение внесла норвежская социал-демократическая партия. «До настоящего времени, — говорилось в ее обращении, — для торжества идеи мира больше всего сделал Ленин, который не только всеми силами пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению».

Нобелевский комитет предложение отклонил — но только по

формальным причинам, потому что оно опоздало (вносить имена кандидатов следовало до 1 февраля 1917 года).

«Мужик голосовал ногами». Однако после Октября с немцами было подписано лишь перемирие, а теперь требовалось заключить настоящий мир. Вначале большевики убеждали Германию принять честный мир «без победителей и побежденных». Ленин описывал эти переговоры с юмором: «Лежал смирный домашний зверь рядом с тигром и убеждал его, чтобы мир был без аннексий и контрибуций, тогда как последнее могло быть достигнуто только нападением на тигра».

«Для затягивания переговоров, — заметил Ленин, — нужен затягиватель».

В качестве такого «затягивателя» в Брест-Литовск послали Льва Троцкого. Но в конце концов вопрос встал ребром: принимать или нет германские условия мира? Необходимость этого смущала многих большевиков. Подписывать мир с кайзером Вильгельмом!

— Как же мы будем заключать мир с правительством Гогенцоллернов? — недоуменно спрашивали «левые коммунисты».

Ленин на подобные сомнения отвечал жестко, даже злобно:

— Вы хуже курицы. Курица не решается перешагнуть через круг, начерченный вокруг нее мелом, но она хотя может для своего оправдания сказать, что этот круг начертала вокруг нее чужая рука. Но вы-то начертали вокруг себя собственной рукой формулу и теперь смотрите на нее, а не на действительность.

Мир надо подписывать немедленно, считал Ленин.

«Шутить с войной нельзя, — доказывал он. — Нельзя рисковать: сейчас нет на свете ничего важнее нашей революции… Прежде всего нужно спасти революцию, а спасти ее может только подписание мира».

«Лучше худой мир, чем хорошая война, а мир мы получим».

Карл Радек вспоминал такой эпизод: «Я не забуду никогда своего разговора с Ильичем перед заключением Брестского мира. Все аргументы, которые мы выдвигали против заключения Брестского мира, отскакивали от него, как горох от стены. Он выдвигал простейший аргумент: войну не в состоянии вести партия хороших революционеров… Войну должен вести мужик». «На революционную войну мужик не пойдет, — говорил Ленин, — и сбросит всякого, кто открыто это скажет… Потерпевшая поражение армия свергнет Советское правительство, и мир будет подписан не нами». «Кто идет сейчас на войну, идет против народа».

— Разве вы не видите, что мужик голосовал против войны? — спрашивал Ленин.

— Позвольте, как это голосовал? — возмущался Радек.

— Ногами голосовал, бежит с фронта.

«Надо было, — добавлял Радек, — чтобы мужик дотронулся руками до данной ему революцией земли, надо было, чтобы встала перед ним опасность потери этой земли, и тогда он будет ее защищать…» Большинство партии опять было не на стороне Ленина. «Около Ильича образовалась какая-то пустота, — вспоминала Крупская. — В чем-чем только его не обвиняли!» В конце концов большевики избрали соломоново решение — мира не подписывать, но и войны не вести, а армию распустить по домам.

«Все это очень заманчиво, — говорил Ленин Троцкому, — и было бы так хорошо, что лучше не надо, если бы генерал Гофман оказался не в силах двинуть свои войска против нас. Но на это надежды мало. Он найдет для этого специально подобранные полки из баварских кулаков, да и много ли против нас надо? Ведь вы сами говорите, что окопы пусты… Сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция; ее надо обезопасить во что бы то ни стало».

«Ленин со своей позицией оказался одиноким, — писал Троцкий. — Он недовольно поматывал головой и повторял:

— Ошибка, явная ошибка, которая может нам дорого обойтись! Как бы эта ошибка не стоила революции головы…»

«Мне рассказывали… как Ленин, не добившись толку, явно рассвирепел, — писал большевик Н. Осинский. — Он не говорил ни слова, а только мерял комнату шагами. «Он ходил буквально, как тигр в клетке. Не хватало только хвоста, чтобы бить себя по бокам».

Ленин спрашивал у одной из своих сотрудниц, Марии Скрыпник:

— А вы за мир или за продолжение войны?

— Я за мир.

— Почему?

— Просто потому, что и при Керенском, и теперь я вижу, как солдаты держат винтовку; она прямо валится у них из рук.

— А вы это правильно подметили и верный вывод сделали.

«Я подметила, — писала позднее Скрыпник, — что он прислушивался, когда кто-либо из рядовых членов рассказывал ему о фактах или впечатлениях. Но там, где начинались пространные рассуждения, он со скучающим видом прекращал разговор, откровенно зевая и прикрывая рот широкой ладонью».

— Эх, вояки! — укорял Ленин «воинственно» настроенных

товарищей. — Если можно было бы воевать при помощи красивых слов и резолюций, то давно весь мир был бы уже вами завоеван.

«Сей зверь прыгает быстро», — с тревогой повторял он о германской военной машине. Так оно и вышло: как только истек срок перемирия, Германия возобновила войну.

«До Камчатки дойдем, но будем держаться». «Левые коммунисты» страстно доказывали, что в Германии со дня на день разразится революция, которая спасет русскую революцию. Ленин возражал на это: «Только глупец может спрашивать, когда наступит революция на Западе. Революцию нельзя учесть, революцию нельзя предсказать, она является сама собой… Разве за неделю до февральской революции кто-либо знал, что она разразится? Разве в тот момент, когда сумасшедший поп вел народ ко дворцу, кто-либо думал, что разразится революция 1905-го года?»

Крупская рассказывала, как в эти тревожные февральские дни они с мужем гуляли по Петрограду. «Ходим мы по Неве. Сумерки. Над Невой запад залит малиновым цветом зимнего питерского заката… Возвращаемся домой, Ильич вдруг останавливается, и его усталое лицо неожиданно светлеет, он подымает голову и роняет: «А вдруг?», т. е. вдруг в Германии уже идет революция. Мы доходим до Смольного. Пришли телеграммы: немцы наступают. Вдвое темнеет Ильич…»

— Это пустяки, — пытались бодриться противники мира, — ведь кто идет против нас, кто? Ведь не настоящая немецкая армия, а ландштурмисты и ландвертисты. (Этими словами в германской армии обозначались солдаты ополчения, ратники.)

— Неужели же вы думаете, — отвечал на это Ленин, — что против нашей армии в том виде, как она есть сейчас, нужна прусская гвардия? Нашу армию сейчас и ландвертисты готовы до Москвы гнать.

Не встречая никаких препятствий, немцы развили быстрое наступление. Журнал «Новый Сатирикон» иронизировал:

«— Наша власть не железо, а кисель! — сказал Ленин.

То-то немцы и прут — за семь верст киселя хлебать».

— Кто правит Россией, Ульянов иль Ленин? — задавался вопросом один из читателей журнала.

— Ни тот, ни другой, — отвечала ему редакция. — А третий: Гогенцоллерн!

Газета «День» шутила, что большевики выражают волю «подавляющего большинства… прусского народа».

— Старая армия драться не станет, — рассуждал вслух Ленин в эти дни. — Новая пока больше на бумаге. Только что сдался

Псков, не оказав никакого сопротивления… Нет другого выхода, как мир.

В разговоре с Троцким наедине Ленин говорил:

— Вчера еще прочно сидели в седле, а сегодня только лишь держимся за гриву. Зато и урок! Этот урок должен подействовать на нашу проклятую обломовщину. Наводи порядок, берись за дело, как следует быть, если не хочешь быть рабом! Большой будет урок, если… если только немцы с белыми не успеют нас скинуть.

Троцкий спрашивал:

— А если немцы будут все же наступать? А если двинутся на Москву?

— Отступим дальше на восток, на Урал, — отвечал Ленин, — заявляя о готовности подписать мир. Кузнецкий бассейн богат углем. Создадим Урало-Кузнецкую республику, опираясь на уральскую промышленность и на кузнецкий уголь… Будем держаться. В случае нужды, уйдем еще дальше на восток, за Урал. До Камчатки дойдем, но будем держаться. Международная обстановка будет меняться десятки раз, и мы из пределов Урало-Кузнецкой республики снова расширимся и вернемся в Москву и Петербург. А если мы ввяжемся сейчас без смысла в революционную войну и дадим вырезать цвет рабочего класса и нашей партии, тогда уж, конечно, никуда не вернемся.

Сатирик Аркадий Аверченко в газете «Петроградское эхо» иронизировал над слухами о предстоящем отъезде большевиков на восток: «То-то там радость будет! Москва и Петроград оденутся в траур, а в Екатеринбурге — радостный перезвон колоколов… Недоумеваю, — продолжал он, — как может население Москвы и Петрограда отпустить от себя эту роскошную власть… Да я бы зубами в них вцепился».

На одной из карикатур тех дней Лев Троцкий, высоко держа в руке горящий факел, гордо провозглашал: «Этим факелом мы зажжем мировой пожар революции».

Но на следующей картинке Троцкий уже услужливо подносил этот факел германскому генералу, чтобы тот мог прикурить сигару… «Зажгли», — резюмировал художник Бант.

А сам Ленин на карикатуре Б. Антоновского в петроградской газете «Молва», запинаясь, объявлял: «Я должен заявить вам, что вследствие непризнания со стороны германского правительства красного флага Российской Социалистической Федеративной Республики, мы вынуждены будем… заменить… его… белым!!!!»

Несмотря на немецкое наступление, многие большевики по-прежнему были настроены воинственно. Они тяжело переживали необходимость заключить с кайзером «похабный мир». Вождь

«левых коммунистов» Николай Бухарин даже разрыдался после одного из заседаний: «Что мы делаем? Мы превращаем партию в кучу навоза».

Выступая на съезде партии, Ленин язвительно отвечал на подобные сетования: «Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен идти ползком на брюхе, в грязи, тогда ты не революционер, а болтун, и не потому я предлагаю так идти, что это мне нравится, а потому, что другой дороги нет, потому что история сложилась не так приятно…»

Тем же товарищам, кто гордо уверял, что таким путем они не пойдут, Владимир Ильич спокойно и веско возражал: «Пойдете. Жизнь масс, история — сильнее, чем ваши уверения. Не пойдете, так вас история заставит». «Перехитрить историю нельзя». Он замечал о своих противниках: «Тупоглазие у них — им бы все по шоссейной дороге; а ведь идти-то приходится иной раз по болоту. А по болоту, если прямо, угодишь в трясину по самые уши. А то еще хуже. Надо по кочкам. А она иной раз вон где, в стороне. А им уж кажется, что с нее и дороги дальше не найти: придется назад идти. Вздор какой. Без компаса в себе, потому и кажется».

«Факты — упрямая вещь, — писал тогда же Ленин, — как говорит справедливая английская пословица». А придавать какое-то фатальное значение подписанным бумажкам смешно. Давали же большевики клятву верности царю, подписывали присягу, когда шли в депутаты Государственной думы — и это было правильно. «История сделала определенный зигзаг, завела в вонючий хлев. Пусть. Как тогда шли в вонючую Думу, так пройдем и теперь. Худа не будет». «Никогда в войне формальными соображениями связывать себя нельзя… Некоторые, определенно, как дети, думают: подписал договор, значит, продался сатане, пошел в ад. Это просто смешно, когда военная история говорит яснее ясного, что подписание договора при поражении есть средство собирания сил». «История… нас очень больно побила, а за битого двух небитых дают». «Разбитые армии хорошо учатся».

Владимиру Ильичу пришлось пригрозить своей отставкой со всех постов, чтобы добиться от товарищей поддержки в вопросе о мире. Он заявил: «Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете, то вы подпишете смертный приговор Советской власти… Я ставлю ультиматум не для того, чтобы его снимать».

«Больше я не буду терпеть ни единой секунды, — отчеканил он. — Довольно игры! Ни единой секунды!..»

В конце концов после отчаянной борьбы точка зрения Ленина одержала победу.

Но теперь мирные условия стали во сто крат тяжелее: в

частности, немцы заняли всю Украину. «Из Киева сообщают, — острила газета «Чертова перечница», — что немцы почили на лаврах. В число лавр попала и Киево-Печерская». А в Одессе распевали шуточную песенку:

Ще не вмерла Украина,
От Одессы до Берлина.
Гайдамаки ще не сдались,
Дейчланд, Дейчланд юбер аллес.

Однако красная Россия все-таки получила, по выражению Ленина, «передышку». Либеральный журналист Г. Курский острил над этим словечком: «Перед смертью не надышишься». А меньшевистская газета «Новый луч» печатала стихи Шамиля Злого «Передышка»:

— Что за штука передышка? —
Обыватель раз спросил.
— Разве эта никудышка —
Грозный признак красных сил?
Как ответить?
— Передышка —
Жалкий способ оттянуть
Тот момент, когда вам «крышка»
Прикрывает жизни путь.

Вождь меньшевиков Юлий Мартов на IV съезде Советов иронически назвал Брестский мир «первым разделом России». Но Ленин не унывал. «Мы выиграли темп, — говорил он позднее, — мы выиграли немножко времени и только отдали за это очень много пространства».

«Что вы мне даете резолюции? — ехидно спрашивал он у противников мира. — Лучше выставьте на Красной площади боеспособные полки, тогда я тоже скажу, что этого мира заключать не следовало».

А в том, чтобы выиграть от драки двух сильных врагов (Антанты и Германии), Ленин не видел ничего зазорного. «Когда два вора дерутся, честные люди выигрывают». «Если бы мы этого правила не держались, мы давно… висели бы все на разных осинах». «Наша революция боролась с патриотизмом. Нам пришлось в эпоху Брестского мира идти против патриотизма».

«Новый Сатирикон» был неистощим на шутки по поводу суровых условий Брестского мира:

«— Вы знаете, Россия сейчас самая еврейская страна в мире.

— Почему?

— Обрезана со всех сторон».

Или: «Карта России из географической сделалась обыкновенной игральной. И самой маленькой. Любой король ее бьет».

А правая газета «Вечерние ведомости» (бывшая «Биржевка») печатала даже еще более злые стихи Чичероне:

Русь в стальном корсетике
Плачет, бьется,
А на лбу билетики:
«Продается!»

«Смольный — потому Смольный, что мы в Смольном».

Чтобы уменьшить угрозу для новой власти, Ленин предложил перевести правительство в Москву. Среди его соратников это вызвало серьезные сомнения и возражения. Многие (например, Зиновьев и Луначарский) спрашивали: как же можно покидать Петроград, колыбель революции? Смольный стал олицетворением новой власти, и вдруг правительство сбежит оттуда? Рабочие воспримут это как дезертирство, проявление слабости и трусости, не поймут.

Ленина такие доводы выводили из себя. Он отвечал товарищам: «Можно ли такими сентиментальными пустяками загораживать вопрос о судьбе революции? Если немцы одним скачком возьмут Питер и нас в нем, то революция погибла. Если же правительство — в Москве, то падение Петербурга будет только частным тяжким ударом. Как же вы этого не видите, не понимаете? Более того: оставаясь при нынешних условиях в Петербурге, мы увеличиваем военную опасность для него, как бы толкая немцев к захвату Петербурга. Если же правительство — в Москве, искушение захватить Петербург должно чрезвычайно уменьшиться: велика ли корысть оккупировать голодный революционный город, если эта оккупация не решает судьбы революции и мира? Что вы калякаете о символическом значении Смольного! Смольный — потому Смольный, что мы в Смольном. А будем в Кремле, и вся ваша символика перейдет к Кремлю».

Он замечал в эти дни: «Ганнибал у ворот, — об этом мы не должны забывать ни на минуту». «Этот зверь прыгает хорошо. Он это показал. Он прыгнет еще раз. В этом нет ни тени сомнений».

«Если нам придется оставить Петроград, — говорил Владимир Ильич, — отступим в Москву, на Урал… Даже если нас

отодвинут и за Урал, мы и там создадим свое советское государство и в конце концов победим».

В итоге точка зрения Ленина возобладала, и 11 марта 1918 года правительство переехало в Москву. «Курица не птица, Петроград не столица», — шутила оппозиционная печать. Поэт Кампеадор увидел в смене столиц движение вглубь истории — от эпохи Петра I к эпохе московских царей:

Ну, а там уж недалече
«Стольным» Новгород назвать,
Учредить былое вече,
Споры палицей решать.
Ах, не только на бумаге
Всажен в чью-то спину нож…
Не придут ли и варяги,
Чтобы взяться за правеж?

Сатирическая газета «Баба-Яга» публиковала такие стихи С. Аша:

Ждали, ждали мы Мессии,
Наконец, явился маг
И над картою России
Сел с резинкою в руках.
Трет бумагу, как ковригу,
Трет свирепо, пот — что град.
Стер он Эзель, стер и Ригу,
И стирает Петроград.
Окруженный странной тайной,
Он резинкой, как метлой,
Стер Финляндию с Украиной,
И прошелся над Москвой.
Черт бы взял сего Мессию,
Трудно верить на авось: —
Вдруг он матушку-Россию
Да протрет совсем насквозь.

Покидая в последний раз Смольный и садясь в автомобиль, Ленин негромко заметил: «Заканчивается петроградский период деятельности нашей центральной власти. Что-то скажет нам московский?..»

В дороге, под стук вагонных колес, Ленин написал статью «Главная задача наших дней», эпиграфом к которой поставил

строки Некрасова:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная —
Матушка-Русь!

Статья написана в патриотическом ключе, совсем непривычном для Ленина прежде. «Не надо самообманов, — писал Ленин. — Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной горькой правде. Надо измерить целиком, до дна, всю ту пропасть поражения, расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем более твердой, закаленной, стальной сделается наша воля к освобождению… наша непреклонная решимость добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле слова могучей и обильной».

Позднее Ленин даже использовал словечко «Смольный» как нечто вроде ругательства. Услышав от товарищей какие-то высокопарные слова, он свирепо-добродушно наскакивал на них: «Да что вы, батенька, в Смольном, что ли?.. Совершеннейший Смольный… опомнитесь, пожалуйста, мы уж не в Смольном, мы вперед ушли». «Мы наглупили достаточно в период Смольного и около Смольного. В этом нет ничего позорного. Откуда было взять ума, когда мы в первый раз брались за новое дело!»

Все уже привыкли, что Смольный — институт благородных девиц — преобразился в символ революции. Но Московский Кремль!.. «Со своей средневековой стеной, — писал Лев Троцкий, — и бесчисленными золочеными куполами, Кремль, в качестве крепости революционной диктатуры, казался совершеннейшим парадоксом…

Я не раз поглядывал искоса на царь-пушку и царь-колокол. Тяжелое московское варварство глядело из бреши колокола и из жерла пушки. Принц Гамлет повторил бы на этом месте: «порвалась связь времен, зачем же я связать ее рожден?» Но в нас не было ничего гамлетического».

Поэт Демьян Бедный рассказывал: «Все мы, переехавшие тогда из Петрограда в Москву, как-то сначала остро ощущали разлуку с этим городом, остро и даже болезненно, и я насел на Владимира Ильича, как это мы покинули Петроград. А он мне на все мои вздохи и охи… прищуривши так один глаз, говорил всего одно слово:

— Москва…

И он мне так раз десять говорил:

— Москва… Москва… Москва…

Но все с разными интонациями. И к концу речи я тоже начал ощущать, а ведь в самом деле Москва!..»

В новой столице Ленин с женой вначале поселились в двухкомнатном номере гостиницы «Националь». Английский журналист Артур Рэнсом случайно застал главу правительства в гостиничном холле. Владимир Ильич сидел в окружении своего нехитрого имущества: потертых чемоданов, узлов с бельем, связок книг…

А 12 марта, входя в первый раз в Московский Кремль, Ленин тихо воскликнул: «Вот он и Кремль! Как давно я не видел его!..»

Жаркие споры о мире и войне не утихали и здесь. Американец Альберт Рис Вильямс однажды утром столкнулся с Владимиром Ильичем в «Национале».

— Добрый вечер, — усталым голосом поздоровался с ним Ленин.

Такое приветствие в утренний час прозвучало нелепо, и Ленин сразу поправился:

— Нет, доброе утро. Мне пришлось говорить целый день и целую ночь, и я устал. Видите, я даже поднимаюсь в лифте на второй этаж.

Отмена Брестского мира. Против заключения Брестского мира яростно возражала вся тогдашняя оппозиция — от либералов до «левых коммунистов». Но социалисты страстно доказывали, что в Германии вот-вот грянет революция, а либералы в это совершенно не верили. Характерная шутка из либеральной печати (в марте 1918 года):

«— Вы читали Беллами «Через сто лет»?

— Нет… Наверное, что-нибудь насчет немецкой революции?

— Почему вы думаете?

— Да уж очень заглавие подходящее…»

Карикатура из московской газеты «Раннее утро»: карлик Ленин в костюме придворного шута пытается напугать великана Вильгельма, грозно указывая ему на свою армию — горстку разношерстных и весьма убогих оборванцев. Удивленный Вильгельм в ответ только ухмыляется в усы…

«Смеялись, — замечал Ленин, — когда мы говорили, что в Германии может быть революция, нам говорили, что только полусумасшедшие большевики могут верить в немецкую революцию».

Сам Ленин не сомневался, что Германия стоит накануне революции и полного военного краха, но когда это случится — через недели или месяцы, — предсказать трудно. Весной 1918

года ему передали отпечатанный немцами текст Брестского договора. Владимир Ильич повертел нарядную книжку в руках — роскошное издание, прекрасный шрифт, отличная бумага… — засмеялся и сказал: «Хороший переплет, отпечатано красиво, но не пройдет и шести месяцев, как от этой красивой бумажки не останется и следа. Не было более непрочного и нереального мира, чем этот. Немцы стоят у последней ступеньки своего военного могущества, и им суждено пережить величайшие испытания. Для нас этот мир сослужит огромную службу: мы сумеем укрепиться в это время…»

«Падение кайзера близко, — говорил он. — Он не протянет и года. Это можно сказать с уверенностью».

Позднее Ленин писал о германцах: «Они увязли, они оказались в положении человека, который обожрался, идя тем самым к своей гибели… Сначала он невероятно раздулся на три четверти Европы, разжирел, а потом он тут же лопнул, оставляя страшнейшее зловоние».

Что же касается либералов, то, как ни удивительно, те самые люди, которые совсем недавно громче всех обличали «немецкого шпиона Ленина», после Брестского мира сами открыто перешли на сторону Германии. Вождь кадетской партии Павел Милюков говорил в 1918 году: «Германия вышла победительницей из мировой борьбы… Так как мы справиться с большевиками сами не можем, то должны обратиться за помощью к Германии. Немцам выгодно иметь в тылу не большевиков, а восстановленную с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию. Немцы — люди практичные, и они поймут, что для их же пользы надо помочь России…»

Не все кадеты соглашались со своим вождем. Князь Владимир Оболенский упрекал его:

— Неужели вы думаете, что можно создать прочную русскую государственность на силе вражеских штыков? Народ вам этого не простит.

— Народ? — пожал в ответ плечами вождь либералов. — Бывают исторические моменты, когда с народом не приходится считаться.

Разумеется, красная печать в 1918 году вволю натешилась над этой позицией лидера русских кадетов. На карикатуре Л. Бродаты «непоколебимый» кадет восседает в кайзеровском шлеме и с усами а-ля Вильгельм, гордо заявляя: «Пусть нас обвиняют в измене; с переменой английского цилиндра на эту каску — наше отношение к революции нисколько не изменилось».

Впрочем, самого Ленина эти метаморфозы вряд ли удивляли — еще десятилетием ранее он писал: «История учит, что

господствующие классы всегда жертвовали всем, решительно всем: религией, свободой, родиной, если дело шло о подавлении революционного движения…» Зимой 1917–1918 года между Лениным и Марией Спиридоновой разгорелся какой-то жаркий спор. Спиридонова упомянула о морали. Владимир Ильич сразу же возразил, удивленно приподняв брови: «Морали в политике нет, а есть только целесообразность».

Однако Милюков и его единомышленники все-таки просчитались: сгоряча они отбросили не только «мораль», но и целесообразность… В ноябре 1918 года Германская империя внезапно и с треском рухнула — в Берлине грянула долгожданная революция. Кайзер Вильгельм отрекся от престола. А вождям белогвардейцев пришлось искать себе за рубежом иных союзников…

После этого Москва, конечно, немедленно аннулировала Брестский мир. Все обещания, данные большевиками Берлину, мгновенно обратились в труху. Ленин давно замечал: «The promises like pie-crust are leaven to be broken, говорит английская пословица. «Обещания, что корка от пирога: их на то и пекут, чтобы ломать потом».

«Очередное чудовищное колебнутие…» Левые эсеры до конца выступали против Брестского мира и в знак протеста даже вышли из Советского правительства, где имели пять портфелей. По свидетельству газеты «Вечерние ведомости», Ленин отозвался об этом уходе спокойно: «Была без радости любовь; разлука будет без печали. Левые эсеры не всегда были последовательны в своих действиях».

Мария Спиридонова в апреле 1918 года на съезде своей партии признавала: «Весь народ не захотел воевать, и Съезд Советов большинством в 900 голосов против нас — кучки в 280 человек — этот мир подписал. Кто же был за подписание, большевики или сам народ?.. Народ не мог принять той ярко-пламенной позиции, которую мы ему предлагали».

Тем не менее в июле левые эсеры решили силой заставить большевиков возобновить войну. 6 июля они устроили теракт: бросили бомбу в германского посла в Москве графа Вильгельма фон Мирбаха. При взрыве посол был смертельно ранен. Лев Троцкий вспоминал, как в этот день ему позвонил Ленин:

«— Знаете, что случилось? — спросил он тем глуховатым голосом, который означал волнение.

— Нет, а что?

— Левые эсеры бросили бомбу в Мирбаха; говорят, тяжело ранен…

— Дела! — сказал я, переваривая не совсем обычные новости. — На монотонность жизни мы пожаловаться никак не можем.

— Д-да, — ответил Ленин с тревожным смехом. — Вот оно — очередное чудовищное колебнутие мелкого буржуа… — Он так иронически и сказал: колебнутие. — Это то самое состояние, о котором Энгельс выразился: «der rabiat gewordene Kleinburger» (закусивший удила мелкий буржуа)».

— А не явятся ли левые эсеры, — заметил Троцкий, — той вишневой косточкой, о которую нам суждено споткнуться…

Ленин подумал и сказал:

— Это и есть судьба их — оказаться вишневой косточкой в интересах белогвардейщины.

«Скоро прибыл Свердлов, такой же, как всегда.

— Ну что, — сказал он… здороваясь с усмешкой, — придется нам, видно, снова от Совнаркома перейти к ревкому».

«Для нас была неожиданностью, — признавался позднее Ленин, — та вооруженная борьба, к которой они внезапно перешли от поддержки нас на словах».

Владимиру Ильичу предстояло лично отправиться в германское посольство — приносить соболезнования и извиняться.

— Как еще там скажешь, — сказал он, покачивая головой. — Хотел сказать «Mitleid» («сочувствую»), а надо сказать «Beileid» («соболезную»).

«Он чуть-чуть засмеялся, вполтона, — вспоминал Троцкий, — оделся и твердо сказал Свердлову: «Идем». Лицо его изменилось, стало каменисто-серым. Недешево Ильичу давалась эта поездка в гогенцоллернское посольство с выражением соболезнования по поводу гибели графа Мирбаха. В смысле внутренних переживаний это был, вероятно, один из самых тяжких моментов его жизни».

И сразу же большевики получили новый удар. В руках эсеров оказался глава чекистов Феликс Дзержинский, который пытался погасить восстание словами и уговорами.

— Дзержинский арестован, — сообщили Владимиру Ильичу.

Эта новость потрясла Ленина. Трудно было надеяться, что первый чекист уцелеет (хотя именно так и случилось). «Владимир Ильич — нельзя сказать побледнел, а побелел, — писал Бонч-Бруевич. — Это бывало с ним тогда, когда охватывал его гнев или нервное потрясение…» Он с гневом выкрикнул:

— Власти мы не отдадим!

— Конечно, — кивнул Бонч-Бруевич.

«Сейчас же, — вспоминал Троцкий, — Владимир Ильич произносит в телефон: «А проверены ли все входы и выходы у

Большого театра?»»… В Большом театре проходил в это время V съезд Советов. Большевики решили действовать твердо — арестовать всех делегатов съезда от партии левых эсеров (а их было 353 человека). (Позже, когда восстание было подавлено, почти всех арестованных отпустили.)

Новость о том, что несколько сотен их делегатов во главе с Марией Спиридоновой арестованы прямо в здании Большого театра, довела эсеров до белого каления. «За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра», — заявил командир восставших Д. Попов. Левые эсеры принялись обстреливать Кремль. Правда, не очень успешно: на крепость упал один-единственный пушечный снаряд. В. Бонч-Бруевич так описывал этот момент: «Нарядное солнце заливало старинные здания Кремля, поблескивая на золотоносных куполах собора. Вдруг что-то ухнуло, затрещало, заколебалось и вслед за тем посыпалось и зашуршало.

— Стреляют! Это артиллерийский выстрел! — крикнул кто-то…

Благовещенский собор был пробит…»

— Ведь они и стрелять-то не умеют! — добродушно смеялся Ленин над этой бомбардировкой. — Метят все в Кремль, а попадают куда угодно, только не в Кремль…

Также восставшие захватили главный телеграф и разослали по всей стране телеграммы, в которых объявили действия большевиков «вредными для советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых эсеров в частности»… Ленин показывал эти телеграммы Свердлову и возмущался: «Полюбуйтесь, какая самоуверенность, какая наглость. Да, да, наглость!»

Большевики могли опереться только на латышских стрелков — часть, сохранившуюся еще от старой царской армии. Большевик Петр Стучка вспоминал: «Ленин сообщил нам, что левые эсеры восстали и что единственной вполне преданной революции воинской частью, по его мнению, является латышская стрелковая дивизия». Но даже верность этих войск внушала некоторые опасения. Ленин беспокоился:

— Каково настроение латышских стрелков?.. Не поддадутся ли латышские стрелки агитации заговорщиков?

Верные правительству войска действовали очень медленно. В ночь на 7 июля Ленин с тревогой спрашивал у командира латышских стрелков:

— Выдержим ли мы до утра, товарищ?

Потом ворчал:

— Наконец-то продвигаются… Вот уж копуны… Хорошо, что

у нас еще враг-то смирный, взбунтовался и почил на лаврах, заснул, а то беда бы с такими войсками…

Вожаки восстания успели покинуть свой штаб раньше, чем его заняли латышские стрелки. После этого либеральная печать язвительно подшучивала над побежденными:

«— Вы продаете рысака? А хорошо он бегает?

— Лучше любого левого эсера!»…

«Партия левых эсеров, — заявил Ленин, — взяла на себя ответственность за убийство Мирбаха и поставила Россию на волосок от смерти». Немцы потребовали ввести в Москву батальон императорской армии для охраны посольства. По сути, это был новый ультиматум. Ленин, прочитав это известие, побледнел: «Чего захотели?.. А!.. Прохвосты! Вот левые эсеры добиваются своего. В колонию нас обратить?.. Нет!..»

И засмеялся… Хотя германское требование было Москвой отклонено, немцы на этот раз не решились возобновить войну.

По привычке запоминая услышанные характерные реплики простых людей, Ленин заметил: «Серая, безграмотная старушка, негодуя, говорила по поводу убийства Мирбаха: «Ишь, проклятые, толкнули-таки нас в войну!». Поэт Эмиль Кроткий (Эммануил Герман) в оппозиционной газете «Новая жизнь» едко высмеивал это наблюдение Ленина. Стихи назывались «Старушка»:

Опять июль. Грохочет пушка.
Воспоминанья шевеля,
Стоит недвижная старушка
У потрясенного Кремля.
Коммунистическая вера
Непоколебима, как гранит.
Она еретика — эсэра —
Коммунистически бранит.
Мол, что за войны, — Брест-де ценен.
Ей верить в «скифство» не дано…
Сей добрый отзыв слышит Ленин
В автомобильное окно.
О, неожиданная ода!
Не оскудел народный дух.
Блажен, кто слышит «глас народа»
В невнятном лепете старух.
…
Гляжу назад: иные лета,
Давно забытая пора.
Взглянул — узнал: старушка эта
Стоит у Гусова костра.

С ней, знаю, всякое бывало.
Увы! и нынче, как давно,
Старушка надвое сказала, —
Хоть многим слышалось одно.

«Мне пришлось выдержать жесточайший бой». Любопытно, что история Брестского мира во многом повторилась в 1920 году, во время войны с Польшей. В какой-то момент казалось, что Красная армия в одном шаге от триумфальной победы. Газета украинских левых эсеров «Борьба» писала в августе 1920 года: «Еще день-два, перед нашими красными полками заблестят шпили варшавских башен, и судьба столицы белогвардейской Польши будет решена… И потому мы приветствуем слова тов. Троцкого, обращенные к нашим красным полкам:

— Вперед, к Варшаве!»

Ленин тоже был захвачен этим победным настроением. Большевик Т. Сапронов вспоминал: «Во время польского наступления тов. М. Минков, выходя из столовой, встретил тов. Ленина. Последний его спрашивает:

— Читали, как наши бьют поляков?

— Нет, не читал.

— Так подождите, я вам сейчас принесу газеты.

И, несмотря на протесты Минкова, пустился бегом и через несколько секунд тащит газеты и говорит:

— Нате-ка, почитайте, как их лупят».

А вот анекдот того времени:

«— Что-то Троцкий и Ленин потолстели.

— Да нет. Это они щеки надули.

— Зачем?

— Изо всех сил раздувают пожар мировой революции».

Однако предвкушение победы обернулось горьким разочарованием: Красная армия потерпела в Польше сокрушительный разгром. Ленин говорил Кларе Цеткин: «Радек, впрочем, нам предсказывал, как все произойдет, он нас предостерегал. Я страшно злился на него, ругал его пораженцем, — но в главном он оказался прав. Он лучше нас знает положение дел на Западе, и он талантлив. Он нам очень полезен. Я недавно с ним помирился во время длинной политической беседы по телефону глубокой ночью или на рассвете. У меня это случается».

Советская Россия согласилась на тяжелый мир, который его

противники назвали «вторым Брестом». Ленин продолжал свой рассказ: «Известно ли вам, что заключение мира с Польшей сначала встретило большое сопротивление, точно так же, как это было при заключении Брест-Литовского мира. Мне пришлось выдержать жесточайший бой, так как я стоял за принятие мирных условий, которые безусловно были благоприятны для Польши и очень тяжелы для нас… Я сам думаю, что наше положение вовсе не обязывало нас заключать мир какой угодно ценой. Мы могли зиму продержаться… Но самое главное было то, — могли ли мы без самой крайней нужды обречь русский народ на ужасы и страдания еще одной зимней кампании?.. Новая зимняя кампания, во время которой миллионы людей будут голодать, замерзать, погибать в немом отчаянии. Наличие съестных припасов и одежды сейчас ничтожно. Рабочие кряхтят, крестьяне ворчат, что у них только забирают и ничего не дают… Нет, мысль об ужасах зимней кампании была для меня невыносима. Мы должны были заключить мир».

Владимир Ильич замечал в начале 20-х годов: «Первая волна мировой революции спала, вторая же еще не поднялась. Было бы опасно, если бы мы на этот счет строили себе иллюзии. Мы не царь Ксеркс, который велел сечь море цепями».

Любопытно, что после всех яростных споров Владимир Ильич обычно мирился с несогласными большевиками, такими, как Радек. Один из водителей Ленина, Михаил Кузьмин, как-то спросил у него, почему он терпит таких строптивых людей вроде Зиновьева и Каменева, которые вечно спорят с ним и выражают свое несогласие.

«Так это… как раз и хорошо, — ответил Ленин, — что открыто спорят. Они свои взгляды не скрывают и из лучших побуждений спорят, хотят, чтобы было как можно лучше. Когда есть несогласные, голова лучше работает, ведь их переубеждать приходится, веские доводы находить. Сам не всегда все увидишь и предусмотришь, а они своими возражениями и спорами мне помогают на вещи с другой стороны взглянуть».

Глава 12
«Восстание рабовладельцев»

В Москву Ленин уехал, чтобы заработать побольше денег, да там и остался.

Из школьных сочинений о Ленине

В первый день после Октября большевики радовались тому, что им удалось взять власть почти бескровно — при штурме Зимнего погибли только шесть человек из числа штурмующих. Среди защитников дворца жертв не было. Спустя столетие такой переворот, вероятно, назвали бы «бархатным». Юнкера почти не оказывали сопротивления восставшим. Ленин потом замечал: «Нужно признаться, что даже «кадетские» дамы в Петрограде во время борьбы против нас проявили больше храбрости, чем юнкера».

Как и все, Владимир Ильич радостно улыбался, но вскоре стал серьезным и решил слегка охладить пыл всеобщего ликования: «Не радуйтесь, будет еще очень много крови. У кого нервы слабые, пусть лучше сейчас уходит из ЦК…»

Мир с Германией, а потом революция в Берлине, казалось, избавили большевиков от их самого опасного внешнего врага. Но гражданская война в самой России только разгоралась. Ленин называл ее «восстанием рабовладельцев». «Гражданская война — более серьезная и жестокая, чем всякая другая. Так всегда бывало в истории, начиная с гражданских войн Древнего Рима…»

Победу в гражданской войне Ленин сравнивал с чудом. «Революция в известных случаях означает собою чудо. Если бы нам в 1917 году сказали, что мы три года выдержим войну со всем миром и в результате войны… мы окажемся победителями, то никто бы из нас этому не поверил. Вышло чудо…» «Раньше западные народы рассматривали нас и все наше революционное движение, как курьез. Они говорили: пускай себе побалуется народ, а мы посмотрим, что из всего этого выйдет… Чудной русский народ! И вот этот «чудной русский народ» показал всему миру, что значит его «баловство». *(Аплодисменты)*…История идет странными путями; на долю страны отсталой выпала честь идти во главе великого мирового движения».

Правая оппозиция, разумеется, всячески высмеивала этот

«мировой размах» большевиков. Характерный рисунок Л. Барского из московской газеты «Раннее утро» за 1918 год: могучий гигант Атлас, сгибаясь от тяжести, несет на спине земной шар. К нему подходит малютка Ленин и самоуверенно заявляет:

— Товарищ Атлас! теперь ты уж лучше отдохни, а я понесу дальше…

«У нас все есть — и чудеса будут!» До революции социал-демократы решительно выступали за упразднение постоянной армии. Сам Ленин писал: «Вырвем зло с корнем. Уничтожим совершенно постоянное войско. Пусть армия сольется с вооруженным народом, пусть солдаты понесут в народ свои военные знания, пусть исчезнет казарма и заменится свободной военной школой. Никакая сила в мире не посмеет посягнуть на свободную Россию, если оплотом этой свободы будет вооруженный народ, уничтоживший военную касту, сделавший всех солдат гражданами и всех граждан, способных носить оружие, солдатами».

Однако вскоре после Октября 1917 года выяснилось, что «вооруженный народ» (Красная гвардия) не в состоянии держать оборону против регулярной армии противника. И в январе 1918 года Ленин подписал декрет о создании Красной армии. Это была удивительная армия: без титулования, воинских чинов, без погонов и лампасов, поначалу без медалей и орденов… — всего того, в чем многие видели суть воинской службы. Армия, в которой все, от простого бойца до главнокомандующего, именовали друг друга «товарищами»…

Первое время красноармейцы обходились и без формы — каждый носил то, в чем он явился на службу. В ответ на самую обычную команду порой раздавалось недовольное: «Тут не старая армия, чтоб командовать. Можно и попросить». Не было и никаких заведенных ритуалов. Об установившихся в Красной армии простых и свободных нравах можно судить по такой характерной черточке. Часовой возле кабинета Ленина не стоял навытяжку, а сидел за столиком, на мягком стуле, обитом красным бархатом, и обычно бывал при этом погружен в чтение. Владимир Ильич сам заговорил с часовым, стоявшим у его дверей:

— Вы не устали? Почему бы вам не присесть?.. Вам не скучно?

— Не скучно… ведь я вас охраняю.

Владимир Ильич выразительно обвел рукой пустой коридор (было уже за полночь):

— От кого?.. Вы зря теряете время, товарищ… У вас есть книга?

— Есть… в сумке.

Ленин вынес из своего кабинета венский стул:

— Вот стул, сидите читайте и учитесь… Сидеть можно, только не спите.

С этого времени часовые расположились более комфортно. У одного часового, который при каждом его появлении вскакивал и отдавал ему честь, Ленин своей рукой отнял руку от козырька и попросил его не вставать… «Тогда у нас никому это не казалось странным», — замечала Крупская. «Ильич рассказывал мне как-то о посещении его Мирбахом… Около кабинета Владимира Ильича сидел и что-то читал часовой, и, когда Мирбах проходил в кабинет Ильича, он не поднял на него даже глаз и продолжал читать. Мирбах на него удивленно посмотрел. Потом, уходя из кабинета. Мирбах остановился около сидящего часового, взял у него книгу, которую тот читал, и попросил переводчика перевести ему заглавие. Книга называлась: Бебель «Женщина и социализм». Мирбах молча возвратил ее часовому».

«Красноармейцы требовали, чтобы их учили грамоте», — писала Крупская. Но старые буквари приводили их в негодование: «Маша ела кашу. Маша мыла раму». «Какая каша? Что за Маша? — стали возмущаться красноармейцы. — Не хотим этого читать!» И тексты букварей пришлось придумывать заново: «Мы — не рабы. Рабы немы. Мы — не бары. Баба — не раба»…

И все-таки в Красной армии уставшие от бесконечной революции обыватели разглядели некое «зерно будущего порядка». Либеральная газета «Современное слово» весной 1918 года передавала услышанный на улицах Петрограда разговор:

«— Мне, например, очень понравилось, как вчера отряд красной армии шел. Идут по мостовой, в ногу. Прямо приятно. По-моему, они скоро себе форму потребуют…

— А ведь красиво может выйти…»

Вскоре такая форма появилась, и она действительно была по-своему красива: шапки-богатырки (они же буденовки) в форме старорусских остроконечных шлемов, нарядные шинели с алыми разговорами…

У левой оппозиции возрождение постоянной армии вызывало тревогу и дурные предчувствия. Газета левых эсеров «Знамя труда» сокрушалась: «Восстает, как феникс из пепла, старая армия, с ее кастовым офицерским корпусом, ее «железной» дисциплиной… Снова восстанавливается разорванный было зачарованный круг старой государственности»… Да и сами большевики поначалу смотрели на Красную армию и все военное

дело как на временное, неизбежное зло. Характерная шутка 1922 года (из журнала «Красный смех»), беседа в магазине детских игрушек:

«— Вот не угодно ли, для вашего сынка, большой выбор: пушек, ружей, сабель?..

— Покажите уже, кстати, и того глупца, который с детства приучает ребенка к воинственности…»

Первоначально Красная армия мыслилась как добровольная. Разумеется, либералы над такими планами только смеялись. На карикатуре А. Радакова толпа безногих инвалидов протягивала Ленину свои костыли и протезы: «О, добрый товарищ Ленин! Ты хочешь создать добровольную армию. На тебе наши костыли и протезы! Может быть, ты из этого и создашь что-нибудь добровольное!..»

Вскоре гражданская война действительно заставила большевиков начать призыв в Красную армию. «Буржуев» в нее не призывали — только рабочих и крестьян. Вплоть до конца 30-х годов сохранялось право не служить по религиозным убеждениям.

Сразу же встал вопрос об участии в новой армии «военных специалистов» (военспецов) — то есть царских офицеров и генералов.

— Без серьезных и опытных военных, — говорил Троцкий, — нам из этого хаоса не выбраться.

— Это, по-видимому, верно, — соглашался Ленин. — Да как бы не предали…

— Приставим к каждому комиссара, — предложил Троцкий.

— А то еще лучше двух, — поддержал Ленин, — да рукастых. Не может же быть, чтобы у нас не было рукастых коммунистов.

Между тем территория молодой Советской республики стремительно ужималась, съеживалась, подобно шагреневой коже. Большевики потеряли Симбирск и Казань. Лев Троцкий позднее писал про лето 1918 года: «Многого ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть революцию? Ее территория сузилась до размеров старого московского княжества. У нее почти не было армии. Враги облегали ее со всех сторон. За Казанью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву».

— У меня такое впечатление, — заметил Троцкий в беседе с Лениным, — что страна, после перенесенных ею тягчайших болезней, нуждается сейчас в усиленном питании, спокойствии, уходе, чтобы выжить и оправиться; доконать ее можно сейчас небольшим толчком.

— Такое же впечатление и у меня, — согласился Ленин. —

Ужасающее худосочие! Сейчас опасен каждый лишний толчок.

«Это состояние крайней истерзанности, — говорил он в одной из речей, — измученности войной русского народа хочется сравнить с человеком, которого избили до полусмерти, от которого нельзя ждать ни проявления энергии, ни проявления работоспособности».

Газета «Петроградское эхо» весной 1918 года иллюстрировала эту мысль Ленина карикатурой Б. Антоновского: два врача, Троцкий и Ленин, сидят у постели изможденной, умирающей больной. У изголовья несчастной висит табличка: «Россия. Болезнь — хроническая революция». Доктор Ленин озабоченно замечает: «Странно, мы дали ей столько «советов», а положение больной с каждым днем осложняется…»

Владимир Ильич по своей привычке часто «замерял» настроения общества по одной-двум почти случайным, но ярким и показательным репликам. В те дни он, расстроенный, поделился с Троцким своим огорчением: «Сегодня у меня была делегация рабочих. И вот один из них, на мои слова, отвечает: видно, и вы, товарищ Ленин, берете сторону капиталистов. Знаете: это в первый раз я услышал такие слова. Я, сознаюсь, даже растерялся, не зная, что ответить. Если это — не злостный тип, не меньшевик, то это — тревожный признак».

«Передавая этот эпизод, Ленин казался мне более огорченным и встревоженным, чем в тех случаях, когда приходили, позже, с фронтов черные вести о падении Казани или о непосредственной угрозе Петербургу. И это понятно: Казань и даже Петербург можно было потерять и вернуть, а доверие рабочих есть основной капитал партии». «В момент утраты Симбирска и Казани, — добавлял Троцкий в своем дневнике, — Ленин дрогнул, усомнился, но это было, несомненно, переходящее настроение, в котором он едва ли даже кому-то признался, кроме меня». «Ленин в тот период был настроен довольно сумрачно, не очень верил тому, что удастся построить армию…» «Не охоч русский человек воевать», — говорил Владимир Ильич в то время.

В разгар очередного белогвардейского наступления Ленин засомневался, приносят ли Красной армии пользу бывшие офицеры. И написал Троцкому записку с вопросом: «А не прогнать нам всех «спецов» поголовно?..» Троцкий на том же клочке бумаги решительно черкнул ответ: «Детские игрушки». «Ленин, — вспоминал он, — поглядел на меня лукаво исподлобья, с особенно выразительной гримасой, которая означала примерно: «Очень вы уж строго со мной обращаетесь». По сути же он любил такие крутые ответы, не оставляющие места

сомнениям. После заседания мы сошлись. Ленин расспрашивал про фронт».

— Вы спрашиваете, — сказал Троцкий, — не лучше ли прогнать всех бывших офицеров. А знаете ли вы, сколько их теперь у нас в армии?

— Не знаю.

— Примерно?

— Не знаю.

— Не менее тридцати тысяч.

— Ка-а-ак? — ахнул потрясенный Ленин.

— Не менее тридцати тысяч. На одного изменника приходится сотня надежных, на одного перебежчика два-три убитых. Кем их всех заменить?..

На Владимира Ильича этот разговор произвел сильное впечатление: ведь офицеры еще недавно были злейшими противниками большевиков. А теперь служили в Красной армии… В 1919 году Ленин много раз возвращался к мысли: новый мир надо уметь строить из кирпичей, оставшихся от старого мира. «Старые социалисты-утописты воображали… что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей… Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика». «Это — детские побасенки».

«Некоторые из наших товарищей возмущаются тем, что во главе Красной Армии стоят царские слуги и старое офицерство». «Что же, мы разве выкинем их? Сотни тысяч не выкинешь! А если бы мы и выкинули, то себя подрезали бы». «Старых людей мы ставим в новые условия… Только так и можно строить». «Другого материала у нас нет… У нас нет других кирпичей, нам строить не из чего… Когда мне недавно тов. Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага… Других кирпичей нам не дано!»

Однажды Ленин выслушал доклад о сильном недоверии среди красноармейцев к бывшим офицерам. После этого зашел разговор об исторических корнях такой ненависти. «Мы вспоминали с ним, — рассказывала Крупская, — картины Верещагина, отражавшие войну с Турцией 1877–1878 гг. Замечательные это были картины. У него есть одна картина: идет бой, а командный состав в отдалении с горки смотрит на бой. Вылощенное, в перчатках, офицерье в бинокли смотрит с безопасного места, как гибнут в боях солдаты». Большевики

хотели, чтобы Красная армия была противоположностью старой армии, где офицеров и рядовых разделяла целая пропасть…

Свои первые победы Красная армия одержала, когда Ленин выздоравливал после покушения. Как будто по волшебству, его тяжелое ранение помогло переломить весь ход событий. Уже 8 сентября 1918 года «Правда» открылась заголовком: «Тучи, нависшие над советской республикой, расходятся». Были взяты Казань, Симбирск. К этому времени относится вошедший во все советские учебники трогательный обмен телеграммами между Лениным и красноармейцами. «Дорогой Владимир Ильич! — писали они. — Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!» Ленин отвечал: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил». По словам Троцкого, выздоравливавший Ленин «с жадностью слушал про фронт и вздыхал с удовлетворением, почти блаженно»: «Партия, игра выиграна, раз сумели навести порядок в армии, значит и везде наведем. А революция с порядком будет непобедима».

«Когда мы садились… в автомобиль, Ленин, веселый и жизнерадостный, стоял на балконе. Таким веселым я его помню еще только 25 октября, когда он узнал в Смольном о первых военных успехах восстания».

Впрочем, уже после первых побед, в ноябре 1918 года, зрелище марширующих по Красной площади красноармейцев Владимира Ильича удручило. Он посетовал на их военную выправку: «Посмотрите на них, как они идут… Мешки с песком… Виден в них весь развал керенщины… Вот оно, разрушительное действие старой эпохи. Нам нужно все это вытравить…»

Зрелище гражданской демонстрации в тот же день Ленина, наоборот, взбодрило: «Надо влить сознание в ряды армии, чтобы они все так же понимали и чувствовали, как это чувствуют сотни тысяч, миллионы рабочих. Смотрите на них, что за красота? Какой энтузиазм? Какой восторг!.. Какая истинная страсть и глубокая ненависть ко всему старому, жажда новой творческой жизни!..»

«Один прусский монарх, — писал Ленин, — в XVIII веке сказал умную фразу: «Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны». Старый прусский монарх был неглупым человеком. Мы же теперь готовы сказать, сравнивая свое положение с положением этого монарха: мы можем вести войну потому, что массы знают, за что воюют…»

Максим Горький позднее вспоминал, как в разговоре с ним Ленин однажды заметил: «Врут много, и кажется, особенно много

обо мне и Троцком».

«Ударив рукой по столу, он сказал:

— А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас — все есть! И — чудеса будут!»

«Ну, с Бонапартами-то мы справимся?» Ленин ценил участие бывших офицеров и генералов в создании Красной армии, но это не мешало ему иногда смотреть на них с определенной долей иронии.

«А все-таки ваше военное дело часто походит на какое-то жречество», — заметил он как-то одному бывшему генералу, чем немало того уязвил.

Главнокомандующий Красной армией бывший генерал Сергей Каменев вспоминал такой характерный эпизод: «Обращая внимание Владимира Ильича на красивое в военном отношении развитие операции, я стал восхищаться ее красотой. Владимир Ильич немедленно подал реплику, что нам необходимо разбить Колчака, а красиво это будет сделано или некрасиво — для нас несущественно».

Многие большевики резко выступали против участия бывших офицеров и генералов в Красной армии.

«Ничего страшного нет! — успокаивал их Ленин. — Чем лучше они обучат наших рабочих стрелять, тем безопаснее будут сами для нашего дела».

«Когда без них, — говорил он, — мы пробовали создать… Красную Армию, то получилась партизанщина, разброд, получилось то, что мы имели 10–12 миллионов штыков, но ни одной дивизии; ни одной годной к войне дивизии не было, и мы неспособны были миллионами штыков бороться с ничтожной регулярной армией белых».

Вспоминая историю французской революции, большевики иногда с тревогой задумывались: а не найдется ли среди молодых командиров будущего Бонапарта? Ленин замечал, что «9/10 военспецов способны на измену при каждом случае». Однажды Ленин и Троцкий заговорили о бывшем поручике царской армии Благонравове, ставшем большевиком. Он участвовал в Октябрьском восстании. Офицер-большевик — это была большая редкость для 1917 года!

«Из такого поручика, — заметил Троцкий, — еще Наполеон выйдет. И фамилия у него подходящая: Благо-нравов, почти Бонапарте».

«Ленин, — вспоминал Троцкий, — сперва посмеялся

неожиданному для него сопоставлению, потом призадумался и, выдавив скулы наружу, сказал серьезно, почти угрожающе: «Ну, с Бонапартам и-то мы справимся, а?» «Как бог даст», — ответил я полушутя».

«Оригинальный человек этот октябрист». Многие служившие в Красной армии генералы и офицеры оставались по взглядам противниками большевиков, даже монархистами. «Многие из них, — писал Троцкий, — по собственным словам, еще два года тому назад считали умеренных либералов крайними революционерами, большевики же относились для них к области четвертого измерения». Но Ленина это не смущаю.

Так же он смотрел и на гражданских специалистов. В. Бонч-Бруевич вспоминал беседу Ленина с одним крупным железнодорожником. Глава Совнаркома поинтересовался:

— А какой вы партии?

— Я октябрист…

— Октябрист! — изумился Ленин. — Какой же это такой «октябрист»?

— Как — какой?.. Настоящий октябрист. Помните: Хомяков, Родзянко — вот наши сочлены…

— Да, но они, насколько мне известно, сейчас в бездействии…

— Это ничего… Их здесь нет… но идея их жива…

— Идея жива… Вот удивительно… Это интересно… очень интересно… Но вы, старый октябрист, работать-то хотите по вашей специальности?

— Конечно… Без работы скучно…

Это Ленина вполне устраивало: «настоящий октябрист» был тут же назначен в советское правительство заместителем наркома.

«Оригинальный человек этот октябрист, — говорил потом Ленин, — не скрывает своих правых убеждений, а работать будет».

Тем более Ленин старался привлечь к работе правых социалистов. «Нам чиновники из меньшевиков нужны, — говорил он, — так как это не казнокрады и не черносотенцы, которые лезут к нам, записываются в коммунисты и нам гадят». «Если нам иной товарищ казался оппортунистом, — писал большевик Георгий Ломов, — к которому и подойти близко не хотелось, Владимир Ильич, узнав, что это крупный организатор промышленности в прежнее время, просиживал с ним часами, стараясь его привлечь…» Одним из таких способных организаторов был социал-демократ Леонид Красин. «Башка, но

великий буржуй», — отзывался о нем Ленин. На вопрос, почему Красин не работает, Владимир Ильич ответил: «Встречаюсь… Ухаживаю за ним, как за барышней… Не хочет… Все равно — придет к нам со временем…»

Историк-большевик Михаил Покровский вспоминал, что Ленин посоветовал ему как можно бережнее относиться к старой профессуре и высшей школе: «Ломайте поменьше!.. Чем меньше наломаешь, тем лучше». О старых профессорах-историках Владимир Ильич заметил: «Свяжите их твердыми программами, давайте им такие темы, которые объективно заставляли бы их становиться на нашу точку зрения. Например, заставьте их читать историю колониальною мира: тут ведь все буржуазные писатели только и знают, что «обличают» друг друга во всяких мерзостях: англичане — французов, французы — англичан, немцы — тех и других…»

Сама «литература предмета», рассуждал Ленин, принудит профессоров говорить правду.

Владимир Ильич радовался, когда узнавал, что старые крупные ученые соглашаются работать вместе с большевиками: «Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а — перевернется!»

«Мы вынуждены будем перебраться на Урал». Осенью 1919 года наступил новый отчаянный момент для революции: белогвардейцы уже предвкушали взятие Москвы и скорую победу. На выпущенном ими в это время плакате Ленин жалобно хнычет, Троцкий гладит его по голове и утешает, тыкая пальцем в ось глобуса:

Милый Вова, полно ныть,
Ты подумай, где нам жить?
Не признали люди-твари
Нас на этом круглом шаре!
Нет нам места на Руси,
Поместимся на оси!

Большевики в те дни тоже не исключали своего поражения. Армия генерала Деникина подошла к Туле. 14 октября 1919 года Ленин говорил, что если Тула будет взята, то и Москву не удержать. Он предупредил голландского коммуниста Себальда Рутгерса: «Если вы в пути услышите, что Тула взята, то вы можете сообщить нашим зарубежным товарищам, что мы, быть может, вынуждены будем перебраться на Урал».

«Положение было такое, — рассказывал Вячеслав Молотов, — что Ленин собрал нас и сказал: «Все, Советская власть прекращает существование. Партия уходит в подполье». Были заготовлены для нас документы, явки…»

Тогда же, в октябре 1919 года, войска генерала Юденича двигались на Петроград. Ленин считал невозможным оборонять все фронты разом. «Оставалось, по его мнению, одно: сдать Петроград и сократить фронт, — вспоминал Троцкий. — Придя к выводу о необходимости такой тяжкой ампутации, Ленин принялся перетягивать на свою сторону других». Троцкий считал, что защитить город можно. «Я несколько раз в течение суток атаковал Ленина. В конце концов он сказал: «Что ж, давайте, попробуем». Красный Петроград удалось отстоять…

Владимир Ильич допускал, что революция может потерпеть поражение. «Вот-вот опрокинется все на голову, — вспоминал Николай Бухарин. — Ильич считает. Спокойно. Видит возможность поражения. Шутливо называет это по-французски «culbutage» (перекувыркивание)… Ни капли не сомневается, что в случае поражения он погиб. Все это — «culbutage». Как-то в эти дни Ленин спокойно заметил, указывая на карту военных действий: «Через восемь дней решается наша судьба. Либо мы их отбросим, либо — нам капут».

Большевичка Мария Голубева пересказывала свой разговор с Лениным в 1919 году. Глава Совнаркома спросил:

— Как вы думаете, вернемся ли к прошлому или нет?

Его собеседницу несколько ошеломила такая постановка вопроса.

— Нет, — ответила она, — может быть, нас ждут еще частичные поражения, но к прошлому не вернемся.

Позднее Ленин даже высказывал благодарность врагам революции: «Деникин и Колчак хорошо нас подгоняли, заставляли учиться поскорее, поусерднее, потолковее».

Большевики были готовы и заключить мир с белогвардейцами, признать «колчакию и деникию» (выражение Ленина). Но белые на это не пошли. В итоге, по ироническому замечанию Владимира Ильича, «от Колчака остались только сверкающие пятки», а потом он и вовсе «отправился к Николаю Романову». Позднее Ленин вспоминал: «Мы хотели подписать мир, по которому огромная часть земли оставалась Деникину и Колчаку. Они отказались от этого и потеряли все».

Ради победы в гражданской войне Ленин решительно шел и на признание независимости бывших окраин Российской империи: Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии… Белогвардейцы, воевавшие за «единую и неделимую Россию», на это, как правило,

не соглашались.

«Я очень хорошо помню сцену, — рассказывал Ленин, — когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинхувуду, — что значит в переводе на русский язык «свиноголовый», — представителю финляндской буржуазии, который сыграл роль палача. Он мне любезно жал руку, мы говорили комплименты. Как это было нехорошо! Но это нужно было сделать…»

Правда, перед этим рукопожатием Владимир Ильич заставил финских гостей подольше потомиться у него в приемной. «Чистенькие, крахмальные, чопорные, — описывал их советский дипломат А. Шлихтер, — в сюртуках с иголочки, они как-то странно и чаще, чем следует, улыбались и, видимо, были смущены». Сотрудница Ленина Мария Скрыпник вспоминала: «Ильич сказал:

— Пусть подождут, ведь это буржуазное правительство.

Сказано это было с чувством неприязни».

Либералы (и белогвардейцы) воспринимали независимость Финляндии и других окраин как пощечину России. На рисунках Финляндию и Украину изображали как охотничьих собак, с которыми охотники травят несчастного русского медведя. «В каждой свинье легко находятся финны, — почти философски рассуждал в 1917 году либеральный «Новый Сатирикон». — В каждом финне легко найти свинью». Отчасти подобный взгляд разделяли и правые социалисты. Вот характерный фельетон Виктора Юза из газеты «Молва» за июнь 1918 года. Автор возмущался: «Вы подумайте только: «Улица, освобожденная от русских».

Так назвало городское управление г. Або улицу, носившую раньше название «Русско-церковная». Первоначально, в порыве слепого озлобления против русских, улицу переименовали в Русско-свиную.

Но запротестовали жители улицы:

— Не хотим жить на Свиной!

Понадобилось название поизящнее… И вот появилась: «Улица, освобожденная от русских».

Ликует глупый, мутноглазый чухна… Глупый и жалкий «победитель», не долог праздник на твоей улице».

«Или вши победят социализм, или социализм — вшей!» В годы гражданской войны Ленин часто применял свой излюбленный способ побудить к действию — преувеличить тяжесть положения, довести ее до наибольшей крайности. Вот, например, его послания 1919 года: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной. Напрягите все

силы». «Поймите, что без быстрого взятия Ростова гибель революции неминуема».

А порой в ею словах можно уловить и проблески юмора, но тон сохраняется прежний — отчаянный: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!» «Ведь это звучало прямо апокалипсически, — замечал об этой фразе публицист Исай Лежнев. — И — действовало! Голодная, холодная, разутая страна из последних сил напрягалась и вырывала из своего тела сыпную заразу».

«Такие упрямые чудаки бывали во всех революциях». В первые годы революции легальную оппозицию большевикам составляли «нинисты». Так шутливо прозвали меньшевиков и эсеров за их лозунг: «Ни Ленин, ни Колчак». Увы, нинисты фатально проигрывали и тому, и другому. В эмиграции одним из вождей нинистов считался бывший премьер Александр Керенский.

Ленин говорил о них: «Все попытки не стать ни на одну, ни на другую сторону заканчиваются крахом и скандалом». «Мы этих людей видели, мы этих Керенских, меньшевиков и эсеров знаем. За эти два года мы видели, как их толкало сегодня к Колчаку, завтра почти к большевикам, затем к Деникину, и все это покрывалось фразами о свободе и демократии». «Мы не ожидаем особенно блестящих умственных способностей от этих людей. *(Смех.)* Но можно было бы ожидать, что, испытав на себе зверства Колчака, они должны бы понять, что мы имеем право требовать от них, чтобы они сделали выбор между нами и Колчаком». «Надо разъяснить, что либо Колчак с Деникиным, либо Советская власть… середины нет; середины быть не может». «Всякая средняя власть есть мечта, всякая попытка образовать что-го третье ведет к тому, что люди даже при полной искренности скатываются в ту иди другую сторону». «Поверьте мне, в России возможны только два правительства: царское или Советское… Большевиков никто не в состоянии заменить, за исключением генералов и бюрократов, уже давно обнаруживших свою несостоятельность».

Парламентские учреждения вроде Учредительного собрания не выдерживали раскаленной атмосферы общественной борьбы и лопались в ней по швам. «Учредиловку» разгоняли дважды — первый раз это сделали большевики, левые эсеры и анархисты (знаменитые слова матроса-анархиста Анатолия Железнякова: «Караул устал!»), второй раз — белогвардейцы. Ленин замечал: «Я всегда говорил: прекрасен парламентаризм, но только времена теперь не парламентарные».

Нинисты часто порицали белогвардейцев за нарушение

гуманности. Но Ленин эти упреки не разделял: «Довольно неумно порицать Колчака только за то, что он… порол учительниц за то, что они сочувствовали большевикам… Это глупые обвинения Колчака. Колчак действует теми способами, которые он находит».

«Очень может быть, что литературные группы меньшевиков и эсеров так и умрут, ничего не поняв в нашей революции, и долго еще, как попугаи, будут твердить, что у них была бы самая лучшая в мире власть — без гражданской войны, истинно социалистическая и истинно демократическая, если бы не Колчак и не большевики… такие упрямые чудаки бывали во всех революциях». «Подобные люди, при всей даже честности многих из них, во все времена, во всех странах губили дело революции своими колебаниями. Подобные люди погубили революцию… в Венгрии, погубили бы и в России, если бы не были сняты со всех ответственных постов…» Ленин восклицал: «Какое счастье для нас, что 25 октября меньшевики и эсеры отказались (войти в правительство. — *А.М.)* и ушли!»

В ноябре 1917 года он замечал: «Да ведь нам не о чем с ними разговаривать. Ведь они ничего не могут предложить нам. Они сами не знают, чего хотят. Разве Чернов знает, чего он хочет? Вот другое дело, если бы к нам пришли для переговоров Коновалов и Рябушинский (крупные промышленники, правые либералы. — А. М). Это люди серьезные, деловые. Они знают, чего добиваются. С ними есть о чем толковать. А эс-эры ведь совершенно несерьезные, неделовые люди».

Позднее Ленин говорил об эсерах: «На самом деле их сила — пуф. Поэтому, когда нам сообщают о состоявшемся недавно (в 1919 году. — А.М.) совете партии правых эсеров, когда Чернов заявляет: «Если не теперь и не нам, то кому же больше скинуть большевиков?» — то мы говорим: «Страшен сон, да милостив бог». Теперь мы только удивляемся, как им не наскучит повторять свои ошибки…»

Однако в гражданскую войну власть на Волге и в Сибири переходила от большевиков к нинистам, а от них — к белогвардейским генералам. В 20-е годы Ленин всерьез боялся повторения этой истории и видел в нинистах главную опасность для революции. Слова, обещания и добрые намерения в таких случаях ничего не значат: «Мы в свое время подписывали клятвенные обещания верности царю при вступлении в Государственную думу». Также тогда поступали меньшевики и эсеры… «Я не верю в политике на слово», — заметил однажды Ленин. «Кто же не знает, что в политике учитываются не намерения, а дела? не благие пожелания, а факты? не воображаемое, а действительное?»…

Не лишена интереса переписка Ленина в 1919 году с одним из вождей меньшевиков Николаем Рожковым. Тот уговаривал Ленина стать единоличным диктатором — по сути, взять на себя миссию «русского Бонапарта». Ленин это предложение отверг, назвав «пустяками». Но в следующем письме Рожков снова настаивал на своем…

К 1922 году многие нинисты находились под арестом, но оппозиционные партии еще выпускали легальные журналы («Народ», «Максималист», «Знамя» и другие) и участвовали в выборах в Советы. Старались найти какую-то почву для протеста… Сатирическая заметка из печати 1923 года: «Один безработный эсерик после избирательной кампании в Московский Совет подошел к заводу бывший «Проводник», ища занятий.

— Что тут делают, товарищи, на заводе?

— Галоши…

— А… до свидания!

Эсерик рассердился и быстро повернул от завода. Почему?»

В 1924 году легальная деятельность оппозиционных партий окончательно прекратилась, все они перешли в подполье. Правда, легальная оппозиция в стране от этого не исчезла — теперь в нее переходили… сами большевики, начиная со Льва Троцкого.

Впоследствии некоторые бывшие нинисты сыграли не последнюю роль в борьбе с этой оппозицией. «Русский Бонапарт», которого часть из них мечтала найти в Ленине, неожиданно обнаружился в лице Сталина, и они горячо его поддержали. Из рядов нинистов вышел, между прочим, генеральный прокурор СССР Андрей Вышинский (меньшевик до 1920 года). Среди большевиков ходили упорные слухи, что при Временном правительстве прокурор Вышинский был причастен к неудачной попытке арестовать самого Ленина. В 1919 году Вышинский и его товарищи направили Ленину письмо, где возмущались преследованиями меньшевиков. Обвиняя позднее старых большевиков, Вышинский даже поддразнивал их своим прошлым. Так, на процессе Радека и Пятакова в 1937 году генеральный прокурор неожиданно заявил: «Всем известно, что не было и нет более последовательных и более жестоких, озверелых врагов социализма, чем меньшевики и эсеры».

Можно себе представить, что почувствовали при этих словах сидевшие на скамье подсудимых старые большевики! Ведь они возглавляли революцию, когда их обвинитель принадлежал как раз к этим «жестоким, озверелым врагам».

В 1917 году одним из застрельщиков борьбы с большевиками выступал меньшевик Давид Заславский. В газете «День» он разоблачал их как вольных или невольных изменников и

германских агентов:

«Если бы Ленин, Зиновьев и Троцкий хотели, они могли бы объявить себя временным правительством… Но Зиновьев и Троцкий — трусы. Они не хотят взять власть и не возьмут ее… Троцкий и Каменев не станут во главе современной пугачевщины, и она перешагнет через них».

«События июльских дней и то, что их подготовило, это бесконечно спутанный и кровавый клубок, где легкомыслие и неразборчивость сплелись с прямой изменой, предательством и шпионажем. Во всем этом надо разобраться… И я не испытывал бы угрызений совести, стоя вместе со всей революционной Россией у запертых двойным замком дверей камеры Троцкого».

Ленин называл Заславского «грязным господином… негодяем… наемным пером… героем похода на большевиков» и попросту «собакой». В 1918 году Заславскому даже пришлось посидеть в советской тюрьме. Выйдя на свободу, он так подытоживал в газете свои чувства, обращаясь к Ленину и его соратникам: «Несколько лет тому назад французское буржуазное правительство посадило в тюрьму известного публициста Эрве. Затем оно амнистировало его.

— Вы ждете от меня благодарности? — писал Эрве на другой день. — Вот она: merd!

Он написал это слово огромными толстыми буквами на первой странице».

Однако в 1934 году Заславский вступил в правящую партию и вплоть до 60-х годов считался ее «первым пером» — ведущим журналистом и сатириком страны. В 30-е годы «герой похода на большевиков» вновь обличал тех же людей — уже со страниц «Правды»: «Троцкий, Зиновьев, Каменев — бандиты и уголовные преступники. Это установлено судебным процессом, который сорвал с них последнюю маску… В дореволюционных тюрьмах бывал «сучий куток». Там сидели самые поганые, наиболее развращенные уголовные элементы, предатели в своей же уголовной среде, грязнейшие убийцы. Скамья подсудимых на деле Зиновьева — Каменева — Смирнова была таким сучьим кутком… Поставленные рядом у края могилы, они толкали в нее друг друга. Они сгнили заживо до конца, суду оставалось убрать эту живую человеческую падаль из советского общества».

Но в целом погоду к тому времени делали, конечно, не бывшие нинисты (многие из которых сами сложили головы в 30-е годы), а совсем другие люди.

«Послушать его… и все мы будем болтаться на фонарях». Довольно влиятельную оппозицию большевикам после революции

составляли также анархисты. Они заседали в Советах, выпускали свою печать (так, в 1919 году выходили шесть анархических газет и шесть журналов). Поворот большевиков от разрушения всего старого к «защите отечества» многие анархисты сочли изменой революции. Например, анархическая газета «Буревестник» в 1918 году печатала такие задиристые стихи матроса Ивана Губарева:

Наплевать нам на ваше отечество,
Мы покажем свое молодечество!..
Всюду родина нам — где свободная
Разгуляется сила народная.
И прогоним мы скоро дубинами
Всех властителей с их псевдонимами,
И кто нас погубить собирается,
Пусть простится с семьей, да покается!..
Так вперед же, друзья, за Дыбенкою
И под… Свердлова коленкою!..

Как известно, анархисты даже воевали под своими черными знаменами и во главе с «батькой» Нестором Махно — против белых и красных…

Летом 1918 года вождь большевиков и боевой предводитель анархистов встречались и беседовали в Москве. В разговоре, по воспоминаниям Махно, Владимир Ильич настойчиво повторял одну и ту же мысль: «Анархисты всегда самоотверженны, идут на всякие жертвы, но близорукие фанатики, пропускают настоящее для отдаленного будущего… Большинство из них если не ничего, то, во всяком случае, мало думают о настоящем; а ведь оно так серьезно, что не подумать о нем и не определить своего положительного отношения к нему революционеру больше чем позорно… Большинство анархистов думают и пишут о будущем, не понимая настоящего, это и разделяет нас, коммунистов, с ними».

«При последней фразе, — писал Махно, — Ленин поднялся со своего кресла и, пройдясь взад и вперед по кабинету, добавил:

— Да, да, анархисты сильны мыслями о будущем; в настоящем же они беспочвенны, жалки исключительно потому, что они в силу своей бессодержательной фанатичности реально не имеют с этим будущим связи…

И тут же просит меня не принимать это на свой счет, говоря:

— Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня. Если бы таких анархистов-коммунистов была хотя бы одна треть в России, то мы, коммунисты, готовы были бы идти с ними на известные условия и совместно работать на пользу

свободной организации производителей».

Эти слова растрогали его собеседника, вначале настроенного враждебно. «Я лично почувствовал, — признавался Махно, — что начинаю благоговеть перед Лениным…» Однако Махно стал доказывать, что среди анархистов тоже есть люди действия. Ленин кротко развел руками: «Возможно, что я ошибаюсь… Ошибаться свойственно каждому человеку, в особенности в такой обстановке, в какой мы находимся в настоящий момент».

Ленин принимал в своем кабинете и Петра Кропоткина, идейного вождя русского анархизма. Князь-бунтовщик не раз осуждал многие излишне суровые, по его мнению, меры большевиков. Об этом они спорили в ноябре 1918 года, в разгар «красного террора». В мае 1919 года Владимир Ильич снова беседовал со старым революционером. На этот раз Кропоткин долго говорил о развитии кооперации. Попрощавшись с ним, Владимир Ильич заметил: «Как устарел. Вот живет в стране, которая кипит революцией, в которой все поднято от края до края, и ничего другого не может придумать, как говорить о кооперативном движении. Вот — бедность идей анархистов… которые в момент массового творчества, в момент революции, никогда не могут дать ни правильного плана, ни правильных указаний, что делать и как быть. Ведь если только послушать его на одну минуту, — у нас завтра же будет самодержавие, и все мы, и он между нами, будем болтаться на фонарях, а он — только за то, что называет себя анархистом. А как писал, какие прекрасные книги, как свежо и молодо чувствовал и думал, и все это — в прошлом, и ничего теперь… Правда, он очень стар, и о нем нужно заботиться, помогать ему всем, чем только возможно, и делать это особенно деликатно и осторожно…»

Деликатность требовалась, поскольку Кропоткин, как враг любого государства, не хотел принимать от властей никакой помощи. 8 февраля 1921 года Петр Кропоткин скончался, и ему было устроено торжественное прощание в Колонном зале Дома союзов.

Дочь Кропоткина и его соратники-анархисты потребовали освободить своих товарищей, находившихся под арестом, для участия в похоронах. Они даже пригрозили, что в противном случае снимут с гроба венки от Ленина и других большевиков. И семерых арестованных действительно выпустили на один день «под честное слово» (которое они все сдержали). Один из них, махновский командир Арон Барон, произнес речь на траурном митинге…

Тогда же в Москве появились Кропоткинские: улица, площадь, набережная, позднее — станция метро. Открылся музей

Кропоткина (который работал до конца 30-х годов). Возвели и памятник, которым Ленин остался крайне недоволен: «То безобразие, которое сделано вместо Кропоткина на стене Малого театра, я видеть не могу. Мне оскорбительно за Петра Алексеевича, что его могли изобразить в таком виде. Ведь это какая-то обезьяна изображена, а не человек, полный мысли и огня, которого мы все так хорошо знаем».

«История знает превращения всяких сортов». С 1921 года сначала в русской эмиграции, а затем и в самой России стало действовать новое политическое течение — сменовеховцы. Они выступали за «термидор» — перерождение революционной власти в обычное (то есть «буржуазное») государство. Как мы знаем, такое перерождение в конце концов и произошло, хотя и не так скоро и не так гладко, как о том мечтали сменовеховцы. Через 70 лет, пройдя через полумировую империю, Россия дошла и до реставрации — на монетах и гербах вновь гордо развернули крылья двуглавые орлы, а в умах и сердцах воцарились государи из дома Романовых и их статские советники… Невольно возникает мысль, что все эти эпохи, вплоть до реставрации, — естественные и даже необходимые ступени развития, которое проходит любая победоносная революция. Во всяком случае так было в английской, французской, русской революциях…

Конечно, здесь нет никакой мистики, а вполне ясный исторический закон: элите, выросшей на дрожжах революции, в конце концов смертельно надоедают тесные и обременительные революционные «пеленки». Зато ей делаются по плечу и по вкусу старомодные костюмы предшествующей эпохи, которые она с удовольствием примеряет… И вот уже общество заново усваивает и восстанавливает многие ценности и символы прошлого. Тем интереснее присмотреться к идеям сменовеховцев.

Вождь сменовеховцев профессор Николай Устрялов считал, что большевики уже начали перерождаться изнутри. Он использовал образ редиски, честь изобретения которого уступал Ленину: «Редиска. Извне — красная, внутри — белая. Красная кожица, вывеска, резко бросающаяся в глаза, полезная своеобразной своей привлекательностью для посторонних взоров, своею способностью «импонировать». Сердцевина, сущность — белая, и все белеющая по мере роста, созревания плода. Белеющая стихийно, органически. Не то ли же самое — красное знамя на Зимнем дворце и звуки «Интернационала» на кремлевской башне?» Он обращался к большевикам: «Мы — с вами, но мы — не ваши. Не думайте, что мы изменились, признав ваше красное знамя; мы его признали только потому, что оно

зацветает национальными цветами».

Может показаться неожиданным, но советская власть не стала возражать против деятельности сменовеховцев на родине. Выходившую в Берлине ежедневную сменовеховскую газету «Накануне» начали свободно продавать во всех газетных киосках в Москве, Петрограде и других больших городах России. 1 июля 1922 года в Москве открылась контора редакции. За границей сменовеховцы выпустили сборник «Смена вех», а затем стали издавать одноименный журнал. На родине до 1926 года печатался близкий по направлению журнал «Россия» (само название которого звучало для тех лет весьма вызывающе). Ленин в 1922 году внимательно читал этот журнал.

Возглавляли движение вчерашние белогвардейцы — близкие сподвижники Колчака и Юденича, титулованные эмигранты. Конечно, теперь им крепко доставалось со всех сторон — и от красных, и от белых…

Любопытно, что критика «справа» звучала даже в Советской России. Так, оппозиционный публицист Питирим Сорокин писал, что сменовеховцы выражают интересы той интеллигенции, которая всегда служила государственной власти. «А какая эта власть: правая или левая, Романов, Колчак или Ленин — это не важно… Потому-то они всегда так тоскуют по железной власти, потому-то всегда (не только в данном случае) с легкостью шара перекатываются от Романова к Колчаку, от октябризма к коммунизму и, если нужно, обратно. Потому-то они всегда неустойчивы и беспринципны. Сегодня готовы кричать: «Да здравствует Цезарь!» Завтра — «Да здравствует Брут!», если этот Брут будет сильной и кормящей властью».

В Петрограде проходили открытые диспуты, где «скрещивали шпаги» сменовеховцы и их противники справа (старовеховцы). Старовеховцы расходились со сменовеховцами в главном прогнозе: они не верили в то, что советская власть перерождается. Старовеховец I. Clemens с иронией писал в петроградском сборнике «О смене вех», что сменовеховцы «напоминают собою то адвоката в старорусском боярском охабке, с фригийской шапочкой на голове, размахивающего пролетарским флагом, то римлян времен упадка с их домашними Пантеонами, в которых Юнона и Моисей, Аполлон и Бог Апис, крокодил и домашние пенаты дружно пребывали под одной кровлей… в состоянии некоего недоумения». Петроградский журнал «Вестник литературы» (близкий к старо веховцам) в 1922 году приводил слова одного видного большевика, что «всякое удобряет ниву» РСФСР, и язвительно заключал: «Итак, «нововеховцы» приемлемы, как удобрение для коммунистической почвы». Старовеховцы

гадали, как оценит сменовеховцев сам Ленин (из статьи А. Петрищева):

— Во всяком случае, Владимир Ильич новыми поклонниками не обольщен…

— Почему же? Все-таки увеличивается толпа бегущих за колесницей победителя…

— Увеличивается беженцами из бывших октябристов?.. Владимира Ильича этим не обольстишь. Он умнее, чем вы о нем думаете…

Красная печать тоже не особо церемонилась со сменовеховцами, высмеивая их на все лады. Шутка: «Объявление. Опытный сменовеховец принимает заказы на изготовление, исправление и перемену вех из своего или из материала заказчика. Адрес: Контора «Накануне»». На одной из карикатур лозунг, который держат профессора-сменовеховцы («СМЕНА ВЕХ») превращается в другой — «ВАНЕ СМЕХ»…

Но сам Ленин вовсе не посчитал идеи сменовеховцев смешными. Наоборот, он увидел в них серьезных и сильных противников. И в этом, пожалуй, в очередной раз разошелся с большинством собственной партии…

В марте 1922 года, выступая на съезде партии, Ленин вкратце пересказал взгляды Николая Устрялова на то, что советскую власть ждет неминуемое перерождение. «Большевики… придут к обычному буржуазному государству, и мы должны их поддерживать. История идет разными путями», — рассуждают сменовеховцы. Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более прямые, в том числе Устрялов. Кажется, он был министром при Колчаке. Он не соглашается со своими товарищами и говорит: «Вы там насчет коммунизма как хотите, а я утверждаю, это у них не тактика, а эволюция». Я думаю, что этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам большую пользу. Нам очень много приходится слышать, мне особенно по должности, сладенького коммунистического вранья, «комвранья», кажинный день, и тошнехонько от этого бывает иногда убийственно. И вот вместо этого «комвранья» приходит номер «Смены вех» и говорит напрямик: «У вас это вовсе не так, это вы только воображаете, а на самом деле вы скатываетесь в обычное буржуазное болото, и там будут коммунистические флажки болтаться со всякими словечками». Это очень полезно… Это действительно есть классовая правда, грубо, открыто высказанная классовым врагом. «Я за поддержку Советской власти в России, — говорит Устрялов, хотя он был кадет, буржуа, поддерживал интервенцию, — я за поддержку Советской власти, потому что она стала на дорогу, по которой катится к обычной

буржуазной власти»… Гораздо лучше для нас, когда сменовеховцы так пишут, чем когда некоторые из них почти что коммунистами прикидываются, так что издали, пожалуй, не отличишь, — может быть, он в бога верует, может — в коммунистическую революцию. Этакие откровенные враги полезны, надо сказать прямо».

В предварительных заметках к этой речи Ленин записал: «Устрялов из «Смены Вех» как прекрасное противоядие против «сладенького комвранья». А на съезде Владимир Ильич подвел такой итог: «Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История знает превращения всяких сортов; полагаться на убежденность, преданность и прочие превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем не серьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого числа людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое число людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо».

В общем-то этими несколькими фразами Ленин (вместе с Устряловым) невольно предсказал будущее революции. Одного из его слушателей ждало «превращение» в генералиссимуса, в мундире с золотыми погонами на плечах (в которое, возможно, не поверил бы в тот момент и он сам). Некоторые другие слушатели стали его соратниками — маршалами и министрами… Что же касается многих и многих остальных, то с ними история в 1937 году обошлась, как известно, «не слишком вежливо».

Глава 13
Грани революции

Ленин приказал перебрасывать реки из Сибири на Запад.

Владимир Ильич изготовил книжку-азбуку.

Ленин создал два закона — не употреблять спиртное и учиться, учиться, учиться.

Из школьных сочинений о Ленине

Октябрьская революция провозгласила своей целью ни много ни мало как «перестроить сверху донизу человеческую жизнь» (слова Троцкого). Что-то революции удалось изменить, что-то нет.

«Наш теперешний быт, — писал Ленин в 1923 году, — соединяет в себе в поразительной степени черты отчаянно смелого с робостью мысли перед самыми мельчайшими изменениями». «Сила привычки миллионов и десятков миллионов, — замечал он, — самая страшная сила». «Мы начали колебать и разрушать самые закоренелые предрассудки, самые твердые, вековые, заскорузлые привычки». «Прошлое нас держит, хватает тысячами рук и не дает шага вперед сделать или заставляет делать эти шаги так плохо, как мы делаем». «Когда наступает революция, дело не происходит так, как со смертью отдельного лица, когда умерший выносится вон. Когда гибнет старое общество, труп его нельзя заколотить в гроб и положить в могилу. Он разлагается в нашей среде, этот труп гниет и заражает нас самих. Иначе на свете не было… и не может быть».

Советский дипломат-невозвращенец Георгий Соломон пересказывал свой разговор с Лениным в декабре 1917 года.

— Мы забираем как можно левее!! — заявил Владимир Ильич.

— Все это очень хорошо, — стал осторожно возражать Соломон. — Допустим, что вы дойдете до самого, что называется, левейшего угла… Но вы забываете закон реакции, этот чисто механический закон… Ведь вы откатитесь по этому закону черт его знает куда!..

— И прекрасно! — воскликнул Ленин. — Прекрасно, пусть так, но в таком случае это говорит за то, что надо еще левее

забирать! Это вода на мою же мельницу!.. И не нам, старым революционерам, бояться и этого эксперимента, и закона реакции. Мы будем бороться также и с ним, с этим законом!.. И мы победим! Мы всколыхнем весь мир…

— Пока что — не знаю, что будет дальше, — вы только уничтожаете…

— Верно, совершенно верно, вы правы. Верно. Мы уничтожаем, но помните ли вы, что говорит Писарев, помните? «Ломай, бей все, бей и разрушай! Что сломается, то все хлам, не имеющий права на жизнь, что уцелеет, то благо…» Вот и мы, верные писаревским — а они истинно революционны — заветам, ломаем и бьем все, бьем и ломаем, ха-ха-ха, и вот результат, — все разлетается вдребезги, ничто не остается, то есть все оказывается хламом, державшимся только по инерции!.. Ха-ха-ха, и мы будем ломать и бить!

— Я не совсем понимаю вас, Владимир Ильич, не понимаю какого-то так явно бьющего в ваших словах угрюм-бурчеевского пафоса… Но вот что. Все мы, старые революционеры, никогда не проповедовали разрушения для разрушения и всегда стояли… за уничтожение лишь того, что самой жизнью уже осуждено, что падает…

— А я считаю, что все существующее уже отжило и сгнило! Да, господин мой хороший, сгнило и должно быть разрушено!..

«Чем дальше мы загнем влево, — любил повторять Ленин, — тем ближе к нам пройдет равнодействующая». В 1921 году он вспоминал слова Энгельса о том, что «есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться дальше, чем она может осилить, для закрепления менее значительных преобразований».

В одной из речей Владимир Ильич замечал: «Кто бывал в деревне, тот знает, что лет 30 тому назад немало можно было найти в деревне стариков, которые говорили: «А при крепостном праве было лучше, порядку было больше, была строгость, баб роскошно не одевали»… Так и теперь, после революции, многие хвалят ушедший порядок; однако перемены неизбежны…

Посмотрим, как задуманные перемены происходили в разнообразных областях жизни и какое участие в них принимал сам Ленин.

«Отхожие места из золота». Ленин попытался уничтожить один из культов, лежащих в основе современного общества, — культ денег, или, как он выражался, «золотого мешка». Именно в этом смысле следует понимать его знаменитые слова о «сортирах из золота». «Когда мы победим в мировом масштабе, — писал он в 1921 году, — мы, думается мне, сделаем из золота

общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира».

И в первые годы революция действительно зашла очень далеко в борьбе с «денежным мешком». Сами деньги обесценились и превратились в хрустящие, разукрашенные фантики, «дензнаки» — миллионы и миллиарды (как тогда выражались, «лимоны и лимонарды»). Ленин называл их «разноцветными бумажками, которые летят миллиардами и теперь ясно обнаруживают, что они — обломок, обрывки старой буржуазной одежды». Частушка тех лет:

У калитки просит нищий,
Подала советской тыщей.
Бросил тыщу на песок —
Просит хлебушка кусок.

Ленин шутил: «Можно русский рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион».

Всюду торжествовали натуральные оплата и обмен. Один из декретов ввел бесплатное посещение театров и других зрелищ — об этом только делалась отметка в трудовой книжке. Казалось, еще один шаг — и деньги можно будет вовсе упразднить. Ушли в прошлое такие профессии, как банкир, фабрикант, да и просто крупный торговец… Самая известная советская карикатура на Владимира Ильича (нарисованная Дени в 1920 году) изображала его в виде дворника с метлой, выметающего с земного шара всякую нечисть — царей-королей в горностаевых мантиях, попов в черных рясах, миллионеров с тугими мешками золота…

Правда, взамен крупной торговли расцвела пышным цветом мелкая, уличная торговля. Либеральная газета «Современное слово» писала в феврале 1918 года: «Все улицы, площади и бульвары заполнены мелкими торговцами… Магазины пустеют. Магазины заколачивают… Теперь торгует улица. Здесь можно достать — все, на все вкусы, для всех потребностей…

— От гравюры и старинного фермуара до порнографической открытки и старых калош.

— От шоколада Крафта до ярко-красной «собачьей» колбасы.

«Буржуй», крупный «буржуй» — при последнем издыхании… Идет новый «хозяин»… Мелкий, жадный, цепкий, яростный к наживе… Вот она — будущая буржуазия — в платках, попрыгивая от холода, кутаясь в шинелишки, азартно выкрикивает свой товар:

— Папиросы!

— Спички!

— Шоколад!

— Консервы! Разные вещи! Пряники!»…

В Москве средоточием мелкой торговли стал знаменитый Сухаревский рынок. В декабре 1920 года, выступая на съезде Советов, Ленин торжественно объявил о закрытии этого, как он выразился, «малоприятного учреждения». Раздались аплодисменты… «Сухаревка» закрыта, — продолжал Владимир Ильич, — но страшна не та «сухаревка», которая закрыта. Закрыта бывшая «сухаревка» на Сухаревской площади, ее закрыть нетрудно. Страшна «сухаревка», которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту «сухаревку» надо закрыть»…

А спустя еще пару месяцев, в 1921 году, страна неожиданно взбунтовалась. Вспыхнуло кронштадтское восстание, все сильнее полыхало тамбовское, начались забастовки в Москве. Мятежные кронштадтские моряки распевали частушки:

Всероссийская коммуна
Разорила нас дотла,
Коммунистов диктатура
Нас до ручки довела.
Мы помещиков прогнали,
Ждали волюшки, земли,
Всех Романовых стряхнули,
Коммунистов обрели.
Вместо воли и землицы
Чрезвычайку дали нам,
И Советские хозяйства
Насадили, тут и там.
Нет ни спичек, керосину,
Все с лучинами сидят,
При коммуне большевистской
Только карточки едят.
И восстали по России
За землицу мужики,
А в «Известиях» все пишут:
«Взбунтовались кулаки».
…
Подымайся, люд крестьянский!
Всходит новая заря —
Сбросим Троцкого оковы,
Сбросим Ленина царя!..

Газета восставших кронштадтцев печатала заявления местных большевиков, которые десятками и сотнями выходили из партии… Революционная власть зашаталась. Оказалось, что крестьяне хотят не только избавиться от помещиков, но и торговать свободно. «Большие массы крестьянства, — говорил Ленин, — не сознательно, а инстинктивно, по настроению были против нас». По его признанию, это создавало «опасность, во много раз превышающую всех Деникиных, Колчаков и Юденичей, сложенных вместе».

«Если мы ее не победим, мы скатимся назад, как французская революция».

И маятник резко откачнулся обратно… Вся страна обратилась в одну сплошную Сухаревку. Закипела крупная торговля, и на свет божий сразу появились «совбуры» (советские буржуи). Открылись дорогие магазины и всевозможные увеселения для богатых. В листовке петроградских меньшевиков в 1922 году говорилось: «Долой деньги! — вопияли коммунисты. А теперь?.. Снова царит телец: если не настоящий, так из сусального золота… Наряду с беспросветной нуждой — все новые богачи. На утеху им полны всякого заморского товара роскошные магазины, гремит музыка патефонов, льются реки вина, до утра полны игорные дома. И все это во славу октябрьской революции». А бывший левоэсеровский нарком Штейнберг с осуждением замечал: «При Нэпе… стали оживать легко кости старого мира».

Настоящим символом нэпа («новой экономической политики») стали игорные дома, казино. Журналист Н. Архангельский в 1922 году в журнале «Россия» описывал будни советского казино: зеленые столы, заваленные грудами дензнаков… «А вокруг этих столов толпятся люди — мужчины и женщины, охваченные единственно признаваемой здесь страстью — карточным азартом. Глаза горят нездоровым блеском, пальцы судорожно тянутся к ассигнациям, и каждый из игроков охвачен особенным напряженным чувством — надеждой выиграть, удачно схватить руками эти миллионы и миллиарды, чтобы бросить их вновь на стол — в новой надежде удвоить, утроить, удесятерить выигрыш… Женщины не отстают в азарте от мужчин — даже превосходят их. Вот рыжая красавица — с молочно-белой кожей, с чудесными русалочьими глазами, с пышной, артистически сделанной прической. В ушах огромные брильянты, на изящных ногах, затянутых в шелк и великолепный лак, браслеты, также с брильянтами. Бюст — в алмазах и жемчугах. Но всех этих «блестящих» эффектов ей мало: в прическах и на застежках туфелек дробные, как жемчужины, электрические лампочки. Время от времени красавица нажимает кнопку скрытой в кармане

электрической батарейки, и голова ее зажигается, точно мурава светлячками в июльскую ночь, а на ножках зажигаются звезды, как на черном южном небе… Маленькая холеная ручка, закованная в золото и усыпанная драгоценными камнями, небрежно тянется к золотому с звенящими подвесками ридикюлю и вынимает пачку кредиток.

— Миллиард! — отчеканивает коралловый ротик красавицы.

И когда ставка оказывается битой, тот же ротик, с такой же беспечностью, повторяет:

— Еще миллиард!»

Журнал «Красный перец» в 1923 году помещал карикатуру: люди с саблями и винтовками выводят из казино какого-то человека. Иностранец, глядя на эту сцену, с беспокойством спрашивает:

— Скажите, гражданин, что это? Возобновился красный террор?

— Нет. У нас в Москве милиция провожает домой тех, кто крупно выиграл…

Конечно, еще в 1920 году большевики и в страшном сне не могли вообразить, что подобные сцены будут разыгрываться наяву в стране под их руководством. Самому Ленину это казалось немыслимым. Он твердил о свободе торговли: «Мы говорим: на это мы не пойдем никогда, скорее ляжем все костьми, чем сделаем в этом уступки… Против этого мы будем бороться до последней капли крови».

«Какие уж мы торговцы», — вздыхал Ленин. Но теперь он сам призвал товарищей «учиться торговать». Звучало это весьма шокирующе. Один из слушателей возразил:

— В тюрьмах нас торговать не учили.

Владимир Ильич считал подобные возражения ярчайшим проявлением «обломовщины». Он мгновенно и с негодованием откликнулся:

— А воевать нас в тюрьмах учили? А государством управлять в тюрьмах учили?..

Совершить весь этот фантастический поворот относительно мягко позволил только авторитет Ленина. Владимир Ильич понял, что если большевики сами не пожелают стать на путь «термидора» (то есть «контрреволюции»), то страна прекрасно обойдется и без них. И им придется, без сомнения, «лечь костьми» в прямом, а не переносном смысле. «Термидор»? — записывал Ленин в 1921 году. — Трезво, может быть, да? Будет? Увидим». «Революция стоит перед какой-то пропастью, — отмечал он, — на которую все прежние революции натыкались и пятились назад…» В беседе с французским социалистом Жаком Садулем Ленин

сказал:

— Рабочие-якобинцы более проницательны, более тверды, чем буржуазные якобинцы, и имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать.

Вождю большевиков с радостью вторил сменовеховец Н. Устрялов: «Революция уже не та, хотя во главе ее — все те же знакомые лица… Но они сами вынужденно вступили на путь термидора… Путь термидора — в перерождении тканей революции, в преображении душ и сердец ее агентов…» «Не знаю, прав ли Демьян Бедный, что крупными слезами плачут памятники Володарского и Свердлова, созерцая лики нынешних Москвы и Петербурга, — но уверен, что ликует Медный Всадник…» Устрялов продолжал сравнение, сопоставляя личности вождей двух революций: «В свое время французские якобинцы оказались неспособны почувствовать новые условия жизни — и погибли. Ни Робеспьер, ни его друзья не обладали талантом тактической гибкости». «Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер». «Мы вступили на «путь термидора», который у нас, в отличие от Франции, будет, по-видимому, длиться годами и проходить под знаком революционной, советской власти».

А старовеховец А. Петрищев едко высмеивал подобные мечтания: «Я понимаю раздражение того читателя «Смены вех», который говорил:

— Ждите, мол, ребятушки. Уже Термидоры. Не за горами и Брюмеры. Потом Наполеон. Потом и Людовик придет… Ох, уж эти мыльные пузыри. Обрыдло от них… И как это не надоест людям…» Как и предыдущие крутые повороты, переход к нэпу давался Ленину непросто. Н. Вольский передавал услышанный им рассказ большевика Алексея Свидерского: «На одном собрании Ленин говорил: «Когда я вам в глаза смотрю, вы все как будто согласны со мной и говорите «да», а отвернусь, вы говорите «нет». Вы играете со мной в прятки. В таком случае позвольте и мне поиграть с вами в одну принятую в парламентах игру. Когда в парламентах главе правительства высказывается недоверие, он подает в отставку. Вы мне высказывали недоверие во время заключения мира в Бресте, хотя теперь даже глупцы понимают, что моя политика была правильной. Теперь снова вы высказываете мне недоверие по вопросу о новой экономической политике. Я делаю из этого принятые в парламентах выводы и двум высшим инстанциям — ВЦИКу и Пленуму — вручаю свою отставку. Перестаю быть Председателем Совнаркома, членом Политбюро и превращаюсь в простого публициста, пишущего в «Правде» и других советских изданиях…» Угрозой отставки Ленин так всех напугал, что сразу сломил выражавшееся многими

несогласие».

Несмотря на свою временную победу, совбуры, нэпманы ощущали шаткость, непрочность своего «второго пришествия». (Оно и кончилось, как известно, в конце 20-х годов.) Ведь богач перестал быть почтенным, уважаемым в обществе человеком, примером для всеобщего подражания: в этом революция добилась успеха. Характерная шутка 1924 года (из журнала «Заноза»):

— И чего вы, Поликарп Федотыч, убиваетесь. До войны вы были первая гильдия, а теперь нэп… Только вся и разница…

— Рассказывай! — горько возражает нэпман. — Прежде я был гильдия, а теперь мне все кричат: «гниль-де, я!..»

Известный анекдот тех лет — нэпман с ребенком гуляют по Красной площади.

— Папа, что это такое? — спрашивает мальчик, показывая отцу на Мавзолей.

— Это могила Ленина.

— А что такое Ленин?

— Ленин — это, сынок, наша могила…

Задуманные Владимиром Ильичем «отхожие места из золота» так и остались мечтой. Пожалуй, неожиданное воплощение эта идея обрела только в знаменитых «золотых унитазах» «новых русских» в 90-е годы. Золотой унитаз возродившегося из пепла богача — настоящее завершение мечты Ленина, при котором она обращается в свою полную противоположность… Впрочем, не такова ли судьба всех вообще человеческих идей?

Кстати, в анекдотах 90-х годов Владимир Ильич встречался и с этим, следующим поколением российских «буржуев»: «На перекрестке в зад шестисотому «Мерседесу» врезается допотопный броневичок. Из «мерса» выскакивает «новый русский» в малиновом пиджаке, пальцы веером, готов к бою. А из броневичка выходит дяденька в сером пальто и кепочке, с рыженькой бородкой. Щурит дяденька добрые-предобрые глазки и говорит «новому русскому»:

— А вы, батенька, не в тот анекдотик заехали. Феликс Эдмундович! Расстреляйте, пожалуйста, этого буржуя».

«Разве не нравится молодежи слово «товарищ»?» Конечно, борьбу с деньгами большевики рассматривали как часть более широкой войны — против частной собственности вообще. Иногда Ленину доказывали, что стремление к собственности лежит в самой природе человека. Он отвечал на этот довод так: «Чувство собственности отнюдь не является изначальным человеческим инстинктом. Когда человек хочет владеть чем-то… он делает это для того, чтобы облегчить себе борьбу за существование. Никто

не хочет получать в собственность то, чего и так хватает для всех. В пустынях все берегут свои колодцы, но там, где воды вдоволь, ни один разумный человек не будет ее охранять…»

Большевики считали, что, если вместо взаимной борьбы в обществе установится братство, люди перестанут цепляться за собственность. Внешним выражением этих новых человеческих отношений служило слово «товарищ». Это словечко ввела во всеобщее обращение еще Февральская революция. В те дни оно не употреблялось разве что по отношению к бывшим царю и царице. Американский журналист Джон Рид описывал такой случай: «Дама одного из моих приятелей однажды в полдень вернулась домой в истерике: кондукторша в трамвае назвала ее «товарищем»!»

Владимир Ильич считал такое безразмерное понимание «товарищества» ошибочным. В июне 1917 года он заявил в одной из речей: «Волк овце не товарищ».

И все же и в красной России обращение «товарищ» применялось почти ко всем. Очень скоро в нем зазвучали нотки казенности, неискренности. В дружеском общении его стали вытеснять иные, более сердечные словечки. «Это слово — «товарищ», — говорил Лев Каменев в 1918 году, — оно стерлось, как монета, от повторения, но это великое слово, воплощающее в себе тот будущий строй, при котором люди друг другу будут не волки, а товарищи, будут жить дружной семьей». В 20-е годы сам Ленин с некоторой досадой спрашивал у комсомолки Екатерины Логиновой: «Разве не нравится молодежи слою «товарищ»?» Его собеседница отвечала, что нравится. «Тогда зачем вы друг с другом обращаетесь со словом «братва»?..»

Позднее в советском фольклоре появилась шутка: «При капитализме человек человеку волк. А при социализме? Товарищ волк».

Тем не менее обращение «товарищ» продержалось вплоть до самой «реставрации» 90-х годов (а в российской армии — сохранилось и в XXI веке). Читатель либерального журнала «Огонек» П. Негретов в 1991 году призывал побыстрее внедрять обращение «господин»: «Удобней всего начать там, где живут по приказу, по уставу, — в армии. «Господин лейтенант!» — как прекрасно это звучит и как благотворно действует на обе стороны — и на того, кто обращается, и на того, к кому обращаются… Вместе с восстановлением частной собственности старые обращения вернут нам утраченное чувство собственного достоинства».

По иронии судьбы, старорежимное обращение «господин» вернулось в быт в 1991 году, как раз тогда, когда у пустеющих

магазинов выстраивались огромные очереди. Что породило частушку:

Пока мясо клали в щи,
Были мы товарищи.
А как кончилась еда,
Сразу стали «господа»!..

Ленин как нудист. Бульварно-эротическая печать России по-своему отразила приход большевиков к власти: как наступление эры вседозволенности. На рисунке в одном из таких изданий в ноябре 1917 года изумленная хозяйка спрашивает свою кухарку, которая расхаживает по кухне голой, в одном фартуке и платочке:

«— Почему ты в таком виде?

— А в хвосте (очереди. — А.М.) говорили: «большевики придут, все с тебя снимут!». Так вот я уж заранее все с себя сняла!..»

На другом рисунке хорошо одетый кавалер игриво интересуется у обнаженной девушки, плескающейся в ванне:

— А к какой партии вы принадлежите?

— Разве вы не видите, что «большевичка», — томно отвечает она, — у меня нет даже тени какого-либо стыда!..

Пожалуй, расцветшее в молодой Советской республике движение нудистов стало самым ярким символом сексуального раскрепощения. Особенно прославился своими шокирующими демонстрациями поэт Гольдшмидт, который появлялся перед публикой не только обнаженным, но и выкрашенным коричневой краской «под нефа». Из либеральной газеты «Современное слово» за апрель 1918 года: «Футурист-большевик, ходящий полуодетым по улицам, Гольдшмидт, распотешил Москву, поставив сам себе памятник на клумбе перед Большим театром. Небольшая его статуэтка в голом виде, с кусающей его пятку собакой, была открыта им по заведенному ритуалу. Перед кучкой зевак и прохожих он произнес прочувствованное слово, а затем отдернул покрывало».

Знаменитая танцовщица Ида Рубинштейн выступала без одежды на сцене, что тоже казалось в те времена шокирующим и непривычным. Слухи обо всех этих вольностях доходили и до белогвардейцев, которые в 1919 году выпустили сатирический плакат «Вздорожание мужского костюма в Совдепии». Согласно плакату, цены на одежду так выросли, что она оказалась «не по карману» рядовым советским обывателям. Они поневоле бродят по улицам голыми. Подпись гласит: «В большевистском раю

можно ходить голыми, прикрываясь газеткой «Коммунист»…

Среди тысяч и тысяч памятников Ленину нет, вероятно, ни одного, который изображал бы его обнаженным. Между тем автор подобной скульптуры не сильно погрешил бы против правды истории — ведь Владимир Ильич тоже был сторонником нудизма.

Движение нудистов (натуристов) возникло в Германии и Австрии на рубеже XIX–XX веков. Обнаженное тело для натуристов стало символом возвращения к природе, естественного и здорового образа жизни. На пляжах и в других местах отдыха нудисты проводили время без одежды, бросая тем самым вызов чувству «ложного стыда» и общественным условностям. Нудисты проповедовали трезвость, отказ от курения, гимнастику, вегетарианство. В России среди сторонников этого движения оказались такие заметные фигуры, как Лев Толстой и Максимилиан Волошин. Нудизм завоевал симпатии и среди русских революционеров. Что было нисколько не удивительно — ведь в натуризме видели нечто вроде продолжения революции в области культуры и здоровья.

Находясь в Австрии, эмигрант Владимир Ульянов побывал на нудистском пляже, и это посещение произвело на него самое благоприятное впечатление. Он решительно высказался в пользу «здорового образа жизни», который проповедовали нудисты. Разделяла эти идеи и супруга Ленина — Надежда Константиновна Крупская. К числу сторонников нудизма принадлежали и другие видные большевики — например, Анатолий Луначарский, Николай Бухарин, Александр Богданов…

В 1917 году Владимир Ильич вернулся в Россию. После европейской раскованности отечественный пляж (летом того же года) произвел на него удручающее впечатление: пустынный, с одинокими купальщиками, которые, стесняясь своей полуодетости, робко прятались за кустами.

«Вот за границей это уже превзойдено, — заметил Ленин сопровождавшему его Бонч-Бруевичу. — Там нигде нет такого простора и, например, в Германии, на озерах такая колоссальная потребность в купании у рабочих, у гуляющей по праздникам публики, а в жаркое лето ежедневно, что там все купаются открыто, прямо с берега, друг около друга, и мужчины и женщины. Разве нельзя раздеться аккуратно и пойти купаться без хулиганства, а уважая друг друга?.. Помилуйте, за границей же купаются вместе сотни и тысячи людей, не только в костюмах, но и без костюмов и, однако, никогда не приходится слышать о каких-либо скандалах на этой почве. С этим надо решительно бороться… Нам предстоит большая работа за новые формы жизни, упрощенные и свободные; без поповской елейности и

ханжества скрытых развратников».

Годом позже российские пляжи приобрели уже совершенно иной вид. Бульварная газета «Московский звонарь» летом 1918 года под заголовком «Свобода купания» описывала характерную сценку:

«— Разойтись!.. Не место тута!.. Слышь, што ля?

— Свобода, товарищ… Что же гонишь?..

— Говорю, что тут собрамшись?.. Разойдись!.. Стрелять буду!.. — кричит товарищ-милиционер.

В чем мать родила купальщики «рассыпным строем» лежат по набережной. Публика с трамвая буквы «А» разражается громким хохотом, а иные не знают, куда девать глаза». И, как ни странно, в подобных спорах тогда побеждал не пуритански настроенный милиционер, а раскрепощенные купальщики…

В своих сочинениях Ленин хоть и не упоминает о нудизме прямо, но несколько раз ядовито высмеивает «отвратительнейший образец высохшей и анемичной, истеричной старой девы, гордой своей бесплодной моральной чистотой… которая жеманно настаивает на необходимости фигового листка».

Между прочим, нудистом был и последний русский император — Николай II. (Сохранилась кинопленка: обнаженный государь ныряет в реку, в таком же костюме купаются и его домочадцы.) В конце XX века среди российских нудистов появилась даже такая шутка: «Если бы Ленин и Николай II познакомились в каком-нибудь натурклубе, то, может, и революции бы не случилось»…

На несколько лет Россия оказалась «страной победившего нудизма». Делегации советских нудистов в 20-е годы были самыми многочисленными на международных нудистских конференциях. На основе нудизма развивался и массовый детский отдых — в пионерском лагере «Артек» все дети купались без одежды (что подтверждает архивная киносъемка).

Поворот в отношении к нудизму наметился в 1924 году, вскоре после смерти Ленина. Сатирики Ильф и Петров высмеяли нудиста-недотепу в хлестком фельетоне «Идейный Никудыкин». Журналы стали печатать ехидные шутки вроде таких — покупательница в магазине возмущается:

— Как вам не стыдно так обвешивать?!

— Я, гражданка, член Общества «Долой Стыд».

Демонстрации без одежды на городских улицах запретили. Нудизм окончательно вытеснили в сферу семейного отдыха. Однако и здесь его массовость производила в те годы на иностранцев неизгладимое впечатление. Лауреат Пулитцеровской премии Х. Р. Кникерборгер описал свое путешествие в 1931 году

по берегам Москвы-реки. Он оказался гостем настоящей фантастической «страны нудистов». Вот его наблюдения: «Тысячи мужчин и женщин, девочек и мальчиков, дети на руках, бабушки и дедушки играют в игры, едят провизию, обычную для пикника, купаются в реке или просто принимают воздушные ванны, греясь на солнце… Большинство участников пикника, юных атлетов и более старших людей — полностью обнажены… Группа юношей соревнуется в прыжках в длину. Полусотня их находится в яме для прыжков, либо ожидает своей очереди. Все они раздеты. Среди них нет девушек, но вскоре полдюжины девушек в легких летних платьях, проходя мимо, останавливаются, чтобы понаблюдать за прыжками… На другой стороне группа девушек играет в ручной мяч. Они обнажены… Ниже, в реке, несколько сотен женщин всех возрастов плавают, плещутся или просто беседуют, стоя по колено в воде. Никто не обращает на них особого внимания».

Из своих наблюдений гость делал такой любопытный вывод: «Снимание одежды — наиболее радикальное уравнительное действие, которое может быть предпринято человечеством… При обнаженности классовые различия исчезают. Рабочие, крестьяне, конторские работники становятся вдруг просто людьми. Это, в краткой форме, излагает… главную цель советских революционеров. Вот почему… этим летом в Советском Союзе, на каждой его реке, на берегах всех его озер и морей, буквально миллионы мужчин и женщин плавали и загорали под солнцем без одежды, естественно, как будто по-другому не могло и быть…»

Сексуальная революция. Браки в Российской империи заключались в церкви, поэтому и развести супругов могла только церковь. Добиться законного развода через духовную консисторию было невероятно сложно. Уже Февраль 1917 года попытался облегчить эту процедуру. На сатирических рисунках тех дней церковный брак изображали в виде тяжких цепей, намертво сковавших несчастных супругов. Разумеется, упрощение развода встречало резкое противодействие со стороны православной церкви. На одной из карикатур назначенный революцией новый обер-прокурор Святейшего синода сердито грозился церковникам: «Ваши преосвященства! Еще два слова против развода — и я заставлю вас развести даже Троицкий мост!..»

Однако только у большевиков хватило решимости, чтобы разрубить гордиев узел прежних брачных отношений. «Нельзя быть демократом и социалистом, — решительно писал Ленин, — не требуя сейчас же полной свободы развода, ибо отсутствие этой

свободы есть сверхпритеснение угнетенного пола, женщины». Столь же категорично назывался и декрет, подписанный Лениным в декабре 1917 года, — «О расторжении брака». Взамен церковного вводился гражданский брак, и его расторжение было стократно облегчено. «Петроградская газета» в 1918 году сообщала о последствиях этого декрета: «Вероятно, немногие из петроградцев знают, что старая волокита бракоразводного дела отошла «в историю»… С непривычки к новой судебной процедуре тяжущиеся буквально каменеют от изумления, когда слышат приговор о разводе.

— Уже?! — с непередаваемым разочарованием раздаются не раз восклицания мужей и жен, сразу освобождаемых от ставших им в тягость цепей Гименея».

Первый в стране гражданский брак заключили между собой нарком Александра Коллонтай и матрос Павел Дыбенко. Вскоре молодые супруги серьезно провинились перед новой властью — и Ленин пошутил: «Я лично считаю, что расстрел будет для них недостаточным наказанием. Поэтому я предлагаю приговорить их к верности друг другу в течение пяти лет».

Журнал «Новый Сатирикон» в 1918 году всячески издевался над новыми порядками в области брака. Одна из заметок: «Ф. Сологуб рассказывает подслушанный на улице отрывок беседы:

— Вы знаете, она (очевидно, Коллонтай. — А.М.) вышла замуж.

— Что вы! Неужели в церкви венчались?

— Ну, зачем же! Просто у себя в записной книжке записали.

Мы уверены, что и способ записи совершенного брака в записную книжку скоро будет оставлен — как способ буржуазный. Просто достаточно будет подмигнуть — и брак совершен. Со своей стороны предлагаем также и наиболее простой способ развода: один из супругов топит другого в Фонтанке. Это тебе не консисторская канитель!»

Журнал также излагал хитроумный «способ» избавиться от надоевшей кухарки. Просто уволить негодную прислугу стало после революции почти невозможно — ее права надежно защищала новая власть. Зато можно было вступить с кухаркой в законный брак, а потом мгновенно развестись и сразу выставить ее вон — ведь разойтись с женой теперь ничего не стоило…

Либеральная газета «Чертова перечница» летом 1918 года печатала пародию на обычное адвокатское объявление: «По бракоразводным делам нечего ходить по адвокатам. Ступайте в колбасную и разводитесь». Другая шутка того времени: «Запрещено вступать в гражданский брак более 17 раз вдень»…

Правда, кое-где в деревнях декрет о расторжении брака поняли очень своеобразно. Как сообщала газета «Все!» в августе 1918 года, в одном селе под Царицыном крестьяне потребовали от священника закрепить светский развод в церкви. Священник отказался: «Обряда развода нет». Тогда крестьяне придумали по-своему: «Виноватую жену одели в рогожи, в руки дали старый веник, голову украсили крапивой, на груди и на спине повесили большие плакаты с надписями: «я разведенная жена», и под руку с торжествующим мужем, под звон тазов и сковород, с свистом и гиканьем провели через все село в дом ее родителей».

Оппозиционная петроградская газета «Эра» в июле 1918 года передавала разговоры в коридорах народного суда. Вот суд моментально развел какую-то молодую женщину, и даже присудил ей деньги на ребенка. «Лицо женщины сияет от удовольствия.

— Как любезно. Я даже не просила денег! — весело говорит она…

— Ишь, как скоро! Раз-два, и разведены!..

— Легче, чем в трамвай влезть!

— Здесь, брат, в одну минуту разженят!

— Долго ли умеючи.

— А раньше, по-вашему, лучше, что ли, было? — горячо вступается какая-то женщина в белой косынке, с немолодым болезненно-бледным лицом. — Прежде лет семь надо было по консисториям шляться да сколько денег изводить. А нынче…»

Большевики пошли еще дальше — полностью приравняли фактический брак к официальному. Внебрачные дети приобретали все права «законнорожденных» детей. «Мы издали декрет, — отмечал Ленин, — который уничтожил разницу в положении брачного и внебрачного ребенка…» «Мы не оставили в подлинном смысле слова камня на камне из тех подлых законов о неравноправии женщины, о стеснениях развода, о гнусных формальностях, его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, о розыске их отцов и т. п., — законов, остатки которых многочисленны во всех цивилизованных странах». (Эти революционные новшества сохранялись до 1944 года.)

Впрочем, платить алименты отцам внебрачных детей пока «временно» приходилось, в течение полугода. На одной из карикатур начала 20-х годов мужчина с завистью смотрит на петуха: «Вот петухам раздолье: две-три жоны, дюжина детей и никаких алиментов!»

На другом рисунке к самому Богу выстроилась очередь из Богородиц с младенцами (Смоленской, Троеручицы, Утоли печали, Казанской, Почаевской…). Старичок Бог в ужасе

восклицает: «Черт возьми! Каждой из них платить по трети жалованья на содержание ребенка? Да ведь на это никакого жалованья не хватит!»

В 20-е годы в советском обществе широко распространились временные, недолгие браки. Журнал «Долой богов» в 1923 году писал: «За последнее время у нас царит эпидемия «разводов». Чем она объясняется? Прежде всего тем, что теперь незачем тайком изменять нелюбимой жене или ненавистному мужу. Можно развестись открыто… Затем, теперь меньше стало охотниц беспрекословно выносить побои своего пьяного мужа»… Лев Троцкий объяснял происходящее так: «Уже одно введение института гражданского брака не могло не нанести жестокий удар старой, освященной, показной семье. Чем меньше в старом браке было личной связи, тем в большей мере роль скрепы играла внешняя, бытовая, в частности обрядовая, церковная сторона. Удар по этой последней оказался тем самым ударом по семье… Вот почему семья шатается, распадается, разваливается, возникает и снова рушится… История рубит старый лес — щепки летят».

«Такой пестроты брачных отношений, — отмечала в 1918 году Александра Коллонтай, — еще не знавала история: неразрывный брак с «устойчивой семьей» и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным — «дикий брак», брак парный и брак «втроем», и даже сложная форма брака «вчетвером», не говоря уже о разновидностях продажной проституции… Противоречивы и запутаны формы брачного общения современности». «Так было, так это и будет! Ничего нет ошибочнее этой поговорки… Скрывать нечего: старая семья отмирает».

Ленин также считал, что «в области брака и половых отношений близится революция», созвучная революции социальной. Однако не только либералы, но и правые социалисты не одобряли чересчур широкий размах советской «сексуальной революции». Бывший эсеровский деятель Питирим Сорокин в 1922 году в одной из речей с тревогой отмечал, что семья «разлагается»: «Без здоровой семьи невозможно здоровое общество. Слишком далеко зашел здесь развал и духовный, и биологический, чрез половые болезни ускоряющий вымирание и вырождение русского народа. Пора остановить это бедствие».

В независимом петроградском журнале «Экономист» Сорокин тогда же поместил статью, где осудил «половое распутство, легкомысленное отношение к браку». Он отметил значительное число разводов в городе: 92 случая на 10 тысяч браков. «Цифра

фантастическая… Эти цифры говорят, что современный легальный брак — форма, скрывающая по существу внебрачные половые отношения и дающая возможность любителям «клубники» «законно» удовлетворять свои аппетиты».

Ленин прочитал эту статью, и рассуждения о «клубнике» привели его в бурное негодование… Он напечатал ответ Сорокину, где обвинил его и журнал в проповеди «крепостничества». «Если г. Сорокину 92 развода на 10.000 браков кажется цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь… загороженном от жизни монастыре… либо что этот автор искажает правду в угоду реакции… Фактическое число фактических разводов… повсюду неизмеримо больше. Россия в этом отношении отличается от других стран только тем, что ее законы не освящают лицемерия».

Ленин отметил, что ни одна из западных демократий не смогла обеспечить свободу брака и развода, защитить все права внебрачных детей. Россия — первая страна в мире, которой это удалось. Что же касается сторонников семейного «крепостничества», то их давно пора «вежливенько препроводить» на Запад. «Там подобным крепостникам самое настоящее место». И это были не пустые слова — хотя журнал «Экономист» продолжал выходить и после этой «дискуссии», в течение года его сотрудников (и П. Сорокина) по указанию Ленина выслали за границу.

Высылки в 1922–1923 годах коснулись многих «старовеховцев» (их отвозили на Запад знаменитые «философские пароходы»), В связи с чем появился такой анекдот: «Философ-славянофил, которого высылают на Запад, говорит:

— Конечно, больно покидать Русь. Но чем лежать в родной святой земле с пулей в затылке, лучше уж топтать окаянные парижские бульвары»…

«Поскребите коммуниста — и вы найдете филистера».

Революция в целом упростила и сделала более свободным общение между полами. Границы речевой пристойности расширились, и стало возможным обсуждение прежде немыслимых, запретных тем. Мальчиков и девочек в школах начали обучать совместно (чего не было в царской России).

Сами привычные отношения между мужем и женой, по замыслу большевиков, подлежали полной перемене. «Во всех цивилизованных странах, — говорил Ленин, — даже самых передовых, положение женщин таково, что недаром их называют домашними рабынями». Женщины «остаются в «домашнем

рабстве»… будучи задавлены самой мелкой, самой черной, самой тяжелой, самой отупляющей человека работой кухни».

В 1920 году Ленин замечал Кларе Цеткин: «К сожалению, еще по адресу многих наших товарищей можно сказать: «Поскребите коммуниста — и вы найдете филистера». Конечно, скрести нужно чувствительное место — его психику в отношении женщины. Существует ли более наглядное доказательство этому, чем то, что мужчины спокойно смотрят, как женщины изнашиваются на мелкой работе, однообразной, изнуряющей и поглощающей время и силы, — работе в домашнем хозяйстве; на то, как их кругозор при этом сужается, ум тускнеет, биение сердца становится вялым, воля слабой… Домашняя жизнь женщины — это ежедневное принесение себя в жертву в тысячах ничтожных мелочей… Мы должны вытравить старую рабовладельческую точку зрения до последних мельчайших корней ее…»

Эти слова вполне совпадали с общими настроениями 20-х годов. А об этих настроениях можно судить по популярным частушкам того времени:

Приду домой,
С наскока бухну:
Долой корыто,
Шитво и кухню!
Кто не зовет
Жену: товарищ, —
С таким дубьем
Воды не сваришь.
Чертям на небе
Будет жарко,
Коль государством
Правит кухарка!

А. Коллонтай писала об идеале новой женщины: «Перед нами не самка и тень мужчины, перед нами — личность, «Человек-женщина»…

Правда, в жизни этот бодрый размах порой увязал в непроходимом болоте. Даже в отношении такой яркой черты старого «домостроевского» быта, как домашние побои. Супружеский кулак для миллионов женщин оставался более ощутимой и гораздо более нерушимой властью, нежели власть самого царя. На рисунке И. Малютина в 1925 году рабочий колотит жену кастрюлькой прямо под портретом Ленина.

«— Оставь, ирод, душегуб! Забыл, что товарищ Ленин говорил?

— М-молчи, дура!.. Ленин, может, не знал, что я женатый».

Нельзя сказать, что революция совершенно искоренила домашнее рукоприкладство. Пожалуй, ей удалось добиться только «равноправия» супругов в этом вопросе. В 60-е и 70-е годы на страницах юмористической печати стала привычной новая фигура: жена, поджидающая пьяного мужа с кухонной скалкой в руках. Западный журналист Карл Кран приводил такие слова Никиты Хрущева, обращенные к женской аудитории: «В царские времена мужчина, предлагая вам руку и сердце, говорил: «Буду любить тебя, как душу, и трясти, как грушу…» Сегодня вы сами бьете своих мужей. Это доказывает, что мы находимся на пути к коммунизму».

«Еще не уничтожен обычай бить детей». Большевики запретили обычай телесного наказания школьников (порку розгами), который существовал в России до 1917 года. Эта отмена оказалась окончательной (по крайней мере, вплоть до начала XXI века порка в школах так и не была восстановлена). Борьба с домашними телесными наказаниями детей оказалась гораздо менее успешной…

В 1920 году Ленин беседовал с двумя японскими журналистами. Он с любопытством спросил у них:

— Господа, а правда ли, что в Японии никогда не наказывают детей, не бьют их? Я читал об этом в одной книжке.

— Да, — отвечал один из его собеседников, — у нас не бьют детей. Берегут их больше, чем на Западе. Вообще в Японии в своем роде культ детей…

— Неужели даже шлепка не дают? — допытывался Ленин.

— Нет. Мы никогда не бьем детей.

— Да, это замечательный народ! — с воодушевлением воскликнул Ленин. — Это настоящая культура. Это весьма важно. Ведь в самых так называемых цивилизованных странах Европы, в Швейцарии например, еще не совсем уничтожен обычай бить детей в школах…

Владимир Ильич добавил, что он и его товарищи — «решительные противники всяких телесных наказаний, и прежде всего в отношении детей».

Конечно, революция в школьных стенах не ограничилась отменой березовых розог. Само поведение школьников на уроках стало гораздо раскованнее, свободнее. Была упразднена гимназическая форма (вновь введена в 40-е годы). Сатирик Доль в 1917 году в либеральном журнале «Лукоморье» описывал «революцию» среди детей:

Напугав свою мамашу.
Поднял знамя Коля: —
Прочь березовую кашу,
Раз настала воля!..
…
— Отменить без промедленья, —
Слышатся призывы, —
Всю таблицу умноженья,
Горы и заливы! —
Восьмилетние эс-деки
В требованьях стойки:
— Запретить скорей навеки
Все колы и двойки! —
Большевик того же класса
Вставил, полный пыла:
— Тлебовать, цтоб нам мамаса
Балабан купила!!! —
Воли радостные струи
В их сердца ворвались.
…
Как, учители-буржуи,
Вы еще не сдались?!

«Безусловная отмена всех законов, преследующих аборт». Большевики впервые в Европе узаконили аборты. Ленин еще в 1913 году выступал за «безусловную отмену всех законов, преследующих аборт». Он относил право на аборт к «азбучным демократическим правам гражданина и гражданки».

18 ноября 1920 года Ленин подписал декрет о разрешении абортов. Отныне все женщины получили право искусственно прерывать беременность в течение первых трех месяцев. Как считал Лев Троцкий, в будущем «самое понятие законодательства об абортах и разводе будет… звучать немногим лучше, чем воспоминания о домах терпимости или человеческих жертвоприношениях». Любые предписания закона в семейной и половой жизни станут излишни.

Печать с удовольствием смаковала модную тему, печатая статьи, стихи и рисунки о «праве на аборт» (далеко не всегда одобрительные). Некоторые журналисты с тревогой отмечали вспыхнувшую «пандемию абортов». Иногда тема абортов сочеталась со столь же модной темой богоборчества. Например, в 1924 году на карикатуре Константина Готова в журнале

«Крокодил» беременная дева Мария рассматривала уличную театральную афишу. Спектакль назывался «Аборт». Богородица горестно восклицала; «Зачем, зачем я раньше не знала!..»

Правда, расхожая шутка оказалась обоюдоострой: вскоре такие анекдоты рассказывали уже про матерей вождей Советского государства…

Несмотря на право на аборт, рождаемость в красной России в 20-е годы возрастала. Этому способствовал и знаменитый «декретный отпуск» для женщин — он начинался за два месяца до рождения ребенка и заканчивался через полтора месяца после родов. Все это время женщина получала полную зарплату. В 1920 году на тысячу человек в российских городах родилось 21,7 младенца, а в 1923-м (после разрешения абортов) — 35,3. В 1927 году на тысячу человек приходилось уже 45 рождений.

«Свобода абортов» в СССР сохранялась до июня 1936 года, когда прерывание беременности вновь оказалось под запретом. Отныне женщине, сделавшей подпольный аборт, грозили общественное порицание или штраф, а совершивших его медиков ждало и более суровое наказание. Запрет привел к новому всплеску рождаемости: число новорожденных в Москве увеличилось на 65 процентов. Но резко возросло и количество убийств младенцев.

Писатель Анд ре Жид, посетивший в то время СССР, отнесся к закону неодобрительно. «Недавний закон о запрещении абортов, — писал он, — поверг в отчаяние всех, кому низкая зарплата не позволяет создать свой дом, завести семью. Он поверг в отчаяние многих и по другим причинам. Разве не обещали в связи с этим законом нечто вроде плебисцита, всенародного обсуждения, с результатами которого должны были посчитаться. Громадное большинство высказалось (правда, более или менее открыто) против этого закона. С общественным мнением не посчитались, и, к всеобщему изумлению, закон прошел. В газетах печатались, само собой разумеется, только одобрительные высказывания. В частных беседах, которые у меня были со многими рабочими, я слышал только смиренные упреки, робкие жалобы».

Ленин и нетрадиционные формы любви. Один из декретов, подписанных Лениным, отменил старое царское Уложение о наказаниях, которое предусматривало каторгу за сексуальные отношения между мужчинами. Советская Россия стала одной из первых стран в мире, отменивших уголовное преследование за однополую любовь. Для сравнения: в Британии уголовное преследование гомосексуалистов отменили только в 1967 году, а

в Западной Германии — в 1969 году.

В 1925 году советский врач Григорий Баткис в книге «Сексуальная революция в Советском Союзе» так разъяснял установившуюся точку зрения на гомосексуализм и содомию (половые сношения с животными): «Советское законодательство провозглашает абсолютное невмешательство государства в дела пола, пока никому не причиняется вреда и не затрагиваются ничьи интересы… Что касается гомосексуализма, содомии и различных других форм полового удовлетворения, считающихся по европейским законам нарушением общественной морали, то советское законодательство относится к ним точно так же, как и к так называемым «естественным» сношениям. Все формы полового сношения являются частным делом».

Поэт Иоанн Павлушин летом 1918 года в московской газете «Наша проповедь» развивал такой проект: для улучшения человеческой породы всему обществу надо на десять лет отказаться от деторождения. «Этими словами я не хочу сказать, что мы должны будем 10 лет не совокупляться — нет! Совокупляться можно и даже должно, но должны быть пущены в ход все предохранители, а давать детей должны только красивые… Дитя от трех красивых поколений должно стать достоянием государства и быть на положении заводской матки или заводского самца… Конечно, при таких реформах я заранее предвижу уклон человеческой любви в сторону животных, и даже с совокуплением с породами более изящными и интересными из них… Тогда только человек снова может почувствовать себя в раю и среди животных, которых он будет брать и которым будет в свою очередь отдаваться». О своих собственных любовных пристрастиях Павлушин признавался в стихах:

Мне женщина нужна как тело,
Красивый мальчик для восторга.
А для любви и для экстаза
Мне нужен чистокровный пес.

Пожалуй, наиболее известным сторонником однополой любви в 10-е и 20-е годы в России был поэт Михаил Кузмин (символист, потом акмеист). Он сознательно не скрывал характера своей интимной жизни, проповедовал ее в стихах и прозе, и вообще держал себя с необыкновенной для того времени раскрепощенностью. Кузмин приветствовал Февральскую революцию, а затем и Октябрьский переворот (даже назвал себя однажды большевиком). Революции 1917 года он посвятил стихи:

Русская революция, — юношеская, целомудренная, благая —
Не повторяет, только брата видит во французе,
И проходит по тротуарам, простая.
Словно ангел в рабочей блузе.

«Журнал журналов» по этому поводу язвительно заметил, что «М. Кузмин до революции среди всех пролетариев отличал любовью только банщиков». И поместил такие стихи:

Он долго тешился с козой,
Он славил банщиков упрямо,
Хоть мы молили со слезой:
— Кузмин, неловко ведь! Здесь — дамы…
…
Теперь, огромный красный бант
К груди пришив блудливой музе,
Он славит, как влюбленный франт,
Лик «ангела в рабочей блузе»…

Самым первым близким другом Кузмина на рубеже XIX–XX веков был Георгий Чичерин, впоследствии известный большевик. Они дружили с гимназических лет, сохранилась их обширная переписка. Чичерин, потомок старинного дворянского рода, считался среди большевиков самым утонченным и «аристократичным». В последние годы жизни он написал книгу о Моцарте и замечал: «У меня была революция и Моцарт, революция — настоящая, а Моцарт — предвкушение будущего…» Как и Кузмин, Чичерин не скрывал своей нетрадиционной половой ориентации.

В мае 1918 года Ленин назначил Чичерина наркомом иностранных дел. Очевидно, в этом вопросе Владимир Ильич придерживался мнения, которое (по другому поводу) однажды выразил так: «Чудачество не есть нарушение обязанностей социалиста и демократа… Нельзя же в большой партии без больших чудаков!»

Правда, с Кузминым после революции Чичерин встретился только однажды, в 1926 году. Они беседовали как старые друзья, на «ты». Народный комиссар заботливо спрашивал: «Почему мало печатаешься? Мало пишешь?..»

В дневнике после этой встречи поэт записал: «Всеобщая сенсация с Чичериным. Все удивлены, что я ничего у него не попросил, но я думаю, что так лучше». В 1929 году Кузмин

выпустил свою последнюю большую книгу стихов «Форель разбивает лед»…

Ленин не видел ничего дурного и в том, чтобы любоваться мужской красотой. Л. Фотиева вспоминала, что однажды у них зашла речь об одном наркоме. «Владимир Ильич спросил меня: «Это такой красивый?» — «Я не заметила, — ответила я. Другой раз Владимир Ильич долго стоял у постели спящего 13-летнего мальчика в квартире товарища и, отойдя, сказал: «Красивый мальчик».

Не все большевики разделяли терпимое отношение к однополой любви. Так, в 1907 году Максим Горький (бывший тогда большевиком) писал о творчестве поэтов-декадентов: «Все это — старые рабы, люди, которые не могут не смешивать свободу с педерастией, например, для них «освобождение человека» странным образом смешивается с перемещением его из одной помойной ямы в другую, а порою даже низводится к свободе члена и — только».

С середины 20-х годов отношение общества к однополой любви стало постепенно возвращаться к прежнему, дореволюционному. Теперь ее называли «болезнью». А с марта 1934 года она превратилась и в «преступление»: в СССР восстановили уголовное преследование за мужеложество. Отныне виновным грозило до пяти лет заключения, и этот закон широко применялся вплоть до 1993 года. Максим Горький (уже ставший беспартийным) в мае 1934 года с торжеством писал в «Правде»: «В стране, где мужественно и успешно хозяйствует пролетариат, гомосексуализм, развращающий молодежь, признан социально преступным и наказуемым, а в «культурной» стране великих философов, ученых, музыкантов (Германии. — А.М.) он действует свободно и безнаказанно. Уже сложилась саркастическая поговорка: «уничтожьте гомосексуалистов — фашизм исчезнет!».

Впрочем, ни Кузмина, ни тем более Чичерина новый закон не затронул. Оба они умерли в 1936 году.

«От теории «стакана воды» наша молодежь взбесилась». К проституции Ленин, как и другие большевики, относился отрицательно. А. Коллонтай поясняла это отношение: «Ничто так не опустошает душу, как зло вынужденной продажи и покупки чужих ласк. Проституция тушит любовь в сердцах; от нее в страхе отлетает Эрос, боясь запачкать о забрызганное грязью ложе свои золотые крылышки».

Что-то похожее на проституцию Ленин видел в любой сексуальной связи без любви, будь это даже «законный брак». Между тем именно такое отношение к сексу победило в ходе

революции. Людям «не хватало времени» на влюбленность, романтическую любовь. Родилась знаменитая теория о том, что к удовлетворению полового чувства надо относиться легко — примерно как к осушению стакана воды.

В 1918 году либеральная газета «Крик народа» с осуждением писала: «В настоящее время, как и в 1905 году, возник целый ряд союзов свободной любви. Члены союзов устраивают настоящие оргии, афинские ночи, где дают полную волю своим желаниям, являющимся, по их понятиям, «истинной свободой». Газета приводила гимн одного из таких союзов:

Прочь рассудок! Жгите тело,
Будет пестро, ярко, смело!
Дерзкий, юный грянет хор;
Все в пучину, все в костер!
Пусть кругом развал, пожары, —
В нашем сердце вихрь, угары!
В нашем сердце трепет ласки —
С лживых лиц спадают маски!.
Зверь проснется — громкий, властный —
Рвитесь в пляс зверино-страстный!
Кто безумен в наслажденьи,
Тот поймет, где есть забвенье!
Что нас ждет? И смерть, и голод!
Все в пучину, — ведь ты молод!..
Миг нам дорог! Пейте радость.
Есть пока в бокалах сладость!..
…
В час экстаза, в час желаний
Жизнь блеснет мильоном граней.
Лучше сжечь себя победно,
Чем погибнуть смертью бледной.
Так спадайте цепи с тела,
В праздник зверя бросьтесь смело!..
В грязь затоптано былое,
Так рождайте вновь святое!
Наши боги — миги, сказки,
Наши боги — взоры, ласки…
Красота и страсть — святое
Вот где боги, дно морское!..
Я кричу: под стяг забвенья,
В вихрь безумья, наслажденья!

Решительной противницей теории «стакана воды» выступала

Александра Коллонтай. «Современному человеку некогда «любить», — с сожалением отмечала она в том же 1918 году. — В обществе, основанном на начале конкуренции, при жесточайшей борьбе за существование… не остается места для культа требовательного и хрупкого «Эроса»… На одни «свидания» уходит сколько ценных для «дела» часов!» Позднее, в 20-е годы, Коллонтай развивала эти мысли: «Перед грозным лицом великой мятежницы — революции — нежнокрылому Эросу («богу любви») пришлось пугливо исчезнуть с поверхности жизни. Для любовных «радостей и пыток» не было ни времени, ни избытка душевных сил». Поэтому, по Коллонтай, в дни революции и победил «общипанный, бескрылый Эрос» — «телесное влечение пола». Но время крылатого Эроса еще настанет. «Каков будет этот новый преображенный Эрос? Самая смелая фантазия бессильна охватить его облик».

Сожаление Коллонтай о смерти «крылатого Эроса», судя по всему, в чем-то разделял и Ленин. Его не устраивало то, что свобода любви обернулась «свободой без любви». Он говорил Кларе Цеткин:

«Мне, старику, это не импонирует. Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая новая половая жизнь молодежи — а часто и взрослых — довольно часто кажется… разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. Все это не имеет ничего общего со свободой любви, как мы… ее понимаем. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. От этой теории «стакана воды» наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Эта теория стала злым роком многих юношей и девушек… Я считаю знаменитую теорию «стакана воды» совершенно не марксистской и сверх того противообщественной… Конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край которого захватан десятками губ?»

«Я не питаю ни малейшей симпатии к теории «стакана воды», хотя бы на ней и красовалась этикетка «освобожденная любовь». Вдобавок она и не нова… Вы, вероятно, помните, что эта теория проповедовалась в изящной литературе примерно в середине прошлого века как «эмансипация сердца». В буржуазной практике она обратилась в эмансипацию тела. Проповедь в то время была талантливее, чем сейчас; как обстоит дело с практикой — не могу судить».

Ленин сознавал, что по вопросам половой жизни он оказался

в меньшинстве.

«Знаю, знаю, — замечал он, — меня тоже в связи с этим достаточно подозревают в филистерстве. Но я к этому отношусь спокойно. Желторотые птенцы, едва вылупившиеся из яйца буржуазных воззрений, всегда ужасно умны. Нам приходится с этим мириться, но «исправлять» себя мы не намерены».

В то же время он оговаривался: «Ничего не могло бы быть более ложного, чем начать проповедовать молодежи монашеский аскетизм и святость грязной буржуазной морали…»

Свой идеал в области половой жизни Ленин определял как «открытую свободную любовь». Пояснял его такими отрицательными примерами: «Не монах, не Дон-Жуан, но и не германский филистер, как нечто среднее». А от чего, собственно, должна быть свободна любовь? Ленин в одном из писем перечислял: прежде всего, от денежных расчетов и материальных забот (это главное), а кроме того:

— от предрассудков религиозных;

— от запрета папаши etc;

— от предрассудков «общества»;

— от уз закона, суда и полиции…

Свобода расторжения брака, введенная революцией, сохранялась в СССР до 1944 года, когда закон вновь сделал брак почти нерасторжимым. Разумеется, высказывания Ленина против теории «стакана воды» служили обоснованием этих новых мер. Забавно, что теперь авторство самой теории «стакана воды» приписывалось… Александре Коллонтай.

«Обещают хлеб, а дадут камень». Вряд ли следует доказывать, что питание — далеко не последняя тема в любой революции. Среди революционных лозунгов непременно звучат и «кулинарные». Разумеется, так было и с Октябрьской революцией; матросы и красногвардейцы, штурмовавшие Зимний дворец, с удовольствием распевали частушку поэта-футуриста Владимира Маяковского:

> Ешь ананасы, рябчиков жуй.
> День твой последний приходит, буржуй.

Как видим, в ряды кулинарной «белой гвардии» революция сразу зачислила символически роскошные блюда (ананасы и рябчиков). Борьба с ними в то время облегчалась и общей нехваткой продуктов. Американский социалист Альберт Рис Вильямс рассказывал, что в московской гостинице «Националь», где в марте 1918 года поселился Ленин, изменилось меню:

«Новый, советский режим прежде всего отменил здесь изысканные и дорогие блюда. Большое количество блюд, составлявших обед, было сведено к двум. Можно было получить либо суп и мясо, либо суп и кашу». Так, по словам Вильямса, действовало правило: «Никто не должен есть пирожных, пока все не получат хлеба».

Если пролистать советскую печать 1918–1919 годов, то бросается в глаза, что одна из основных тем для шуток и карикатур — пища (вернее, ее недостаток). Характерная заметка: «Передают, что известный художник Б. И. Кустоджиев, увлеченный одной темой, не может приступить к работе за отсутствием натуры.

— Мне нужна, — объясняет художник, — дебелая русская баба с ямочками на локтях.

Задача, действительно, трудная по нашему голодному времени»…

Самым роскошным блюдом вдруг сделалась конина. Газета меньшевиков «Всегда вперед!» в 1919 году эпически спрашивала в стихах Эльена:

Скажи, котлета из «конины»,
«Где ты росла, где ты цвела»?
Какого зверя иль скотины
Живою частью ты была?..

Шутка: «В кухмистерской.

— Послушайте! Что эти котлеты из конского мяса, я ничего не имею, но почему они такие маленькие?

— Очень просто: они сделаны из пони».

«Лошади барона Клодта еще не съедены», — иронически сообщала летом 1918 года газета «Чертова перечница». Конине посвящена и популярная частушка того времени:

Ленин Троцкому сказал:
Пойдем, Лева, на базар.
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию.

Любопытно, что именно в голодные 1918–1919 годы в столицах прославились знаменитые поэтические кафе: «Десятая муза», «Красный петух», «Музыкальная табакерка», «Стойло Пегаса» (и здесь тоже не обошлось без «конской» темы)… Пировали в них в основном подпольные торговцы и налетчики.

Журналист Л. Василевский в 1919 году описывал, как выглядела эта роскошь эпохи «военного коммунизма»: стену московского кафе поэтов-имажинистов «Домино» украшал шокирующий лозунг «Господи, отелись!», а гвоздем убранства служили повешенные рядом черные штаны. «Мелькают элегантные, бледные, «кокаинного» типа девицы-кельнерши. Они пробираются между тесно по-коммерчески расставленных столиков, разносят мясные блюда, кофе, чай, печенье и самым буржуазным образом, хотя и сохраняя на лице маску небрежности и пресыщения, собирают чаевые деньги… На стойке высится холодная телятина, ломтики белого печения… Чьи желудки призваны удовлетворять все эти вещи? Присмотритесь к посетителям, и вам станет ясно, что литературы здесь крохотная горсточка — она жмется по углам и пьет пятирублевые стаканы чаю с сахарином. А «настоящий» гость, «сурьезный» — это кто угодно, только не писатели, не поэты, не люди духовных интересов…»

Но поэтические кафе все-таки обслуживали «элиту», а какой пищей мог в те годы порадовать себя простой человек? Московская эсеровская газета «Дело народа» в 1919 году рассказывала о знаменитом Сухаревском рынке — центре столичной торговли (очерк К. Буревого):

«Вот закусочный ряд… Люди трутся друг о друга; толкотня, давка. Приятно щекочущий запах жареного возбуждает аппетит. Кастрюльки, сковородки, целые баки шипят; варят, разогревают, поджаривают…

— Жареная колбаса горячая! Ветчина! Сало, сало!

— А вот горячая пшенная каша! Подходи! Давай, давай!..

Каша настоящая, хорошо так пахнет. Едят по 13–14 р. порцию. Можно достать рублей за 5–10 маленькую булочку, стакан горячего молока за 6–7 р., порцию жареной картошки с конским мясом за 15 р. Горячих пирожков и ватрушек очень много. Немало и охотников до этого лакомства… Встречаются даже самые настоящие белые лепешки и печенья. Много сала, ветчины… масла…

На столиках стоят громадные самовары, из которых публика угощается чаем и кофе. Сахар продается тут же: на двадцатку 8 кусков. Сластей много…

Пожилая дама в шляпе и пенсне продает картофельные лепешки:

— Берите, берите! 5 руб. штука!

А вот и краснощекие деревенские бабы. Они за хлеб наменяли уйму разнородных товаров и материй и с трудом, рассыпая и подбирая покупки, волокут их с сияющими лицами».

Продавая муку и хлеб, крестьяне и торговцы-перекупщики

(«мешочники») откровенно обогащались за счет обедневшего городского населения — и это вызывало у многих возмущение. Обыкновенный хлеб или муку купить было труднее всего. Сергей Раззява в 1919 году в том же «Деле народа» публиковал «Поэму о булке»:

Ах, булка, булка!
О ней, о пышной,
Горяченежной,
Как вздох степей,
Вздыхаю гулко,
Ропщу мятежно
(Хотя неслышно)
О ней, о ней!
Хочу упругой,
Стыдливо сдобной,
Румяно белой,
Что день, — сильней.
Слетаю вьюгой,
Куда угодно,
Как оголтелый,
За ней, за ней.
Отдам я слепо
И бестолково,
Сквозь смех и слезы,
Добро мое, —
И все совдепы,
И исполкомы,
И совнархозы, —
Все — за нее!

На карикатуре Алексея Радакова премьер Ленин (с ангельскими крылышками за спиной) по случаю Первомая 1918 года преподносил рабочему на блюде красный цветочек:

«— Вот, голубчик, кушай. Красная гвоздика. Твое любимое блюдо.

— Эх! К этому бы кушанью да гарнир из картошки, да говядины!!»

На рисунке художника Михайлова-Северного изможденная женщина в кокошнике (Россия) просила у Ленина: «Подай, кормилец, хлебца». Обложенный кипами подписанных декретов, тот отмахивался: «Подожди… Видишь, дело кипит».

Любопытно, что похожая сцена и вправду произошла во время одного из посещений Лениным бывшего завода

Михельсона. Какая-то пожилая женщина сказала ему:

— Хлебушка бы нам дали побольше!

Он ответил:

— Да, хлеба у нас сейчас нет. Это правда. Но он у нас будет… Вот мы разобьем белых — и тогда будет у нас хлеб… А кто вам обещает немедленно хлеб? Враги… Но смотрите в оба: обещают хлеб, а дадут камень.

Сам Владимир Ильич тоже не был совершенно чужд мыслям о «булке». В декабре 1919 года он мечтательно заметил в разговоре с одним самарцем: «Да, Самара… Помню, какие там чудесные калачи выпекали! И сейчас, наверное, самарцы едят настоящий хлеб, а нам приходится довольствоваться суррогатом…»

В газетах 1918 года еще можно встретить рекламы средств против ожирения: «Ваш живот растет непомерно. Вы обрюзгли, стали сутулым, неизящным. У Вас вялость желудка… Наденьте эластичный мужской пояс… ожирение уменьшится». В печати 1919 года таких реклам уже не найти. Фельетонист Отсоли в журнале «Красный дьявол» бодро писал: «Некоторые болезни, как-то: черезмерная полнота, отсутствие аппетита, хандра, сахарная болезнь и т. д. совершенно исчезли из среды буржуазного общества».

Большевик П. Лепешинский вспоминал, как летом 1918 года принимал у себя дома Владимира Ильича с супругой. Хозяин угощал гостей самым шикарным по тем временам блюдом — пельменями из конины. Ленин ничего не имел против конины, он часто ел ее еще в ссылке и эмиграции и находил, что это «очень вкусно». «Но увы, — продолжал Лепешинский, — ни Ильич, ни Надежда Константиновна и не притронулись к нашему «роскошному» угощению. Наличность белой муки свидетельствовала о том, что здесь дело, по-видимому, не обошлось без сделки с каким-нибудь мешочником — а это по тому времени было очень предосудительной вещью, — и, по всей вероятности, оба моих главных гостя решили не изменять своим скромным привычкам, приноровленным к эпохе жестокой борьбы с мешочничеством». Ленин вежливо объяснил, что ему нездоровится, и поэтому есть пельмени он не сможет.

О том, какое отношение летом 1918 года вызывала подпольная торговля хлебом, можно судить по такому случаю. (Его описал оппозиционный «Синий журнал».) Какая-то торговка вздумала помимо молока продавать на базаре печеный хлеб. Возмущенная толпа выхватила каравай из ее рук и швырнула в реку… Вслед за хлебом в воду едва не полетела и сама торговка.

Между прочим, еще одна народная частушка тех лет «уличала» Троцкого и Ленина именно в этом неприличном

преступлении — мешочничестве.

Ленин Троцкому сказал: —
Я мешок муки достал.
Мне — кулич, тебе — маца,
Ламца-дрица, гоп-ца-ца.

Порой Ленину приходилось, как и многим в те годы, пить дома морковный чай. По цвету этот напиток напоминал крепко заваренный настоящий чай, в нем даже чувствовался слабый сладкий вкус. Вместо сахара в чай часто добавляли сахарин.

— А морковный разве не чай? — смеялся Ленин. — Тем более когда нет индийского. А горячий и совсем хорошо…

Работник Совнаркома Елизавета Кокшарова вспоминала такую сценку: один из встречавшихся с Лениным крестьян «вынул из котомки каравай хлеба и торжественно подал Владимиру Ильичу.

— Хлебом-то вы нуждаетесь здесь, — сказал крестьянин.

Владимир Ильич был очень смущен.

— У меня и времени не хватит, чтобы все это съесть, — пошутил он». Этот стародавний обычай — дарить хлебный каравай — повелся еще со времен крепостного права, когда крестьяне почитали таким подарком своего барина, или даже самого батюшку-царя… Ленин и сам прекрасно понимал эту параллель. «Присылают, точно барину, — жаловался он на такие подарки. — Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. А кругом все голодают. Ерунда». Соратникам Ленина крестьяне караваев не дарили.

Другую историю с хлебом, относящуюся к 1918 году, рассказывал В. Бонч-Бруевич. В то время хлеб по карточкам выдавали не каждый день — иногда его заменяли на овес. И буфетчица Лиза, подававшая чай главе правительства, однажды во всеуслышание горько пожаловалась:

— Ну как же я пойду к Владимиру Ильичу. Нет ни куска хлеба, и звонили, что и не будет сегодня…

Сетования девушки в белом фартуке услышал случайный посетитель Смольного — какой-то солдат.

— Как, — изумился он, — у Владимира Ильича нет хлебушка, чтобы чаю напиться?.. Ну, нет, этого не будет, с кем, с кем, а с нашим Владимиром Ильичем всем последним поделюсь…

«И он ловким движением плеча скинул сумку; из-за голенища достал складной большой нож, обтер его о голенище сапога, потом полой шинели, вынул из сумки круглую солдатскую ковригу хлеба, прижал к груди и одним взмахом отрезал хорошую

увесистую горбушку».

— Вот, неси ему, скажи, что с фронта, от прохожего солдата…

«Лиза расцвела, заулыбалась, и торжественно, выпячивая вперед поднос, быстро, уточкой, понеслась к дверям кабинета». Через минуту оттуда выглянул сам Владимир Ильич:

— Спасибо, товарищ, это самый вкусный хлеб, который когда-либо я ел…

Подобные трогательные истории, вошедшие в советские хрестоматии, ядовито высмеивал фольклор 70-х годов:

«Война, зима, голод, холод. Заходит к Ленину Дзержинский и видит — сидит Ленин и пьет горячий чай вприкуску. Феликс Эдмундович говорит:

— А что это вы, Владимир Ильич, сахар в чай не положите?

— Так не растворяется больше!»

Или: «Приходят как-то ходоки к Ленину, жалуются:

— Владимир Ильич! Голодаем — сил нет! С голоду пухнем! Как жить?

— А вы травку кушайте.

— Так мы ж скоро замычим!

— Ну, батеньки! Вот мы вчера с Феликсом Эдмундовичем бочонок медку умяли — так ведь не жужжим!»…

«Нужен искусный повар». Несмотря на нехватку продуктов, Ленин заботился, чтобы его коллеги питались по возможности сытно и даже вкусно. Нарком продовольствия Александр Цюрупа в 1918 году в его присутствии пережил несколько голодных обмороков. Сам Цюрупа смущенно шутил: «Недоедает нарком продовольствия…»

За что получил письменный выговор от Ленина. Тот сочинил и подписал такой полушутливый текст: «За неосторожное отношение к казенному имуществу (2 припадка) объявляется А. Д. Цюрупе 1-е предостережение и предписывается немедленно ехать домой… Ленин». Следующая записка: «Дорогой А.Д.! Вы становитесь совершенно невозможны в обращении с казенным имуществом. Предписание: три недели лечиться!.. Ей-ей, непростительно зря швыряться слабым здоровьем». Любопытнее всего здесь мотивировка: Ленин призывает своих сотрудников беречь себя — пусть не ради себя самих, но ради дела (вполне по-рахметовски), как «казенное имущество». Он часто с улыбкой говорил им: «Вас надо привлечь к ответственности за небрежное отношение к государственному добру — к себе!»

А своему секретарю Лидии Фотиевой Ленин сказал в 1919 году: «Присмотритесь к товарищам. Некоторые так отощали, что

имеют просто невозможный вид… Отберите для начала человек тридцать наиболее отощавших, наиболее изголодавшихся, и организуйте столовую…»

Эта столовая была открыта, и глава Совнаркома внимательно следил за ее работой. Первое время готовили в ней весьма неважно. «Столовая была общая, — вспоминал Троцкий. — Кормились тогда в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину. Мука и крупа были с песком. Только красной кетовой икры было в изобилии… Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции…» Ленин говорил Горькому: «Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они, — тут нужен искусный повар».

«И, — писал Горький. — процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

— Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

— О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен».

В 1919 году Ленин как-то зашел на кухню кремлевских курсантов. Отведал щи с кониной и кашу из пшеницы.

— Первое ничего, вкусное, хотя и конина, а вот каша плохая… Намочите эту пшеницу кипятком хотя бы на сутки, тогда увидите, какая получится каша.

Спустя пару дней зашел снова:

— Ну, как каша?

Попробовал:

— Ну вот, видите, очень хорошая каша.

Ленин раздражался, если замечал, что его стараются кормить более вкусно, чем коллег. «Помню, — писала Крупская, — как он рассердился на какое-то ведро халвы, которое принес ему тогдашний комендант Кремля тов. Мальков»…

Не одобрял Владимир Ильич и «излишества» своих коллег. Скульптор Натан Альтман, лепивший портрет Ленина, рассказывал такой литературный анекдот. Однажды летом 1919 года наркомы, сидя в Кремле, «пировали» — ели сало (по тем временам это был изысканный деликатес). Окна по случаю жары распахнули настежь, и посетители Кремля могли любоваться их трапезой. Об этом сообщили Ленину. Он вызвал к себе в кабинет участников пиршества и принялся их жестоко распекать. При этом, по рассказу Альтмана, возмущался: «В стране голод, разруха, положение архипоганое, и в это же самое время

народные комиссары сидят и едят сало! Как не стыдно! Ведь вы же все большевики с дореволюционным стажем! Конспираторы! Неужели нельзя было занавеску задернуть? Народ не все должен знать!..»

С введением нэпа в обиход вернулись богатые, изысканные блюда. Переход от конины к более изысканной пище отразился в анекдоте: «Нэпман продает дешевые котлеты из рябчиков. Его спрашивают:

— Но рябчик — это же очень дорого. Как вы умудряетесь делать котлеты дешевыми?

— А я, знаете ли, пополам. Один рябчик, один конь…»

Фельетонист Свифт в 1922 году так описывал стиль жизни наступившей эпохи:

«— Где вы обедаете? — спросил меня знакомый из Мосторга.

Я назвал ресторан.

— Дрянь! — отрезал он.

— Совершенно верно, дрянь, а триста пятьдесят тысяч обед.

— Потому и дрянь, что так дешево. Зайдите лучше в «Ампир». Вчера мы там ужинали. Было нас четверо. Оставили четвертной.

— Два с половиной миллиона?

— Нет, двадцать пять. Выпили немножко. Ну, разумеется, икорка, балычок. В общем, недорого. Что такое двадцать пять миллионов!..»

Журнал «Бегемот» посвящал переменам в питании такие стихи:

Вспомним, братцы, про еду
В девятнадцатом году.
Были плохи прод-дела! —
Вобла роскошью была.

Но годов минувших ряд
Изменил на роскошь взгляд: —
Нынче семга и балык
Не считаются за шик.

Однако вместе с роскошными блюдами вернулось и прежнее неравенство в питании. В продуктовых лавках воцарилось изобилие, но далеко не всем это изобилие было по карману. Характерная для тех лет шутка Н. Зуба: «У окна кондитерской.

— Сенька! смотри, торты-то какие великолепные, вот этот в вишеньях так бы и схряпал.

— Ну-у его! одна кислятина.

— А ты пробовал его, что ли?

— Да… я его через стекло лизнул».

Именно в годы нэпа развернулась особенно острая борьба против роскошных блюд. Конечно, прямых запретов на них, тем более в домашнем быту, никто не вводил (хотя истории такие примеры известны, например в Древнем Риме). Но эти кушанья постарались лишить главного — ореола желанности, неповторимого привкуса жизненного успеха. Тот, кто питался скромно и бедно, мог теперь чувствовать некое внутреннее превосходство над посетителем шикарного ресторана.

«Хорошо мне живется, — говорит нэпман на рисунке Том'а в 1924 году. — Семья одета, обута, на столе и водочка, и наливочка, и семга, и балычок, и икорка… Чего мне не хватает?»

«Совести», — хмуро отвечает ему рабочий.

Возглавляли съедобную «белую гвардию» блюда, которые все-таки были доступны простым людям, — но только по праздникам: такие яства, как рождественский гусь, пасхальные куличи… Их высмеивали сильнее всего. Рождественские частушки 1924 года:

Предлагал мне милый чаю,
И гуся, и утки,
Я сказала: «не желаю,
Это предрассудки!»
…
Прежде жареного гуся
Мы едали в рождество.
А теперь моя Маруся
Аннулирует его.

Атаке подверглись и блины — одно из самых традиционных и древних блюд, ведущее свое происхождение еще из языческих времен. Совсем недавно господство блинов в русской кухне казалось вечным и незыблемым. В 1913 году был опубликован фантастический рассказ «Блинное видение». В нем описывалась казнь еретика, посмевшего отрицать блины. Но теперь такие еретики появились в реальности. Поэт Р. Волженин на Масленицу 1923 года писал (поставив в качестве эпиграфа к своим стихам слова Карла Маркса «Бытие определяет сознание»):

Я справедлив к блинам. Я не травлю блины.
Блин только снедь — не больше, чем сосиски.
Но есть разряд людей, что влюблены в блины,
Блином захвачены, блином ослеплены.
А почему — мы разберем «марксистски».
…

Осетрина. Лососина. Золотые балыки.
Белотелые, румяные, ажурные блины.
Изумрудами в графинах загорелись травники.
Чувства, взоры, разговоры на блины устремлены.
В масле — губы. В семге — зубы. Шевелятся кадыки.
Под салфеткою расстегнут отягчающий жилет.
Рюмка-вилка, вилка-рюмка — не выходят из руки.
Блин. Зубровка. — Блин. Листовка. — Блин. Опорто. — Блин. Кларет.
Все забыто у корыта в упоении жратвы.
Ест со смаком. Тусклым лаком покрываются глаза.
Слезы «братьев»? Мозг свинячий этой жирной головы
Может тронуть только сыра аппетитная слеза.
Мысли (скисли!) тихо бродят над кусочком осетра,
Над икоркой и над коркой сладострастных кулебяк…
…
Я не травлю блины. Преступно ль блин испечь?
Я подхожу к анализу марксистски:
Где БЫТИЕ одно: нажраться, выпить, лечь,
Где о жратве идет с утра до ночи речь,
Там и сознание направлено по-свински.

Общественные настроения и вправду удалось изменить: теперь лакомиться изысканными деликатесами было хоть и по-прежнему приятно, но совсем непочетно, даже неловко. Вдвойне стыдно ставить на стол «религиозные» блюда вроде творожной пасхи, куличей или рождественского гуся. Роскошь была сброшена с «кулинарного престола» — на целых два десятка лет.

Триумфальное возвращение большинства «белогвардейских блюд» произошло только в конце 30-х годов, вместе со знаменитой «Книгой о вкусной и здоровой пище».

«Вы к вину не привыкли, а грузинам будет обидно». На карикатуре ноября 1917 года пышно разодетая дамочка жалуется: «Уж если мой большевик меня прокормить не может — значит, в России действительно съестных припасов достать негде. Уж он бы добыл, потому что на все способен!»

Один из белогвардейских плакатов изображал советских граждан (как их представляли по ту сторону фронта) — иссохшие от голода скелеты толпятся у хлебной лавки, на которой красуется табличка: «Хлеба нет». На том же плакате изображен и Ленин. Он пирует за роскошно накрытым столом, уставленным разнообразными винами, блюдами с осетриной, курами,

окороками… С бокалом в руке Владимир Ильич провозглашает тост: «Пью за тех, кого мы освободили от насилия и голода, кому дали возможность увидеть коммунистический рай».

Как же обстояло дело с винопитием в Кремле в действительности? Вино в Кремле было, хотя и поднимался вопрос о его запрете. Любопытный эпизод описал Лев Троцкий:

«В 1919 году я случайно узнал, что на складе у Енукидзе имеется вино, и предложил запретить.

— Слишком будет строго, — шутя сказал Ленин.

Я пробовал настаивать:

— Доползет слух до фронта, что в Кремле пируют, — опасаюсь дурных последствий.

Третьим при беседе был Сталин.

— Как же мы, кавказцы, — запротестовал он, — можем без вина?

— Вот видите, — подхватил Ленин, — вы к вину не привыкли, а грузинам будет обидно.

— Ничего не поделаешь, — отвечал я, — раз у вас нравы достигли здесь такой степени размягчения…»

«Думаю, — заключал Троцкий свой рассказ, — что этот маленький диалог в шутливых тонах характеризует все-таки тогдашние нравы: бутылка вина считалась роскошью».

Видимо, этот разговор не забылся и самому Ленину. В 1921 году, когда Сталину предстояла операция, Владимир Ильич направил записку его лечащему врачу: «Очень прошу послать Сталину 4 бутылки лучшего портвейна. Сталина надо подкрепить перед операцией»…

Ленин иногда выпивал немного вина на охоте. Его шофер Степан Гиль вспоминал такой случай: «У одного из нас оказалось немного вина. Владимир Ильич первый предложил:

— Надо подкрепить силы. Выпейте-ка, товарищи!

Некоторые стеснялись пить. Ильич это заметил:

— Если пьете, нечего стесняться. Пожалуй, и я с вами выпью за компанию…».

Что же касается более крепких напитков, чем вино, то они и в Кремле, и по всей стране оставались под запретом. Как это ни забавно, но большевики не решились отменить «сухой закон», введенный еще императором Николаем II. Газета «Вечерние вести» писала в 1918 году: «Ждали от советской власти отмены романовского запрета, как красного яичка к светлому празднику. Убежденные алкоголики готовы были прекратить всякий саботаж и признать советскую власть. Миг един, и нет волшебной сказки…»

Когда в морозы чинили мост через Волгу, то потребовалось

разрешение самого Ленина, чтобы выдать рабочим спирт. Он встревожился: стал доказывать, что спирт не греет, а охлаждает, и поэтому в швейцарских горах при восхождении на вершины совершенно запрещается брать с собой спиртные напитки как способствующие замерзанию.

— Другой выпьет, — говорил он, — захмелеет, пойдет на эту ужасную высоту, да еще сорвется и расшибется! Что мы тогда будем делать? И это несчастье совершится из-за нашего решения выдавать спирт.

В конце концов Ленин уступил, но распорядился выдавать спирт только после работы. Он спрашивал у инженера:

— А как вы выдавали спирт рабочим?

— После работ.

— По скольку?

— По полстакана.

— И пили?

— Пили весьма охотно.

— И не обжигались?

— Нет, не обжигались… Сейчас же закусывали хлебом.

— А пьянели?

— Почти никто… «Для сугрева…» — говорили рабочие.

— «Для сугрева»… — раздумчиво повторил Ленин, качая головой. — А все-таки лучше бы горячих щей с мясом, да кашу, да чай… Это было бы посытней и потеплей… Ведь все это только плохая привычка, предрассудок.

Казалось, пройдет немного времени — и этот «предрассудок» уйдет в прошлое. Журнал «Смехач» в фельетоне описывал воображаемый 1994 год. В этом будущем водка сохраняется только в качестве экспоната в музее старого быта. «Крестьяне нюхали самогонку, содрогаясь от омерзения.

— Если такой отвратительный запах, — проговорил молодой крестьянин, — какова же она на вкус?

— Вкус убийственный, — ответил профессор».

Но вышло иначе… «Сухой закон» в России ненадолго пережил самого Ленина: уже осенью 1924 года он был отменен. «В Москве событие, — записывал в дневник писатель Михаил Булгаков, — выпустили 30-градусную водку, которую публика с полным основанием назвала «рыковкой» (в честь нового главы Совнаркома Рыкова. — А.М.). Отличается она от «царской» водки тем, что на десять градусов… слабее, хуже на вкус и в четыре раза ее дороже». Вскоре после начала продажи «рыковки» появился такой анекдот: «Встречает на том свете Николай II Ленина:

— Что, Владимир Ильич, и вы водочку выпустили? А сколько градусов? Тридцать? Эх, Владимир Ильич! И стоило вам из-за

десяти градусов революцию делать! Ведь можно было столковаться…»

«Шкрабы голодают». Речь Ленина хорошо узнаваема, и дело тут не только в рассыпанных по ней характерных словечках вроде «батенька». (Еще одно его излюбленное слово — «гвоздь»: «В чем гвоздь и суть этой борьбы?..» «В этом гвоздь дела». «Вот тут-то и гвоздь!» «А в этом весь гвоздь вопроса».)

Бросается в глаза, что Владимир Ильич очень непринужденно, раскованно обращался с языком. В его сочинениях мы то и дело встречаем такие, например, своеобычные выражения: никчемушние речи… пустяковиннейшая вещь… ничего-ничевошеньки… злостное зубозаговариванье… долбня… топырщатся же подобные слизняки… присосеживающиеся к революции старые бабы… и т. п. «Подумайте капельку, чуточку, крошечку, — уговаривает он товарищей. — Подумайте малюсечку…»

Для создания новых слов Ленин сотни раз пользовался приставкой «архи». Кажется, нет слова, которое Владимир Ильич не сумел бы украсить своей любимой приставкой: архискандал, архиглупость, архинагоняй, архирадует, архисклочно, архивредно, архимахровый, архипошлый, архиядовитый, архивздор, архибезобразие… Чуть реже он использовал приставку «сверх»: сверхмного, сверхподлость, сверхнаглость, сверхчудовища…

Очевидно, Ленина следует считать одним из авторов таких слов, как «большевики» и «меньшевики». Он даже пытался улучшать эти слова — урезал их до «беков» и «меков», но такую замену язык уже не принял. А сторонников ПДР (либеральной Партии демократических реформ) Ленин уже с откровенной издевкой именовал «педераками»… Между прочим, партийная кличка Ульянова тоже порождала новые слова. «Синий журнал» вскоре после Февраля называл Ленина «родоначальником 27 новых слов (ленинцы, ленинизм, ленинщина, по-ленински и проч. и проч.)».

Язык в те годы вообще легко рождал новые слова. Еще до 1917 года были придуманы такие сокращенные слова, как эсеры, эсдеки, кадеты и т. д. После Февраля новые слова обрушились на страну настоящим валом. Джон Рид передавал ворчание одного петроградского швейцара в дни революции: «Ох, что-то будет с несчастной Россией!.. Сорок пять лет живу на свете, а никогда столько слов не слыхал».

Ритм жизни невероятно ускорился, и старые названия вещей и явлений казались теперь чересчур длинными, медлительными,

вялыми. Скажем, выражение «потерпеть крах» Ленин заменял бойким глаголом «крахнуть»… Сокращалось и обрубалось все, что только можно: сберегательные кассы превращались в сберкассы, заработная плата — в зарплату, Рождественский Дед — в Рождеда и даже бывший великий князь — в бывшего велкнязя. По свидетельству Корнея Чуковского, вместо старомодного оборота «честь имею кланяться» появилось бодрое восклицание «Чик!». А влюбленные в Москве в 20-е годы назначали друг другу свидания коротко — «Твербуль Пампуш!», что означало по-старому: на Тверском бульваре у памятника Пушкину. Появился шуточный стишок:

На Твербуле у Пампуша
Ждет меня миленок Груша.

Журнал «Новый Сатирикон», сохранявший верность старому правописанию, всячески издевался над происходившим в языке переворотом. Вот одна из ехидных заметок, помещенных журналом в июле 1918 года: «Золотые россыпи. Как определить наиболее толково и точно Россию в пятнадцати словах? Вот: Совдеп, Кредеп, Совнарком, Совнархоз, Исполком, Викжедор, Продуправа, Комзем, Земком, Уземком, Компрод, Уисполком, Продотдел, Молуисполком, Уеземельком. О, богатый русский язык… Обеднел бы ты, что ли?»

На карикатуре августа 1918 года один священник жаловался другому. «И не говорите, о. Евмений, как не прочитаешь утром газет, так и не знаешь, кого поминать: Совнарком, Исполком или Совнархоз».

Жаркие споры о судьбах языка не утихали и позднее. Так, независимый журнал «Вестник литературы» в 1919–1920 годах пестрел заголовками: «Изуродованный русский язык», «Искалеченный русский язык», «К толкам о порче языка» и т. п. «Речь уже не льется плавно, — сокрушался публицист В. Кривенко, — а подпрыгивает, тяжело переваливается, точно телега по бревенчатой гати».

Писательница Евгения Гинзбург вспоминала слушанные ею в 20-е годы университетские лекции лингвиста Рудде: «Профессор переходит к характеристике сокращенных слов, введенных революцией. Сначала… язвит. Дескать, теперь лирический пейзаж с описанием лунной ночи будет выглядеть так: «Лунночь вся была нежистома…» Это… вызывает только смех. Но вот лектор обрушивается всей своей эрудицией на наши неологизмы и с такой силой предрекает гибель русского литературного языка, что дрожь берет. Лихорадочно ищешь в уме, но не находишь

достаточно веских возражений и не можешь никак разложить все по полочкам».

«Реакционные тупицы утверждают, — отвечал на подобные суждения Лев Троцкий, — что революция если не погубила, то губит русский язык… Реакционные тупицы ошибаются, однако, насчет судеб русского языка так же, как и насчет всего остального. Из революционных потрясений язык выйдет окрепшим, омоложенным, с повышенной гибкостью и чуткостью». Сам же Ленин признавался в 1920 году: «Я за время своего советского опыта привык относиться к разным названиям, как к ребячьим шуткам, ведь каждое название — своего рода шутка». «Русский язык прогрессирует в сторону английского», — замечал он.

По каким-то загадочным законам в языке не приживались одни слова, вроде бы ловко изобретенные, а другие, пущенные неизвестно кем, — оставались надолго. «Обидно футуристам, обидно имажинистам, обидно поэтам, — писал в 1922 году литературный критик Аркадий Горнфельд. — Люди волнуются, надрываются, пыжатся, мир хотят перевернуть, сочиняют у письменного стола такие удачные словечки, и эти превосходные словоновшества умирают, а шкурники и мешочники, танцулька и массовка здравствуют». Ленина этот странный выбор языка тоже немало поражал. «Посмотрите, — говорил Владимир Ильич, — как распространяются во всем мире наши уродливые слова вроде слова «большевизм». Несмотря на то, что… название «коммунист» является научным, общеевропейским, оно в Европе и других странах меньше распространено, чем слово «большевик».

Октябрь 1917 года резко упростил правописание — исключил из языка буквы «ять», «фита», «ижица»; отменил твердые знаки в конце слов. Эту реформу разработали еще при царе, но только у большевиков хватило смелости провести ее в жизнь. Журналист Осип Слицан в 1917 году шутливо прощался с упраздненными буквами: «Девушка без «ять», победа — через «е»!.. Кто полюбит бедную девушку через «е», кому нужна бесславная, худосочная победа… А этот несчастный контръ-адмиралъ, сразу лишившийся своих обоих твердых знаков… Старый, закаленный в бурях морской волк втайне не одну слезу уронит над необдуманным циркуляром…

— Исключить букву «і» с заменой ее через «и» (Россия).

Быть может, через «и» и крепче будет, и экономнее, а все ж как-то милее, уютнее и теплее наша прежняя Россія, не экономившая на лишней букве…»

Константин Бальмонт иронически заявил: «Слово без твердого знака на конце похоже на собаку с отрубленным

хвостом».

А поэт Остроглаз в 1918 году посвятил твердому знаку целую ностальгическую оду:

Прощаюсь, ангел мой, с тобою,
О, твердый знак, о, твердый знак!
На смерть ты обречен судьбою,
Исчезнуть — как исчез пятак.
Мне жаль тебя, мне жаль до боли,
Хотя ты не имел лица,
И не играл заметной роли,
И жался скромно у конца.
…
Теперь, в всеобщем кавардаке,
В крушеньи всех кругов и сфер, —
Мы только, только в твердом знаке
Имели твердости пример!

Судьба буквы «і» решилась почти случайно. Все соглашались, что двух «и» в русском языке быть не должно. Но какую из них сохранить? Большевик Павел Лебедев-Полянский вспоминал: «Когда голосовали проект о новом правописании, составленный еще при Временном правительстве… долго обсуждали вопрос об і и и. Многие высказывались за і, указывая на Запад. Большинством случайного одного голоса гражданские права получило и»… Любопытно, что в одной из статей Ленина сквозит некоторое сожаление об этой отмене — ведь теперь по слову «мир» стало невозможно понять, о каком мире идет речь — отсутствии войны (мире) или окружающем мире (міре).

Глава революции, разбудившей всю эту языковую бурю, не всегда радовался ее плодам. «На каком языке это написано? — возмущался он иногда. — Тарабарщина какая-то. Волапюк, а не язык Толстого и Тургенева». Нарком просвещения Анатолий Луначарский вспоминал, что однажды прочитал Ленину телеграмму, которая кончалась словами: «Шкрабы голодают».

— Кто? Кто? — переспросил Ленин.

— Шкрабы, — пояснил Луначарский, — это новое обозначение для школьных работников.

«С величайшим неудовольствием он ответил мне:

— А я думал, это какие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие назвать таким отвратительным словом учителя!»

Вскоре по распоряжению Луначарского слово «шкрабы» вывели из официального оборота. Впрочем, в языке оно жило еще

несколько лет — в советской печати тех лет можно встретить такие, например, частушки:

Милый нюнит, словно баба,
Продал брюки и жилет,
Не любите, девки, шкраба,
В Наркомпросе денег нет…

К тому же настроению Ленина относится его знаменитая заметка «Об очистке русского языка» (подзаголовок: «Размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собраниях»), «Русский язык мы портим, — возмущается Владимир Ильич. — Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты или недостатки или пробелы?.. Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уже могут вывести из себя. Например, употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Поэтому будировать значит на самом деле «сердиться», «дуться». Перенимать французски-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по-французски учился, но, во-первых, не доучился, а во-вторых, коверкал русский язык. Не пора ли объявить войну коверканью русского языка?»

Позднее (спустя десятилетия) эта короткая заметка Ленина стала едва ли не «знаменем контрреволюции» в области языка. Может показаться, что она вполне совпадала с настроениями либералов 1918 года. Но это, конечно, не так. Ленин вовсе не был в этом вопросе «ретроградом» (что видно по его собственным текстам), просто, как революционер, привычно бичевал любую действительность, в том числе и революционную.

В феврале 1921 года Ленин беседовал с молодыми художниками. Ему прочли стихи Маяковского, на что он заметил, что сокращения, которые употребляет поэт, засоряют русский язык.

«Да вы же первый, — возразил ему художник Сергей Сенькин, — ввели эти сокращения — Совнарком и т. д.».

«Владимир Ильич начал очень комично каяться в своих грехах, — вспоминал Сенькин, — что и он повинен в этом, что испортил великий, могучий русский язык тем, что сам допустил

наименования «Совнарком», «ВЦИК». Мы, наоборот, взяли под свою защиту сокращения, доказывая их удобства».

Разумеется, борьба Ленина за переделку языка отразилась и в фольклоре. Вот один из анекдотов 70-х годов:

«Однажды Ленину прислали телеграмму из провинции: «Шкрабы голодают».

— Кто, кто? — не понял Ленин.

— Шкрабы, — сказали ему, — это новое обозначение для школьных работников.

— Что за безобразие называть таким отвратительным словом учителя! — возмутился Владимир Ильич.

Через неделю пришла новая телеграмма: «Учителя голодают».

— Вот — совсем другое дело! — обрадовался Ленин».

«Ленин матом не ругался». У революции хватило смелости замахнуться (правда, не очень успешно) даже на «святая святых», наиболее сокровенную часть русского языка — проще говоря, на матерную брань. Как к матерщине относился сам Владимир Ильич? Хотя мы знаем, что он очень любил крепкие, сочные и энергичные выражения, в его сочинениях невозможно обнаружить мата. «Ленин матом не ругался, — замечал В. Молотов. — Ворошилов — матерщинник. И Сталин — не прочь был».

Почему же, без стеснения употребляя словечки вроде «говно» или «говняки», Владимир Ильич так деликатно сторонился мата? На первый взгляд это может показаться загадкой. Но никакой загадки здесь нет: весьма многие большевики считали, что матерная брань насаждает в обществе дух неравенства (в первую очередь — в половой сфере, в отношениях между мужчиной и женщиной). И поэтому старательно избегали ее. Очевидно, такого мнения придерживался и Владимир Ильич.

Наиболее подробно эту точку зрения выразил Лев Троцкий, который писал в 1923 году: «Можно сказать, что по общему правилу, — конечно, исключения бывают, — сквернослов и ругатель презрительно относится к женщине и без внимания к ребенку… Брань есть наследие рабства, приниженности, неуважения к человеческому достоинству, чужому и собственному, а наша российская брань — в особенности. Надо бы спросить у филологов, лингвистов, фольклористов, есть ли у других народов такая разнузданная, липкая и скверная брань, как у нас. Насколько знаю, нет или почти нет. В российской брани снизу — отчаяние, ожесточение и прежде всего рабство без надежды, без исхода. Но та же самая брань сверху, через дворянское, исправницкое горло, являлась выражением

сословного превосходства, рабовладельческой чести, незыблемости основ… Два потока российской брани — барской, чиновницкой, полицейской, сытой, с жирком в горле, и другой — голодной, отчаянной, надорванной — окрасили всю жизнь российскую омерзительным словесным узором. И наследство такое, в числе многого другого, получила революция».

Троцкий призвал искоренить матерную брань. Это начинание было с удовольствием подхвачено печатью. Одна из карикатур того времени изображала матерщину в виде царицы — «Ея величества ругани», которая еще «царит» в казармах, на заводах и в общежитиях. Но вокруг трона уже толпятся возмущенные люди с плакатами: «Долой царицу!» Поэт Черский писал в журнале «Военный крокодил»:

В казарме нам доныне сплошь и рядом
Тяжелый мат откликнется в ушах.
Нам Троцкий указал бороться с этим ядом
И объявил ему упорный, грозный шах.

В иных шутках явственно сквозила ирония по поводу развернувшейся кампании. На рисунке Ивана Малютина два рабочих под портретом Троцкого играют в шахматы, и один из них с досадой говорит другому: «Эх, Саша, объявил бы я тебе сейчас мат, да нельзя… Троцкий не велит».

На другом рисунке в журнале «Красный перец» под таким же портретом собралась целая «лига по борьбе с руганью». Матрос и извозчик сидят, боязливо зажав ладонями рты, чтобы нечаянно не вылетело словечко. «Звездочкой отмечено место представителя грузчиков. Не вытерпел — ушел»…

Атака на матерщину довольно быстро захлебнулась. Мат продолжал «царить» и в казарме, и на заводах, и в быту. Однако революция все-таки добилась в этом отношении совсем неожиданной, и даже, наверное, нежеланной «победы». Из речевого оборота напрочь исчезло матерное богохульство. Правда, произошло это только потому, что сам священный ореол вокруг таких слов, как «Бог», «Христос» или «Святой Дух», сильно потускнел, померк. Они стали в большинстве случаев «неприличными», были официально поставлены едва ли не ниже самих ругательств.

Революция в одежде. «Революцию в одежде» в России начал не Ленин, она развернулась сразу после Февраля. Еще Керенский шокировал многих своей простой одеждой: френчем защитного цвета, рабочей курткой — совершенно непривычными одеяниями

для министра. Это была революционная одежда — символ всеобщего равенства. И. Гуревич в мае 1917 года опубликовал такую заметку под заголовком «Удивление»: «Одна бывшая «ее высокопревосходительство», жена видного сановника старого режима, сказала:

— Я могу все понять, но не понимаю только, как это жена министра допускает, чтобы он появлялся всюду в простой рабочей куртке… Если у него нет камергерского мундира, то фрак же он может сшить!.. Если у него нет лент, звезд и орденов, то он может же выхлопотать у французского или американского президента!»

Тотчас за попыткой «революции» против фраков и мундиров последовала и «контрреволюция». По крайней мере в настроениях. В июне 1917 года либеральный сатирик Аркадий Аверченко посвятил этому вопросу целый фельетон. Любопытно, что по зрелом размышлении он фактически принимал сторону старорежимной сановницы. «Вы помните, — спрашивал он, — что такое были министры старого, проклятого Богом и людьми режима? Помните, какими они Юпитерами, какими Зевсами громовержцами держались. Перед ними ходили на цыпочках, перед ними склонялись… В чем же дело?!!!! Я вам скажу, только вы на меня не обижайтесь: все дело было в их мундирах, орденах, лентах и золотом шитье. И когда они в таком чучельном виде выходили перед толпой, все почтительно склоняли перед ними головы и по рядам несся благоговейный шепот: «Министр идет, министр»… И важно проходил этакий позолоченный идол с каменным лицом, весь расцвеченный разноцветными балаболками, ленточками, крестиками, расшитый, расписанный, разрисованный — точь-в-точь та знаменитая писаная торба, которая, по свидетельству пословицы, так мила дурню.

Граждане! Товарищи! Братья! Сделайте вывод: раз коллективному всероссийскому дурню нужна писаная торба… — так дайте ему эту «писаную торбу». Министры! снимайте ваши скромные рабочие куртки, которые так умиляли первое время — снимайте свои затрапезные пиджаки!.. Свободные русские товарищи еще не доросли до того, чтобы уважать благородную бедность наряда. Они недостойны этого символа братского единения с ними… Дайте им убогую роскошь наряда, нацепите на себя фунтов десять золота, увешайтесь «Белыми Орлами», «Красными Подвязками» и «Зелеными Крокодилами», и, когда вы в таком попугаечьем виде прибудете на митинг, перед вами растянут красный ковер, возведут под руки на трибуну и скажут: «Говорите, ваше высокородие». И никто не хлопнет вас по плечу, не попросит сигарку, и даже сам товарищ Троцкий уберет ноги со

стола и привстанет при вашем появлении…»

Мундиры не сдавались просто так, без боя. Американский социалист Джон Рид приводил такую историю: «Любопытный случай произошел с сенатором Соколовым, который в самом разгаре революции как-то явился на заседание сената в штатском костюме. Ему не позволили принять участие в заседании, потому что на нем не было предписанной ливреи слуги царя!»

Октябрь довел революцию в одежде до конца. Фраки и расшитые золотом мундиры окончательно стали частью театрального или карнавального гардероба. Иностранные журналисты посвящали целые статьи необычно простой одежде советских «министров». Дипломат Иван Залкинд вспоминал: «Очень мил был также один американский корреспондент, приносивший мне свои депеши на просмотр: этот господин о самой революции, ее целях и условиях вообще не писал ни слова; что его занимало — это были костюмы Ленина и Троцкого: факты, что Троцкий выступил как-то на митинге без воротничка, а Ленин переменил клетчатый пиджак на серый, давали ему темы для телеграмм в 200 слов…»

Впрочем, не чуралась таких тем и отечественная печать. Скажем, газета «Вечерняя жизнь» в мае 1918 года помещала очерк Д. Болховитинова «Ленин». «Одевается старомодно, — отмечал журналист, — не то из своеобразного щегольства, не то оттого, что, великий разрушитель и потрясатель в области социальной, он большой консерватор в повседневном быту. Обычно — простенький пиджачок (почти всегда двубортный). Изредка сюртук такого покроя, как носили наши деды (не редингот, не подумайте, ради Бога!). Жакет ненавидит. Смокинга не признает. Не носит желтых или лакированных ботинок, каких-нибудь там модных полосатых брюк. И я дорого заплатил бы человеку, который видел его в цилиндре или во фраке».

Генерал Михаил Бонч-Бруевич не без удивления вспоминал, как одевался Ленин в 1918 году: «Скромный, едва ли не перелицованный, пиджак, галстук в белый горошек». Отдыхая в Горках в 1922 году, Ленин обычно ходил в линялой сатиновой рубашке. Своим внешним видом Владимир Ильич как бы показывал: нет ничего постыдного в том, чтобы ходить в дешевой, потертой, поношенной одежде. Так же вели себя и многие другие революционеры старшего поколения. Михаилу Булгакову запомнилась при его единственной встрече с Крупской в 1921 году ее «вытертая меховая кацавейка». Когда одна английская газета напечатала очерк о Крупской под заголовком «Первая леди», Ленин шутливо заметил, что правильнее было бы назвать очерк иначе, а именно «Первая оборванка».

Сам Владимир Ильич облачался во фрак и цилиндр последний раз, вероятно, еще тогда, когда выступал адвокатом в царских судах. Но, как ни странно, он не отвергал напрочь эту «буржуазную» одежду. После Октября даже оркестранты в Большом театре перестали надевать фраки и смокинги, а носили какие-то простонародные наряды, порой нарочито карикатурные. Немецкий дирижер Оскар Фрид в 1922 году посетил Россию. «Я сомневался, — рассказывал он, — уместно ли будет выступить перед новой пролетарской публикой во фраке». Беседуя с Лениным, дирижер завел разговор на эту тему: «Я счел удобным задать вопрос о костюме. Ленин, не задумываясь, нашел правильный ответ:

— Но, конечно же, дорогой господин дирижер. Подход к нашей пролетарской публике не должен быть хуже, чем подход к старой буржуазии. И почему бы дирижеру, управляя оркестром, не выступить, как всегда, в праздничном костюме — во фраке?»

Не отвергал Ленин целиком и форменную одежду. Когда после Октября зашла речь о создании новой милиции, Владимир Ильич сразу спросил:

— А форма для милиции предусмотрена?

Его собеседники замялись: любая форма казалась им вредным пережитком старого режима.

— Нет, товарищи, — сказал Ленин, — милиционеру без формы нельзя! Милиционер должен отличаться от обывателя. Подумайте над этим.

Среди мужских головных уборов победу (вплоть до 40-х годов) одержала рабочая кепка с козырьком. В июне 1917 года на столичных демонстрациях очень четко разделились два потока — «кепок» и «шляп». Ленин иронически говорил «оборонцам»: «Ваши лозунги носят, как видите, только те, кто ходит в шляпках и цилиндрах».

С 1917 года серенькая кепка стала любимым головным убором Ленина (а зимой он обычно носил шапку-ушанку из черного каракуля). Кепку стали надевать даже университетские профессора. Н. Устрялов описывал Москву 1925 года: ««Кэпка» стала положительно вездесущей… Сначала немножко странно бывало встречать старых своих знакомых в новом, «орабоченном» наряде. Но, конечно, скоро привык. Диктатура кэпки настолько универсальна, что даже самого скоро как-то потянуло ей подчиниться».

А европейские костюмы повсюду сменились полувоенными френчами, первый пример чему подал еще Керенский. Френчи серого или зеленого цвета в 20-е годы охотно надевал и Владимир Ильич. Характерная деталь — пуговицы на одном из

таких френчей были разнокалиберными: очевидно, Ленин не придавал значения такой мелочи… Другой типичной комиссарской одежды — блестящей кожаной куртки «на рыбьем меху» — Ленин не носил, предпочитая черное демисезонное пальто (сквозь подкладку которого пробивалась вата). Хотя одно время черная кожанка служила настоящим символом большевиков. «В первый по-октябрьский период, — отмечал Троцкий, — враги называли коммунистов, как известно, «кожаными», — по одежде».

С наступлением нэпа френчи были сильно потеснены иными нарядами. Журнал «Крокодил», например, в 1922 году печатал такие стихи В. О.:

Френчи всюду страшно надоели, —
Их носить становится неловко.
Нэпо-франты уж давно одели
Помесь из богемки и толстовки.

Но Владимир Ильич до последних дней сохранил верность френчу, в коричневом френче лег и в гроб. В английский костюм его переодели только в 40-е годы, когда революционный френч окончательно отошел в область истории. (Правда, в народном Китае полувоенные френчи носили вплоть до конца XX века, а в Северной Корее — даже и в XXI веке. Но уже мало кто вспоминал, что парадное одеяние Ким Чен Ира ведет свое прямое происхождение от скромного френча Керенского).

«За изуродование портрета арестовывать нельзя».

В 1924 году различные советские издания с удовольствием перепечатывали необычную фотографию, сделанную Л. Леонидовым: Москва, великолепные кремлевские чертоги, посредине зала — царский трон династии Романовых. А на троне, по-хозяйски закинув ногу на ногу, непринужденно расположился какой-то чернокожий человек. Он весело улыбается, а над его головой красуется увенчанный пышной короной императорский герб… Подпись в одной из публикаций гласила: «Тов. Люниoнь, член V Конгресса Коминтерна, представитель самой угнетенной, самой порабощенной части трудящихся — французских колониальных негров — отдыхает на… троне, на древнем троне русских царей, сохранившемся в качестве музейного экспоната в Кремле. Сейчас это — обыкновеннейшее кресло».

Попытаемся понять, какую же мысль хотел донести до читателей фотограф? Разумеется, вовсе не ту, что царский престол на Руси теперь занимает данный африканец. Он хотел с

наибольшей яркостью выразить примерно следующее: отныне этот престол принадлежит всем и каждому, а вместе с тем — никому («это обыкновеннейшее кресло»). Невозможно представить себе, чтобы на месте безвестного африканца с такой же довольной улыбкой разместился, например, сам Ленин.

Фельетонист А. Меньшой с удовольствием описывал и других «посидельцев» того же трона. Вот на нем нежно обнимается и шепчется парочка — русокудрая девушка из Мюнхена («она вся в белом и улыбается блаженно-счастливо») и советский парень («буйно-чернокудрый, смуглый, с бархатистыми глазами… в черной косоворотке, в штанах трепаных… сандалии на босу ногу»). «Давайте уйдем, — деликатно замечает журналист, — мы им мешаем…» «Так странно, — рассуждает он, — на фоне позолоты царской — позолоты и тяжелых шелковых портьер, драпри, балдахинов, — на фоне величественности царской, — эти люди с бородками а la Ленин… в расстегнутых на груди косоворотках… люди из масс, из народа… эти люди в тронном зале!»

Ленин попытался раз и навсегда разрушить священное обаяние власти, уничтожить «благоговейный трепет», который она внушала. Он начал эту ломку задолго до 1917 года, в кругу своих товарищей. Любопытное свидетельство на этот счет оставил Иосиф Сталин. В 1924 году Сталин рассказывал о своей первой встрече с Лениным на съезде социал-демократической партии: «Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с замиранием сердца ждали его появления, причем перед появлением «великого человека» члены собрания предупреждают: «тсс… тише… он идет». Эта обрядность казалась мне не лишней, ибо она импонирует, внушает уважение. Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами… Не скрою, что это показалось мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил». Сходным чувством от знакомства с Лениным делился и Максим Горький: «Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нем. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь — как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя».

Пожалуй, каждой своей черточкой — низкий рост (165 см), картавость, смешливость, рабочая кепка на лысой голове… — Ленин опровергал привычный образ «вождя»… Вождь меньшевиков Юлий Мартов писал в 20-е годы: «Элементов личного тщеславия в характере В. И. Ульянова я никогда не

замечал».

Один из хрестоматийных рассказов о Ленине гласил, что, когда ходоки в Смольном спросили у него «кто здесь главный?», глава правительства с хитрой улыбкой показал на них самих (они стали растерянно оборачиваться) и объявил: «А вот он, главный-то!..»

Правда, на уровне всей страны эта «революция стиля» началась еще до Ленина, в Феврале 1917 года. В дни революции предметом шумного и даже скандального обсуждения стал совсем как будто незначительный поступок Александра Керенского. Только что назначенный министром юстиции, впервые придя на службу, он за руку поздоровался с самыми младшими работниками министерства — швейцаром и курьером. Работник министерства С. Милицын записал тогда в дневник: «Мне кажется, что Керенский сказался весь при первом посещении министерства. Он, говорят, вбежал, пожал руку швейцару… и пренебрежительно бросил: «Ну что, чинушки еще не пришли?» Наши сторожа сразу переменили свой тон…»

Между прочим, самого старика-швейцара (его фамилия была Моисеев) такое новшество совсем не порадовало.

«Ну что это за министр, — недовольно ворчал он, — если он со мной здоровается за руку?..»

А писатель-сатирик Аркадий Аверченко, обращаясь к еще облеченному властью Керенскому, писал: «Ваше падение, Александр Федорович, началось именно с того, казалось бы, умилительного момента, когда вы в марте, приехав первый раз в министерство, поздоровались с курьером за руку… Вы пожали ему руку, и в этот момент раздался характерный всплеск: это впервые в России престиж власти шлепнулся в лужу. Безумец вы! Разве может министр жать руку курьеру в той стране, где сотни лет все строилось на зуботычине, начальственном окрике и начальнической фуражке с кокардой… Да ответь вы только этому курьеру на поклон милостивым наклонением головы, — ведь он бы счастлив был!.. Приветливый кивок головы — вот что нужно было всероссийскому забитому курьеру».

Спустя несколько лет, уже в эмиграции, Аверченко вновь возвращался к этой мысли и писал еще резче: «Знаете ли вы, с какого момента Россия пошла к погибели? С того самого, когда вы, глава России, приехали в министерство и подали курьеру руку. Ах, как это глупо было и, — будь вы другой человек, — как бы вам должно быть сейчас мучительно стыдно! Вы тогда думали, что курьер такой же человек, как вы. Совершенно верно: такой же… Но руки ему подавать не следовало… Не спорю, может быть, персонально этот курьер — обворожительно светский человек, но

вы ведь не ему одному протянули руку для пожатия, а всей наглой, хамской части России…»

Ленин сумел довести до логического конца то, что начал Февраль: скажем, в 1920 году никому бы и в голову не пришло удивляться тому, что глава правительства здоровается за руку с простым курьером или швейцаром. А как же иначе? Владимир Ильич имел привычку всегда здороваться первым — с красноармейцами, швейцарами, уборщицами… Вежливо усаживал кремлевских лакеев и швейцаров на стул при разговоре (а они привыкли стоять). Кстати, комендант Московского Кремля Павел Мальков оставил любопытные воспоминания именно о швейцарах, ежедневно общавшихся с главой Совнаркома: «Прелюбопытный народ были эти самые швейцары… Жили старики в Кремле испокон веков, помнили не только Николая II, но и Александра III, к обязанностям своим относились чрезвычайно ревностно… К советской власти большинство из них относилось поначалу с открытой неприязнью: какая, мол, это власть? Ни тебе пышности, ни величавости, с любым мастеровым, любым мужиком — запросто…

— Не то! — вздыхал порой тот или иной старик швейцар, глядя на быстро идущего по Кремлю Ильича в сдвинутой на затылок кепке или Якова Михайловича в неизменной кожаной куртке. — Не то! Благолепия не хватает. Ленин! Человек-то какой! Трепет вокруг должен быть, робость. А он со всеми как равный. Нет, не то».

П. Лебедев-Полянский описывал поведение других старых чиновников: «Низшие служащие относились недоверчиво; курьеры привскакивали и вытягивались в струнку, когда приходили ответственные работники, и никак не могли понять, когда им товарищески разъясняли, что этого не надо делать, что теперь новые времена. Такое обращение им было непонятно, и они считали нас «не настоящим начальством», приказы которого они привыкли выполнять молча, почтительно».

Когда у одного из коллег Владимир Ильич заметил признаки горделивого поведения, он публично отчитал его: «Кто вы такой? Откуда у вас эта чванливость, эти повадки вельможи? Народ посадил вас в государственное кресло. Но он же, народ, может и дать вам пинка…»

Кремлевская уборщица Анна Балтрукевич вспоминала, как вместе с главой правительства смотрела спектакль «На дне»: «Кончился спектакль, пошли домой. Настроение хорошее, веселое. Владимир Ильич схватил вдруг Якова Михайловича Свердлова, стал с ним бороться и посадил в сугроб снега. А потом Свердлов изловчился и повалил в снег Ленина. Потом он и меня

посадил на снег, а я его. И так мы смеялись и так разыгрались, что Владимиру Ильичу мы насыпали снегу за воротник». Можно ли вообразить подобную сцену с участием Николая II или даже Керенского?

Казалось, еще немного — и власть окончательно «упадет на землю», растворится среди рядовых граждан. Ведь самый простой человек теперь мог побывать, например, в кресле вершителя правосудия (народного заседателя). Завтра и более высокие должности станут столь же доступны… Фельетонист В. Ардов в середине 20-х годов описывал 1976 год. С экрана в этом воображаемом будущем зрителям строго напоминают: «Гражданин, не пропускай своей очереди исполнять обязанности наркома! Где бы ты ни был, справься о сроках твоего дежурства!»

О том же были и знаменитые слова, что «каждая кухарка должна научиться управлять государством». Их приписывали Ленину. (В действительности он писал осторожнее: «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».) Любопытно, что уже в 20-е годы фразу о кухарке стали мягко вышучивать в советской печати. Поэт Ф. Благов писал в 1926 году:

Во щи всыпалась зола,
Подгорели бублики,
Потому — жена ушла
Управлять в республике…

(А в последние десятилетия СССР «кухарка, управляющая государством», в фольклоре и вовсе превратилась в излюбленную «грушу для битья»…)

Малейшие проявления «священного трепета» перед властью вызывали у Ленина раздражение. Дело было тут, как мы понимаем, вовсе не в его личной скромности — такое возвышение противоречило всему смыслу революции. По воспоминаниям Владимира Бонч-Бруевича, в 1918 году выздоровевший после покушения Ленин искренне возмущался реакцией общества на свою болезнь.

«Мне тяжело читать газеты, — жаловался он. — Куда ни глянешь, везде пишут обо мне… А эти портреты? Смотрите, везде и всюду… Да от них деваться некуда!.. Зачем все это?..»

Газета «Правда» 1 сентября вышла под шапкой: «Ленин борется с болезнью. Он победит ее! Так хочет пролетариат, такова его воля, так он повелевает судьбе!» Владимир Ильич негодовал:

— Смотрите, что пишут в газетах?.. Читать стыдно… Пишут обо мне, что я такой, сякой, все преувеличивают, называют меня

гением, каким-то особым человеком, а вот здесь какая-то мистика… Коллективно хотят, требуют, желают, чтобы я был здоров… Так, чего доброго, пожалуй, доберутся до молебнов за мое здоровье… Ведь это ужасно!.. И откуда это? Всю жизнь мы идейно боролись против возвеличивания личности, отдельного человека, давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг опять возвеличивание личности! Это никуда не годится. Я такой же, как и все… В какие-то герои меня произвели, гением называют, просто черт знает что такое!

Один из участников этого разговора, старый большевик П. Лепешинский, пошутил:

— А патриарх Тихон, пожалуй, чего доброго, причислит вас к лику святых. Вот уж доходный будет святой. Мне так и хочется вспомнить Женеву и нарисовать все это…

— Вот это правильно, — подхватил Владимир Ильич, — Пантелеймон Николаевич, разутешьте… Нарисуйте, как всегда, хорошую карикатуру на тему «ерои» и толпа, к тому же и народников вспомните с Михайловским во главе…

Луначарский так передавал слова Ленина в тот день: «С большим неудовольствием я замечаю, что мою личность начинают возвеличивать. Это досадно и вредно. Все мы знаем, что не в личности дело. Мне самому было бы неудобно воспретить такого рода явление. В этом тоже было бы что-то смешное, претенциозное. Но вам следует исподволь наложить тормоз на всю эту историю».

Незадолго до покушения, летом 1918 года, Ленин с Крупской были в гостях дома у Лепешинского. «Ильич с удовольствием «угостил» себя моими карикатурами, — вспоминал тот. — На одной из них фигурировал он сам в качестве юпитера-громовержца… Ильич с удовольствием хохотал над этими и прочими карикатурами». Но вот Ленину в руки попала карикатура, где одна из участниц беседы была изображена в виде «тучной коровы». Владимир Ильич тотчас спрятал рисунок, отказавшись передавать его этой даме.

Она возмутилась, но он строго отчеканил:

— Нет, нет, это не для вас.

И безропотно принял на себя все ее справедливое негодование… Потом объяснил:

— Зачем обижать человека?..

В ноябре 1918 года на бывшем заводе Михельсона Ленин увидел памятник… самому себе. Рабочие украшали кумачом деревянную колонну, увенчанную глобусом, на том месте, где двумя месяцами ранее в Ленина стреляли.

— Что вы здесь делаете? — спросил Владимир Ильич.

Рабочие ответили, что они огородили место, где его ранили, и поставили деревянный обелиск. Ленин поморщился:

— Напрасно, это лишнее… Пустяками занимаетесь!

Владимир Ильич испытывал неловкость, когда его встречали аплодисментами. «Он просто не знал в это время, что ему на трибуне делать, — замечал большевик Андрей Андреев. — Он то показывал делегатам на свои часы: мол, время уходит, но аплодисменты только усиливались, то вытаскивал носовой платок, хотя в этом не было надобности, искал что-то в карманах жилета и т. п.». Он укоризненно качал головой, звонил в колокольчик, а иногда грозил с трибуны пальцем или даже кулаком, если видел, что знакомые ему люди кричат «ура!». Мог сердито выкрикнуть в разгар оваций: «Довольно!» Как-то прочел слушателям целую нотацию: «Допустимо ли, чтобы на никому не нужные аплодисменты вы потратили почти пять минут! Вы у меня отняли пять минут. Нехорошо так с вашей стороны. Надо ценить время. Теперь я вынужден сократить свой доклад…»

Однажды он сам опоздал на заседание. «Помню один случай, — писал большевик Степан Данилов, — когда даже т. Ленин опоздал. Пробило 6 ч., а его не было, что немало удивило собравшихся на заседание. Появился он только в 7–8 минут седьмого, покрасневший, смутившийся, словно провинившийся школьник. Он попросил товарищей извинить его, так как был задержан на заседании ЦК. В ответ на его извинение раздался взрыв хохота и крики: «не принимаем», «отклонить», «занести в протокол», что еще больше смутило т. Ленина».

Бывали случаи, что в порыве воодушевления толпа подхватывала Ленина на руки и так вносила на трибуну. «Товарищи, тише, что вы, товарищи!» — унимал он буйный восторг. Однажды пошутил: «Не сбейте с меня кепку»…

Летом 1920 года Владимир Ильич в очередной раз оказался посреди восторженной толпы, и раздался выкрик: «Качать, качать товарища Ленина!»

«Не тут-то было, — вспоминал очевидец этого эпизода С. Зорин. — Ленин заупрямился.

— Только не это… Только не качать… Я вас очень прошу…

И, уже сидя в автомобиле, он говорил:

— До чего вредна эта буржуазная культура. Как заразительна она. Я никогда не думал, чтобы этот гимназический прием качанья мог проникнуть в массы рабочих. Откуда у них эта интеллигентская затея?..»

Один раз Ленин пошел на концерт послушать пение Шаляпина. Увидев его в зале, публика принялась бурно аплодировать и кричать «Ленин!». Он встал и быстро вышел из зала. Все подумали, что он перешел в ложу, спрятался так от оваций. На следующий день писательница Софья Виноградская пересказала эту сценку Марии Ульяновой.

«Никуда он не спрятался! — воскликнула та. — Он ушел, совсем ушел. Так Шаляпина и не слушал… Не дали послушать… Ильич вернулся домой взбешенный. «Наша публика, — сказал он, — совершенно не умеет вести себя в концерте. Идут слушать Шаляпина, а устраивают овации Ленину! Какое неуважение к артисту!»

Когда в апреле 1920 года отмечалось 50-летие Ленина, на одном заседании кто-то предложил «почтить его». «Зал хохочет, — вспоминал В. Молотов. — Ленин ему машет руками. Кого почтить? Только память чтят». Но другое юбилейное заседание все-таки состоялось. Ленин попросил освободить его от выслушивания речей. Потом, явившись на собрание, глава Совнаркома передал по рядам полученную им в этот день карикатуру, ядовито высмеивавшую юбилейные празднества. Причем заметил, что это удивительно хорошая карикатура… Когда к тому же юбилею решили выпустить собрание сочинений Ленина, он стал возражать: «Зачем это. Ни к чему. Мало ли, что писалось за тридцать лет. Не стоит».

Как-то он увидел, что Карл Радек смотрит томик его старых статей. «Его лицо покрылось хитрой улыбкой и он, хихикая, сказал:

— Очень интересно читать, какие мы были дураки».

Однажды в 1919 году из Царицына пришло известие, что некую Валентину Першикову арестовали только за то, что она намеренно изуродовала портрет Ленина, вырванный из книжки. Ленин счел необходимым немедленно вмешаться. И отправил телеграмму: «Царицын, Мышкину. За изуродование портрета арестовывать нельзя. Освободите Валентину Першикову немедленно, а если она контрреволюционерка, то следите за ней». Попросил известить его об освобождении арестованной, а

весь материал о деле — «отдать фельетонистам».

«Когда Владимир Ильич находил в помещении для работы свои портреты, — писала Л. Фотиева, — он немедленно давал указание убрать их».

В начале 1923 года журнал «Красный перец» решил припомнить художнику Дени его давний грех — участие в кампании против большевиков и Ленина. Журнал перепечатал в виде загадки старый рисунок Дени — уродливый человек, похожий на трактирного забулдыгу, с нацепленной на голову царской короной. Рисунок первоначально появился в журнале «Бич» в конце 1917 года с подписью «Владыка дней наших. Его Величество Хам I». Картинку сопровождала многозначительная подпись: «Печатая этот рисунок, «Красный Перец» предлагает всем читателям поломать голову над следующими тремя вопросами:

1. Кто нарисовал?
2. Когда нарисовал??
3. Кого нарисовал???»

Когда про эту историю рассказали самому Ленину, он был раздосадован: какими пустяками люди занимаются!

«Выходит, что Моисей — это я?» Советская печать начала 20-х годов пестрит карикатурами на вождей революции. Любопытно заметить, что почитание Ленина пробивало себе дорогу именно через эти шутки, карикатуры, анекдоты. Похвалить Ленина с улыбкой, как бы шутя, с ноткой гротеска казалось допустимым. Его рисовали в виде Ильи Муромца, смотрителя маяка коммунизма, футболиста, шахматиста… На одной из карикатур Ленин древком флага протыкал пузатого буржуя…

Особенно часто вождей рисовали в виде святых, богов и православных священников. Видимо, само уподобление главных безбожников планеты святым в те годы бесконечно веселило как вершина абсурда. Например, одна из карикатур изображала Владимира Ильича в образе супруга Девы Марии — праведного Иосифа, с нимбом вокруг головы (а роль Богородицы играл Лев Троцкий)…

Большевик Л. Сосновский вспоминал такой эпизод: «Однажды в 1918 году мы зашли как-то с Я. М. Свердловым и Демьяном [Бедным] к Владимиру Ильичу. Демьян прихватил с собой только что написанную им тогда поэму «Земля обетованная», где, пользуясь библейским сказанием о выходе евреев из страны фараоновского гнета, изображал первые шаги пролетарского октябрьского исхода из страны капиталистического рабства.

Ильич суетился вокруг керосинки (или спиртовки), на которой он сам разогревал себе на ужин оставшиеся от обеда солдатские щи (тогда Ильич питался из общего котла кремлевского гарнизона и питался довольно-таки отвратительно), а вместе с тем внимательно слушал чтение автором стихов. В некоторых местах Ильич весело и заразительно хохотал, увлекая нас. И вдруг с детски-наивным выражением лица прищурился на Демьяна:

— Позвольте, выходит, что Моисей — это я?

И снова закатился своим беззвучным очаровательным смехом».

В то же время народное сознание вполне серьезно видело в Ленине святого, наподобие прежних православных святых. Вот любопытный «Заговор от всех болезней», сочиненный 24-летней солдаткой Марьей Недобежкиной. Он был опубликован «Крокодилом» в 1924 году — с явным молчаливым неодобрением. Болезни красная колдунья изгоняла священными именами Троцкого и Ленина:

Вы не лезьте ко мне, боли и хвори
Головные и ножные,
Животные и спинные.
Отриньте, отзыньте,
Как неприятели заграничные.
Ты, голова моя — Ленин,
Ты, кровь моя — армия красная,
Спасите, сохраните меня
От всякой боли и хвори,
От всякой болезни и недуга…

Как видим, дело зашло даже дальше, чем предполагал Ленин: он ожидал только молебнов за свое здоровье, а люди принялись исцелять собственные хвори его святым именем…

Печать в те годы едко высмеивала случаи, когда почитание революционеров выливалось в привычную старую форму почитания икон: их портретами напутствовали красноармейцев, благословляли новобрачных и т. п. Но постепенно настроения менялись. В 1925 году журнал «Прожектор» напечатал снимок деревенской избы. В подписи к нему говорилось: «На нашей фотографии заснято убранство крестьянской избы, характерное для многих десятков тысяч. В первом углу избы еще старое довлеет над новым. Здесь еще ютятся иконы в то время, как левый угол украшен вождями нашей великой революции». Журнал уже примирился с тем, что портреты Ленина займут в душе крестьянина место икон. Любопытно, что ближе всего к

иконам хозяин избы повесил портрет Ленина в гробу, а изображение живого Ильича — чуть подальше…

Удивительно, что почитали Ленина даже те крестьяне, которые хорошо знали его при жизни. «Та крестьянка (в Шушенском. — А.М.), на квартире которой он жил, — рассказывал Г. Кржижановский в 1924 году, — и до сих пор хранит его портрет в переднем углу, обвешанном полотенцами, как то делается для икон святых. Эта крестьянка, оказывается, весьма нерасположена к коммунистам, но вынуждена делать для В.И. исключение, ибо по образу его жизни он был, по ее мнению, поистине святым человеком».

Анекдот того времени: «Крестьянин заходит в сельскую лавку и просит:

— Продайте мне вожжей.

— Вождей? Вот, пожалуйста, есть товарищ Ленин, есть товарищ Троцкий. Вам кого?

— Да нет, мне не тех вожжей, которых вешают, а тех, которыми правят…»

Другой анекдот 20-х годов: «Получил рабочий за хорошую работу награду — портреты Ленина и Троцкого. Приходит в голую, пустую комнатку с тюфяком на полу и одним гвоздем в стене и размышляет: «Ленина повесить, а Троцкого поставить к стенке, или лучше повесить Троцкого, а к стенке — Ленина?».

Иногда домашние иконы и портреты начинали между собой форменную «войну». В 1923 году в печати описывался такой случай. Некий коммунист выступал с речью против религии. «Молодежь поставила ему упрек, что у него дома имеются иконы. Организатор молодежи, злой, вернувшись домой, сбросил и разбил иконы. Жена, разъяренная, бросилась к портретам Маркса, Ленина и пр. и разорвала их. Перемирие состоялось на том, что жена отказалась от икон, а муж от портретов Маркса, Ленина и др.».

Вот довольно типичные для тех лет частушки (из журнала «Красный ворон» за 1923 год) — характерное сочетание юмора и похвалы:

Мне не надо лимонада,
Не хочу я мармелада:
Открой, милый, портмонет —
Купи Ленина патрет.

«Ленин был враг всяких этикетов и чинности». По словам Крупской, Ленин «ненавидел до глубины души всякое мещанство,

условность». Большевик Михаил Кедров вспоминал, как непринужденно Владимир Ильич повел себя в Учредительном собрании 1918 года: «Ильич тотчас по приходе примостился на покатых, покрытых ковром ступеньках, невдалеке от трибуны, и в таком положении остается до конца собрания… В наиболее интересные моменты, особенно во время речи выбранного председателем собрания Чернова, прерываемой почти на каждом слове шутливыми хоровыми репликами большевистских скамей, Ильич неудержимо хохочет. Ильич был враг всякого лицемерия, всяких этикетов и показной чинности». О том же случае писал и шведский журналист Отто Гримлунд: «Он сидел на лестнице, которая вела к трибуне. Полчаса просидел он так, в одиночестве, о чем-то размышляя. Никто ему не мешал». Порой Ленин закрывал глаза и, казалось, засыпал на этом красном ковре. Председатель Учредительного собрания правый эсер Виктор Чернов позднее возмущался его поведением — тем, как «разлегшись во всю длину и принимая вид уснувшего от скуки человека», Ленин демонстрировал свое неуважение к собранию.

Владимир Ильич не скрывал, что на заседании «Учредиловки» ему неинтересно. «А ведь скучно, — признался он. — Что-то старое витает тут».

Однако его поведение объяснялось, скорее всего, не неуважением, а обычной раскованностью. Во всяком случае, подобная же сценка повторилась летом 1921 года на III конгрессе Коминтерна. Слушая ораторов, Ленин тоже уселся на свое излюбленное местечко — на ступеньки трибуны. На коленях он держал бумаги, в которых делал записи, а размышляя, задумчиво покусывал свое «вечное перо».

«Мы вычистили этот навоз…». Октябрь 1917 года окончательно отменил в России не только монархию, но и сословные титулы и звания. Князья, графы, бароны, потомственные почетные граждане — все теперь стали просто «гражданами». Канул в Лету весь пышный букет светских титулов: от «Вашего благородия» до «Вашей светлости»…

Позднее Ленин язвительно писал о правых социалистах: «Эти трусы, болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики махали картонным мечом — и даже монархии не уничтожили! Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как никто, как никогда. Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче в вековом здании сословности (самые передовые страны, вроде Англии, Франции, Германии, до сих пор не отделались от следов сословности!)».

Более того, простые люди получили некоторые привилегии.

По карточкам «первой категории» они могли теперь купить больше продуктов, чем бывшие «сливки общества». Из фельетона А. Волкова (в либеральной петроградской газете «Современное слово» за июнь 1918 года):

«— А все-таки недурно быть ассенизатором. Никогда этим унылым людям не завидовал, а теперь завидно… Лицо как-никак первой категории…

— Котлочистам, костовщикам и дровоколам тоже неплохо…

— В детстве я колюшек в Лебяжьей канавке ловил — нельзя ли за рыболова сойти…»

Революция полностью упразднила петровскую табель о рангах. В армии исчезли все воинские чины, от ефрейтора до генерала. Отныне никаких пожизненных званий в обществе (кроме научных и церковных) вообще не осталось — только временные должности. Ленин замечал: «Как одно белогвардейское издание выразилось: 400 лет собирали навоз в наших государственных учреждениях; а мы вычистили этот навоз за четыре года, — это величайшая наша заслуга. А что же сделали меньшевики и эсеры? Ничего».

Глава Совнаркома всегда здоровался с часовыми у своего кабинета, пожимал им руку, иногда угощал чаем. Однажды в 1920 году в ответ на его приветствие часовой молодцевато рявкнул:

— Здравия желаю, ваше… ство!..

Владимир Ильич рассердился:

— Это что за «вашество»? Я такого слова в русском языке не знаю. Нет такого слова, нет…

Даже обращение «товарищ Предсовнаркома» Ленину не понравилось: «Что, что? К чему так пышно, голубчик? Называйте-ка вы меня по фамилии или по имени-отчеству. Ведь это куда проще!»

Отмена титулов оказалась довольно прочной и долговременной: даже в 90-е годы из всех светских титулований воскресло лишь обращение к судьям («Ваша честь!»)…

Что же касается отмены военных чинов, то это революционное новшество продержалось только до середины 30-х годов. Тогда в Красной армии появились маршальские и другие пожизненные звания, следом возродились генералы и адмиралы, а в 1943 году ожило и словечко «офицеры». Военная форма украсилась золочеными погонами, золотыми и серебряными аксельбантами, расцветилась алыми лампасами… Автору этих строк пересказывали довольно характерный разговор одной из «бывших» (профессора) с коммунистом, происшедший в 1943 году.

— Объясните, — удивленно спрашивала профессор, — с какой целью правительство вводит погоны в Красной армии? Сначала офицерские звания, теперь погоны — что же получается, все как до революции?

— Это делается для укрепления авторитета руководства.

— Так. А не следует ли теперь, для укрепления авторитета руководства, ввести должность царя?

Коммунист расстроился и возмутился:

— Как вы можете так говорить!..

Спор о «канарейке». Как известно, одним из главных лозунгов революции была борьба со всеми видами «дармоедства». Вполне естественно, что ярким символом такого «дармоедства» стали внешне бесполезные домашние животные — декоративные собачки, кошечки, певчие птицы. Официально их, правда, никто не запрещал. Но держать их теперь считалось как бы «неприличным», дурным тоном, проявлением барства.

В прессе 20-х годов можно встретить, например, возмущенное письмо читателей, которые жалуются, что их соседи завели в коммунальной квартире пса — Полкана. Как не стыдно занимать жилую площадь собакой при нынешней-то тесноте! Карикатура Ю. Анненкова в журнале «Мухомор» в 1922 году изображала закутанную в меха богатую столичную барышню, из одежды которой выглядывает симпатичная комнатная собачка. Барышня горестно вздыхает: «Ах, как это ужасно… на Волге кушают собачек».

Характерная шутка из печати тех лет — на улице встречаются двое знакомых, один из них выгуливает декоративного песика:

— Что же это вы, тов. Пискунов, — сознательный работник, а собачку водите, — буржуазный предрассудок!

— Что же, что буржуазный предрассудок? Ведь он же у меня на цепи!..

Уцелевшие дворяне в 20-е и 30-е годы, вопреки всему, создавали клубы любителей собаководства, проводили выставки борзых собак. Это была одна из немногих разрешенных форм объединения бывшего «благородного сословия».

Не случайно Владимир Маяковский в качестве главных врагов, несущих революции погибель, увидел некую апокалипсическую канарейку и… котенка:

На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка

верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

А вождь сменовеховцев Николай Устрялов, напротив, решительно становился на сторону зловещей «птицы Апокалипсиса», явившейся поэту в образе маленькой желтой пичужки. Чтобы подчеркнуть резкое отличие своего видения, он уподоблял ту же канарейку… Царствию Божию, которое «внутри нас». Устрялов писал в 1923 году в беспартийном журнале «Россия»: «Поэт зенитных достижений революции, бунтом и хаосом вдохновенный Маяковский из последних сил обличает канарейку, виденную им в квартире некоего коммуниста, одного из многих… Увы, не так-то легко свернуть канарейке шею! Это не Деникин, не Колчак, даже не Антанта. Ибо канарейка — «внутрь нас есть…». «Когда… скворец и уютная канарейка насвистывают «Интернационал», — замечал сменовеховский публицист, — невольно начинает мерещиться, что причесанная буря перестает быть бурей».

Трудно оспорить, что в конечном счете большевизм «склевала» именно такая с виду безобидная птичка… На чьей же стороне был Ленин в этом великом «споре о канарейке»? Если судить по внешним признакам, то похоже, что не на стороне Маяковского. Владимир Ильич очень любил домашних животных. «Его всегда тянуло поиграть с красивым пушистым котенком, — замечал Лепешинский, — (кошки, это — его слабость)». «Он не мог равнодушно пройти мимо кошки без того, чтобы не погладить и не поиграть с ней», — добавляла Ольга Лепешинская. «Его любимцы — дети и котята, — писал Луначарский. — С ними он может подчас играть целыми часами».

Находясь в эмиграции, Ленин как-то говорил: «Особенно любит у нас животных Надежда Константиновна. У нас в доме почти что зверинец: и котята, и щенята. Прямо так и бегут к нам.

Однажды пришла к нам даже целая лошадь…»

Сохранил Ленин эту привязанность и после революции. Клара Цеткин вспоминала 1920 год, когда она гостила в его доме: «Когда пришел Ленин и когда несколько позже появилась большая кошка, весело приветствуемая всей семьей, — она прыгнула на плечи к «страшному вождю террористов» и потом свернулась в удобной позе на коленях у него». «Когда он [Ленин] был уже больной, — рассказывала М. Ульянова, — ему кто-то достал маленького щенка, ирландского сеттера. Одного достали — заболел чумой и погиб. Потом другого достали. В 1922 году, когда он был болен, он немало возился с ним». Кличка этого сеттера была Айда.

Американская журналистка Луиза Брайант в 1921 году спрашивала у Крупской, правду ли пишет иностранная печать, что Ленин держит дома целых семь кошек. Крупская засмеялась: «Вот великолепный пример того, как все, касающееся России, преувеличивается. Правда же такова: и мой муж и я любим животных, но сейчас никто в России не заводит себе любимцев из-за продовольственных трудностей… У нас всего один кот. Но для сенсации американскому репортеру нужно, чтоб их было не менее семи!»

Позднее эта «филистерская» черта Владимира Ильича оказалась очень подходящей ко всему духу позднесоветского времени. Рассказы о трогательной любви Ленина к домашним животным вошли в школьные хрестоматии. Что было совсем неудивительно — ведь «канарейка» теперь с триумфом побеждала по всем фронтам…

Крупская отзывалась об этом с плохо скрытым негодованием: «Меньше всего был Ильич… с его страстным отношением ко всему, тем добродетельным мещанином, каким его иногда теперь изображают: образцовый семьянин — жена, деточки, карточки семейных на столе, книга, восточный халат, мурлыкающий котенок на коленях, а кругом барская «обстановочка», в которой Ильич «отдыхает» от общественной жизни. Каждый шаг Владимира Ильича пропускают через призму какой-то филистерской сентиментальности. Лучше бы поменьше на эти темы писать».

«Революции — праздник…» Сам Ленин считал революцию радостным, веселым временем. Он называл революции вообще «праздником угнетенных». Еще в 1906 году он писал: «Весело жить в такое время, когда политической жизнью начинают жить народные массы». А после Октября в жизни утверждались новые праздники — 1 Мая, день Октябрьской революции, день

Февральской революции, день Парижской коммуны…

Газета «Правда» писала накануне первой годовщины Октября: «Первый праздник за тысячи лет — рабоче-крестьянский праздник! Первый! Он должен быть отпразднован как-то особенно, чтобы совсем не было похоже на то, как раньше устраивались празднества. Должно быть сделано как-то так, чтобы весь мир видел, слышал, удивлялся, хвалил и чтобы обязательно люди во всех странах захотели сделать и у себя то же самое».

В этот день в столице открыли более десятка памятников, в том числе Достоевскому, Каляеву, Софье Перовской, Человеческой мысли… На одном из зданий в центре Москвы вывесили большую картину с изображением Стеньки Разина. Торжественно сжигали эмблемы старого строя, выпускали ракеты, устраивали фейерверки. Бело-красные аэропланы разбрасывали над городом листовки. Но главными событиями праздника были, конечно, парад и народное шествие на Красной площади. «Никогда еще Москва не видала такой огромной манифестации, — отмечала «Правда». — Мимо проходят работницы; на переднем плакате у них написано: «Мы путь земле укажем новый. Владыкой мира станет труд». Идут женщины, много их, лица веселые, задорные и во весь голос поют «Дубинушку», дружно, звонко и громко подхватывая «Эй, ухнем!». И потом смеются от возбуждения, удовольствия, а некоторые — от смущения».

Ленин считал важным, чтобы праздничные демонстрации ни в коем случае не проходили «казенно», неискренне.

В. Бонч-Бруевич вспоминал свой разговор с Лениным 1 мая 1918 года: «Он стал расспрашивать меня, что говорят между собою демонстранты, какое настроение в массах на площади, не относятся ли они по-казенному к демонстрации? Не идут ли вынужденно? Нет ли чувства, что выполняют приказ?» Газета «Вечерние вести» описывала забавную сценку на этой первомайской демонстрации: рабочие несли портрет Карла Маркса, сделанный наподобие хоругви. «Какая-то божья старушка истово крестится и говорит:

— Что же это, голубчики, святой какой, што ли?..

— Чудотворец, бабушка…»

В течение 20-х годов в официальном календаре наряду с «днями революции» сохранялись и старые «красные дни» — Рождество, Пасха, другие православные праздники… Люди могли выбирать, что они предпочитают праздновать. Автор «Биржевых ведомостей» Лидия Лесная язвительно замечала по этому поводу (в 1918 году):

Каждый день на митингах революционным слогом
Мы говорим о том, что не верим в Бога.
Но чтобы, Боже сохрани, работать нам
В день «Св. духа» или «Введения во храм»?!
Ни за что!

Все 20-е годы продолжалась эта своеобразная «война праздников». Больше всего в печати обличали рождественскую елку. Ее не запрещали, но всячески высмеивали. Популярная детская частушка тех лет:

Комсомольцы, комсомолки,
Мы обходимся без елки.
Во —
И боле ничего!

А вот более пространные «анти-елочные» стихи 1923 года (они тоже обращены к детям):

Вместо песен нынче — речи.
Стал для вас хлопушкой — кольт.
Блекнут елочные свечи
Перед лампой в тыщу вольт.
Вы к иным привыкли звукам.
Вы иных взалкали грез.
Не сродни октябрьским внукам
Старомодный Дед-Мороз.
Вы не кружитесь без толку
В темпе полек: раз и два…
Так — берите, братцы, елку
И рубите на дрова!
Чтоб, смеясь, испеплить в печке
В хвойном брызжущем жару
Звезды, гроздья, блестки, свечи —
Всю Христову мишуру!

Столь же крепко доставалось и Деду Морозу… На карикатуре И. Малютина мальчик в красном галстуке снисходительно спрашивал у Деда, рассматривая принесенные им подарки (елку, куклу, духи, белые рубашки, крестик, веер): «Что ты нам, дедушка, всякую дрянь ненужную принес?»

А увидев в подарке игрушечных солдатиков, пионер

разочарованно восклицал: «Ах, это белогвардейцы!..»

Изображенный Борисом Ефимовым рабочий отвешивал пинки под зад и Деду Морозу с елкой, и голому младенцу — Новому году. Они летели кубарем, а он напутствовал их: «Надоело мне каждый год смотреть на вас на страницах журналов! Довольно!»

Еще более мрачный конец Рождественскому Деду предрекал журнал «Дрезина» в 1923 году. На рисунке Дед с мешком подарков благодушно стучался в дверь, а жильцы, опасаясь налетчиков, уже приготовились его встречать — кто с кочергой, кто с зонтом, кто с топором…

В 20-е годы сторонники рождественской елки окончательно «ушли в оппозицию» — многие наряжали ее дома, но в школах или детских садах никаких елок больше не устраивалось.

Ну, а как сам Владимир Ильич относился к празднику рождественской елки? Судя по всему, он не видел в нем ничего зазорного. В январе 1919 года налетчики напали на его автомобиль, как раз когда он направлялся на такой праздник в «Лесную школу». (Об этом случае рассказано выше.) Несмотря на такую неприятность, Ленин все-таки приехал на елку и от души там повеселился. То обстоятельство, что парой часов ранее он стоял под дулами двух направленных ему в виски револьверов, нимало не омрачало его настроения.

«Владимир Ильич совершенно углубился в дело детского праздника, — писал В. Бонч-Бруевич. — Дружный смех и шутки переливались по залу. Владимир Ильич радостно смеялся, и, казалось, он забыл все на свете…»

«Что же это мы все стоим? — спросил он у детей. — Даром теряем время!.. Сейчас давайте водить хоровод вокруг елки, петь будем, а потом в кошки-мышки…»

«И Владимир Ильич схватил за руки стоявших возле него детей и мигом понесся вокруг елки, увлекая за собой решительно всех… Все подхватили песню про елку и закружились вокруг нее… Все детишки запели, запел и Владимир Ильич. За пением последовали игры. Владимир Ильич принимал в них самое живейшее участие и не только увлекался, но впадал в азарт… и тотчас же возмущался, если кто-либо фальшивил в игре… Как увлеченно играет он, не пропуская кота, защищая мышь!»

В доме Владимира Ильича рождественские елки наряжали и в последующие годы, когда в печати уже вовсю кипела борьба с ними. На Рождество 7 января 1924 года для детей из соседних деревень тоже был устроен праздник — наряжена пятиметровая елка. На празднике присутствовал и сам Владимир Ильич. «Елка в те времена была необычайным явлением, — замечал Н. Семашко. — Естественно, что крестьянские малыши, в первый

раз в жизни видя блиставшую огнями и подарками елку, развеселились, расшалились… Лезли к нему на колени, приставали». Родные Ленина попытались унять чересчур буйное веселье и беготню детворы, однако Владимир Ильич знаками показал, чтобы детям не мешали… Журналист Михаил Кольцов, побывавший в доме Ленина сразу после его смерти, писал: «Стоит неубранная елка, в бусах, свечечках и ватном инее — последняя забава маленьких друзей…»

Новогодняя елка торжественно вернулась в Страну Советов только в 1936 году. По пути она сменила восьмиугольную Вифлеемскую звезду на пятиконечную красную, а Рождественский Дед окончательно превратился в светского Деда Мороза. Конечно, былое участие Ленина в елках как бы благословляло возрожденный праздник, и об этом часто вспоминали в последующие годы. В 70-е годы появился анекдот: «Владимир Ильич Ленин любил ходить на новогодние утренники. Но как-то нелепо смотрелась лысая бородатая снежинка вместе с танцующими детьми!!!»…

Что же касается революционных праздников, то их отменяли постепенно, начиная с 30-х годов. Главные праздники — 1 Мая и 7 Ноября — дожили до XXI века, когда над Кремлем уже вновь стал развеваться трехцветный флаг. (7 Ноября отменили в 2004 году.)

«Труд должен стать радостью». Каждой революции необходим свой, идеальный образ труженика, «простого человека». Ему старательно подражает рожденная революцией элита. В эпоху Цезаря такую роль играл пастух (знаменитые пастушеские поэмы Вергилия), в годы французской революции — санкюлот (то есть простолюдин, одетый в длинные брюки американского образца), а российская революция провозгласила своим идеалом пролетария, рабочего.

И если в Древнем Риме император, чтобы причаститься к физическому труду, порой на своей спине таскал обломки сгоревших зданий, то в России эту символическую роль сыграл первомайский субботник 1920 года. Субботник — придуманный революцией день добровольной, бесплатной работы, «праздник труда». Ленин на этом субботнике собственноручно переносил мусор и бревна во дворе Кремля. Это событие произвело на современников неизгладимое впечатление…

Поведение Владимира Ильича в этот день, каждое брошенное им словечко много раз описаны во множестве мемуаров. Ему попытались рапортовать, но он не принял рапорт:

— На субботнике все равны.

И сам попросил:

— Вы мне указывайте, что нужно делать.

— Не вреден ли вам такой тяжелый физический труд, ведь вы после ранения? — спросил кто-то.

— Ничего, поработаем… Физический труд полезен.

— Мы здесь сами управимся, а у вас есть дела поважнее.

— Сейчас это — самое важное.

Перенося мусор и кирпичи, Владимир Ильич ходил быстро, почти бегал, как бы задавая окружающим высокий темп работы. Он подхватывал дубовые бревна и весело командовал:

— Взяли! Еще раз взяли!

Запретил фотографировать себя за работой:

— Что за комедия? Я пришел работать, а не сниматься. Мы работаем не для показа…

Один плохонький снимок все же потихоньку сделали — на нем Ленин вместе с пятью курсантами несет большое бревно, стоя под комлем. Его уговаривали брать бревно за более тонкую и легкую вершинку. Один из его напарников сказал:

— Вам пятьдесят лет, а мне двадцать восемь.

— Вы признаёте себя младшим, — весело возразил Ленин, — значит, слушайтесь старших и идите вперед.

Каждый из участников субботника хотел побывать в паре с Владимиром Ильичем, и среди них возникла негласная очередь. Потом шутили, что ленинское бревно в мемуарах тащило такое количество людей, что этим бревном можно было бы свободно дотянуться до Луны…

Устроив перекур, участники субботника уселись на бревнах и пригласили Ленина «подымить» вместе с ними. Он отказался:

— В этой забаве не нахожу интереса… Помню, когда был гимназистом, один раз вместе с другими так накурился, что стало дурно. Каждый раз курение вызывало тошноту. Так вот с тех пор и не курю и вам не советую.

Зато он с удовольствием спел вместе со всеми песню: «Над миром наше знамя реет…» — первым подхватил ее.

«Он много смеялся в тот день, заразительно, весело!» — вспоминал большевик Петр Заславский. Всего на субботнике Ленин в этот день провел четыре часа. Перед тем как уйти, попросил разрешения у командира.

Это был не единственный, а только самый известный случай, когда глава советского правительства занимался физическим трудом вместе со всеми. Так, осенью 1920 года он разгружал дрова на Москва-реке. Не раз и с азартом занимался уборкой снега в Кремле.

— Вышел свежим воздухом подышать, — объяснил он

однажды, когда кремлевские курсанты застали его за чисткой снега, — а тут смотрю, столько снегу намело…

— Да мы сами уберем.

— А я разве не житель Кремля?..

«Труд должен стать радостью», — говорил Ленин.

В начале 20-х годов почитание рабочего и культ труда еще выглядели свежо и неожиданно. Один из советских плакатов изображал простого рабочего, впервые поднятого на высоту трона… С годами культ труда и труженика становился все более неживым и неискренним, вызывал ехидные насмешки, чтобы окончательно сойти на нет в начале 90-х.

Но еще за двадцать лет до этого в советском фольклоре появилось немало анекдотов на тему субботника:

«— Какие существуют пасхи?

— Еврейская — в память исхода евреев из Египта, христианская — в память о воскресении Иисуса, и советская — в память о том, как Ленин бревно таскал».

«Бревно в своем глазу Ильич и не заметил».

«Дзержинский звонит Ленину:

— Владимир Ильич, вы пойдете завтра на субботник?

— Нет, я занят.

— Тогда одолжите мне ваше надувное бревно».

Ленинские имена. Революция небрежно опрокидывала то, что выглядело гораздо прочнее любых царских тронов — повседневные обычаи. Именно они всегда представляются людям по-настоящему незыблемыми и вечными. Кажется, что может быть устойчивее бытовых привычек и традиций?

Ярким проявлением этой «бытовой революции» стала захлестнувшая страну волна «новых имен». Разумеется, никто не мешал людям по старинке называть детей привычными именами из православных святцев. Большинство родителей так и поступали. Но многим эти имена уже казались пошлыми, устаревшими и мещанскими. Новая власть всего лишь РАЗРЕШИЛА давать детям нетрадиционные имена — и этого оказалось вполне достаточно для буйного разгула народной фантазии. На одном партийном совещании в 1923 году партработница по фамилии Гордон рассказывала:

— Недавно мы разговаривали и пришли к заключению, что какого черта мы будем называть наших детей по именам, которые даются святцами. Каждое имя — это название какой-нибудь вещи на иностранном языке… Давайте сделаем и тут революцию и будем называть другими именами, которые нам подходят…

Эти настроения отразила тогдашняя карикатура Бориса Ефимова — на ней Ленин вытряхивал вверх тормашками с

календарного листка святых Мартирия, Ансеталия и Маркиана. Этим святым особенно не повезло — их память выпала на день революции, 25 октября… Однако вставал вопрос: если не называть детей прежними именами, то как?

— Предлагали даже имя Крокодил, — замечала Гордон.

Другой участник того же совещания, Осипов, говорил:

— Знаю один случай, когда предложили назвать Ильичем. Потом отец пришел обратно и спрашивает: можно ли прибавить Ленин? Сказали: можно. Ну, говорит, так и назовем: Ильич Ленин…

И вот, независимо от воли самого Владимира Ильича, его имя, отчество и партийный псевдоним послужили богатой пищей для народного творчества. Вот только некоторые имена 20-х годов, «родоначальником» которых невольно оказался глава Совнаркома:

Вилич, Владич — Владимир Ильич;

Виден, Вил, Виль — В. И. Ленин;

Владилен, Владилена — Владимир Ильич Ленин;

Виулен — В. И. Ульянов-Ленин;

Владлен, Владлена — Владимир Ленин;

Ленул — Ленин-Ульянов;

Нинель — «Ленин», прочитанное наоборот.

Из этой плеяды имен наиболее долгоживущими оказались Вилен и Владлен. Их продолжали давать детям и в XXI веке, когда остальные ленинские имена уже давно «превратились» в отчества или вовсе забылись. Правда, многие родители теперь искренне считали, что Вилен и Владлен — старинные, исконно славянские имена. В 2004 году на одном интернет-форуме можно было прочитать такое сообщение; «Нам понравилось имя Вилен, но как только узнали, что это сокращение от Владимир Ильич Ленин, сразу отпало!» Журналист Ростислав Бардокин описывал такой случай: «В свое время спорил со своим знакомым из-за имени его дочери. «Вилена — это старое красивое русское имя», — говорил приятель. «Окстись, — разочаровал я его, — имя, может, и красивое, но никак не старое, ему от силы лет семьдесят. Вилена — Владимир Ильич Ленин». Товарищ возмущался, бегал смотреть словари, но затем смирился: спорь не спорь, а дочь свою он назвал в честь вождя мирового пролетариата»…

Постепенно создатели новых имен «осмелели», и пищей для их творчества стали популярные в 20-е годы лозунги. Такие, например, как:

Велор — великий Ленин — организатор революции;

Вилор — В. И. Ленин — организатор революции;

Вилюр — Владимир Ильич любит рабочих;

Винун — Владимир Ильич не умрет никогда;
Дележ — дело Ленина живет;
Изаида — иди за Ильичем, детка;
Изиль — исполняй заветы Ильича;
Ледруд — Ленин — друг детей;
Лелюд — Ленин любит детей;
Ленгенмир — Ленин — гений мира;
Ленора — Ленин — наше оружие;
Леундеж — Ленин умер, но дело его живет;
Луиджи — Ленин умер, идеи живы;
Луник — Ленин умер, но идеи крепки;
Лунио — Ленин умер, но идеи остались;
Люблен — люби Ленина;
Мотвил — мы от В. И. Ленина;
Польза — помни ленинские заветы;
Роблен — родился быть ленинцем;
Яслен — я с Лениным;
Ясленик — я с Лениным и Крупской…

Конечно, эпитеты типа «гений мира», скорее всего, заставили бы самого Владимира Ильича вскипеть от негодования («гением называют, просто черт знает что такое!»). Но он уже не был хозяином собственного имени… Революция от «термидора» стихийно перерастала к эпохе империи, с ее непременным возвеличиванием одного лица. И при всем нежелании играть эту роль Ленин ничего не мог тут поделать…

Ленинские имена составляли лишь часть общего потока революционных имен. Были имена троцкистские (Ледав, Ледат — Лев Давидович Троцкий), сталинские (например, Статор — Сталин торжествует) и всевозможные иные: Рева и Люция, Баррикада, Граната, Утопия, Анархия, Террор… Но даже только один список ленинских имен (разумеется, неполный) поражает воображение:

Арвиль — армия В. И. Ленина;
Арлен — армия Ленина;
Варлен — великая армия Ленина;
Видлен — великие идеи Ленина;
Вилиор — В. И. Ленин и Октябрьская революция;
Вилиорика — В. И. Ленин, Интернационал, Октябрьская революция и Красная армия;
Видан — В. И. Ленин, Академия наук;
Вилиан — В. И. Ленин и Академия наук;
Вилорик — В. И. Ленин — освободитель рабочих и крестьян;
Вилорд — В. И. Ленин — организатор рабочего движения;
Вилорк — В. И. Ленин — организатор революционной

коммуны;

Вильким — Владимир Ильич — коммунистический идеал молодежи;

Вильнур — «В. И. Ленин нуры» (по-арабски «свет В. И. Ленина»);

Вильсор — Владимир Ильич — создатель Октябрьской революции;

Волен — воля Ленина;

Идлен — идеи Ленина;

Ильком — Ильич, коммуна;

Лемир — Ленин и мировая революция;

Ленар — ленинская армия;

Лениз — ленинские заветы;

Леник — Ленин и коммунизм;

Ленинид — ленинские идеи;

Ленинизм — Ленин и знамя марксизма;

Ленинир — Ленин и революция;

Лениор — Ленин и Октябрьская революция;

Ленмарк — Ленин, Маркс;

Лента — ленинская трудовая армия;

Лентрош — Ленин, Троцкий, Шаумян;

Ленэра — ленинская эра;

Лорикс — Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, социализм;

Лориэрик — Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм;

Лэри — Ленин, электрификация, революция, индустриализация;

Марксилен — Маркс и Ленин;

Марлен — Маркс, Ленин;

Марсэлина — Маркс, Энгельс, Ленин, Интернационал, народная армия;

Мэлор — Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция;

Орлетос — Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма;

Плинта — партия Ленина и народная трудовая армия;

Правлен — правда Ленина;

Радиэль — ради Ленина, радио Ленина;

Силен — сила Ленина;

Томил, Тормил — торжество Маркса и Ленина;

Тролен — Троцкий, Ленин;

Элен — эра Ленина;

Эрик — электрификация, радиофикация, индустриализация, коммунизм;

Эрлен — эра Ленина…

Волна революционных имен распространилась в 20-е годы и на животных: лошадей в кавалерии и даже… беговых рысаков на ипподромах (хотя в последнем случае это выглядело уже как насмешка — и не прижилось).

Большевики чрезвычайно упростили и перемену фамилии, для чего в прежнее время требовалось просить позволения у самого государя-императора. Правда, предвидя появление целых полчищ новых «Лениных», фамилию «Ленин» в 1924 году принимать запретили. Фамилиями и кличками всех остальных вождей (Каменева, Сталина и других) называться тогда разрешалось, чем многие охотно пользовались. На юмористическом рисунке Ивана Малютина прохожий спрашивал:

«— Гражданка, не знаете, где тут Иван Евстигнеевич Зюзюкин живет?

— Нет теперь таких. По нашей улице все Каменевы живут и все Лев Борисычи…»

Революционные имена давались не только в России, это поветрие охватило весь мир. Советский врач Олег Зубов, работавший в 80-е годы на островах Зеленого Мыса, вспоминал: «Прием идет. Жозе Карлош… Сидонио Переш… И вдруг — стоп! ЛЕНИН Родригес! В дверях в сопровождении мамы появляется пятилетнее создание…

— Интересно, сеньора, почему вы выбрали для своего сына такое имя?

— Отец так назвал, он читал книги Ленина…

Впоследствии я не раз встречал юных зеленомысцев, которые наряду со своими именами — Жозе, Карлош — гордо носили и бессмертное имя Ленин (имена у зеленомысцев часто двойные)».

В честь Ленина получил свое имя чилийский писатель-коммунист Володя Тейтельбойм. В 40-е годы, когда в СССР мода на революционные имена уже угасала, в Венесуэле родились три брата — Владимир, Ильич и Ленин. Из них больше всех прославился Ильич Рамирес Санчес, ставший международным террористом левого толка. Позднее, отбывая пожизненное заключение во французской тюрьме, Ильич принял ислам и примкнул к сторонникам Усамы Бен Ладена…

Любопытно сравнить положение с новыми именами в России 20-х годов (когда чиновники безропотно принимали самые причудливые порождения народной фантазии) и начала XXI века. Характерный случай произошел, когда родители одного московского мальчика попытались дать своему сыну придуманное ими имя — БОЧ рВФ 260602 (что означало «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня

2002 года»). Но работники ЗАГСа наотрез отказались записывать ребенка с подобным именем…

«Мы снесем весь этот хлам». «Газета футуристов» в марте 1918 года негодовала, что революция пока совершенно не затронула «области Духа» — то есть искусства. Не изменился даже внешний облик городских улиц! «По-прежнему памятники генералов, князей — царских любовниц и царицыных любовников тяжкой, грязной ногой стоят на горлах молодых улиц», — возмущались поэты (В. Маяковский, Д. Бурлюк и В. Каменский). Назрела третья революция после Февраля и Октября — «революция Духа».

Примерно тогда же подобные мысли стал высказывать и Владимир Ленин (вовсе не бывший поклонником футуристов). «Владимир Ильич, — писал В. Бонч-Бруевич, — очень скоро предложил подумать о таком украшении нашей Красной столицы, которое сразу бы придало ей совершенно иной, по сравнению с другими городами Европы, внешний облик».

Почему Ленин считал это дело особенно срочным и важным? «Останемся ли у власти или будем сброшены, — объяснял его позицию Троцкий, — предвидеть нельзя… Он добивался, чтоб как можно больше поставлено было революционных памятников… во всех городах, а если можно, то и в селах: закрепить в воображении масс то, что произошло; оставить как можно более глубокую борозду в памяти народа».

«Давно уже передо мною носилась эта идея, — говорил Ленин Луначарскому, — которую я вам сейчас изложу. Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же… Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой… Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла. Вот почему я говорю, главным образом, о скульпторах и поэтах. В разных видных местах… можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи… Пожалуйста, не думайте, что я при этом воображаю себе мрамор, гранит и золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно… Еще важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы. Надо составить список тех предшественников социализма или его теоретиков и

борцов, а также тех светочей философской мысли, науки, искусства и т. п., которые хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культуры… Особое внимание надо обратить и на открытие таких памятников… Пусть каждое такое открытие будет актом пропаганды и маленьким праздником…»

Такое предложение Ленина тревожной весной 1918 года прозвучало совершенно неожиданно. «По правде сказать, — признавался Луначарский, — я был совершенно ошеломлен и ослеплен этим предложением. Оно мне чрезвычайно понравилось… Осуществление, однако, пошло немножко вкривь и вкось… В Москве, где памятники как раз мог видеть Владимир Ильич, они были неудачны. Маркс и Энгельс изображены были в каком-то бассейне и получили прозвище «бородатых купальщиков». Всех превзошел скульптор Королев. В течение долгого времени люди и лошади, ходившие и ездившие по Мясницкой, пугливо косились на какую-то взбесившуюся фигуру, закрытую из предосторожности досками. Это был Бакунин в трактовке уважаемого художника. Если я не ошибаюсь, памятник сейчас же по открытии его был разрушен анархистами, так как при всей своей передовитости анархисты не хотели потерпеть такого скульптурного «издевательства» над памятью своего вождя».

Впрочем, анархисты вообще не одобряли ленинскую затею с памятниками. 3 мая 1918 года московская газета «Анархия» призывала: «Да исчезнут всякие памятники!.. И идиотские фигуры самодержцев, и прочих, прочих: Пушкина, Федорова, Минина, Ленина, Бакунина… Для чего эти нелепые бронзовые идолы, смешные куклы, может быть, работы талантливых людей?.. Живите настоящим! Поклоняйтесь живым кумирам, творцам, гениям, изобретателям!.. Довольно поклоняться покойникам!.. Долой памятники и всякую память о смерти, а то скоро мир превратится в море с удушливым запахом, и так уже задыхаемся от зловонных музеев!». 1 июня публицист Владимир Шокин писал в «Анархии»: «Большевики свергают с площадей старые кумиры, украшающие площади, кумиры увядающего в письменах истории века. Но взамен старых хотят поставить новые кумиры, новые идолы… перед которыми заставят толпу благоговеть и поклоняться… Как все это старо, смешно, шаблонно и пошло… Долой идолов с идолопоклонством, долой преклонение перед пустой вещью, когда святыня — Жизнь!»

С другой стороны, плану Ленина доставалось и от меньшевиков. Близкая к ним газета «Вечер Москвы» язвительно писала в ноябре 1918 года: «Советские деятели торопятся…

Поступившие на содержание советской республики футуристы и прочие бездарности лихорадочно творят «пролетарское искусство». Налажено массовое производство, и сразу, целыми пачками, наспех открываются памятники великим деятелям человечества. Нужды нет, что памятники эти мизерны, что в них нет величия, красоты, силы… Дешевенькие произведения дешевенького искусства… Торопятся жить, не полагаясь на свой завтрашний день».

Скульптор Сергей Меркуров настойчиво добивался у Ленина одобрения экстравагантного проекта памятника «Карл Маркс, стоящий на четырех слонах»… Все это вызывало у Ленина досаду. «Он как-то с неудовольствием сказал мне, — замечал Луначарский, — что из монументальной пропаганды ничего не вышло».

Ставились памятники и мифическим персонажам — в основном героям-богоборцам и вольнодумцам, таким, как Прометей (мятежного титана обычно изображали с обрывками цепей на руках и ногах). Датский писатель Хеннинг Келлер вспоминал, как в 1918 году в городе Свияжске наблюдал церемонию открытия памятника Иуде Искариоту. Местные власти долго спорили, кто из богоборцев больше заслуживает увековечения — Каин, Люцифер или же Иуда Искариот. В конце концов решили, что памятник Люциферу противоречил бы идее отрицания Бога, а Клин — слишком уж легендарная личность… В день открытия, когда покров упал на землю, собравшиеся увидели скульптуру Иуды Искариота в полный рост, буро-красного цвета. Человек с лицом, обращенным вверх, грозил небесам поднятым кулаком, судорожно срывая с шеи веревочную петлю. По случаю торжества у памятника устроили парад двух полков Красной армии…

Разумеется, помимо возведения новых памятников, революция крушила памятники прошлого. Первые из них рухнули уже после Февраля: в Киеве была сброшена с пьедестала скульптура Петра Столыпина. Сам снос обставили как эффектное театральное действие: фигуру царского премьера обмотали за шею железными цепями и так подняли в воздух подъемным краном… На одной из карикатур, посвященных этому событию, дух Столыпина говорил с небес, наблюдая за «повешением» своей скульптуры: «Как это удачно вышло, что я свой «столыпинский» галстук применял к другим еще при жизни, а на мне его применили только спустя несколько лет после моей смерти…»

Но настоящий массовый снос памятников начался в 1918 году. «Владимир Ильич, — писал комендант Московского Кремля П. Мальков, — вообще терпеть не мог памятники царям, великим

князьям, всяким прославленным при царе генералам… По предложению Владимира Ильича в 1918 году в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа Спасителя, генералу Скобелеву… Мы снесем весь этот хлам, заявлял он».

Скобелевскую площадь после сноса памятника переименовали в Советскую. Шуточный «подслушанный разговор» по поводу этого сноса (из газеты «Баба-Яга»):

«На советской площади.

— Это, Митюха, что ж такое за здание?

— А эфто, говорят, памятник Скобелеву.

— А где же он, генерал?

— Да, должно, слез с лошади.

— А лошадь-то где?

— Лошадь-то… Да уж не померши ли.

— Должно, померши. Овса-то, говорят, совсем в Москве нет…»

Советская площадь надолго стала тем местом, где возвышался наиболее наглядный символ текущей эпохи. Место царского генерала заняла символическая женская фигура — Свобода! Она простояла здесь все 20-е и 30-е годы. В 40-е годы Свободу сняли. Затем, в 1954 году, на «освободившемся» месте появилась конная статуя князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Тогда это выглядело шокирующе и почти скандально — памятник князю при советской власти! Да еще взамен Свободы… И тем не менее это очень точно отражало постепенную, тихую реставрацию традиционных ценностей, которая стала явной для всего мира в 90-е годы…

Ленин и сам принял участие в сносе одного из памятников. Мальков вспоминал первомайский субботник 1918 года в Кремле: «Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем.

— Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо. — И указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича». Ленин ехидно поинтересовался у Малькова:

— Очевидно, вам нравится, что перед зданием Советского — вы слышите? — Советского правительства торчит один из представителей дома Романовых?

Комендант стал оправдываться, что у него нет рабочих и он не знает, как быть.

— Ах, вы не знаете, что делать? Тащите-ка сюда веревки.

П. Мальков: «Я мигом сбегал в комендатуру и принес

веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник…

— А ну, дружно! — задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович… впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник.

— Долой его с глаз, на свалку! — продолжал командовать Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили веревки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду».

— На этом месте, — заявил Владимир Ильич, — революционный пролетариат должен воздвигнуть памятник смелому борцу Каляеву, который уничтожил одного из отвратительнейших представителей Романовых.

Ленина не смущало то, что террорист Иван Каляев, взорвавший бомбой великого князя, был эсером — то есть товарищем по партии Керенского и Фанни Каплан… Бюст Каляева и вправду был поставлен возле здания бывшей городской думы. Также в Москве появилась Каляевская улица (переименована в Долгоруковскую в 1990-е годы)…

Ленину особенно нравилось переосмыслять старые памятники, вкладывать в них новое значение. Писатель Герберт Уэллс, посещавший Москву в 1920 году, писал: «Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам… Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской Божьей матери возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены. Как раз напротив нее на стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: «Религия — опиум для народа». Эта лепная надпись была сделана по предложению Ленина… На фронтоне бывшей Московской городской думы появилась другая надпись: «Революция — вихрь, отбрасывающий назад всех, ему сопротивляющихся!»…

В Кремле Владимир Ильич однажды спросил у Бонч-Бруевича:

— Где отлучали Толстого от церкви?..

— В Успенском соборе…

— Вот и хорошо, самое подходящее его убрать, — он показал на памятник Александру II, — а здесь поставить хорошую статую Льва Толстого, обращенную к Успенскому собору. Это будет как раз кстати.

«Эта идея Владимира Ильича не осуществилась еще до сего времени», — писал Бонч-Бруевич. (Не исполнилась она и позже.)

Особенное впечатление на общество произвело открытие памятника «Стеньке Разину с ватагой» на Красной площади.

Открывал этот монумент сам Ленин 1 мая 1919 года, причем произнес речь с Лобного места.

Памятник разбойнику, атаману голытьбы! И как раз там, где он был некогда четвертован, — на Лобном месте. Место казни превращалось в место славы. Среди разинской ватаги была изображена и персидская княжна, согласно преданию, брошенная атаманом в Волгу. Журнал «Новый Сатирикон» на карикатуре противопоставлял памятники Разину и Карлу Марксу. Маленький Маркс скромно притулился в тени огромного, самоуверенно подбоченившегося колосса Разина. Маркс говорит: «Мы с Разиным, кажется, не похожи друг на друга, но как нас поразительно смешивает добрый русский народ…»

А по поводу намерения установить на советские деньги памятник Марксу на его могиле в Лондоне журнал ядовито отмечал: «В этом проекте много здравого смысла и истинной любви к покойному. А именно: так как Марксу, по милости большевиков, придется еще не один раз перевернуться в гробу, то во избежание этого и ставится на могилу русский памятник. Придавят — не перевернешься». Газета «Чертова перечница» летом 1918 года смеялась: «Поставлен памятник Карлу Марксу в Елабуге. Население приносит жертвы, мажет губы медом и поет около памятника подблюдные песни».

В апреле 1918 года Ленин подписал декрет, по которому подлежали сносу «памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг». Однако, когда из Петрограда Владимира Ильича запросили, как следует поступать с многочисленными памятниками царям, он ответил неожиданно: «Все памятники должны оставаться на месте. Пускай будущее поколение видит тех, которые угнетали народ, в том изображении, какое им придала эпоха».

Благодаря этому распоряжению в городе на Неве не тронули даже памятник императору Николаю I, отправившему на казнь декабристов. Однако «оставаться на месте» отнюдь не означало «оставаться предметом почитания». И очень характерно в этом смысле революция обошлась со знаменитым конным памятником Александру III в Петрограде на Знаменской площади. По решению Петросовета в 1922 году на нем высекли стихи Демьяна Бедного, озаглавленные «Пугало». Четверостишие было написано как бы от имени покойного царя:

Мой сын и мой отец при жизни казнены.
А я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Ленин одобрил и приветствовал эту надпись. Хотя о Демьяне Бедном он высказывался по-разному: с одной стороны, ценил его, называя «тараном нашей революции». Но порой отзывался о его стихах без особенного восторга: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди»; «Вульгарен, ах, как вульгарен; и не может без порнографии».

«Как бы заставить куранты исполнять «Интернационал»?

Во время боев в Москве между красной, черной и белой гвардиями в кремлевские куранты угодил орудийный снаряд, и часы остановились. Прохожие могли наблюдать, безусловно, яркую символическую картинку: стрелки на главных часах Российского государства застыли в неподвижности… Летом 1918 года Ленин озабоченно спрашивал: «Как бы нам все-таки починить часы на Спасской башне и заставить куранты исполнять «Интернационал»?.. Надо, чтобы и эти часы заговорили нашим языком».

И вот в сентябре того же года куранты были исправлены и пошли вновь. Теперь вместо «Коль славен наш Господь в Сионе» они стали поочередно вызванивать другую музыку — «Интернационал» и «Похоронный марш» («Вы жертвою пали…»). Впервые услышав эти мелодии, Ленин был искренне растроган… В эти дни он как-то принимал в своем кабинете Луначарского, который в свое время сильно переживал по поводу разрушений в Кремле. (А потом — возражал против переезда в древнюю столицу.) Тут заиграли куранты — в кабинет донеслись звуки «Интернационала». Владимир Ильич поднял палец и весело спросил: «Слышите? Пошли часы-то!»

Н. Устрялов считал это одним из ярчайших проявлений перерождения большевиков: «Природа берет свое… Нам естественно казалось, что национальный флаг и «Коль славен» более подобают стилю возрожденной страны, нежели красное знамя и «Интернационал». Но вышло иное. Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собою глубочайшую исторически-национальную святость, древние куранты играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это коробит, — но, в конце концов, в глубине души невольно рождается вопрос:

— Красное ли знамя безобразит собою Зимний дворец, — или, напротив, Зимний дворец красит собою красное знамя?

«Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»?»

И в середине 40-х годов ожидания Устрялова сбылись: древняя символика Московского Кремля взяла верх над символикой революции и стала вытеснять ее. Революционные гимны зазвучали нестерпимо фальшиво в атмосфере наступившей эпохи. И колокола курантов настроили заново — они заиграли теперь иную, величаво-торжественную мелодию…

«За новым искусством нам не угнаться». Ленин не был равнодушен к искусству, но никогда серьезно не занимался им. Его больше интересовала связь искусства с историей и жизнью. К примеру, показывая товарищам архитектуру Парижа, построенные при Наполеоне III громадные кварталы, разрезанные красивыми, широкими улицами, Владимир Ильич хитро спрашивал: «И как вы думаете, для чего?» — И сам же отвечал: «Для продольного артиллерийского огня…»

Так оно и было: широта улиц облегчала войскам борьбу с народными восстаниями…

Один из товарищей Ленина вспоминал, как в Лувре у статуи Ники Самофракийской тот шепотом говорил ему: «Смотрите… на это чудо древней эллинской культуры. Изумительное, нечеловеческое создание!..»

В годы первой русской революции Ленин однажды заночевал в квартире, где была целая коллекция хороших изданий о лучших художниках мира. Владимир Ильич так заинтересовался этими книгами, что просидел над ними ночь напролет. Наутро он заметил Луначарскому: «Какая увлекательная область — история искусства… Вчера до утра не мог заснуть, все рассматривал одну книгу за другой. И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством».

После Октября в Советской республике победили самые передовые направления искусства: кубизм, футуризм… В 1922 году в московском альманахе «Шиповник» искусствовед Абрам Эфрос так описывал эту победу: «Футуризм стал официальным искусством новой России… Футуризм шел по всей Руси как бы на гребне советских декретов, ворошивших снизу доверху старый быт и наполнявших паникой. «…К 1-му мая украсить город формами нового революционного искусства… старое буржуазное искусство отменено революцией… пролетариату не нужна реалистическая жвачка…» — приблизительно так гласили выступления местных «ИЗО». На площадях поднялись гипсовые, прилежно раскошенные, старательно деформированные по левым

канонам, Марксы и Ленины… революционные надписи были разорваны на ряд кусков и перетасованы, как детские кубики: влево, вправо, вверх, вниз: в зале Народного дома в Пензе, где я бывал в эти годы, лозунг: «Да здравствует Советская Республика» был идеально разнесен по две-три буквы по всем четырем стенам и по потолку, так что его можно было не столько прочесть, сколько угадать, но и эти отдельные буквы наполовину поглощались, наполовину выбрасывались на поверхность цветных геометрических фигур, покрывавших зал. А на другом конце Федерации, в Витебске, Марк Шагал (комиссар Марк Шагал!) расписал все вывески шагалесками и поднял над городом стяг, изображающий его, Шагала, на зеленой лошади, парящего над Витебском и трубящего в рог: «Шагал — Витебску».

Независимый (близкий к либеральной оппозиции) журнал «Вестник литературы» в 1919 году возмущался тем, что в первую годовщину Октября «столичные улицы были испакощены футуристскими плакатами, изображавшими уродливые, перекошенные тела и зеленые физиономии геометрических людей с вывихнутыми ногами в сочетании с какими-то военными доспехами и предметами кухонного и домашнего обихода».

Владимир Ильич по этому вопросу тоже оставался в «оппозиции». «Кому нужны эти формы, которые зрителю ничего не говорят?» — риторически спрашивал он. Существует легенда, что еще до революции художники-дадаисты в разговорах упрекали его:

— Отчего вы недостаточно радикальны?

— Я радикален настолько, — возражал Ленин, — насколько радикальна сама действительность.

В 1920 году Ленин говорил о своих взглядах Кларе Цеткин: «Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица!.. Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».

Его собеседница согласилась и заметила, что не понимает, зачем тело человека изображать как «какой-то мягкий бесформенный мешок, поставленный на двух ходулях, с двумя вилками по пяти зубцов в каждой». «Ленин от души расхохотался», — вспоминала она.

— Да, дорогая Клара, — сказал он, — ничего не поделаешь, мы оба старые. Для нас достаточно, что мы, по крайней мере в

революции, остаемся молодыми и находимся в первых рядах. За новым искусством нам не угнаться, мы будем ковылять позади.

Вместо красок художники творили теперь самыми неожиданными подручными материалами. На карикатуре в «Московском звонаре» летом 1918 года живописец с палитрой в руках, задумчиво покусывая кончик кисти, говорит: «Напишу-ка самую дорогую в России картину; рисовать буду гуталином и хлебным мякишем на сливочном масле и изображу настоящую французскую булку!..»

В 1921 году один художник показывал Ленину свою картину — выкрашенную в белый цвет фанеру, к которой он приклеил тарелку, вилку, нож, а к тарелке — две сухие рыбы, покрашенные в золотистый цвет. Владимир Ильич сказал, указывая на рыб:

— Это не искусство, а бессмысленное расточительство.

Автор вскочил на стол и поднял картину над головой:

— Посмотрите теперь, товарищ Ленин.

Владимир Ильич не нашёл никаких изменений.

— Товарищ Ленин не понимает этого! — разочарованно воскликнул художник.

— Возможно, что я и не понимаю этого, — ответил Ленин, — но если рыбу, нарисованную на полотне, не считают искусством, тогда и приклеенная на тарелку она не может быть таковым и не может питать ни ум, ни желудок. Подумайте об этом хорошо… Подумайте…

Германский коммунист Фриц Геккерт рассказывал о таком эпизоде: «В гостинице «Континенталь» была устроена маленькая выставка так называемых «революционных» художников. Там фигурировало на фоне пестрой мазни всякое старое тряпье, черепки, кусок печной трубы и т. п., прибитые к полотнам, — и вся эта ерунда должна была представлять новое искусство. Я был просто возмущен… Ленин, стоя сзади меня и покачивая головой, сказал мне:

— Вот видите, товарищ Геккерт, и у нас такое бывает!»

1 мая 1920 года Ленин посетил выставку проектов памятников, которые должны были заменить свергнутую фигуру Александра III возле храма Христа Спасителя. Ленин спросил, осматривая скульптуры:

— Это футуризм?

— По всей вероятности, — отвечал Луначарский.

— Я тут ничего не понимаю, — кротко сказал Владимир Ильич, — спросите Луначарского.

Нарком просвещения сказал, что не видит ни одного достойного памятника. Ленин обрадовался:

— А я думал, что вы поставите какое-нибудь футуристическое

чучело.

Владимир Ильич пришел в негодование, когда на Первомай художники-футуристы раскрасили яркими красками вековые липы вокруг Кремля. Их стволы и ветви стали красными, синими, лиловыми… Так изуродовать его любимые деревья!

«Кто разрешил, — возмущался он, — кто позволил сделать это издевательство над деревьями Александровского сада, которые окрашены в фиолетовый, красный и малиновый цвета?..»

Владимир Ильич потребовал «смыть эту паршивую краску с очаровательных деревьев». Увы, сделать это было невозможно: краска уже въелась в древесную кору и постепенно сходила с лип еще несколько лет.

Как правило, сохраняя свое мнение, Ленин не вмешивался в борьбу направлений в живописи. Он говорил: «Каждый художник, всякий, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своего идеала, независимо ни от чего».

«Я себя за специалиста в вопросах искусства не выдаю», — говорил Ленин. «Он всегда сознавал себя в этом отношении профаном, — писал Луначарский, — и так как ему всегда был чужд и ненавистен всякий дилетантизм, то он не любил высказываться об искусстве». Все же Ленин счел возможным однажды посоветовать архитектору Ивану Жолтовскому: «Делайте красиво, но только помните, без мещанства!»

«Невмешательство» Ленина в искусство отразилось и в позднем советском фольклоре. О чем свидетельствует один из немногих положительных по отношению к Ленину анекдотов 60-х годов: «Ленин и Луначарский на выставке художников-футуристов в 1920 году.

— Ничего не понимаю! — говорит Ленин.

— Ничего не понимаю! — говорит Луначарский.

Это были последние советские вожди, которые ничего не понимали в искусстве».

Футуризм оставался преобладающим направлением в советском искусстве вплоть до середины 30-х годов, когда серия знаменитых статей в «Правде» — «Сумбур вместо музыки», «Какофония в архитектуре», «О художниках-пачкунах»… — возвестила о победном возвращении старого, «белогвардейского» искусства — реализма.

«Я в этом ничего не понимаю». Терпимость Ленина к «новому искусству» доходила до того, что в мае 1920 года он разрешил скульптору-футуристу Натану Альтману делать с него портрет. Правда, потом, когда работа уже началась, вежливо спросил, будет ли его голова «футуристической». «Я объяснил, —

писал Альтман, — что в данном случае моей целью является сделать его портрет и что эта цель диктует и подход к работе. Он просил показать ему «футуристические» работы. Когда я ему показал, Ленин сказал: «Я в этом ничего не понимаю, это дело специалистов». Как можно догадаться, показанные работы Альтмана Ленину не понравились.

Альтман продолжал: «Солнце проникало сквозь окна и сушило глину. Ее приходилось усиленно поливать». Скульптор попросил в свое отсутствие самого Владимира Ильича следить за увлажнением глины. Из-за чего произошел следующий забавный случай, описанный большевиком Николаем Милютиным. «Однажды я зашел по какому-то поводу в секретариат Ленина. Вдруг слышим из кабинета громкий, заливчатый смех Владимира Ильича. Через минуту оттуда пулей вылетела Наташа Лепешинская, сотрудница секретариата, вся пунцовая, чуть не плача. После долгих расспросов она рассказала, что произошло в кабинете. Скульптор Альтман в то время лепил из глины голову Ленина. С согласия Владимира Ильича скульптор работал в кабинете Ленина, но с условием — не отрывать его от занятий. В перерывах скульптура накрывалась мокрой тряпкой, чтобы глина не сохла.

Уходя, Альтман попросил Владимира Ильича намочить вечером тряпку. Владимир Ильич позвал Наташу и велел принести чайник холодной воды, а сам, сидя за столом, углубился в работу. Наташа принесла воду. Владимир Ильич, не отрываясь от работы, сказал:

— Вылейте, пожалуйста, на мою голову.

Растерянная, недоумевающая Наташа с чайником в руках боязливо подходит к Владимиру Ильичу сзади и останавливается в нерешительности: лить или не лить?

Владимир Ильич обертывается, с удивлением смотрит на Наташу, а затем принимается хохотать, хватаясь за бока:

— Да не на эту, а вон на ту голову!

Показывает на скульптуру и хохочет».

«Шуты гороховые вроде Маяковского». М. Горький вспоминал разговоры с Лениным о современной поэзии: «К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздраженно:

— Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и все у него не то, по-моему, — не го и мало понятно. Рассыпано все, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим!»

Между прочим, один раз Ленин и Маяковский беседовали лично — глава правительства поздно вечером позвонил в Российское телеграфное агентство (РОСТА):

— Кто у вас есть?

— Никого, — отвечал поднявший трубку Маяковский.

— Заведующий здесь?

— Нет.

— А кто его замещает?

— Никто.

— Значит, нет никого? Совсем?

— Совсем никого.

— Здорово!

— А кто говорит?

— Ленин, — ответил председатель Совнаркома, вешая трубку.

Маяковский долго не мог опомниться после этого разговора…

А. Луначарский отмечал, что «Сто пятьдесят миллионов» Маяковского Владимиру Ильичу определенно не понравились. Он нашел эту книгу вычурной и штукарной». Ленин писал об этой поэме: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и для чудаков».

Подтверждала это отношение Ленина и Крупская: «Новое искусство казалось Ильичу чужим, непонятным. Однажды нас позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Грозовская декламировала Маяковского «наш бог — бег, сердце — наш барабан» и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул, когда Грозовскую сменил какой-то артист, читавший «Злоумышленника» Чехова.

Раз вечером захотелось Ильичу посмотреть, как живет коммуной молодежь. Решили нанести визит нашей вхутемасовке — Варе Арманд. Было это, кажется, в день похорон Кропоткина, в 1921 году. Был это голодный год, но было много энтузиазма у молодежи. Спали они в коммуне чуть ли не на голых досках, хлеба у них не было, «зато у нас есть крупа!» — с сияющим лицом заявил дежурный член коммуны — вхутемасец. Для Ильича сварили они из этой крупы важнецкую кашу, хоть и была она без соли. Ильич смотрел на молодежь, на сияющие лица обступивших его молодых художников и художниц — их радость отражалась и у него на лице. Они показывали ему свои наивные рисунки, объясняли их смысл, засыпали его вопросами. А он смеялся, уклонялся от ответов, на вопросы отвечал вопросами.

— Что вы читаете? Пушкина читаете?

— О, нет! — выпалил кто-то, — он был ведь буржуй! Мы —

Маяковского!

Ильич улыбнулся:

— По-моему, Пушкин лучше».

— Я вот Маяковского несколько раз пробовал прочесть, — признался Ленин, — и никак больше трех строчек не смог, все засыпаю. Уж как-нибудь соберусь, заставлю себя выдержать… А как вы считаете Некрасова?

Молодые художники заспорили между собой, но под конец сошлись на том, что для нового времени Некрасов уже устарел:

— Нам теперь нужно другое.

Владимир Ильич стал защищать Некрасова:

— Ведь на Некрасове целое поколение революционеров училось.

Студенты дали Ленину посмотреть свою стенную газету, и он нарочито медленно прочитал лозунг из Маяковского: «Мы, разносчики новой веры, красоте задающей железный тон. Чтоб природами хилыми не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон». Шутливо запротестовал:

— Зачем же в небо шарахать? Железобетон нам на земле нужен… «Шарахаем» — да ведь это, пожалуй, не по-русски, а?..

«Владимир Ильич отшучивался от них, — писал Луначарский, — насмехался немножко, но и тут заявил, что серьезно говорить о таких предметах не берется, ибо чувствует себя недостаточно компетентным». Сказал, что должен почитать литературу о футуризме в живописи и поэзии, затем приедет еще раз и тогда обязательно всех переспорит.

— Ну, — смеялся Ленин, — я теперь прямо боюсь с вами спорить, с вами не сладить, а вот почитаю, тогда посмотрим.

— Мы вам, Владимир Ильич, доставим литературу, — пообещал ему художник Сергей Сенькин. — Мы уверены, что и вы будете футуристом. Не может быть, чтобы вы были за старый, гнилой хлам, тем более что футуристы пока единственная группа, которая идет вместе с нами, все остальные уехали к Деникину.

«После этого Ильич немного подобрел к Маяковскому, — заключала свой рассказ Крупская. — При этом имени ему вспоминалась вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за советскую власть, не находящая слов на современном языке, чтобы выразить себя и ищущая этого выражения в малопонятных стихах Маяковского».

Выступая с речью 6 марта 1922 года, Ленин даже похвалил стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся»: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою

некомпетентность в этой области. Но я давно не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».

Эта похвала входила почти во все книги о Маяковском — с начала 30-х годов, когда поэт получил посмертное официальное признание. Менее известно, что уже после разговора во Вхутемасе Ленин (в разговоре с П. Красиковым) как бы продолжал начатый там спор: «Совершенно не понимаю увлечения Маяковским. Все его писания штукарство, тарабарщина, на которую наклеено слово «революция». По моему убеждению, революции не нужны играющие с революцией шуты гороховые вроде Маяковского. Но если решат, что и они ей нужны, — пусть будет так. Только пусть люди меру знают и не охальничают, не ставят шутов, хотя бы они клялись революцией, выше «буржуя» Пушкина и пусть нас не уверяют, что Маяковский на три головы выше Беранже».

После смерти Маяковского, как известно, объявили «классиком». «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», — заявил Сталин. Такое отношение в целом сохранялось вплоть до 90-х годов. Но «восстановили в правах» и Пушкина. Столетие гибели поэта в 1937 году отмечалось с грандиозным, небывалым размахом. Намерение футуристов «сбросить Пушкина с Парохода современности» окончательно предали забвению. Хотя некоторые в разгар этого пушкинского чествования мрачно шутили: «Живи Пушкин в наше время, он тоже бы умер в 37-м году».

«Все театры советую положить в гроб». Традиционные театры после Октября 1917 года стали одним из островков канувшей в Лету дворянской культуры. Неудивительно поэтому, что в печати они подвергались постоянной критике. Характерная шутка начала 20-х годов:

«— Почему этот театр называется: Большой Государственный Академический?

— Ну, что же непонятного. Большой — потому, что рядом с Малым, Государственный — потому, что государственные деньги зря переводит, а насчет Академического — так это просто так, для затемнения…»

Ленин во многом разделял подобный критический настрой. Хотя сам и любил театр. «Оперу любил больше балета», — замечала о нем Крупская. В 1901 году Владимир Ильич писал матери: «Был на днях в опере, слушал с великим наслаждением

«Жидовку»: я слышал ее раз в Казани (когда пел Закржевский), лет, должно быть, 13 тому назад, но некоторые мотивы остались в памяти». Однако, возможно, именно потому, что Ленин питал личную слабость к опере, теперь он считал своим долгом добиваться ее закрытия.

«Должны ли мы, — риторически спрашивал Ленин в 20-е годы, — небольшому меньшинству подносить сладкие, утонченные бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе?.. В то время как сегодня в Москве, допустим, десять тысяч человек, а завтра еще новых десять тысяч человек придут в восторг, наслаждаясь блестящим спектаклем в театре, — миллионы людей стремятся к тому, чтобы научиться по складам писать свое имя и считать, стремятся приобщиться к культуре, которая обучила бы их тому, что земля шарообразна, а не плоская и что миром управляют законы природы, а не ведьмы и колдуны совместно с «отцом небесным».

«Да, — соглашался Ленин, — балет, театр, опера, выставки новой и новейшей живописи и культуры — все это служит для многих за границей доказательством того, что мы, большевики, вовсе не такие ужасные варвары, как там думали… Но, признаюсь, мне больше по душе создание двух-трех начальных школ в захолустных деревнях, чем самый великолепный экспонат на выставке».

В феврале 1921 года, когда Ленин был в гостях у студентов Вхутемаса, он спросил:

— Ну, а в оперу ходите?

— Там уж совсем для нас нет ничего интересного!

— Как же так, — лукаво удивился Ленин, — а вот товарищ Луначарский очень бьется за то, чтобы сохранить оперу.

Зашла речь об опере «Евгений Онегин». Все пылко выступили против:

— Все мы единодушны против «Евгения Онегина». «Евгении Онегины» нам в зубах навязли…

— Вот как, — засмеялся Ленин, — вы, значит, против «Евгения Онегина»? Ну, уж мне придется тогда быть «за», я ведь старый человек.

— Да, Владимир Ильич, мы надеемся, что и вы с нами будете против этого нытья. Теперь для этого просто времени не хватает.

— А я, — признался Ленин, — грешным делом, люблю слушать эту оперу.

Трудно сказать, повлиял ли на Ленина этот спор, но летом того же 1921 года он внес в Политбюро предложение о закрытии Большого театра. Он пояснял: «Неловко содержать за большие деньги такой роскошный театр, когда у нас не хватает средств на

содержание самых простых школ в деревне».

«Я на одном из заседаний, — вспоминал Луначарский, — оспаривал его нападения на Большой театр. Я указывал на несомненное культурное значение его. Тогда Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и сказал: «А все-таки это кусочек чисто помещичьей культуры, и против этого никто спорить не сможет!»… Специфически помещичьим казался ему весь придворно-помпезный тон оперы». Предложение Луначарского сохранить Большой театр Ленин назвал «совершенно неприличным». «Все театры советую положить в гроб», — категорично заявил Владимир Ильич.

И Ленин… проиграл, остался в меньшинстве. Вот как описывал эту историю В. Молотов: «Летом 1921 года Ленин предлагал закрыть Большой театр. Говорит, что у нас голод, такое трудное положение, а это — дворянское наследство. В порядке сокращения расходов можем пока без него обойтись… И провалился Ленин. Большинство — против… Я помню, что я тогда и голосовал в числе тех, которые не согласились… Единственный раз, когда я голосовал против Ленина».

Метр, литр, грамм и новый календарь. После Октября взамен старинных аршинов, верст и фунтов в России утвердились новые единицы: метры, километры и килограммы. В свое время они были введены еще в революционной Франции. Из всех перемен революции эта встретила, пожалуй, меньше всего сопротивления. Хотя среди простого народа ее приняли не сразу. Характерная шутка из печати того времени:

«Метрическое.

— Прихожу в молочную, дайте, говорю, молока…

— Литр вам?

— Не литр, а молока…

— Литр?

— Да молока же…

— Литр?!!!

— Ну, дайте хоть литр…

Дали этого самого литра, а оно, оказывается, ни дать ни взять — молоко…»

Гораздо большее противодействие вызвало в обществе введение григорианского календаря. Согласно подписанному Лениным декрету, после 31 января 1918 года наступало не 1 февраля, а 14-е. Россия, таким образом, догнала по календарю Европу, от которой отставала в XX веке на 13 суток.

Однако православная церковь не пожелала подчиняться этому декрету и переходить на новый стиль. Таким было общее

настроение верующих, изменить которое не удавалось. В столь упорном неповиновении власти усматривали явный вызов и старались его сломить. Часть духовенства в 20-е годы все-таки перешла на новый стиль. Шутки 1923 года (из журнала «Дрезина»):

«Успевают.

— А Успение вы, батюшка, как праздновали, по старому или по новому?

— А и так, и сяк, милая.

— Как же это вы успеваете?!

— А на то, милая, оно и Успение… Хе-хе-хе».

«— Трудно договориться насчет рождества! Бабушка желает праздновать по старому стилю. Маменька по новому, а папаша — по Петротекстилю: говорит, — когда жалованье выдадут, тогда и праздник!»…

В конце концов, однако, государство смирилось с тем, что церковь живет по старому, юлианскому стилю. Острая борьба с церковью не утихала вплоть до 40-х годов, но шла уже по другим вопросам.

«Талантливая книжка озлобленного белогвардейца». Ленин очень любил читать черносотенную и другую правую печать. Он считал, что она выражает взгляды врагов гораздо откровеннее, честнее, чем умеренная. «Жаль, — замечал он, — что социал-демократы не ловят этих искорок правды у черной сотни». В 1917 году, скрываясь от ареста, Ленин спрашивал товарищей: «Нельзя ли достать газет крайних правых партий?»

«Приходилось доставать, — вспоминал журналист Юкка Латукка. — Особенно набрасывался Ильич на черносотенные газеты».

Эту свою привязанность к писаниям врагов Ленин сохранил и после Октября. М. Скрыпник вспоминала, как он читал кадетские газеты: «Вот он взял свежий номер «Речи»… Читая… Ленин не раздражался, наоборот, посмеивался с довольным видом… Глядя на него в эти минуты, я вспоминала известные слова Бебеля: «Если нас поносят наши враги, значит, мы поступаем правильно». Однажды она спросила, почему кадетские газеты до сих пор продолжают выходить.

«Закроем газеты, — отвечал Ленин, — не будем знать, что думают о нас наши враги».

Впрочем, в августе 1918 года, когда гражданская война заполыхала вовсю, либеральные газета в красной России все-таки закрыли, и они перекочевали в Россию белую. Однако независимые издания в Советской республике выходили и

позднее, вплоть до середины 20-х годов, и Ленин их внимательно читал.

В 1921 году русский сатирик и юморист Аркадий Аверченко выпустил в Париже сборник рассказов «Дюжина ножей в спину революции». Вскоре Ленин напечатал в «Правде» свой отзыв, озаглавленный «Талантливая книжка». «Это, — писал Ленин, — книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца Аркадия Аверченко… Большая часть книжки посвящена темам, которые Аркадий Аверченко великолепно знает, пережил, передумал, перечувствовал. И с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России. Так, именно так должна казаться революция представителям командующих классов. Огнем пышущая ненависть делает рассказы Аверченко иногда — и большей частью — яркими до поразительности. Есть прямо-таки превосходные вещички, напр., «Трава, примятая сапогами», о психологии детей, переживших и переживающих гражданскую войну.

До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде — нет, не в Петрограде, а в Петербурге — за 14 с полтиной и 50 р. и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность — из ряда вон выходящие».

Ленин пересказывает содержание одного из рассказов («Осколки разбитого вдребезги»), где два «бывших» — директор завода и сенатор — тоскуют о прошлом. «Оба старичка вспоминают старое, петербургские закаты, улицы, театры, конечно, еду в «Медведе», в «Вене» и в «Малом Ярославце» и т. д. И воспоминания перерываются восклицаниями: «Что мы им сделали? Кому мы мешали?»… «Чем им мешало все это?»… «За что они Россию так?»… Аркадию Аверченко не понять за что. Рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях».

В сборнике Аверченко был и рассказ, высмеивавший лично самого Ленина. Он изображал его в виде «мадам Лениной», взбалмошной и капризной супруги товарища Троцкого. По этому поводу Ленин высказался так: «Когда автор свои рассказы посвящает теме, ему неизвестной, выходит нехудожественно. Например, рассказ, изображающий Ленина и Троцкого в домашней жизни. Злобы много, но только непохоже, любезный гражданин Аверченко! Уверяю вас, что недостатков у Ленина и

Троцкого много во всякой, в том числе, значит, и в домашней жизни. Только, чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете». Свой отзыв Ленин завершал пожеланием: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять». Это пожелание было исполнено: рассказы из «Дюжины ножей…» вошли в советский сборник Аверченко «Осколки разбитого вдребезги» (1926). В книгу включили и довольно хлесткие оценки советской власти (сатирик, например, приписывал чекистам лозунг «Палачи всех стран, соединяйтесь!»).

Впрочем, Аверченко был далеко не единственным белогвардейцем, чьи книги охотно печатали в Советской России. Например, в 20-е годы выходили мемуары генерала Антона Деникина. На полях этой книги Ленин оставил пометку: «Автор подходит к классовой борьбе, как слепой щенок». Печатали воспоминания монархиста Василия Шульгина (их тоже с интересом читал Ленин). Шульгин так передавал свои чувства при виде революционной толпы в Феврале 1917 года: «Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство… Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы — этот зверь был… его величество русский народ…» В 20-е годы Шульгин выдвинул лозунг (вполне серьезно, в отличие от Аверченко): «Фашисты всех стран, соединяйтесь!»…

А в 60-е годы Василий Шульгин, сохранивший свои монархические взгляды и приверженность Столыпину, стал заметной общественной фигурой в СССР. Шульгин снялся в посвященном ему документальном кинофильме, выпустил сборник новых статей («Письма к русским эмигрантам») и даже был приглашен в качестве гостя на XXII съезд КПСС… Шульгин считал, что многие из «белых идей», о победе которых он мечтал в годы гражданской войны, стали в послевоенном Советском Союзе реальностью.

«Какой чудовищный филистер!». Ленин считал, что революционеру необходимо сочетать реализм с фантазией. «Эта способность [фантазия] чрезвычайно ценна, — говорил он в одной из речей. — Напрасно думают, что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок! Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии». «Я вам по секрету скажу: мы должны уметь фантазировать, уметь мечтать, оставаясь при этом

архиреалистами».

В октябре 1920 года Ленин встретился с самым известным фантастом своего времени — английским писателем Гербертом Уэллсом. На фотографии этой беседы у Владимира Ильича необыкновенно мечтательное выражение лица. Он с удовольствием рассуждал на самые далекие от повседневной жизни темы. Уэллс писал в своей записной книжке: «Ленин сказал, что, читая роман «Машина времени», он понял, что все человеческие представления созданы в масштабах нашей планеты: они основаны на предположении, что технический потенциал, развиваясь, никогда не перейдет «земного предела». Если мы сможем установить межпланетные связи, придется пересмотреть все наши философские, социальные и моральные представления; в этом случае технический потенциал, став безграничным, положит конец насилию как средству и методу прогресса».

В разговоре Владимир Ильич, между прочим, поделился с Уэллсом своим планом электрификации России. Забавно, но британскому фантасту этот план показался чересчур фантастическим. Позднее Уэллс писал, что Ленин «впал в утопию, утопию электрификации… Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами… Осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром». Вернувшись на родину, Уэллс издал книгу «Россия во мгле», где снисходительно называл Ленина «кремлевским мечтателем».

(Как известно, позднее план Ленина был осуществлен, и электрические лампочки среди крестьян получили название «лампочек Ильича».)

«Помню очень хорошо то впечатление, которое вынес Владимир Ильич из беседы с Уэльсом, — вспоминал Троцкий. — «Ну и мещанин! Ну и филистер!» — повторял он, приподымая над столом обе руки, смеясь и вздыхая тем смехом и тем вздохом, какие у него характеризовали некоторый внутренний стыд за другого человека». «Какой чудовищный мещанин! — повторял Ленин, покачивая головой. — Ай-я-яй, какой филистер!»

Н. Устрялов в статье, посвященной памяти Ленина, замечал: «Бывают эпохи, когда жизнью правят фантасты, а «люди реальной жизни», отброшенные и смятые, погружаются в царство призраков. Мечтатели и фантасты становятся реальнейшим

орудием судьбы… Обычно эти эпохи потом называют — «великими»…

«Будут врать без конца». Задумывался ли Ленин, каким его собственный образ останется в веках? Однажды в 1920 году ему пришлось посмотреть английский художественный фильм… о самом себе. Правда, он не сразу об этом догадался. Пленку привез из Англии Леонид Красин — специально в качестве сюрприза Владимиру Ильичу. Большевичка Елизавета Драбкина так описывала этот просмотр:

«По аллее старинного парка шло некое существо… Не сразу стало ясно, что это мужчина, ибо одето оно было в длинный до пят кафтан, украшенный черкесскими газырями, и высокую боярскую шапку, из-под которой выбивались длинные волосы. Но спасибо титру, он объяснил, что это «Prince Lenoff», сын богатого помещика, владелец нескольких тысяч крепостных.

Войдя в беседку, князь Ленофф достал из-под полы своего собольего кафтана толстую книгу — и титр сообщил, что это «forbidden foreign books» и что князь Ленофф читает сии запрещенные иностранные книги потому, что он «одержим странной идеей равенства»…

Он покидает отчий дом!.. Он в Петербурге… Идет по набережной реки. «Volga, Volga», — поясняет титр. В Петербурге князь Ленофф предается заговорщической деятельности (черные очки, черная пелерина, черные зонтики, черные парики). В каморке, под крышей он начиняет бомбы. Вздрагивает, оборачивается к двери. Она падает под напором тяжелых кулаков: полиция! Князя Леноффа сажают в карету и везут в тюрьму… И в эту минуту в зале раздался веселый, неудержимый смех Владимира Ильича, ибо сейчас он понял, что под именем князя Леноффа выведен он. Понял это и весь зал — и тоже залился хохотом».

Л. Троцкий вспоминал, что по какому-то поводу заметил Ленину:

«— Надо бы это записать, а то потом переврут. Он с шутливой безнадежностью махнул рукою: — Все равно будут врать без конца».

Глава 14
«Всякий боженька есть трупоположство»

Ленин убил много народу, но он помогал строить церкви.

Из школьных сочинений о Ленине

«Снял крест и бросил его в мусор». По свидетельству сестры Ленина Анны, отец их семейства, Илья Николаевич Ульянов был «искренне и глубоко верующим человеком и воспитывал в этом духе детей».

Как и полагалось в верующей семье, спустя несколько дней после рождения, 28 апреля 1870 года, Владимир Ильич Ульянов принял православное крещение. В гимназии он имел круглые пятерки по Закону Божьему. До 16 лет подросток вместе с родителями принадлежал к симбирскому религиозному Обществу преподобного Сергия Радонежского.

Считается, что толчком к разрыву Ульянова с религией стал следующий случай. Однажды, беседуя с гостем, Илья Николаевич пожаловался, что его дети плохо посещают церковь.

«Сечь, сечь надо!» — наставительно заметил гость, пристально глядя на Владимира.

Эта фраза так возмутила Владимира, что он выбежал из дому и в знак протеста тут же сорвал с груди нательный крестик.

Отвечая позднее на вопрос анкеты «Если вы неверующий, то с какого возраста?» — Ленин написал: «С 16 лет». Как писала Крупская, «вред религии понял Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил с себя крест, перестал ходить в церковь. В те времена это было не так просто, как теперь».

По словам Кржижановского, Ленин как-то рассказал ему, «что уже в пятом классе гимназии резко покончил со всяческими вопросами религии: снял крест и бросил его в мусор…». Лепешинский передавал эту сценку еще более красочно: «Он порывисто снял со своей шеи крест, с презрением плюнул на «священную реликвию» и бросил на землю». В таком изображении — это уже не просто равнодушное расставание с угасшей верой, а настоящее богоборчество: нечто вроде «оплевывания дьявола», только наоборот.

«Кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость». Сама мысль о Боге вызывала у Ленина нестерпимое, почти физическое отвращение. В своих заметках о Гегеле он, между прочим, восклицал: «Бога жалко! Сволочь идеалистическая!»

Между двумя революциями многие большевики увлеклись идеями богоискательства. Ленин, конечно, резко выступил против подобных поветрий. Свою линию он называл «антибожественной». Владимир Ильич яростно обличал «мещанскую, филистерскую, трусливую терпимость к учению о леших, домовых, католических святых и тому подобных вещах». Высмеивал любые споры о Боге — как «споры между человеком, верящим в желтого черта, и человеком, верящим в зеленого черта».

Не соглашался с богоискателями и Максим Горький. «Богоискательство», — писал он, — надобно на время отложить, — это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено. Не посеяв, не сожнешь. Бога у вас нет, вы еще не создали его. Богов не ищут, — их создают».

У Ленина эти рассуждения Горького вызвали бурю негодования. «Богоискательство, — писал он Горькому в ноябре 1913 года, — отличается от богостроительства, или богосозидательства, или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего… Всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно… Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость…»

Получив это послание Ленина с его страстными рассуждениями о Боге, Горький, по его словам, написал в ответ: «Владимир Ильич, Ваш духовный отец — протопоп XVII века Аввакум, веривший, что дух святой глаголет его устами, и ставивший свой авторитет выше постановлений Вселенских соборов».

После этого резкого обмена мнениями Горький перестал отвечать на письма Ленина, и они не встречались вплоть до сентября 1918 года. «У меня, к сожалению, — писал Владимир Ильич в 1916 году, — порвалась отчего-то переписка с ним…» «Горький, — замечал он тогда же, — всегда в политике архибесхарактерен и отдается чувству и настроению». Еще раньше Владимир Ильич высказывался о Горьком с исчерпывающей прямотой: «Это, доложу я вам, тоже птица… Очень себе на уме, любит деньгу… Взобрался на литературный Олимп, на котором и кочевряжится и с высоты которого ругает

направо и налево и грубо оплевывает всех и вся… Великий фигляр и фарисей, по русской поговорке: «Спереди благ муж, а сзади всякую шаташеся»… Впрочем, человек он полезный, ибо, правда из тщеславия, дает деньги на революцию и считает себя… «преужаснейшим» большевиком…

«Показать, чем набиты эти чучела». Февральская революция не отделила церковь от государства. Однако накопившееся в обществе раздражение против государственной религии и церкви сразу выплеснулось с небывалой силой. Карикатуры на попов из либеральной печати 1917 года мало уступают по своему накалу лучшим образцам советского «безбожного» творчества. Вот, например, рисунок Дени — пародия на известную картину Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Различие состоит в том, что навстречу отроку из леса выходит не исхудалый аскетичный монах, а по-раблезиански пузатый священник, на шее у которого вместо креста болтается туго набитый кошелек…

Фельетон Виктора Юза (Ю. Волина) из журнала «Бич»: некий поп просит журналиста, чтобы его называли «товарищ-поп», ведь даже извозчика теперь зовут не иначе как «товарищ-извозчик».

«— И не просите, батюшка. Никак не могу. Обидно… Для товарищей. Ведь если всякого товарищем звать, так слово «товарищ» ругательным станет…

— Так, значит… Господи!.. Что же это?.. Значит, извозчик и тот достойнее священнослужителя?..

— Ничего не поделаешь, батюшка! Такое положение. Против извозчика ничего не скажешь… Ну, груб. Однако извозчика встретить не только не дурная примета, а даже в некотором роде удача. А попа встретить — самая дурная примета. Сами знаете, батюшка!.. Уж вы меня извините, батюшка, а оставайтесь лучше батюшкой! Батюшки всякие бывают… А «товарищ» это дело другое… Заслужить надо, батюшка!..»

Поэт Василий Князев в те дни публиковал такие стихи:

Товарищи, в негодовании слепом
Готовы вы все злое видеть в Боге, —
Не смешивайте Господа с попом:
У нас совсем различные дороги.

Как видно, даже стараясь защитить веру, поэт и не думал заступаться за духовенство… Другие характерные шутки из печати 1917 года:

«Жрец. Честные мощи, чуждые гниения, кладутся в раки.

Эхо. Враки».

«Закон Божий — это пока его не преподают. Когда его начинают преподавать, это уже не закон Божий, а человеческое беззаконие».

Несмотря на такие настроения в обществе, для большевиков православная церковь оказалась весьма серьезным противником. Только духовенство, белое и черное, в 1917 году насчитывало более 200 тыс. человек…

20 января 1918 года Ленин подписал «Декрет о свободе совести». Декрет вводил не только свободу вероисповедания, но и, по выражению Ленина, «свободу от религии». Преподавание закона Божьего в школах отменялось, вместо церковного вводился гражданский брак, а имущество церкви объявлялось «народным достоянием»… Всероссийский патриарх Тихон, избранный на свой пост уже после Октября, открыто и резко осудил основные положения этого декрета.

В первую годовщину Октября патриарх направил открытое «Письмо Совету народных комиссаров», где сурово обличал все стороны политики большевиков, в том числе Брестский мир, упразднение частной собственности… «Мы переживаем ужасное время вашего владычества, — говорилось в письме, — и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя». Заканчивалось послание грозным пророчеством: «От меча погибнете сами вы, взявшие меч». Это письмо в десятках тысяч копий распространялось по всей России.

В январе 1918 года патриарх провозгласил анафему всем причастным к революционным самосудам. «Властью, данной нам от Бога, — говорилось в его послании, — анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной». Это послание вошло в историю как «анафема большевикам». (При таком широком толковании одним из отлученных от церкви, очевидно, следует считать и самого Владимира Ильича.) Либеральная газета «Русские ведомости» приветствовала это послание патриарха и с надеждой предсказывала: «Революционный козел обломает рога свои о церковь». Другая кадетская газета, «Современное слово», писала: «Анафема. Какое ржавое, пыльное слово. Подслоем вековой пыли еще горит оно страшным огнем… В этом слове — дым погребальных свечей, огонь костров, треск костей, переломленных испанским сапогом и пыточным колесом. В этом слове — средневековье… И вот оно, это ржавое слово, загудело вчера вновь в Петрограде. Церковь вынула вновь заржавленный меч из своих ножен». А анархический «Голос труда» только смеялся над упоминанием в послании

геенны огненной: «Отче благочинный! Ведь этими «страшными» словами можно теперь только детей неразумных пугать…»

Некоторых большевиков (например, Александру Коллонтай) за борьбу с церковью предавали анафеме и поименно. Владимир Ильич шутливо замечал Коллонтай: «Хотя вы и анафема теперь, но вы не в плохой компании: будете поминаться вместе со Стенькой Разиным и Львом Толстым».

В эти дни Ленин как-то бросил по адресу патриарха: «Сообщите ему, что советская власть не намеревается надеть на его голову венец мученичества…» Левая оппозиция упрекала большевиков за непомерную мягкость к церкви. «Борьба с религиозной язвой… большевиками не ведется почти совершенно», — сожалела московская газета «Анархист» в сентябре 1918 года. Газета требовала немедленно закрыть все храмы, ставя большевикам в пример французских якобинцев: «В целях разоблачения религиозного шарлатанства французские рабочие вытаскивали на площадь мощи и разоблачали их перед народом, сжигали их. Вот какое завещание оставили нам французские революционеры 1793 года…»

С октября 1918 года в Советской России действительно началась кампания вскрытий рак и гробниц с мощами православных святых. Власти стремились показать, что мощи вовсе не «нетленны», как утверждала церковь. Всего состоялось 63 вскрытия в 14 разных губерниях, после чего мощи передавались в местные музеи. Ленин озабоченно спрашивал: «Снимают ли киноленты, когда вскрывают мощи различных святых?»

Были сняты и вышли на экраны «разоблачительные» фильмы о вскрытии мощей, например «Вскрытие мощей Сергия Радонежского». Большевик Петр Красиков в апреле 1919 года сообщал Ленину о съемках этого фильма: «Сергия Радонежского в Троицкой лавре благополучно вскрыли. Ничего, кроме трухи и старых костей, не оказалось…» Ленин сделал приписку: «Надо проследить и проверить, чтобы поскорее показали это кино во всей Москве».

Сам он тоже посмотрел один из таких фильмов — «Вскрытие мощей Тихона Задонского». Фильм Ленину понравился. Он говорил: «Не нужно никакого издевательства, а нужен только правильный естественно-научный подход… Показать то, чем были набиты попами эти чучела, показать, что покоилось, какие именно «святости» в этих богатых раках, к чему так много веков с благоговением относился народ и за что так умело стригли шерсть с простолюдина служители алтаря, — этого одного достаточно, чтобы оттолкнуть от религии сотни тысяч лиц».

Что же было обнаружено при вскрытии помимо останков

святого Тихона Задонского, что показалось Владимиру Ильичу столь разоблачительным? Вот отрывок из протокола: «Картон, выкрашенный под телесный цвет. Фальсификация рук и ног при помощи ваты и картона. В перчатке прорез, в котором вложен картон телесного цвета, и к нему прикладывались верующие. Дамские чулки, ботинки, перчатки. Вместо груди — железный каркас»… И все-таки, согласно тем же протоколам, почти во всех случаях в мощах действительно находили останки умерших, довольно часто — мумифицированные (то есть «нетленные»).

Большим успехом в начале 20-х годов пользовались публичные диспуты на тему «Существует ли Бог?». Бога защищало духовенство, против выступали большевики или анархисты. Шутка 1922 года (из журнала «Мухомор»):

«— Чем кончились прения? Как решили: есть Бог или нет?

— Мнения разделились… Пришлось решить большинством голосов».

Наряду с упадком веры отмечались и иные настроения. Эсеровская газета «Дело народа» писала в 1919 году: «Интересно отметить следующее наблюдение. Религиозное чувство в народе за это время сильно упало: церкви посещаются мало, посты соблюдаются немногими… Не раз приходилось слышать в… крестьянстве рассуждения такого рода: «Ну, я теперь вот неверующий: церковь мне не нужна, но как они смеют глумиться над верой других и превращать церкви в театры!».

А петроградская газета «Эра» летом 1918 года высмеивала всю церковную реформу большевиков в стихах С. Гусева-Оренбургского «Декрет»:

Кратким росчерком пера
Церковь упразднили
И убраться со двора
Бога попросили.
Очень просто:
Бог землей
Правил многи лета
И уволен на покой
Волею Совета.
К Богу прибыл делегат
И указ читает: —
«Ваш земной протекторат
Ныне отпадает.
Потрудитесь сообщить
Званье, чин и лета,
Также паспорт предъявить

Иль мандат Совета.
Решено: реквизовать
Райские запасы,
Сейфы все конфисковать,
Опечатать кассы.
Храмы, скиты отобрать
В пользу бездомовных.
Всех монахинь повенчать
И расстричь духовных.
Перешляпить клобуки,
Перефрачить рясы.
Тропари и кондаки
Петь на светски гласы.
Описать и взять к рукам
Все святые мощи
И раздать их беднякам
На приправу во щи.
Дух святой цензуровать
И без сожаленья.
Меч Господень передать
Для уничтоженья.
…
Наблюденье учредить
За Марией-Девой
А Адаму предложить
Развестися с Евой.
Жену Лота рассолить
И вернуть без спору
И самоопределить
Содом и Гоморру…»

«Тихон стоит во главе этого мятежа рабовладельцев».

Весной 1922 года «поединок» между Лениным и патриархом вновь стал открытым и явным. Власти приняли решение в связи с голодом в Поволжье изъять церковные ценности (которые еще ранее были объявлены народным достоянием). Патриарх не счел возможным промолчать. В своем воззвании от 28 февраля он написал: «С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства… Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, освященных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею, как святотатство,

мирян — отлучением от нее, священнослужителей — извержением из сана».

После столь решительного послания изъятие ценностей уже не могло пройти вполне гладко. В городе Шуя верующие ударили в набат, отогнали от храма комиссию по изъятию ценностей и конную милицию. Против восставших бросили армию — в столкновениях пострадали более 40 человек, в том числе 16 верующих и 26 красноармейцев. Среди толпы были раненые и четверо убитых. Стычки и драки между верующими и представителями властей происходили и в других местах. По некоторым подсчетам, всего за год случилось 1414 таких стычек…

19 марта Ленин продиктовал свое знаменитое секретное письмо по поводу событий в Шуе. Из происшедшего Ленин делал вывод: «Совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение… Я думаю, что здесь наш противник делает громадную стратегическую ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна». Напротив, большевики имеют 99 шансов из 100 выиграть это сражение. Глава Совнаркома категорически заявлял: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления». «Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся». Никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст властям необходимого сочувствия широких крестьянских масс.

Такое рассуждение — «надо извлечь пользу из голода» — может показаться шокирующим на современный взгляд. Но оно было вполне в духе тех лет, когда даже в голоде и людоедстве умудрялись находить какую-то новую, небывалую грань свободы. Из очерка журналиста А. Васильковского: «В тяжко голодающем Саратове в кружке поэтов некая поэтесса читает стихи о том, как «вкусна человеческая ляжка», «как несравним студень из матери» и «как хорошо кушать человечину, когда стол накрыт вместо скатерти саваном»… Для тогдашнего умонастроения характерно, что почти никто из слушателей не стал осуждать эти стихи: в них увидели нечто передовое и свободолюбивое. «Только один старый журналист осмелился упрекнуть озорницу, и притом в очень умеренных и робких выражениях, в «некультурности»…»

Вернемся к ленинскому письму. Владимир Ильич ссылается

на Никколо Макиавелли, не называя, впрочем, его по имени: «Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут». «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

Вот цитата Макиавелли (из его самой знаменитой работы «Государь»), которую подразумевал Ленин: «Жестокость применена хорошо в тех случаях — если позволительно дурное называть хорошим, — когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже. Действуя первым способом, можно… удержать власть; действуя вторым — невозможно. Отсюда следует, что тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом; тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение».

В том же письме Ленин осторожно оговаривался: «Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев». Очевидно, Ленин понимал, что арест и тем более расстрел Тихона вполне могут оказаться теми «жестокостями», которых «массы не вынесут».

«Тихона целесообразно нам не трогать». Сражение против духовенства во главе с Тихоном разворачивалось по всем правилам военной науки. Внутри церкви при поддержке властей развернули деятельность «обновленцы». (Некоторые из этих групп действовали с весны 1917 года.) Эти оппозиционные патриарху течения выступали под различными именами: «Живая церковь», Пуританская партия революционного духовенства и мирян, Союз общин древлеапостольской церкви (принявший вместе с тем второе, сверхсовременное название — «Содац»)… Обновленцы осуждали Тихона за нежелание отдать все накопленные церковью богатства. «Пусть чаши в церквях будут деревянными, как в старину», — призывали они. Обновленцы провели свой собор, на котором объявили об упразднении патриаршества.

Михаил Булгаков в сменовеховской газете «Накануне» иронизировал над обновленцами:

«— Живые попы.

Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью — не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера…»

Красная печать, конечно, вдоволь посмеялась над борьбой, разгоревшейся внутри духовного сословия. Доставалось и «живой», и «мертвой» церкви. Из журнала «Красный ворон»:

«— Эй, гражданка! Вы — за Тихона, или за древнеапостольскую церковь?

— Не… мы, извините, за швейцара».

Одна из карикатур К. Елисеева весной 1923 года изображала поединок Тихона с неким обновленцем. Борцы сошлись врукопашную прямо на улице, их обступает многочисленная толпа зевак. Оба одеты по-спортивному, на патриархе — только белые трусы с изображением херувима, на его противнике — черный спортивный комбинезон, скроенный наподобие рясы. На животе у Тихона вытатуировано всевидящее око, заключенное в треугольник. Подпись гласит: «Страничка спорта. Всероссийские чемпионы борьбы за божью благодать»…

В Москве и Петрограде прошли открытые судебные процессы над духовенством и прихожанами, которые словом или делом боролись против изъятия ценностей. Самого патриарха на суде допросили в качестве свидетеля, но затем взяли под стражу. В одном из тогдашних фельетонов (в журнале «Крысодав») чекисты со своими арестами добирались… до самого Господа Бога.

«— Кто арестован?

— Гр. Саваоф Вседержителев, так называемый бывший бог.

— Связь его с бывшим патриархом установлена?

— Да…»

Все эти события (в особенности церковный раскол), очевидно, подтолкнули Тихона изменить его первоначальную позицию. 16 июня 1923 года патриарх (к тому времени уже два месяца как арестованный) решился пойти на примирение с властями. Он подписал заявление, в котором выражал раскаяние в своей антисоветской деятельности и добавлял: «Я отныне Советской власти не враг». Это была продуманная уступка — позднее патриарх пояснял в частных беседах: «Я написал… что я отныне — не враг Советской власти, но я не писал, что я друг Советской власти».

Спустя 11 дней патриарх был освобожден. Это помогло ему справиться с расколом: десятки священников и епископов, ранее

ушедших к обновленцам, теперь приносили покаяние патриарху и возвращались в лоно традиционной церкви. В Петрограде к началу 1924 года патриарху подчинялись уже 83 из 115 храмов. Обновленческое движение было сломлено (хотя формально и просуществовало до 1946 года). Художник Бант изображал происходившее так: старец Тихон важно шествует впереди большой отары овец, а обновленцы (у ног которых жмется одна-единственная сиротливая овечка) горько жалуются: «Что же это такое? Мы на ножницы истратились, а стричь он будет?»

Шутка:

«— Слышали, «Живая» церковь примирилась с «Мертвой».

— Гм… Вместе, стало быть, вышел «Живой Труп»…»

Советская печать расценила освобождение патриарха как важную победу. На одной из карикатур белогвардеец переживает «душевный разлад», восклицая с досадой: «Проклятые большевики! Выпустили патриарха…»

А вот характерный отрывок из фельетона (подписанного «Яга»): дело Тихона обсуждают некие могущественные иностранцы (вероятно, лорд Керзон и архиепископ Кентерберийский).

«— Хорошие вести, милорд.

— Я слушаю вас, ваше святейшество.

— Его арестовали…

— Очень хорошо!

— … посадил и в тюрьму…

— Очень хорошо!

— …есть большая надежда на то, что будут судить и, может быть, расстреляют.

— Очень, очень хорошо!..

— Народные массы подготовляются. Духовенство ждет только сигнала.

— Прекрасно!

— Заказана рака для мощей.

— Целесообразно».

Но внезапно все идет прахом:

«— Не хочет умирать!!!

— Как так?

— Раскаялся!..

— Не… не может быть! А мощи?.. А интервенция!..

— Да все к черту!..

— Д-да-а…

Полумрак… Тишина… Сдавленные рыдания».

Другой фельетонист деловито подытоживал: «Получены покаянные слезы патриарха Тихона и записаны на прибыль воды

в Патриарших прудах».

Трудно тем не менее сказать, кто одержал окончательную победу в этом поединке — глава большевиков или же глава церкви. Как известно, патриарху довелось пережить вождя революции (который был на пять лет его моложе). Патриарх Тихон еще застал первый мавзолей, куда положили забальзамированное тело Владимира Ильича. Рассказывали, что при стройке рабочие повредили канализацию — и котлован затопили сточные воды. Легенда вложила в уста патриарха Тихона язвительное замечание по этому поводу: «По мощам и елей!»

Впрочем, вполне возможно, что патриарх ничего подобного не произносил. В народе рождались и противоположные легенды. Так, автору этих строк довелось в 70-е годы слышать любопытную историю о том, что последними словами умирающего Ленина, которые услышали его врачи, будто бы были: «Боже! Боже!» (Такие короткие словечки Ленин в то время вполне еще мог произносить.) Само по себе это, разумеется, ровным счетом ничего не значит — сочинения Владимира Ильича пестрят упоминаниями Господа, Христа Бога и даже Аллаха (Боже сохрани! Боже упаси! упаси нас, Господи! Господи боже мой! Аллах их разберет! побойтесь Бога, товарищи-меньшевики! и т. д.). Но создатели легенды, несомненно, вкладывали в нее смысл «примирения Ленина с Богом».

Как ни удивительно, после кончины Владимира Ильича многие верующие вписывали имя «раба Божьего Владимира» в поминания, заказывали по нему панихиды. Некоторые стали обращаться к своему предстоятелю с вопросами: можно ли служить панихиды по усопшему?

И 25 января 1924 года патриарх Тихон опубликовал такой ответ: «По канонам Православной Церкви возбраняется служить панихиду и поминать в церковном служении умершего, который был при жизни отлучен от Церкви. Но Владимир Ильич Ленин не отлучен от Православной Церкви Высшей церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем, как о человеке добрейшей и поистине христианской души».

«Место религии заступит театр». Вообще, несмотря на яростное неприятие Лениным религии, он часто пользовался библейскими выражениями. Так, он по разным поводам писал: «Больше радости об одном грешнике раскаявшемся, чем о 99 праведниках… Но много званых, да мало избранных… Да — да,

нет — нет, а что сверх того, то от лукавого!.. Не вливайте нового вина в старые мехи!.. Не ходите на совет нечестивых… Надо клеймить их. Иначе великий грех на душе: позволять им соблазнять малых сих… Давно уже сказано: не всяк, глаголющий «господи, господи», войдет в царствие небесное…» и т. д. Когда большевиков в 1917 году упрекали за отказ от идеи Учредительного собрания, Ленин ответил: «Я скажу вам то, что вы все знаете: «не человек для субботы, а суббота для человека».

Владимир Ильич безо всякого смущения переосмысливал библейские образы. Так, «Коммунистический манифест» он определял как «евангелие» социал-демократии, а революционную борьбу называл борьбой «за создание рая на земле».

Но самый, пожалуй, яркий пример заимствования идей христианства — слова апостола Павла (из второго послания к фессалоникийцам): «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Ленин много раз повторял эту мысль, даже называя ее «основным законом» нового общества, «первым, основным, коренным началом»: «Нетрудящийся не должен есть». «Кто не работает, тот да не ест» — это понятно всякому трудящемуся… Девять десятых населения России согласны с этой истиной». Ленин развивал мысль апостола: «У нас… один только лозунг, один девиз: всякий, кто трудится, тот имеет право пользоваться благами жизни». Вошла фраза из Нового Завета и в текст советской конституции.

Видимо, это заимствование у христианства было не случайным, а вполне сознательным. Ленин высказывал даже некоторую симпатию к раннему христианству. «Христиане, — писал он в 1917 году, — получив положение государственной религии, «забыли» о «наивностях» первоначального христианства с его демократически-революционным духом». В 1921 году Ленин замечал, что в рядах большевиков могут быть и верующие.

Владимир Ильич понимал также, что религия дает человеку многие эстетические переживания, которым нужна какая-то замена. Глава Советского государства Михаил Калинин вспоминал: «Я был на квартире у Владимира Ильича, и там мы разговорились о том, чем заменить религию?.. Владимир Ильич мыслил так, что, пожалуй, кроме театра, нет ни одного института, ни одного органа, которым мы могли бы заменить религию… Ленин говорит, что место религии заступит театр».

Глава 15
«Если бы я был на свободе…»

Сейчас Ленина называют чуть ли не преступником, но те, кто это делает, живи они в то время, сами были бы его сторонниками.

Кончил Ленин плохо — отравился.

Из школьных сочинений о Ленине

«Революционеров в 50 лет следует отправлять к праотцам».

Говоря о здоровье кого-нибудь из товарищей, Ленин любил употреблять шутливое выражение: «Надо его направить на капитальный ремонт». Сам он вплоть до 1921 года от «капитального ремонта» отказывался, говоря, что пока еще довольствуется «мелким, текущим ремонтом». Иногда товарищи упрекали его за то, что он работает допоздна. Он с усмешкой отвечал: «А мне полагается… Работать, работать нужно».

«Вы меня в инвалиды не записывайте, — говорил Ленин в 1919 году, — мне никакого комфорта не нужно».

«Ленин считался крепышом, — замечал Троцкий, — и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел… Казалось, что Ленину не будет сносу». Болезнь началась в 1922 году как будто с пустяка: у Ленина, когда он вставал с постели, закружилась голова, и ему пришлось ухватиться за шкаф, чтобы не упасть. Врачи стали его успокаивать, заверяя, что головокружение непременно должно пройти. «Нет, это настоящий первый звонок», — с грустной улыбкой возразил Ленин.

Сильно мучила его бессонница, он говорил: «Ночь, обреченная на бессонницу, вещь поистине ужасная, когда поутру надо быть готовым к работе…»

«Мне не по себе в последние дни. Я работаю больше, чем кто бы то ни было в ЦК. И вот теперь последствия. Я переутомлен, страдаю бессонницей и нервничаю».

«Вспоминаю, — рассказывал позднее Кржижановский, — что незадолго до своего последнего заболевания В.И. как-то в шутливой форме спросил меня: какой, по-вашему, самый

скверный порок на свете? Я несколько растерялся и пробормотал что-то вроде того, что много есть скверных пороков».

«Нет, — сказал Ленин, — нам с вами все чаше и чаше придется убеждаться в правильности слов по этому поводу Тургенева, утверждавшего, что самый скверный порок — это быть старше 55 лет от роду…»

Однако Ленин не достиг пока этого рокового возраста и надеялся еще поработать. В 1921 году в беседе с А. Шлихтером он грустно упомянул о смерти старого товарища (своего ровесника):

— А вы уже знаете, Саммер умер? Еще один…

— Ну что же, Владимир Ильич, — ответил его собеседник, — ведь поработали, теперь можно и уходить, ведь смена уже готова.

Ленин долго молча смотрел на собеседника.

— Нет, вы не правы. Рано еще уходить. Еще надо годиков пять поучить.

«Старики вымрут, а молодые сдадут», — повторял Ленин слова какого-то революционера.

Наблюдая за собственным здоровьем, Владимир Ильич, видимо, снизил возраст неизбежного «ухода». Троцкий приводил невеселую шутку Ленина о том, что «революционеров в 50 лет следовало бы отправлять к праотцам». «Какой же дурак доживет из нас до 60 лет», — говорил он. Своему врачу Владимир Ильич сказал: «Каждый революционер, достигший 50 лет, должен быть готовым выйти за фланг: продолжать работать по-прежнему он больше уже не может; ему не только трудно вести какое-нибудь дело за двоих, но и работать за себя одного, отвечать за свое дело ему становится не под силу. Вот эта-то потеря трудоспособности, потеря роковая, и подошла незаметно ко мне — я совсем стал не работник».

Ленин заключил, что «его песня уже спета, роль его сыграна, свое дело он должен будет кому-то передать другому…».

«Они не могут запретить мне думать». В конце мая 1922 года у Ленина произошло кровоизлияние в мозг, парализовало правую руку и ногу. После этого он провел несколько месяцев в подмосковной усадьбе Горки на отдыхе и лечении. Его несколько смущала роскошная обстановка этой усадьбы. Он шутил: «Вот я какой! Могу на одном балконе вытереться полотенцем, на другом балконе чаю напиться, на третьем позавтракать. Слишком много для меня!»

Внезапный «отказ» собственного организма приводил Ленина в некоторое изумление.

«Понимаете, — говорил он с недоумением, — ведь ни говорить, ни писать не мог, пришлось учиться заново…»

Врач Л. Левин вспоминал: «Его очень пугало и огорчало то, что он не находит некоторых слов, что он не может назвать некоторые предметы по имени, что он сбивается в счете. Он очень огорчился, например, когда, увидев ромашку и незабудку, не мог вспомнить названия этих хорошо знакомых цветов».

«Какое-то необыкновенное странное заболевание, — повторял он. — Странная, необыкновенная болезнь…»

— А ведь плохо, — грустно обратился он однажды к лечащему врачу.

— Почему плохо, Владимир Ильич?

— Неужели вы не понимаете, что это ведь ужасно, это ведь ненормальность.

В другой раз с тревогой спрашивал:

— Ведь это, конечно, не грозит сумасшествием?..

Врачи предложили Ленину, чтобы развлечься, играть в шашки, но только со слабыми игроками. Он сильно расстроился:

— Это они меня за дурака считают.

Ему прописали также пить морковный сок. Однажды Владимир Ильич заметил медсестре:

— Стоит ли его пить, от него никакого толка.

Она стала уговаривать выпить, «хотя бы для очистки совести».

— Ну, все равно, давайте выпью, хотя он, кроме совести, ничего не очищает.

Когда Ленину впервые разрешили встать с постели, он на радостях даже пустился в пляс с медсестрой. Однако приступы головокружения и слабости не прекращались. Владимир Ильич подшучивал над собой: «Когда нарком или министр абсолютно гарантирован от падения?.. Когда он сидит в кресле».

До болезни почерк Владимира Ильича был очень аккуратным. «Писал без помарок, — замечал Г. Кржижановский, — четко, красивым «бисерным» почерком». Теперь Ленин смущался нетвердости своей руки: «Хвастаю моим почерком; среднее между каллиграфическим и паралитическим (по секрету)».

Постепенно Ленин выздоравливал, в июне он поделился своими ощущениями: «Почувствовал, что в меня вошла новая сила. Чувствую себя совсем хорошо… Странная болезнь, что бы это могло быть? Хотелось бы об этом почитать».

Политическую деятельность Владимир Ильич не прекращал, хотя соратники старались ограничить ее. Например, запретили ему читать газеты. По словам И. Сталина, Ленин иронически говорил: «Мне нельзя читать газеты, мне нельзя говорить о политике, я старательно обхожу каждый клочок бумаги, валяющийся на столе, боясь, как бы он не оказался газетой».

Владимир Ильич жаловался на «тиранов-врачей» и в июле написал по этому поводу целое возмущенное письмо: «Т. Сталин! Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без опровержения. Они растерялись от сильного припадка в пятницу и сделали сугубую глупость: попытались запретить «политические» посещения (сами плохо понимая, что это значит!!). Я чрезвычайно рассердился и отшил их… Только дураки могут тут валить на политические разговоры. Если я когда волнуюсь, то из-за отсутствия своевременных и политических разговоров».

«Какие чудаки, — заметил Ленин о врачах, — они думают, что политические деятели, встретившись после долгой разлуки, могут говорить о чем-либо другом, кроме политики… Ну, если нельзя о делах говорить, тогда лучше и посещений не надо».

«Он уже не терпел врачей, — писал Троцкий, — их покровительственного тона, их банальных шуточек, их фальшивых обнадеживаний». Иногда Ленин немного хитрил — если врачи заставали его за деловой беседой с товарищем, оправдывался: «Мы не работаем, мы только беседуем».

«Пойманный» за чтением, объяснял: «Я не работаю, я только читаю».

Он часто повторял с досадой: «Ведь они же (и я сам) не могут запретить мне думать… Мысли мои вы не можете остановить. Все равно я лежу и думаю!»

«Надо, чтобы мне дали возможность чем-нибудь заняться, так как, если у меня не будет занятий, я, конечно, буду думать о политике. Политика — вещь, захватывающая сильнее всего, отвлечь от нее могло бы только еще более захватывающее дело, а его нет».

Однажды на обычные уговоры не утруждать себя работой он ответил просто: «У меня ничего другого нет».

К осени состояние здоровья Ленина улучшилось, и в октябре он вернулся в Москву. Он говорил в это время: «Физически чувствую себя хорошо, но нет уже прежней свежести мысли… Я даже стал «благоразумным», по крайней мере по терминологии господ докторов. Я работаю, но щажу себя… Покорно благодарю, больше не хочу болеть. Это скверная штука, — дел очень много…»

13 ноября Ленин выступил на конгрессе Коминтерна с речью на немецком языке, которая длилась более часа. А. Аросев вспоминал выступление Ленина: «Забыв немецкие слова, подщелкивал пальцем, чтобы вспомнить. Из первых рядов и из президиума вперебой подсказывали нужные слова. Некоторые подсказки он отвергал и искал выражений более тонких, более

точных.

— Что делается: совсем прежний Ильич!..

— А ведь ему усиленно, телефонировали с того света…»

Казалось, глава Совнаркома вновь здоров и полон сил.

Правда, близкие товарищи заметили, как его утомила эта речь на иностранном языке. «Когда он кончил, — рассказывал Г. Зиновьев, — он едва держался на ногах, до того он устал, он был весь мокрый от пота».

В декабре стало ясно, что болезнь вновь хватает Ленина за горло и выступить на очередном съезде Советов он не сможет. Это так расстроило Владимира Ильича, что, по словам Марии Ульяновой, он «не мог сдержать горьких рыданий».

В конце декабря с Лениным случился второй удар, и к работе в своем кремлевском кабинете он уже больше не вернулся. Свои последние тексты Владимир Ильич продиктовал в январе — марте 1923 года.

«Как вы будете понимать меня, если я перестану говорить?» Владимир Ильич привык трезво оценивать положение вещей. Так же он смотрел и на свое здоровье, хотя порой это было невыносимо трудно. В мае 1922 года, после короткого спазма сосудов, Ленин заметил своему врачу: «Вот история, так будет кондрашка».

В ответ на утешения безнадежно махал рукой: «Нет, я чувствую, что это очень серьезно и вряд ли поправимо».

Однажды с волнением схватил врача за руку: «Говорят, вы — хороший человек, скажите же правду: ведь это — паралич и пойдет дальше? Поймите, для чего и кому я нужен с параличом?»

«Еще в 1922 году, — рассказывал Зиновьев, — он говорил иногда близким и друзьям: «Помяните мое слово: кончу я параличом». Каждый раз мы пытались, конечно, превращать его слова в шутку, но он, ссылаясь на примеры, твердил: «Как бы не кончить свой век так же, как такой-то, а может быть, еще и хуже».

В начале 1923 года Ленин повторил: «Так когда-нибудь будет у меня кондрашка. Мне уже много лет назад один крестьянин сказал: «А ты, Ильич, помрешь от кондрашки», — и на мой вопрос, почему он так думает, он ответил: «Да шея у тебя уж больно короткая».

Владимир Ильич говорил отчасти в шутку, но чувствовалось, что он и сам разделяет «диагноз» этого крестьянина.

«Надо спешить, — заметил он в декабре 1922 года, — чтобы болезнь не застала врасплох».

Г. Кржижановский вспоминал: «Незадолго до своего последнего смертельного заболевания… он как-то говорил мне со

смущенной улыбкой: «Да, мне кажется, что я брал на себя слишком большую нагрузку…» Он говорил это в вопросительном тоне».

«В марте 1923 года, — рассказывала Мария Ульянова, — за несколько часов до потери Ильичем речи мы сидели у его постели и перебирали минувшее. «В 1917 году, — говорит Ильич, — я отдохнул в шалаше у Сестрорецка благодаря белогвардейским прапорщикам; в 1918 году — по милости выстрела Каплан. А вот потом — случая такого не было…».

Ленин предвидел скорую потерю речи. Ухаживавшая за ним медсестра Екатерина Фомина писала: «Перед тем, как он перестал владеть речью, у него в течение 3-х дней были короткие временные затруднения речи, после чего Владимир Ильич спросил меня: «А как вы будете понимать меня, если я совсем перестану говорить?»…

«По капле кровь точилася моя». 10 марта 1923 года у Владимира Ильича произошел новый удар. Правую сторону тела парализовало — и он полностью лишился речи. Потом вновь научился произносить несколько коротких слов, таких, как «что?», «веди», «иди», «идите», «оля-ля» или «вот-вот». Чаще всего он повторял «вот-вот», разнообразно меняя интонацию и выражая этим свои чувства. Объяснялся также жестами: качал или кивал головой, грозил пальцем, указывал на что-то… Даже умудрялся шутить без слов. Его племянник Георгий Лозгачев-Елизаров писал: «Если ему не нравилось какое-нибудь блюдо, он начинал строить жалобно-уморительные гримасы. И, рассмешив других, громче всех заразительно смеялся сам».

В. Розанов вспоминал: «Весь лексикон его был только несколько слов. Иногда совершенно неожиданно выскакивали слова: «Ллойд Джордж», «конференция», «невозможность» — и некоторые другие». «Когда уже потерял речь, — рассказывала Мария Ульянова, — но мог произносить некоторые отдельные слова, сказал как-то: «Годы, годы», имея в виду, вероятно, что с параличом лежат иногда долгие годы».

С августа Ленин стал просматривать газеты. «Газету он читал ежедневно, — писала Крупская, — вплоть до дня смерти, сначала «Правду», а потом просматривал и «Известия»…» После утраты речи Ленин прожил еще почти 11 месяцев.

Вначале он не мог ходить, но потом вновь овладел этим умением. «В первый раз, — писал Луначарский, — когда Владимир Ильич решился пройтись сам, он выгнал из комнаты решительно всех, а потом показал со сконфуженной и счастливой улыбкой Надежде Константиновне, что он может ходить».

Невозможность полноценно общаться с окружающими сильно угнетала его. «Каждое свидание волновало Владимира Ильича, — рассказывала Крупская. — Это было видно по тому, как он двигал после свидания стул, как судорожно придвигал к себе доску и брался за мел». Иногда, особенно оставшись в одиночестве, он плакал. Его лечащий врач В. Осипов писал: «Иногда вдруг на глазах Владимира Ильича появлялись слезы. Человеку было нелегко…» Фельдшер В. Рукавишников описывал такой момент подробнее: «Ильич уселся, закрыв несколько лицо рукой, облокотившись на стол в задумчивой позе… И вдруг из-под руки катятся слезы… Чу, шорох. Шаги. Кто-то идет. Ильич выпрямился. Смахнул слезы. Взялся за книжку, как будто ничего не было…»

Ленин сознательно отказывался встречаться с соратниками. Крупская: «На вопрос, не хочет ли он повидать Бухарина, который раньше чаще других бывал у нас, или еще кого-нибудь из товарищей, близко связанных по работе, он отрицательно качал головой, знал, что это будет непомерно тяжело…»

В. Розанов рассказывал о поведении Ленина осенью 1923 года: «Гуляли, пользовались каждым днем, когда можно было поехать в сад, в парк. Сознание полное. Владимир Ильич усмехался на шутки. Искали грибы, что Владимир Ильич делал с большим удовольствием, много смеялся над моим неумением искать грибы, подтрунивал надо мной, когда я проходил мимо грибов, которые он сам видел далеко издали… Ужиная с нами, угощал нас и сидел подолгу, участвуя в разговоре своим немногосложным запасом слов, который в конце концов мы в значительной степени научились понимать. Во все эти посещения при мне он всегда был весел».

В последний год жизни Ленин уже не мог сам стрелять, но по-прежнему любил наблюдать за охотой на зайцев. Последний раз ездил в лес на охоту за два дня до смерти, 19 января 1924 года. Этот лес носил название «Горелый пень». После неудачных выстрелов Ленин укоризненно покачивал головой, а при метких попаданиях хлопал левой рукой по неподвижной правой…

Ленин мог даже по старой привычке насвистывать сквозь зубы знакомые мелодии. По словам Крупской, во второй половине 1923 года, когда казалось, что дело пошло на поправку, Владимир Ильич иногда тихо напевал «Интернационал», «Червонный штандарт» и «В долине Дагестана». Вероятно, лермонтовские строки довольно точно передавали настроение Владимира Ильича, когда он думал о самом себе:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.

«Засмеялся и махнул рукой». Вскоре после смерти Владимира Ильича его вдова рассказывала: «В последнее время стал читать беллетристику. Ему принесли большую груду книг, и он отобрал себе исключительно вещи Джека Лондона, которые и просил читать ему вслух».

Особенно Ленину понравился рассказ Лондона «Любовь к жизни», который он слушал всего за два дня до смерти. Нельзя не заметить, что рассказ этот, в манере писателя, очень натуралистичный, жесткий. Человек перегрызает горло волку и, чтобы выжить, пьет волчью кровь. «Сильная очень вещь, — писала Крупская. — Через снежную пустыню, в которой нога человеческая не ступала, пробирается к пристани большой реки умирающий с голоду, больной человек. Слабеют у него силы, он не идет уж, а ползет, а рядом с ним ползет тоже умирающий от голода волк, и вот между ними борьба, человек побеждает — полумертвый, полубезумный добирается до цели. Ильичу рассказ этот понравился чрезвычайно. На другой день просил читать рассказы Лондона дальше… Следующий рассказ попал совершенно другого типа — пропитанный буржуазной моралью: какой-то капитан обещал владельцу корабля, груженного хлебом, выгодно сбыть его; он жертвует жизнью, чтобы только сдержать свое слово. Засмеялся Ильич и махнул рукой».

«Если бы я был на свободе…» Одна из главных мыслей, звучащих в сочинениях Ленина последнего года работы, — мысль о малости горстки революционеров в безбрежном народном море. «В народной массе мы все же капля в море, — говорил он, — и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого… вся машина развалится». «Есть маленькая, ничтожная кучка людей, называющая себя партией, — повторял он в ноябре 1922 года. — Это ничтожное зернышко поставило себе задачей, а именно переделать все, и оно переделало».

«Помню, — писал Горький о Ленине, — как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова: «В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

— Какая умница! Эх…»

В сущности, это была та же ленинская мысль, только в более заостренном выражении. «Соблазн вступления в правительственную партию, — с тревогой писал Ленин в 1922 году, — в настоящее время гигантский. Достаточно вспомнить все литературные произведения сменовеховцев, чтобы убедиться, какая… публика увлечена теперь политическими успехами большевиков». «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время… политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него».

Таким образом, для Ленина ясно обрисовались две основные силы, противостоящие друг другу: старая гвардия и партийные новички. Взгляды последних — пестрая мешанина, вплоть до сменовеховских. В общем, это типичное «болото». А то, что у этого болота нет вождей, — дело временное. «Было бы болото, а черти найдутся», — говорил в таких случаях Ленин. Пока все заметные посты — в руках старой гвардии, но новички страстно мечтают о равноправии с ней. Собственно говоря, острейшая (а с 1936 года — и кровопролитная) борьба этих двух сил и стала содержанием следующей эпохи советской истории. Владимира Ильича беспокоил вопрос: сможет ли горстка революционеров удержать власть, не дать нахлынувшему морю новичков затопить, опрокинуть себя?

Ленин со всем напряжением искал выход… и не находил его. То, что он предлагал, — всемерно затруднить прием в партию,

уменьшить ее численность… все это были лишь полумеры. Остановить «наводнение» партии новичками они не могли. Некоторые из идей Ленина вызывали у его коллег только головную боль. Они даже не хотели публиковать иные из его предложений. Валериан Куйбышев в 1923 году посоветовал напечатать «Правду» со статьей Ленина («Как нам реорганизовать Рабкрин») в единственном экземпляре — для самого автора. А в декабре 1922 года высшие руководители приняли решение о «щадящем режиме» для Ленина:

«1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5–10 минут, но это не должно носить характер переписки, и на эти записки Владимир Ильич не должен ждать ответа. Свидания запрещаются.

2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений».

Чтобы отвоевать право диктовать хотя бы «дневник», Ленину пришлось прибегнуть к ультиматуму, угрожая отказом лечиться. «Владимир Ильич категорически заявил, — рассказывала Мария Ульянова, — что, если ему не будет разрешена эта работа хотя бы в течение получаса в день, он отказывается от всякого лечения». Все это напомнило ему домашний арест. В феврале 1923 года он по какому-то поводу сказал стенографистке: «Если бы я был на свободе…» Тут он засмеялся, но потом снова повторил: «Если бы я был на свободе, то легко бы все это сделал сам».

Сравнение с тюрьмой позднее использовала и Крупская, чтобы… успокоить Ленина. «Во время болезни, — писала она, — был случай, когда в присутствии медсестры я ему говорила, что вот, мол, речь, знаешь, восстанавливается, только медленно. Смотри на это, как на временное пребывание в тюрьме». «Надо запастись терпением», — уговаривала она. Медсестра Е. Фомина возмутилась и запротестовала: «Ну, что пустяки говорите… Какая же тюрьма, что вы говорите, Надежда Константиновна?»

Но самому Ленину такое сравнение понравилось. «Ильич понял — после этого разговора он стал определенно больше себя держать в руках».

Любопытно, что в 1926 году Надежда Крупская (бывшая в то время в оппозиции) говорила в частном разговоре: «Будь Ильич жив, он наверное уже сидел бы в тюрьме». Однако ее товарищи по оппозиции еще находились на свободе. Очевидно, Крупская считала, что ее муж выступил бы гораздо резче, чем это делали они.

«Владимир Ильич стал волноваться». Как ни удивительно,

но смерть Ленина тоже была связана с важным, знаковым политическим событием. Что же произошло в январе 1924 года? «Старая гвардия» раскололась на оппозицию и большинство. И это большинство впервые оперлось на массу новичков, на «болото». Правда, в отличие от французского термидора, ничьи головы пока не полетели, и печать писала о происходящем в самых шутливых тонах.

Скажем, журнал «Смехач» высмеивал сообщения английской печати о случившемся расколе, доводя происшедшее до абсурда: «Россия охвачена пламенем восстаний. Первыми взбунтовались ударные отряды негров, вследствие уменьшения пайка (вместо мяса младенцев им предложили по фунту соли и по десять золотников нюхательного табака). К неграм вскоре присоединились китайские, самоедские, испанские и санитарные полки. Верными правительству остаются только отряды по борьбе с неграмотностью и дивизион сибирских медведей.

Троцкий возглавляет повстанцев. Троцкий находится в трех верстах от Москвы, в местечке Ножницы, откуда руководит операциями. Для большей популярности он переименовался в великого князя Николая Николаевича. Живая церковь поднесла ему звание красного патриарха и Царь-колокол, украшающий отныне стол его походной канцелярии»…

Ленин предвидел случившийся раскол еще в 1922 году, и мог понимать, что все это далеко не шутка. Решающий голос впервые перешел к новичкам, к «болоту», а насколько далеко это заведет — можно было только догадываться, вспоминая историю французской революции. Термидор… брюмер… империя… реставрация…

Но в тот момент общество еще не воспринимало происшедшее как нечто окончательное и непоправимое. Карикатура Бориса Ефимова в январе 1924 года изображала новоявленных противников как дуэлянтов на пистолетах. Художник сопровождал свой рисунок стихами Пушкина:

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно
Врагам наследственным подобно…

Кто бы поверил в те дни, что изображенные на картинке старые революционеры и впрямь получат в этой борьбе по свинцовой пуле? Между тем от пуль спустя десятилетие пали все

— и дуэлянты (Бухарин и Преображенский), и даже секунданты (Зиновьев и Пятаков)…

Впрочем, вряд ли такой поворот заставил бы Ленина пожалеть о самой революции. Революция побеждает, считал он, если она двигает вперед историю. Еще в 1919 году он говорил: «Революции… побеждают даже тогда, когда они терпят поражение… И потому мы говорим, что если бы даже, беря возможный гипотетически худший из возможных случаев, если бы завтра какой-нибудь счастливый Колчак перебил поголовно всех и каждого большевика, революция осталась бы непобедимой».

Началась же эта новая эпоха на рубеже 1923–1924 годов со статей в «Правде» Льва Троцкого, который отныне превращался в предводителя оппозиции. Эти статьи Ленин успел прочитать. Георгий Лозгачев-Елизаров: «Мне пришлось наблюдать небольшой эпизод, из которого стало ясно, что Владимир Ильич глубоко переживает свой вынужденный отрыв от государственной и партийной жизни… Просматривая однажды газеты, Владимир Ильич остановит свое внимание на одной из статей, помещенных на странице «Дискуссионного листка». Не дочитав ее до конца, он досадливо сморщился и, слегка смяв газету, отбросил ее от себя. Газета упала со столика на пол. Немного удивленный, я поднял газету и с любопытством взглянул на статью, вызвавшую досаду Ильича. Это была статья Троцкого». Статью Бухарина, в которой тот спорил с Троцким, Ленин попросил прочитать ему три раза…

А 19–20 января 1924 года Крупская читала Ленину решения XIII партконференции, в которых Троцкий резко осуждался. Правда, пока он еще оставался признанным вождем Красной армии — гигантом, на которого ополчились какие-то лилипуты. Многие противники Троцкого видели в нем того самого грядущего «Бонапарта», от которого они желали спасти революцию. В рядах большинства явного «Бонапарта» как будто не прослеживалось…

Оставалось неясным, кто победит в этой схватке. Но это означало тот самый раскол, которого Ленин больше всего опасался. «Очень я боялась партдискуссии, — признавалась Крупская. — Когда в субботу Владимир Ильич стал, видимо, волноваться, я сказала ему, что резолюции приняты единогласно». Но это была неправда: на самом деле их приняли большинством голосов… В воскресенье, 20 января, Надежда Константиновна продолжала чтение. «Чувствовалось, что содержание материалов очень его огорчило. Наблюдавшие его в эти последние часы отметили, что он перестал смеяться, шутить, погрузился в какие-то думы».

Вечером того же дня состояние здоровья Ленина стало

ухудшаться. На следующий день, 21 января, ухудшение приняло катастрофический характер. «Хворал он недолго последний раз, — писала позже Крупская. — Доктора совсем не ожидали смерти и еще не верили, когда началась уже агония… Теперь я твердо знаю, что доктора ничего не понимают». Без четверти семь часов вечера больному измерили температуру — ртутный столбик подскочил до 42,3 градуса! Дальше в термометре не было места. Ошеломленные врачи сказали, что тут какая-то ошибка. Однако это не было ошибкой… В 18 часов 50 минут Владимир Ильич Ульянов-Ленин скончался.

«Ленин. Человек свободный…» Посмертная судьба тела Ленина — отдельная тема, которая выходит за рамки настоящей книги. И она тоже богата яркими событиями и неожиданными поворотами. Телу Ленина поклонялись, на него покушались, его высмеивали, его требовали похоронить и (в эпоху «реставрации») даже пекли и торжественно поедали торт, сделанный в форме Владимира Ильича, лежащего в гробу…

Похороны Ленина превратились в грандиозную народную демонстрацию. «Все, — говорил Г. Зиновьев, — и враги, и друзья, признают, что таких похорон не было еще в истории человечества. Миллион человек в Москве пришли проводить его в 25-градусную стужу… Вся жизнь шла вверх дном. Я слышал рассказ одного рабочего, у которого жена яростная меньшевичка и которая все три дня простояла у гроба Владимира Ильича, забросила все хозяйство. Я думаю, что это не единичный случай».

Разумеется, советская печать посвятила смерти Владимира Ильича тысячи больших и малых статей, стихов, рисунков. Как ни удивительно, но это событие давало повод и для улыбок. Так, журнал «Крокодил» по случаю смерти Ленина поместил подборку карикатур на него. На одной из них Владимир Ильич танцевал вальс с иностранным капиталистом, одновременно незаметно запуская руку в его карман… Журнал «Смехач» напечатал рисунок Б. А. — Ленин в виде американской статуи Свободы, с горящим факелом в руке. Подпись гласила: «Наш проект Статуи Свободы. Мы скромно полагаем, что к этому проекту присоединится весь мыслящий пролетариат Америки»…

По-своему откликнулся сменовеховский журнал «Россия», выходивший в те годы в Москве и Ленинграде. Статью «После Ленина» написал редактор журнала Исай Лежнев (о котором сам Ленин высказывался так: «Всегда будет коварнейшим, насколько я могу судить по прочитанным его статьям»). Лежнев увидел в Ленине образец свободы, свободного человека.

«Боже мой, — замечал он, — как много у нас всегда болтали,

болтают и по сей день о свободе слова и независимости мысли. Знают ли люди подлинно, о чем они говорят? Говорят, по обыкновению, о внешнем, формальном — о юридической норме. Но средний наш человек внутренне не способен на эту свободу. Он барахтается в плену житейских и моральных условностей, он всегда в цепкой власти старых слов и формул. Рабом, идолопоклонником он распростерт перед фетишем и догмой, связан по рукам и ногам узлами и узелочками схем и схемочек. Между человеком и фактом — путаное загромождение идолов, паноптикум восковых кукол, застывших масок и гримас, заученных движений — душевных и интеллектуальных, хлам устарелых идей и идеек, обрывки и ошметки изношенных понятий. Средний человек окунается в этот мусор, как в покойную, уютную, теплую, старую комнатную туфлю, растянутую по ноге, блаженствует и тешит себя блажью о свободе.

И вот Ленин. Человек — свободный и независимый. В чем эта свобода? В том, что между ним и фактом нет средостений. Вот человек и вот факт — и нет между ними никаких средостений, никакого традиционного барахла привязанностей, пристрастий, окостенелых догматических навыков мысли. Эта внутренняя свобода и независимость, умение глядеть правде прямо в глаза, как бы неказиста порой она ни была, умение эту правду высказывать со всей прямотой, простотой и жестокостью, безо всяких паточных оговорочек, безо всякого смягчающего и вуалирующего миролюбчества, безо всякого самодовольного самоуслаждения — величайший дар Ленина, который усвоить будет, пожалуй, труднее всего, ибо это дар революционера в себе самом, а не только во внешней борьбе, что, конечно, несравненно легче и площе»…

* * *

«Борец за свободу товарищ Ленин» — так гордо окрестили в 1920 году первый советский танк (тогда было модно присваивать красивые имена танкам и самолетам, как кораблям). В позднесоветские времена это словосочетание уже немного удивляло и резало слух. Ленин — борец за свободу? Почему за свободу? Разве за свободу? Странно как-то, непривычно…

Но, возможно, главный движущий закон истории в том и заключается, что люди всегда стремятся к большей свободе. (Точно так же, как газ занимает весь доступный объем, а вода стремится течь под уклон.) И количество свободы в ходе истории тоже постоянно растет, хотя это и не всегда представляется

очевидным.

А в России XX века люди где только не искали свободу! В начале столетия — в революциях, в конце — в реставрации… И, разумеется, в отстранении от всех этих мировых событий, в частной жизни. Остается только спросить: где они ее нашли?..

Основные даты жизни Владимира Ульянова (Ленина)

(до февраля 1918 года приводятся по старому стилю)

10 (22) апреля 1870 — родился.

Август 1879 — поступил в классическую гимназию.

12 января 1886 — скончался отец, Илья Николаевич.

1 марта 1887 — арестован старший брат, Александр Ильич.

8 мая 1887 — казнен старший брат.

10 июня 1887 — окончил гимназию с золотой медалью.

13 августа 1887 — поступил в Казанский университет.

4 декабря 1887 — участвовал в студенческой сходке.

Ночь на 5 декабря 1887 — впервые арестован.

До октября 1888 — высылка в имение Кокушкино.

Ноябрь 1891 — сдал экзамены в Петербургском университете.

Январь 1892 — получил диплом юриста.

1892–1893 — выступал как адвокат в судах Самары и Петербурга.

Май — сентябрь 1895 — побывал в Швейцарии, Франции, Германии.

Ночь на 9 декабря 1895 — арестован в Петербурге.

29 января 1897 — внесудебно приговорен к трем годам ссылки.

14 февраля 1897 — вышел из тюрьмы.

6 мая 1897 — прибыл в село Шушенское (место ссылки).

10 июля 1898 — обвенчался в церкви с Надеждой Крупской.

29 января 1900 — отбыл срок ссылки.

21 мая 1900 — арестован в Петербурге (на 10 дней).

16 июля 1900 — выехал за границу.

Июль 1900 — октябрь 1905 — первая эмиграция (Швейцария, Германия, Австро-Венгрия, Англия, Франция, Бельгия и др.).

Ноябрь 1905 — приехал в Петербург.

Декабрь 1907 — покинул Россию.

Декабрь 1907 — март 1917 — вторая эмиграция (Швейцария, Италия, Франция, Англия, Бельгия, Дания, Швеция, Австро-Венгрия, Германия и др.).

26 июля 1914 — арестован в Новом Тарге (Австро-Венгрия).

6 августа 1914 — освобожден из тюрьмы.

23 августа 1914 — приехал в Швейцарию.

12 июля 1916 — скончалась мать, Мария Александровна.

27 марта 1917 — выехал из Швейцарии в Россию.

Ночь на 4 апреля 1917 — прибыл в Петроград.

7 июля 1917 — издан приказ о его аресте.

Июль 1917 — скрывался в шалаше у станции Разлив.

Август — сентябрь 1917 — скрывался в Финляндии.

Начало октября 1917 — нелегально вернулся в Петроград.

27 октября 1917 (4 часа утра) — возглавил правительство.

1 января 1918 — покушение: обстрелян в автомобиле.

11 марта 1918 — переехал в новую столицу — Москву.

30 августа 1918 — покушение: тяжело ранен двумя пулями.

16 сентября 1918 — вернулся к работе после ранения.

27 мая 1922 — временный паралич и потеря речи.

2 октября 1922 — приступил к работе после болезни.

16 декабря 1922 — новый приступ болезни.

10 марта 1923 — третий удар и утрата речи.

19 октября 1923 — на один день вернулся в Москву из имения Горки, побывал в своем кабинете.

21 января 1924 (19 часов 50 минут) — скончался.

Мемуарная литература о Ленине

Андреев А. О Владимире Ильиче Ленине. М., 1965.

Аросев А. По следам Ленина. Л., 1924.

Архангельский В. Тридцать минут у Ленина. Ташкент, 1980.

Багоцкий С. О встречах с Лениным в Польше и Швейцарии. М»1971.

Беляков А. Юность вождя. Воспоминания современника В. И. Ленина. М., 1960.

Бонч-Бруевич В. В. И. Ленин в России после февральской революции до третьеиюльского вооруженного выступления пролетариата и солдат в гор. Петрограде. По личным воспоминаниям. М., 1925.

Бонч-Бруевич В. Воспоминания. М., 1968.

Бонч-Бруевич В. Воспоминания о Ленине. М., 1969.

Бонч-Бруевич В. Ленин о художественной литературе // Тридцать дней. 1927. 1.

Бонч-Бруевич В. Ленин и кино. По личным воспоминаниям // Кинофронт. 13–14.

Бонч-Бруевич В. На боевых постах февральской и октябрьской революции. М., 1930.

Бонч-Бруевич В. На заре революционной пролетарской борьбы. М., 1932.

Бонч-Бруевич В. Нападение бандитов на В. И. Ленина в 1919 году. М., 1926.

Бонч-Бруевич В. Покушение на В. И. Ленина в Москве 30-го августа 1918 года. По личным воспоминаниям. М., 1923.

Бонч-Бруевич В. Смерть и похороны Владимира Ильича: По личным воспоминаниям. М., 1925.

Бонч-Бруевич В. Три покушения на В. И. Ленина. М., 1930.

Бреслав Б. О В. И. Ленине. Беглые воспоминания. М., 1934.

Валентинов Н. (Николай Вольский). Недорисованный портрет…: Встречи с Лениным. Малознакомый Ленин. Ранние годы Ленина. М., 1993.

Васильев-Южин М. Восстание на броненосце «Потемкин» и тов. Ленин // Молодая гвардия. 1924. 2–3.

Веретенников Н. Володя Ульянов. М., 1962.

Вечно живой. Воспоминания современников о Владимире Ильиче Ленине. М., 1965.

Великий друг молодежи. Воспоминания о В. И. Ленине. М., 1969.

Великий и простой. Сборник воспоминаний о В. И. Ленине. Ростов-на-Дону, 1963.

Великий и родной. Воспоминания северян о встречах с В. И. Лениным. Архангельск, 1968.

В. И. Ленин в воспоминаниях писателей. М., 1980.

В. И. Ленин и кремлевские курсанты. М., 1969.

В. И. Ленин. Статьи: Каменева, Преображенского, Осинского, Горького, Луначарского и Подвойского. Чита; Владивосток, 1924.

Вильямс Альберт Рис. О Ленине. М., 1932.

Вильямс Альберт Рис. О Ленине и Октябрьской революции. М., 1960.

Волин Б. Из воспоминаний. М., 1972.

Воспоминания нижегородцев о В. И. Ленине. Горький, 1960.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1984. Т. 1–5.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1989–1991. Т. 1–8.

Воспоминания писателей о В. И. Лениие. М., 1990.

Встречи с Ильичом. Воспоминания. Уфа, 1980.

Встречи с Лениным. Воспоминания рабочих и старых большевиков. Л., 1933.

Встречи художников с Лениным. Воспоминания. Л., 1976.

Ганецкий Я. Воспоминания о Ленине. М., 1933.

Гиль С. Шесть лет с В. И. Лениным. Воспоминания личного шофера Владимира Ильича Ленина. Л., 1947.

Гиль С. Шесть лет с В. И. Лениным. Воспоминания личного шофера Владимира Ильича Ленина. М., 1957.

Голубева М. Последний караул // Молодая гвардия. 1924. 2–3.

Горький М. Ленин. Личные воспоминания. М., 1924.

Горький М. В. И. Ленин. М.-Л., 1931.

Тройский В. Ленин — В. Ульянов // Раннее утро. 1918. 10 марта.

Данилов С. Владимир Ильич // Из воспоминаний // Молодая гвардия. 1924. 2–3.

Данишевский К. и Каменев С. Воспоминания о Ленине. М., 1934.

Драбкина Ф. Наш друг и учитель. // Октябрь. 1956. 4.

Емельянов Н. Ильич в Разливе. М., 1965.

Емельянов Н. Таинственный шалаш. Л., 1924.

Зарапин Д. Вспоминают кремлевские курсанты. М., 1963.

Зиновьев Г. Ленин. Л., 1924.

Зиновьев Г. Ленин. Его жизнь и деятельность. Л., 1924.

Зиновьев Г. Ленин и июльские дни. К десятилетию июльских

дней//Пролетарская революция. 1927. 8–9.

Зорин С. Что может означать — Ленин. Л., 1924.

Калинин М. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. М., 1934.

Каменев Л. История партии коммунистов в России и В. И. Ленин. М., 1919.

Каменев Л. Статьи и речи. Л., 1925.

Каюров В. Встречи с Владимиром Ильичом. Отрывки воспоминаний // Пролетарская революция. 1925. 8.

Кедров М. Из красной тетради об Ильиче // Пролетарская революция. 1927. 1.

Коллонтай А. Воспоминания об Ильиче. М., 1969.

Коллонтай А. Из моей жизни и работы. М., 1974.

Коринфский А. Игра судьбы. Ленин и Керенский // Вечернее слово, 1918. 4.

Костин Н. Из новых воспоминаний о Ленине. М., 1967.

Кржижановский Г. Великий Ленин. М., 1971.

Кржижановский Г. О Владимире Ильиче. М., 1933.

Крупская Н. Воспоминания о Ленине. М., 1989.

Крупская Н. Последние полгода жизни Владимира Ильича // Известия ЦК КПСС. 1989. 4.

Ленин в воспоминаниях. М., 1926.

Ленин в воспоминаниях революционеров Латвии. Рига, 1969.

Ленин в воспоминаниях финнов. М., 1979.

Ленин в воспоминаниях чекистов. Б., 1969.

Лепешинская О. Встречи с Ильичом. Воспоминания старой большевички. М., 1966.

Лепешинский П. Жизненный путь Ильича. Харьков, 1924.

Лепешинский П. На повороте. М., 1935.

Лепешинский П. На рубеже двух веков. М., 1978.

Лепешинский П. По соседству с Владимиром Ильичом. Л, 1925.

Лилина З. Ленин как человек. Л, 1924.

Лозгачев-Елизаров Г. Незабываемое. Л., 1971.

Лозовский А. (Дридзо Соломон). Великий стратег классовой войны. Памяти единственного. М., 1924.

Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. М., 1997.

Луначарский А. Воспоминания и впечатления. М., 1968.

Луначарский А. Ленин и искусство. Воспоминания // Художник и зритель. 1924. 2–3.

Луначарский А. О Владимире Ильиче. М., 1933.

Луначарский А. Человек нового мира. М., 1976.

Малышев С. Встречи с Лениным. М., 1933.

Мальков П. Записки коменданта Московского Кремля. М., 1959.

Мальков П. Записки коменданта Московского Кремля. М., 1961.

Марков С. Мои воспоминания о В. И. Ульянове (Ленине) // Пролетарская революция. 1925. 1.

Мартов Ю. Записки социал-демократа. М., 2004.

Мартынов А. У истоков троцкизма. Л., 1925.

Махно Н. Воспоминания. М., 1996.

Моризэ А. У Ленина и Троцкого. Москва. 1921. М.-П., 1923.

Мы видели и слышали Ленина. Симферополь, 1970.

Мы видели Ленина. Воспоминания старых большевиков. Сталино, 1961.

Мы встречались с В. И. Лениным. Л., 1967.

Наш Ильич. М., 1960.

Наш Ильич. Воспоминания рабочих о В. И. Ленине. М., 1969.

Не знающий равных среди борцов // Жак Садуль и другие о Ленине // Иностранная литература. 1966. 4.

Об Ильиче. Л., 1924.

О жизни и деятельности В. И. Ленина. Воспоминания, письма, документы // Известия ЦК КПСС. 1989. 12.

Они встречались с Ильичом. М., 1960.

Они встречались с Лениным. Воспоминания. Алма-Ата, 1968.

Петровский Г. Наш мудрый вождь. М., 1970.

Платтен Ф. Из эмиграции в Россию. Март 1917. М., 1925.

Подвойский Н. Ленин в дни переворота // Красная газета. 1927. 6 ноября.

Покровский М. О Ленине. М., 1933.

Пост 27. Сборник воспоминаний. Литзапись В. Рудного. М., 1970.

Прибалтийцы о В. И. Ленине. Сборник воспоминаний и статей // Сост. Д. Зильманович. Рига, 1970.

Прокофьев Г. Ленин рядом. Волгоград, 1969.

Радек К. О Ленине. М., 1924.

Раскольников Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1920.

Рузер Л. Отрывки из воспоминаний об Ильиче // Молодая гвардия. 1924. 2–3.

Семашко Н. Незабываемый образ. М., 1971.

Семашко Н. О В. И. Ленине. М., 1933.

Сенькин С. Ленин в коммуне Вхутемас // Молодая гвардия. 1924. 2–3.

Сильвин М. В дни «Союза борьбы за освобождение рабочего

класса». М., 1985.

Сильвин М. К биографии В. И. Ленина. Из воспоминаний // Пролетарская революция. 1924. 7.

Сильвин М. Ленин в период зарождения партии. Л., 1958.

Скрыпник М. Воспоминания об Ильиче. М.-Л., 1927.

Скрыпник М. Воспоминания об Ильиче (1917–1918). М., 1965.

Скрыпник М. Ильич в Смольном. Харьков, 1925.

Соломон Г. Среди красных вождей. М., 1995.

Стасова Е. Таким был Владимир Ильич Ленин. М., 1965.

Стеклов Ю. Моя первая встреча с Лениным // Красная нива. 1924. 7.

Суханов Н. Записки о революции. Берлин; Петербург; Москва, 1922–1923. Кн. 1–7.

Таким был Ленин. Воспоминания современников. М., 1965.

Товарищ Ленин. Воспоминания нижегородцев. Горький, 1969.

Троцкий Л. Дневники и письма. М., 1994.

Троцкий Л. Моя жизнь. М., 2001.

Троцкий Л. О Ленине. М., 1924.

Угланов Н. О Владимире Ильиче Ленине (в период 1917–1922 гг.) // Известия ЦК КПСС. 1989. 4.

Ульянов Д. Воспоминания о Владимире Ильиче. М-, 1964.

Ульянов Д. Воспоминания о Владимире Ильиче. М., 1968.

Ульянов Д., Ульянова М. О Ленине. Л., 1934.

Ульянова М. О Владимире Ильиче Ленине и семье Ульяновых. М., 1978.

Ульянова М. О Владимире Ильиче. Последние годы жизни // Известия ЦК КПСС. 1991. 1–6.

Ульянова М. О Ленине. М., 1964.

Ульянова-Елизарова А. Воспоминания об Ильиче. М., 1969.

Ульянова 0. Родной Ленин: Владимир Ильич и его семья. М., 2002.

Уншлихт И. О Владимире Ильиче. М., 1972.

Узллс Г. Россия во мгле. М., 1958.

Фотиева Л. Встречи с В. И. Лениным в Женеве и Париже. М., 1978.

Фотиева Л. Из воспоминаний о В. И. Ленине. М, 1964.

Фотиева Л. В. И. Ленин — руководитель и товарищ. М., 1970.

Фотиева Л. Неиссякаемая энергия. М., 1972.

Фотиева Л. Таким я помню Ленина. М., 1961.

Цеткин К. Воспоминания о Ленине. М., 1933.

Цеткин К. О Ленине. Воспоминания и встречи. М., 1925.

Чарный М. Ушедшие годы. М., 1970.

Чернов В. Ленин // Воля России. 1924. 3.

Шкловский Г. Владимир Ильич накануне конференции // Пролетарская революция. 1925. 5.

Шкловский Г. Владимир Ильич и Плеханов. Из воспоминаний//Пролетарская революция. 1927. 1.

Шлихтер А. Ильич, каким я его знал. Кое-что из встреч и воспоминаний. Харьков, 1925.

Шлихтер А. Ильич, каким я его знал // Пролетарская революция. 1924. 6.

Эссен М. Встречи с Лениным. М., 1959.